

Дружба народов

11'91



ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Дружба народов

11'91



А. ЛИВАНОВ. Из серии «Лето в деревне».
Литография.

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК**

Дружба 11' 91 Народов

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

**Основан в марте
1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
121827 ГСП
Москва, Г-69
ул. Воровского, 52.
Телефоны:
главный редактор
и первый заместитель
главного редактора —
291-62-27,
заместитель
главного редактора
и зав. редакцией —
291-62-49,
ответственный секретарь —
202-52-03,
отдел прозы — 291-63-63,
отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики —
291-63-54,
отдел критики
и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений —
291-64-50.

Главный редактор

Александр
РУДЕНКО-ДЕСНЯК

*Первый заместитель
главного редактора*

Юрий
КАЛЕЩУК

Юрий
АПЕНЧЕНКО

Александр
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Евгений
БУДИНАС

Денис
ДРАГУНСКИЙ

Владислав
ЗАЛЕЩУК

Ответственный секретарь

Игорь
ЗАХОРОШКО

Наталья
ИГРУНОВА

Елена
МОВЧАН

Зам. главного редактора

Бронислав
ХОЛОПОВ

Художественный редактор
Николай ПШЕНЕЦКИЙ

Технический редактор
Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Редакционный совет

Сдано в набор 07.08.91.
Подписано в печать
01.11.91.
Формат бумаги 70×108 1/16.
Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Таймс».
Печать высокая.
Усл. печ. л. 23.8.
Усл. кр.-отт. 24,85.
Уч. изд. л. 25.04.
Тираж 178 200 экз.
Зак. 3206.
Цена 2 р. 15 к.

Издательство
«Известия Советов
народных депутатов СССР»
103798, ГСП, Москва, К-6,
Пушкинская пл., 5.

Ордена
Трудового Красного
Знамени
типография «Известия
Советов народных
депутатов СССР»
имени
И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл. 5

Лев
АННИНСКИЙ
Василь
БЫКОВ
Альгимантас
БУЧИС
Юрий В.
ДАВЫДОВ
Тиркиш
ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ
Нафи
ДЖУСОЙТЫ
Иван
ДЗЮБА
Фазиль
ИСКАНДЕР
Грант
МАТЕВОСЯН
Геннадий
ЛИСИЧКИН
Евгений
ПОПОВ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Константин
ЩЕРБАКОВ
Атнер
ХУЗАНГАЙ
Лев
ХУНДАНОВ

"Восприятие человека политического в чем-то сродни люмпенскому: глядя на мир гражданского богатства глазами зависти и презрения, — как на чужое и незаконное, он не видит в нем ценности. Богатство выступает как свалившееся на голову "этим бездельникам и кровопийцам", и, главное, неисчерпаемым..."

"XX век столкнул в мировом масштабе буржуа и антибуржуа. Последним именем неоконсерваторы обозначают не эксплуатируемого пролетария. Антибуржуа — это растущий слой людей, предпочитающих профессию слова профессии дела".

"...Для тех, чья цель — ни больше, ни меньше — потрясти мир, сказать ему "последнюю правду", "спасти добро и красоту", прозаические тесты, которые применяет к ним рынок, совершенно нестерпимы".

"Революционеры и бюргеры" — такую границу проводит названием своей статьи в № 12 нашего журнала Александр Панарин.

Выпускается малым предприятием "Редакция журнала "Дружба народов", учрежденным трудовым коллективом "ДН" и Литературным фондом СССР.

Василь Барка

Желтый князь

Р О М А Н



С украинского.

Перевод

Леся Танюка

В ПОЕДИНКЕ С ЖЕЛТЫМ КНЯЗЕМ

Сегодня мы открываем для читателя еще одно малоизвестное имя — имя выдающегося украинского писателя американского зарубежья Василя Барки. За ним давно закрепилось звание мэтра украинской поэзии — в мировых литературных кругах он известен как мастер поэтической филигранности, вербальной живописи, как один из наиболее самобытных лириков послевоенного времени.

Василий Константинович Барка родился в 1908 году на Полтавщине, перед войной защитил кандидатскую диссертацию и как филолог учительствовал на Донбассе. В начале тридцатых опубликовал два сборника стихов: "Шляхи" и "Цехи", интересным было его исследование стиля "Божественной комедии" Данте (1940). Уже с первых публикаций стало ясно, что в литературу пришел человек образованный, талантливый, настойчивый, склонный в то далекое "нефилософское" время — к философскому мышлению. Дальше — война, ранение, плен, до 1950 года — Германия, затем — Соединенные Штаты Америки. Не превратился он там ни в политика, ни в государственного деятеля, ни в удачливого бизнесмена: жил уединенной жизнью поэта-апостола, для которого удачно найденная метафора значила больше, чем все вместе взятые символы "добропорядочной жизни". И сегодня, в свои восемьдесят три, не снискав достатка и денег, живет он под Нью-Йорком, в живописной местности Гленд Спей, которая так напоминает наше Прикарпатье, да и обитают здесь в основном украинцы, живет — в каменной башне. Нет-нет, не из метафорической слоновой кости, дабы отгородиться от суетной жизни, а в обыкновенной старой, по-видимому, водокачке, совершенно один, ежедневно выходящая по крутым ее ступеням вверх и вниз свои длинные километры. Барка — человек философского самоуглубления и самопознания, он противопоставлен политике и сторонится ее, так как давно перерос надежды изменить политикой мир и сохранил вкус ко всему, что есть ДВИЖЕНИЕ (по-украински РУХ). Слово, Философия, Прогресс. Поэзия Василя Барки многосказательна, мысль отмечена в ней причудливыми связями; в одном из своих последних произведений — романе в стихах "Свидетель для солнца шестикрылых" (1981) — он достиг той емкости, когда ощущаешь, что погружаешься в глубокую пучину неизвестного тебе ранее мира, который поглощает тебя без остатка: так мы читаем Шекспира, Маркеса, Гессе... Помню, Барка порастил меня еще в те, шестидесятые, когда я прочел его перевод шекспировского "Короля Лира". То был Лир для НОВОГО украинского театра, театра Леся Курбаса и его школы образного пересоздания, — британский и в то же время наш, украинский, трагедийно-национальный.

Сегодня, перечитывая его сборники, вышедшие в разные годы: "Апостолы", "Весь белый свет", "Псалом голуубиногo поля", "Лирник", понимаешь, как повлияла его поэзия на творчество, скажем, украинских поэтов Нью-Йоркской группы,¹ невольно видишь в Барке предтечу Василя Стуса (хотя мировоззренчески его лучше понимают и трактуют Евгений

¹ Нью-Йоркская группа поэтов возникла в 60-е годы, в нее вошли Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Вера Вовк, Эмма Андриевская и др.

В а с и л ь Б а р к а. "Жовтий князь".

Печатается по изданию Василь Барка "Жовтий князь". Мюнхен—Нью-Йорк, 1962.

Сверстюк и Леонид Плющ). Вселенная у Барки — это вселенная добра, этики и горькой истины, его поэзия сродни святому слову, выводящему нас из тьмы схоластических понятий в солнечный свет метафор. Обидно, что даже в украинской "Литературной энциклопедии", вышедшей уже в наше бесцензурное или полцензурное время, в конце статьи о нем сохранилось допотопное "Стоит на антисоветских позициях". Это неправда. Его позиции — антитоталитарные, он влюблен в Человека, в его духовное величие, в его Разум, который существует для поэта в том случае, если это гуманный разум, не оскотенный рабством и унижением, не настоянный на чужой крови. С таких же позиций написаны его исследования личности Шевченко и Тычины, а также статьи о "старчике" Сквороде и кобзарях. Он написал о них с такой любовью и пониманием, с какой о нем, Василе Барке, написал в Париже бывший киевский диссидент Леонид Плющ, — фигура, которую, на мой взгляд, давно уже следует открыть для нашего читателя.

Тысячелетию крещения Украины-Руси Василь Барка посвятил поэму "Судная степь". Поэма большая, это целый эпос об Украине и Войне, о драматической судьбе украинского солдата и его жены, о любви и апокалиптическом мире; это христианские мотивы — уничижение и возрождение Церкви, духовный подвиг неохитов; это — деревня, пережившая два страшнейших в мировой истории голодомора, это вооруженный национальный резистанс и фигура праведника митрополита Шептицкого...

"Я,— прошу извинить меня за авторскую самоуверенность! — думаю, что с божьей помощью мне посчастливилось создать, скажем так,— украинскую "Илиаду".— Это из письма Барки ко мне.— Появление монументального эпоса традиционно свидетельствует о высокой степени духовно-культурного самоутверждения народа, и посему осмелюсь обратиться к Комиссии парламентского уровня (автор предисловия — Председатель Комиссии Верховного Совета Украинской ССР по культуре и духовному возрождению), которую Вы возглавляете: не удастся ли издать это произведение хотя бы "Самиздатом", ограниченным тиражом, каких-нибудь сто экземпляров?"

Письмо не из "тех" времен, на нем дата — 25.VIII.1990 года.

Поэма до сих пор не издана, хотя по великому праву искусства действительно достойна называться национальным героическим эпосом, которого "нашей национальной литературе столетиями недоставало" (из того же письма Барки).

Тут, у нас, как и там,— "у них". Барка опубликовал в США воззвание к издателям или меценатам с просьбой издать поэму. "Из этого ничего не вышло! — сообщает он.— Ни единого практического отклика; и никакой фонд не сложился..."

Узнав о намерении "Дружбы народов" опубликовать "Желтого князя", старый поэт не удержался: " Это как у Метерлинка: среди дикой пущи, у ручья, вдруг найти золотую корону".

А прочтя вышенаписанные о нем строки, поправил: "Здесь нужны небольшие уточнения, в двух местах. У башни моей каменный фундамент, но сама она деревянная; это башня, как я ее называю, не из слоновой, но из с о с н о в о й кости; и лучше сперва сказать об учителе: в Донбассе, а уже затем о защите диссертации". И еще: "Вы точно это отметили: я всегда — антитоталитарник! Нигде и ни единым словом я не обмолвился против подлинной, как формы демократического правления, с о в е т с к о с т и, со свободно избранными представителями от народа. Я как раз и воевал против любых отступлений и нарушений ее разными тиранами Украины. Засветилась Ваша статья, как р е а б и л и т а ц и я для отверженного писателя.

Шагаю на восемьдесят третью орбиту моего векования, и при моем сердечном недуге расчеты с сатурновой силой — кратки!

Вот и спешу пристроить новозаконченные произведения к печатным станкам. Успеть бы".

"Желтый князь", написанный в 1963 году, стал для В. Барки подлинным гражданским подвигом. Тут впервые, вопреки всем панегирикам о сталинском народолюбии, было сказано о чудовищном голоде 1932-33 годов, унесшим, — теперь эти цифры уже не секрет, — около двенадцати миллионов человеческих жизней. То были времена, когда на весь свет трубили, что голод на Украине — "выдумка украинских буржуазных националистов", и сомы советских историков дружно доказывали недоказуемое. Тот, кто читал эту повесть, не в силах до конца поверить, что написанное — правда! — настолько немыслимой казалась тотальная война против собственного народа. И лишь сегодня, когда появляются все новые и новые свидетельства очевидцев, побывавших в этом аду и сумевших выжить, людей, которые, преодолев страх, начинают писать страшную летопись планомерного уничтожения украинского хлебороба, становится очевидным: каждая строка Василя Барки, даже самая невероятная, — правда, страшная правда очевидца (такое нельзя выдумать!) о времени и о нас. На примере жизни и смерти крестьянской семьи Мирона Катранника

Василь Барка пишет историю геноцида украинского народа "под мудрым руководством" Сталина, Молотова, Постышева, Кагановича и их опричников, историю убийства нашей веры и духовности, дает анализ причин и мотивов этой народной трагедии, осмысливая происходившее под углом надежд на конечную победу духа — над смертью, Бога — над Дьяволом, грядущей истины — над тем чудовищем, которое и есть — ЖЕЛТЫЙ КНЯЗЬ.

ЛЕСЬ ТАНЮК

I

Наряжает дочку: она — что собственное сердце, выхваченное из груди, нечаянная радость.

Новая беда: мужа повели в сельсовет. Что им надо? Пристали и поедом едят: давай, давай, коли не деньги, то хлеб.

— Мам, ну ты скоро? Я подожду на майдане, у церкви.

— Скоро, — зачем же на майдане? Потерпи, потерпи, милая, отпустят отца и пойдём.

— Миколки нет, и Андрейки тоже.

— Батю караулят: не случилось бы чего...

Произнести — и то страшно. Причесывает Оленку, каждую прядь отдельно; цветами поверх бледного лобика украшает, словно звездами коронуёт. Ничего не говорит мать, но и непронизанные, дрожат ее слова где-то там, внутри: "Ясочка ты моя ненаглядная!" И заворчалось смутное чувство — предвестник беды: одному Богу ведомо, что ждет их впереди. Не хочет поддаться этому душа, противится. Радость подле дочери не гаснет, светит, как месяц, мягким серпиком.

— Да не вертись, все уже, заканчиваю! — она удерживает маленькую непоседу, которой что-то очень уж не терпится: в ручонке серая тетрадь; там ее наука.

— Может, не ходить мне в церковь? — робко спрашивает Оленка. — Начнут, поди, смеяться.

— Да кто же?

— А все: ученики, учительши.

— Глупо над этим смеяться, и грешно.

— Они все равно будут насмешничать.

— Терпи! Это иной раз полезнее, чем без конца выслушивать похвалу.

Дарье Александровне неприятно, что "они" насмеются над ее младшенькой. Того и гляди вспыхнет гнев, он, может, и справедлив, да по нонешним временам опасен... Нет, сдай назад, пусть уж гнев останется там, в глубине сердца, где ему нечем поживиться. Там осталась лишь одна горечь, за долгие годы привычная.

И стерпела! — как всегда.

Хмурится мать.

Ее первенец, четырьмя годами старше Оленки, не устоял, поддался страху. "Мам, ну к чему все эти церковные пережитки?" — сказал он, конечно же, с чужого голоса. Андрейка, младший, — другое дело, тот еще слушается.

Дети думают, мама глупее тех, школьных: они-де ходят с новыми книгами, а она, мол, на старых воспитана... Но там была правда, сердечность, а в новых что? — злая настырность. Чувствует мать, как "они" день за днем настраивают детей против нее, против ее материнской воли. Дети становятся чужими.

Резкую, приводящую в отчаяние боль испытывает она: это ножевая рана, когда запеклось и жжет. А что делать? Кричи — не поможет: "они" — сильнее.

Лицо у нее продолговатое. Впалые, суженные очертания нижних век и слишком глубоко посаженные глаза — темно-серые, лишенные острого блеска. Но ясность их оттенена блеском пепельных волос, чей отлив

напоминает пепел сгоревшего шелка: из-за неестественной бледности лица очи ее кажутся темнее, чем на самом деле.

Сегодня, в воскресный день, Дарья Александровна словно пытается искупить, отболеть вину свою перед Оленкой: недавно обошлась она с девочкой круто. Оленка принесла из школы плохую отметку, — и не потому, что ленива, — а просто так, из-за баловства, по легкомыслию.

Тогда, отчего-то не сдержавшись — наверное, побоялась новых насмешек, "вот, мол, какой недоразвитый у вас ребенок!" — Дарья Александровна накричала на свою любимицу и чуть не отшлепала под горячую руку, хотя задавать трепку и в мыслях у нее не было. И никак не ожидала, к чему это приведет. Девочка побледнела, плечики мелко задрожали, и она, впад почти в беспамятство, забилась в угол. И зарыдала, да так горько, что ее стала бить судорога. Плач был болезненный и полный отчаяния; все в хате обмерли. А она так же внезапно затихла, как и расплакалась. И хотя все тут же бросились ее успокаивать, девочка была как в воду опущенная и, кажется, занедужила. Несколько дней спустя Оленка расстаралась и принесла из школы самые лучшие отметки. Радовалась за маму, которой непременно надо видеть в тетради эти хорошие знаки. Но так, судя по всему, и не поняла, для чего это нужно.

Скользнув взглядом по раскрытой тетради, Дарья Александровна почувствовала, как больно сжалось ее сердце. И угораздило же ее тогда! Все бы, кажется, отдала, чтобы загладить свою вину, да сделанного не воротить.

Оленка стояла под маминым гребнем покорно: вся в белом и сама бледная; глазенки светлые и бровки высоко вздернуты — в отца. Цветы у виска, казалось, посылали во все стороны сияющие лучи. Как заря утренняя — жила в хате, чудная да тихая.

Мать оттого так старательно причесывает сегодня Оленку, что идет с нею в церковь; отмолить хочет вину свою перед дочерью.

А тут новая беда: прилипали увели мужа, и неизвестно теперь, что будет.

И еще: Оленку сбивают с толку. Нелегко уговаривать — при чужих-то ухмылках.

Да нет, согласится; с какой стати ей толкаться на майдане, боясь зайти в церковь?

— Оленка, дразнить будут, что в церковь пошла, — промолчи! Ихнее зло исчезнет, а правда — останется.

— Где же она будет?

— С людьми, которые живут везде. А поумирают — будет жить с ними на небе.

— А мы — где?

— Если окажемся достойны, — там же, с ними.

— А как там живут?

Дарья Александровна подумала: вот как твоя душа, — невинна и всем прощает, любя: так и живут.

— Того не знаю, но — счастливы.

— Где?

— Олена, ты все спрашиваешь, а я не знаю.

— Небось высоко! — как птицы. Куда ж они спрячутся — от дождя?

— Это выше, над дождем и над звездами.

— А едят они что?

— Ничего им не надо.

— И хлеба не надо?

— И хлеба тоже — нет.

Оленка смотрит в окно, задумалась.

— Я уже знаю! — там, как солнце: ни на чем не держится и ходит.

Опять задумалась, поглядывая на светило за окном.

— Не разлучатся?

— Кто?

— Все — родные.

— Ежели будут любить друг дружку, то — нет; пребудут вместе. И ежели сами не разделятся, у врат.

— Где?

— Невидимые врата, и все рядом. Как церковь.

Оленка держит тетрадь, как отчет. Серая обложка с наклонными черточками и ее подпись — круглыми неровными буковками.

Мысль к одному прикована: как же они — пребудут вместе — "тогда"? Так ли, как звезды утром целым роем уходят за край неба, неразлучимо, оставив на небе рисунок? Теряется в догадках.

Хорошо — пойти с мамой; в церкви стоит бабушка; а от насмешников нужно отвернуться — и все...

Для чего в руках у Оленки тетрадь — дело понятное, однако мать ничем себя не выдает: любящие хитры. Тетрадь с милыми сердцу каракулями ей всего дороже. Заключены меж ее страницами воспоминание и свет: это вроде цветка, забытого в книге с прошлой весны. Раскроешь и не знаешь, радоваться или печалиться, когда видишь его вновь.

Притворяется Дарья Александровна — будто и не замечает настроения Оленки. Сомнения ее одолевают: не разленится ли дочь, если ее похвалить? Нет, пусть уж старается без награды. А с другой стороны, негоже не замечать дочкиного знака. Это ведь из уважения к ней, к матери.

— Ну-ка, дай тетрадь!

Оленка ликует: мама снова увидит ее работу.

Буквы трудные и выведены рукой неуверенной, словно строили их из коротких палочек и дугастых скобок. Но Дарье Александровне они кажутся распрекрасными — краше праздничного узора.

— Хорошо, — говорит она сдержанно и кладет тетрадь на полку, туда, где в тесном ряду жмутся книги.

И все поправляет на Оленке платъе, приглаживает, одергивает, а то просто касается рукой и никак не может от нее оторваться, ни чувством, ни взглядом.

Пора. По дороге в церковь надо бы спросить у ребятни: может, видели отца.

— Ну вот и все! — протянула зеркальце Оленке, — погляди, мол, как мама нарядила, и не забудь: никто не оденет лучше.

Протыгнули мимо окон шаги; тетка Ганна, пробравшись огородами, наведалься; небось, спросит сейчас о собрании.

Соседка постарше хозяйки; морщины у рта темнеют, как сухая груша. С порога улыбнулась Оленке.

— Хороша! Хоть под венец, — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Легонько сплонула через плечо, как бы отменяя злой дух.

Оленка мигом — зеркальце на стол и, дернув дверь, выпорхнула через сени.

— Зачем их повели в сельсовет?

— Знамо, зачем! Хлеб отбирать — последний.

Мгновенно, после этих слов, ровно тень подступила к дому; показалось — даже окна почернели.

— Ой беда, беда, — плачет тетка.

Поглубже в платок закуталась, хотя день за окном погожий, ведро стоит — перед дождями. Клетчатый платок тяжел; закрывает ее, как тень от кмары усохшую вишню.

— Снилось мне, — рассказывает тетка вполголоса, обстоятельно, нараспев произнося звуки, будто допевая слова до конца, — что вот так рядышком, как эту печь вижу: передо мною тулупчик; и не видно, висит на чем, на дверном косяке, что ли? — и сделан тулупчик как бы из ящерицы, хоть и шерсть на нем есть, рыжая-рыжая, а шерсти, знаю, на ящерицах не бывает... Протянула я руку погладить, узнать, из чего она, шерстка ящерки, и вдруг обожглась о ледышку. А? Недобрый сон: к чему бы?

— Недобрый! — соглашается Дарья Александровна. — Знать, оденут в ящерицын тулуп, это к несчастью.

— Оденут! Недобрый сон! Век живу — такого не видала. А хлопцы твои где?

— На майдане. Хотела с ними в церковь пойти — упираются; стыдят их в школе, смехом изводят.

— Ишь, вражьи души!

— Назудели детям, что новые книги церковь переросли. А ихние книги — мертвые!

— Так и с моими племяшами. Глазами тоже в новые книги уставились, хотя по тем же глазам вижу: скучно им. А найдут старую книгу — ночь напролет возле прикрученной лампы сидят сычами, не оторвешь.

— Беда с ними! Однако учить надо, без этого зачахнут.

— Надо! — соглашается тетка. — Да ведь кабы учили, как положено. Сами наизусть ничего не знают. Когда-то было... да вот я сама... недолго училась, а сколько песен и сказок знала! Ночью меня разбуди — все перескажу, не сойбюсь.

2

Хлебоборбы, согнанные в сельсовет по тревоге, в воскресный день, слушают докладчика; слушают так, как никогда в селе Кленоточи не слушали.

Мирон Данилыч прижат к стене возле последнего окна, и поглядывает на оратора. "Страшен, ох, страшен! — твердит он себе мысленно. — Такой преступит".

Стой и казись молча, а дома — ждет не дождется семья; и утро белеет за плетнями: в саду, как зеркало, — утро; паутинки усыпаны росой и светятся чистым небом. А ты майся тут без вины, потому что эта чертова сила надумала скопом всех ухватить, с костями.

И снова мысль: "Такой преступит хоть закон, хоть что..."

Если бы этому рыжему поближе в глаза заглянул, поразился бы: отблески в окуневатых зрачках кареглазого, сквозь массивные, словно из льда высеченные, стекла очков — с сумасшедшинкой. Лоб усеченный и белый, щеки тронуты медными тенями.

Докладчик начинает с угрозой, но обстоятельно: от самого царизма. И подводит к новым твердыням: индустрии, подкулачникам, саботажу, хлебосдаче и в конце — "выкорчевывание".

Мирон Данилыч огорчен бесконечно: "Так бы сразу и сказал — давай весь хлеб, иначе порешим! — как разбойник. А то кружит змеем вокруг да около и куражится".

— Сломаем сопротивление и гнезда сметем! — оратор повышает голос до звонкости, — земля содрогнется, так сметем же с ее лица!

Григорий Отроходин как оратор привык возноситься чувством до все-сжигающей угрозы. Речь текла в сознании собственной правоты. Лозунгами устремлялся на иных, противящихся сообщению, освященному в партийных светильниках.

— Трудящиеся, сражаясь под знаменем!.. — чеканит Отроходин.

В его воображении "трудящиеся" вытеснили присутствующих, которые с железными мозолями; он — о других. Бумаги инструкций дышали апрелем, когда возмечтал он, какими счастливыми станут трудящиеся. Отдаленные и невыразительные. Но мышление и развитие зерносеятелей — источник бодрости для Отроходина. От их имени укладывает штабеля требований, наталкиваясь как на острые лезвия на их отчужденные взгляды.

Первую группу собрали удачно; милиция у входа, для строгости и наздания. Ты отвечай партийностью, отчего у тебя единоличники ходят кажинный сам по себе, оставляя наше дело в прорыве, под оргвыводы? Нет, шалишь, он человек покрепче, нежели воображают себе эти борщеды. Заварить кипяток — и в клещи их! Мертвецы встанут и, ссыпав хлеб в

гробы, наперегонки снесут весь урожай на зернопункт, к его ногам. Еще и поклонятся впридачу!

Постановление есть — выполняй! Оно в портфеле, под медными заклепками, портфель тут, под рукой. Это покрепче вашего упорства.

На приеме в столице один из группы, слаженной к выезду, поинтересовался: "Как быть, если мужики начнут вымирать, противясь хлебо-сдаче?" Руководитель, который до того лишь желтел в приступах ярости, с выражением официально-суровой государственной твердости на лице, изредка отпуская из-под обсосанных усов замедленно каменные фразы, внезапно дернулся и приоткрыл губы в таком страшном оскале, что Отроходина забила холодная дрожь... "Нечисто!" — подумалось ему о "хозяине", глаза которого уже смотрели на него вновь: застывшие, подернутые рыжей льдинкой, словно сквозь них слал ему угрозу восставший из вечной мерзлоты жуткий призрак далекой старины.

Из недоверия к собственному впечатлению Отроходин сразу же погасил эту мысль. Страшась преступить в самосознании, выслушал ответ, словно канон, высеченный на гранитной странице:

— Взять хлеб с мертвых — весь!

Уважительность к вождю беспредельная: френч заказан, как у него, полуфронтовой крой — и позеленее, потому как и взаправду война.

Он знает, хоть и пренебрежительно слушают хлеборобы, однако напуганы: "Подумаешь! — цари... жуки с заскорузлыми мозгами; а смотрят, как шляхта: на кого?"

С возвышения, как со сцены в театре, видны их лица; на каждом — предел отвращения, глаза — огоньками; тревога и мрачность разлиты по залу, кое-где — равнодушие.

Во взгляде одного, у окна, бьет под самый дых упрек с фосфорической горечью свечения; от этого взгляда не спрячешься.

Проверить: притаившийся из "индусов"; вокруг таких, как правило, гнезда сопротивления.

Отроходин, привычно связывая рубленые фразы, всматривается в это удлиненное лицо, контрастное на фоне резкой светотени окна. Брови вздернуты: что это — удивление или терпеливость? Глаза серые, с голубоватым отливом, жесткие.

Что-то, напрягаясь до предела, шевельнулось у Отроходина в сердце, и в нем вскипает ярость; говорит сурово — в глаза у окна.

Мирон Данилыч стоял, словно прикованный к столбу. С виду — человек как человек, даже в имени крестьянская обыденность: Катранник. Впечатление будничности усугублено тем, что небрит: схватили в воскресенье, под самое утро, неожиданно. Лоб у него высокий и загорелый, возле русого чуба белеют залысины. На дне глубоких впадин глаза выцветшие, словно седые; усы землистого тона, опущенные углами вниз.

Сатиновую рубаху, некогда темно-синюю, а ныне поблекшую, с остатками синевы у ворота, закрывал пиджак неопределенного цвета, как бывает на старой стерне после обложного дождя.

Видит через окно Катранник: стоит подвода; конь взмыленный на привязи, у штакетин. Пытается ухватить между ними стебель. Ловит, поворачивая голову и втискивая в прощелину пепельные губы... "Вот и мы — как этот конь! — снова казнится мыслью Мирон Данилович. — Прикрутила партлиния, былинки сухой и той не ухватишь".

Мужики приутихли: так, бывает, никнут подсолнухи под грозою, что нависла в полнеба и целит стрелами в их беззащитные головы.

Грозит обеими руками Отроходин, продолжая свою речь, а его широкий золотой зуб, оттененный по соседству щербинкой, вспыхивает угольком. Ярko поблескивают на лице толстенные стекла очков без оправы, с одною лишь металлической скрепкой.

Ладонями ударил о стол, покрытый огненным кумачом:

— Поступим, как с врагами — в случае невыполнения! Ответят и семья...

Застыл. Скала! Партийцы и сельсоветчики с револьверами в карманах,

а также милиционеры с револьверами на поясах выставлены на защиту Отроходина. А напротив — кучка изможденных мужиков, из которых лишь у одного — посох: тоненький, с камышинку.

Опустил голову Мирон Данилыч. Знал: расправятся; так ведь уже было, когда загоняли в колхоз. Вывезут на север, полный снегов и рыданий.

Миную коня, устремляется взглядом далеко, противу солнца, — там чеканной монетой падает вниз луна, вся испещренная шрамами; меловая печать на голубую бумагу.

"...Напоминание нам, — думает Мирон Данилыч, — брат брата держит на вилах; ударил под грудь и поднял; пока — смерть; выставлен образ, дабы не забыли — против каинства, которое уже вершится. А и того хуже, потому как теперь губят вместе с семьями".

Недвигно белеет, как призрак, жуткий лунный отпечаток, а вблизи — шеренга тополей — то ли свидетели, то ли обреченные.

Боль на сердце у Мирон Данилыча: "Добро, пусть уж я пропаду, — но семья-то чем виновата?.. И к кому обратиться? Отчего из не нашей столицы лезут, сидели бы себе дома... Ну ладно, поделимся, какую-то часть бери, но и нам оставь; куда там! Весь хлеб отдай, целиком и полностью, а сам сгинь. Мы же к ним не лезем. Пошли бы по Москве да в хату к этому грызуну тоже, и стали бы рыться: давай сюда муку, давай сюда картошку, — все, все! А теперь подыхай с голодухи! Ведь не идем же! Если бы и могли, — не пойдем. Вот и бейся теперь головою о стену под его угрозами!.. Выстоит ли нынче мать в церкви? — бояться будет, как бы я тут не попал в беду. Осталось харчей едва-едва для детишек, — отдашь, тогда и им смерть, и нам с ними. Эти же супостаты свое — давай, и все тут! Стало быть, просто решили убить. Там где-то детишки, словно жаворонки на солнце, дожидаются, вырвется их родитель из беды, аль нет. Бедные — кто вас пожалеет, коли нас не станет".

Мирон Данилыч от мыслей оратора отстранен: "И без того ясно, к чему идет! слышали! теперь одна забота — поскорее отсюда вырваться; беда наша: тешатся ею партейщики, как волки овечьим криком... И воскресенье пропало, — этот, с золотыми фиксами, весь белый свет иско-стерил."

За окном конь ловит стель.

"...ишь, мудрует; да нет, куда тебе! — не достанешь."

Катранник встретил взгляд оратора: пронзительный!

Вот открыты они во взгляде один для другого. Как на узенькой кладке через ущелье, либо разминуться покорно, либо — погибеть.

Сквозь крохотные оконца зрачков увидели, что все меж ними раз и навсегда сказано; а то им невдомек, что разделившая их вражда уже незримо породнила обоих.

Катранник — в полном отчаянии, нервы — словно из горьких искр; и вмиг отгорело. Наступила тишайшая благость — как сон. За нею снова — досада, но уже чуть просветленная странным интересом к оратору, — после чудовищного омерзения.

Отроходин мгновенно решил, что мужичонка — "слабак"; можно вывернуть наизнанку. В неподчинении скрыта мягкость. Но все равно почему-то впал в ярость, страшную, дикую; зрачки мечут в мужика убийственные стрелы. Густокоричневые на поверхности, зрачки утратили свою обычную прозрачность. Что-то словно выталкивало их изнутри в твердую оледенелость.

Получи Отроходин власть, — а он и без того уже ей принадлежит — он тотчас же, не задумываясь, пойдет на крайности.

Жесткий случается взгляд у мужика уступчивого! Для него на жизненной меже издавна лежал светлый камень — знак разделенных владений, которому больше веры, чем всем правовым бумагам. Потому как знак этот узаконен в поколениях, на меже его души и души другого, обозначая закон — для добрых людей на всем белом свете, — закон, который теперь, видать, должен рухнуть. Где-то решено превратить мир в развалины. Прет из земли иной распорядок: лезет, как бурьян. Крошку хлеба вырвут без

жалости из детских рук! Сверлит Мирон Данилыча горькая мысль: "Некто боговразумный возалкал здесь, — и перельет слезы в золото, — утолит жажду".

Сделав такой вывод, Мирон Данилыч отвел взгляд от оратора. Как же, мели, Емеля! Дело твое на луне показано!

Конь все так же натужно пытался добыть стебель; всей шеей тянется, губы просовывая меж досок, но и эта попытка не привела ни к чему. Измученный и голодный, встряхивает гривой: в глаза ему лезет лютая мошкара.

"... Загноились у лошади веки, вишь, мошкара роится, знает, куда лезть: на слабые глаза; беда животине, — такие хозяева — заморили в работе, а нет того, чтобы бросить сена; так вот и нас гонят кнутом на погибель, — дождались!"

Отроходин закончил. Неожиданно, растолкав тесно сгрудившихся соседей, наперед вылез сухонький мужичонка, с заостренными чертами лица и даже по одежке весь какой-то птичий; даже сбившиеся пучки волос напоминали торчащие вразнобой перья.

— Можно вопрос? — обратился он к помрачневшему Отроходину. Мужичонка встревоженный, с петушиным хрипом в горле. Не дождавшись ответа, возмущенно проскрипел: — А кто же детей возьмет?

— Чьих детей? Каких детей? — осадил мужика Отроходин, напрягая губы в суровости.

— Детских детей! — отчаянно закричал мужичонка, — моих детей: их у меня семеро, а жрать нечего! Кто их прокормит, коли в хате пусто, а мы с бабой помрем. — А? Кто?

Отроходин молчит, только меняется в лице. Среди мужиков начался ропот:

— Спросил по делу. Куда дети пойдут? А то как же? Нет, вы скажите, куда? Хлеба нет: подчистую выгребли.

Отроходин обозлился безмерно, рассвирепел:

— Призываю к порядку! В мгновение ока исчезли голоса: как огонь свечек, погашенных случайным вихрем. Все зашевелилось — мужики двинулись к выходу.

3

Плетень: как разделительный ряд, к которому припал от сельсовета треугольник спорыша, а напротив — одичавший сад, его взбесившиеся заросли.

Микола ставил мелом знаки на колыях, забелевших, обернутых в рисунки, подобно языческим идолам.

Андрей, осмотрев знаки, сел и устроил проверку карманного добра: линзы, собиравшие свет в огненную точку, орластая пуговица, перламутринка с радужным свечением и брелок в виде оленя.

Покосился на соседний двор: там — действие: участвуют трое. Самый маленький решил залезть на крышу сарая, попросил помощи у среднего. Тот сцепил пальцы, для упора — ставить ногу. Взбирается младший; шарит руками по кривой стене... Вдруг скользнул набок и упал. Поднялся, перешел к краю стены, где опять с той же помощью повторяет попытку, держась за угол сарая. Он бы взобрался, да подошел самый старший и потянул за рубашонку, — снова падает малец. Хотя и не так неудачно, как в первый раз, потому что товарищ, освободив левую руку, тоже потянул его за рубашку — в противоположную сторону и уравновесил. Отходят втроем от сарая и видят большой ящик. Старший пнул его ногой, ящик с грохотом отлетел. Двинулись дальше. Тогда самый маленький приставил ящик к стене; взобравшись, как на подставку, протянул руки вверх и ухватился за крышу. Подтянулся, пальцами босых ног нащупывая на стене выбоины и шероховатости. Взобравшись на крышу, пытается шагнуть — раз, другой. Тут из сарая выходит бабушка и кричит:

— А ну-ка слезай! — пошто зря лазать-то?

Он тут же, сверкнув пятками, скатился вниз, подбежал к старшим; с ними и улепетывает.

Андрей наблюдал последовательность их действий, словно живую картинку в книге. Разные мысли пронеслись в голове, пустота ушла вглубь: с угрозой, тишью, мертвечиной, словно кладбище. И картинка эта — странная для памяти! — забирала глаза его, большие глаза, темно-серые, как у матери.

— Что ты там видишь? — спрашивает Микола. — Пока никого нет, сбегай-ка в сельсовет, загляни в окно, как там батя?

Старшему вольно посылать, и Андрейка слушается. Привык! Уважал брата: тот защищал его всегда, справедливый и добрый.

Андрейка быстро вернулся, потому что с крыльца сельсовета выступили два сизомундирных милиционера и покуривают. По дороге от перекрестка потянулись к сельсовету местные партийцы.

Микола в их сторону:

— Хлеботрусы!

— А мы нет: мы хлеботруды, — сказал Андрей.

— Правильно. Но не совсем: не мы с тобой хлеботруды, а те, кто постарше. Мы — хлебокусы.

Андрей молча согласился; затем радостно сообщил:

— Я знаю, кто все остальные.

— Что знаешь?

— Есть хлебопросы, и еще разные.

— Неплохо! — сказал Микола, — у тебя котелок варит. А еще?

— Ну, есть... хлебоносы и хлебовозы.

— Еще — кто?

— Еще, сейчас подумаю, есть хлеботорги и хлебокупы; хлебокрады, вот. Это все.

— Ладно. А кто — те, что хлеб дают хлебопросам?

Андрей думал, колебался и не смог сказать; кажется, нашел слово, но оно его не удовлетворяло, — плечами пожимал нерешительно.

— Они называются хлебоданы! — сказал Микола, — их мало; вытеснили их те, кто посильнее. Скажи, кто они — те, что хлеб дерут?

— Хлебодеры, что ли...

Микола поправил:

— Хлебохваты.

Освоив новый термин, Андрей показал на собравшихся у сельсовета, куда подкатывали дрожки.

— Запомни, — строго предупреждает Микола, — рот на замок! Где-нибудь проквакаешь, и батю затамят по арестам: из-за нас. Понял?

— Не-е, я буду молчать.

Микола перепроверил меловые отметки на кольях, кое-где поправил. Извлек из кармана пожмаканную книжицу и, сказав брату: "Гуляй пока!" — уткнулся в страницы с ободранными полями. Путешествуют вместе Правда и Кривда и должны, согласно уговору, хлеб делить. Поначалу Правда кормит Кривду, затем — подходит очередь Кривды; это она так предложила, а та согласилась. Когда узелок Правды опустел и она погибала от голода, Кривда вынула у нее глаза в уплату за хлебные крохи.

Читает Микола, и оторопь его берет, возмущается: как же это? Глубоко ранит его такое коварство.

Книжку старшие ученики дали, потихоньку, велели: "Читай и соображай! — чем платят нам, забирая хлеб".

Микола забыл о деле и уже не посматривает на сельсовет, возле которого вороньими стаями толкуются бригады, готовые к отправке. Мучает его прочитанное — это как наваждение: с кровью отбирает свет очей, словно ведет его на смерть, он — осужден. Зловещая ночь грозит, застит ему солнечный свет.

Андрей удрученно побрел через пустырь к сараям, утопающим в зрелых, одних руины с трухлявыми, заплесневевшими досками. Ходил.

как лунатик, по двору, опустевшему после отъезда тех, кого выселяли из села.

Рыжее самодельная печь: кирпичи, сложенные в неполный квадрат, и сверху лист железа с круглым вырезом. Существовала какая-то незримая связь между находкой и чувствами мальчика, отчего вещь казалась куда реальнее всего, что его окружало, и будила в нем болезненную тревогу. Словно раньше он уже где-то видел раскрывающийся перед ним мир запустения. Видел — в ином пространстве, и оно было прозрачнее этого, обыкновенного. Странное видение выступает боковыми контурами четко, заметно, а все остальное — едва возникает из незримости и тревожит, просится в душу, светлеет, заставляя вслушиваться и стоять здесь: — без слуха! — одною лишь душевною силою вслушиваться в значение чего-то большего, чем встречает взгляд среди этой пустоты.

А бригады у сельсовета все множатся, набухают как грозовые тучи; хлеботрусы слушают своих распорядителей, у каждого своя подвода. Изредка над пожухлыми вершинами деревьев перелетали птицы, тяжело, словно нехотя вскидывая крылья. Молча следил за ними Андрей, пока брат закончит читать, когда же чтиво было свернуто и запихнуто в карман, спросил:

— Кто живет дольше, ворон или змей?

— Оба могли подохнуть, а оказывается, нужны. Наверно, змей!

— А сколько лет они живут?

— Много; от змея зависит. Забыл... некоторые — сотнями лет. Не помню точно, могу ошибиться.

— А сколько — ворон?

— Много десятков. Он нужнее — убирает падаль. Есть и ненужные — вон они!

Он бросил взгляд на сельсовет. Ненужные, что-то услышав от дверей, засуетились и бросились к подводам во главе с распорядителями. Гурьбой сыпанули с крыльца мужики, быстро разошлись в разные стороны.

Мальчишки, заметив отца, двинулись ему навстречу и увидели его расстроенным и печальным, как никогда. Приметили Отроходина, который, блестя очками, зубом и замками портфеля, указывал председателю сельсовета на отца и о чем-то его спрашивал. Мирон Данилыч, хмуро взглянув на оратора, объясняет детям:

— На смерть отметил! Враги мы с ним теперь.

И, вконец расстроенный, пошел с ребятами домой.

Оратор виделся ему уже не зеленовато-рыжим, а почему-то мышасто-багровым и уходящим в мрачную тень, с острыми углами, словно природа обкорнала их, эти углы, жестокими клешами. За ним возвышаются тьма и призраки: мрачные, крепко сбитые, — и перед ними пылает охрой желтое страшилище, немое к слезе и хищное к жизни.

Мирон Данилыч мысленно вздрагивает: "Ну как есть ящер! Приближается время Главного мучителя, который исходит из бездны..." Вот уже несколько месяцев кряду мучит его это видение — желтый монстр из полутьмы, натаивший над ночью свои металлические нити; он вылезает, словно из моровой язвы, ища выпученными глазищами Мирона Данилыча; возникает в мыслях, цепко и при каждом помысле. Даже когда берешься за работу, он тут как тут, вползает страшным призраком и грызет сердце.

При встречах со знакомыми — то же самое: о чем бы ни говорил — к сказанному внезапно приплетается проклятое наваждение, все тот же бред — постоянно.

Мирон Данилыч спросил недавно батюшку: "Что это? — и как тут быть, что делать?"

— Вы, — опечалился батюшка, — прельстились о звере.

— Да нет же, — возразил Мирон Данилыч, — ничем я не прельстился.

Батюшка поправил:

— Не им, а о нем; это совсем иное. О чем, а не чем. Берегите сердце и не впускайте обман, сражайтесь с ним! Вернитесь к полному смирению

и живите любовью, как светом: любовь ко всем, более всего — к Богу. И молитесь ежеминутно. Молитва — наибольшая на земле сила.

Выслушал Мирон Данилыч совет и пожелал искренне исполнить, однако по причине постоянных хлопот и занятости ничего у него не вышло; меж тем призрак вползал в мысли по-прежнему.

Ну вот, опять оратор сменяет личину: каркает свое — словно ворон на могиле вещует разор...

Трясаясь в шатких дрожках, Отроходин поглядывает на дворы и обижается; отчего это иные тысячники именуют пункт назначения "Мухоморьянском"? Напрасно! Вредит изображению их роли в деревне. Ежели столица пышет известковой отравой, висящей в жаркой духотище среди кирпичных зданий, то здесь как-никак можно жить: зелень и росистые рассветы. Зато зимою и впрямь пленит столица — в завалах снегов и грозовой свежести чистого, как алмаз, воздуха, в котором камень звенящим эхом откликается на каждый тон. Повсюду площади, простор, отчаянно сложные ритмы: в бледно-розовой, сизой дали цветастыми великанами поднимаются здания — и древние, с башнями, и поновее, многооконные и краснокоричневые. Дух жизни, могучий и резкий, пронизывает человека и город в строгости настроения.

Постоянно в воспоминаниях Отроходина — столица; там родился и окреп ладонью; для нее, для столицы, готов был перетрясти весь мир; на перемену или на погибель.

Меткий глаз у Отроходина! Однажды лишь и споткнулся в жизни, влюбившись в обкомовскую секретаршу. О ее совсем легонькой склонности к бухаринской фракции узнал уже в самом развитии сердечной драмы. Начал отступать и разорвал отношения, но черная тень приключившегося легла на биографию.

Приятеля, которые поближе к оргбюро, помогли замять этот грешок. Но и он старательность проявил отчаянную! Не говоря уже о том, что сумел приоткрыть при этом двери двух главных загадок наиболее успешного пребывания "в рядах".

Загадку полегче разгадал наполовину; потруднее — лишь до десятой досады.

Половина разгадки удивительно проста: сразу обследовал и свыкся. Будь ты хоть наипрокоммунистичнейший и в программе, и в линии, и в дисциплине, и бог весть в чем, а цена тебе в партии — гнутая копейка, если проморгал суть дела: челобитие "хозяину"! А вот если ты — ну, словом, Отроходин — распознал эту струну, непременно выплывешь на вершину игры и в конце концов оторвешься от черной своей тени.

Другая половина слишком уж не кристальная, даже он, отнюдь не чистюля, остановился, считая, что с него довольно.

Что же до более сложной загадки, то она весьма огорчила: в построении партийного лабиринта постоянно таилось коварство. Будто играли с тобой в кошки-мышки. Удалось тебе сделать какой-то шаг после огромной подготовки, а успеха нет: те, что наверху, двинули дело в противоположном направлении, и не пользы ради, а просто так, из потребности создавать препятствия. Постоянно! В итоге приходят ни с чем несравнимые отчуждение и глухая враждебность ко всему, что не есть ты, — приходят исподволь, превращая любое дело в невообразимую суету... Родные сосны и те, кажется, в тумане обезумели и завопили бы, обливаясь кровавой смолой.

Кое-чего он добился благодаря быстроте мысли, но те, "наверху", обладая партийным механизмом и монополией на снег, заставили приморозиться.

Изучал их крючки, петли и подъемы, отдававшиеся нытьем в печени. Однако без единого ключа и даже без номерка на колечке. Зато приобрел опыт по части "парт-каверз", как он сам для себя это определил. Только здесь получил он толчок — и возможность продвинуться через низовую

сеть. Отдохнув от многочисленных сетей и неводов, коими мелкая партийная рыбешка отделена от зланных мест, отведенных для рыбы покрупнее, он очень обрадовался возможности проявить себя.

Надеялся, что ему удастся, обойдя сети и заслоны, как знатоку местных условий, донести свой энтузиазм до ушей самого "хозяина". А тогда уж ему непременно выдадут "наверху" крупнорыбную чешую: ордена, путевки на курорты, абонементы на арелища, денежные конверты и тому подобное... "Наверху" — это значит в столице, то есть в аппарате! Там жизнь по-настоящему исполнена смысла, там нет сонливости "низа", где все увязли в быте, где сплошное скотство! — сорокаградусная, обсиженная мухами котлета, семейные обманы и дразги, духовная пустота и скука! — сучища такая, что хоть вешайся.

Правда, и в бытность его "наверху" тоже бывали беспросветные моменты, когда в душу заползала змея скуки, свернувшаяся кольцами в партии — змеином узле тоски и мрака. Теперь ему, можно сказать, повезло, слегка "разведлся"! Есть свое преимущество в том, что его бросили в конце концов на село: тут столичные партработники приобретают нимб подвижничества и, если не оставили мечты хоть как-то выплыть, устремляются наверх из последних сил.

Бег дрожек по немощеной земле, который обычно после нервных заседаний успокаивал Отроходина, — мягкое плавное движение, дружные лошади, раздобыть которых было когда-то его страстной мечтой, — теперь уже не производили на него никакого впечатления.

Так его вывели из себя эти мужики своей непокорностью: отказались безропотно сходить в могилу.

4

Воскресенье выдалось нынче самое несчастливое, и для Кленоточи, и для соседнего села, откуда приходили богомольцы, лишившиеся своего храма. Тамошнюю церковь превратили в овощной склад и подсобку для лесопилки. Богомольцы шли всегда, в любую погоду, хотя дорога была неблизкая, около семи верст.

Церковь старинная. Поначалу, рассказывают, срубили ее из дерева, еще до нашествия татар, при которых стояла нерушимо, поскольку те хоть как-то чтили чужую веру. В семнадцатом веке церковь сгорела, при утеснениях тех же христиан, сражавшихся с татарами. При более поздних гетманах была возведена из камня.

Бела, как праздничный хлеб. Украшениями и выступами, карнизами и щедрой ритмикой оконного рисунка очерчивалась в утренней просветленности.

И вот сообщение: сегодня, как ранее у соседей, церковь закрывают; после службы ключи отдать комиссии, она должна принять ценности.

Батюшка сед, тихоглас и слаб глазами. Полным-полно молящихся. Поприходили даже с дальних хуторов, прослышав, что служба — последняя. В проповеди сказано о терпении в часы цезарей и далеко после них, до нашего дня. Злоба и тогда не угасила церковный светильник, и теперь не может, хотя храм испогают.

— Храм тела нашего они могут уничтожить, — сказал батюшка, — но душу убить бессильны, ибо удел души — вечность.

Слушая батюшку, мать Мирона Данилыча представляет себе: душа, как во сне, от земной оболочки освобождена, где-то — там... отходит к не нашему селенью. В конце концов и ей, Харитине Катранник, и всем ведомо, что за привидения бродят по земле и на что похожа душа после смерти человека. Сама бабуся близка к этому: высохла по причине лет. Вся в черном; свободно и ровно держится на ней одежда, чистая и отглаженная. Платок белый далеко вперед навис, глаза почти утонули под его тенью. Глаза у нее светлые, как у сына, только без голубого

тона. Был он когда-то, в молодые годы, голубой этот тон, да выцвел на горькой дороге.

Батюшка учит:

— Будем же всегда помнить, что Бог любит нас!

Слышит и знает Харитина Григорьевна, без всякого сомнения, что сие — истинная правда, и это так трогает! — слезы застилают глаза. Горек мир, в котором мы живем, однако не брошены мы, нет, не брошены...

— После покаяния простит Господь и помилует, — доносится от алтаря.

Знает старуха — и это правда; сердцем чувствует истину! — и так радостно ей опять — не может удержать слез. Не пропащие мы, хоть и грешны; спасение есть. Смотрит бабуся, ничего за слезами не видит, но всем слухом души своей ловит сказанное: так жаждущая нива, побелевшая от засухи, вбирает капли дождя. Проходят перед нею просторные, как рассветы, добрые правды. Старуха иной раз, бывает, и вздрогнет, встречая речение о нашей несправедливости. Радуетя милости человеческой: язва названа — можно лечить! Слово с чужою помощью, пробираясь глухим бездорожьем, приемлет она новые слова и мысли и недослышать боится.

— Завещана нам, — сказал священник, — только любовь: сам Христос есть любовь божественная. Те из нас ученики его, кто исполняет заповедь. А кто нет, не принадлежат они церкви, пусть даже выстаивают в ней дни и ночи. Оглянемся же на свое сердце! Если не ссоримся меж собою, то дышим огнем или равнодушием. Завидуем, осмеиваем, ругаем черными словами и вредим ближнему, аки змеи; без раскаяния, словно так и надо. Хотим упрямым пересилить Бога. Выйдем из церкви и вновь живем, как язычники: в ненависти. А святая любовь — от сердца Божьего: любовью ли живем? Нет! Когда-то иудеи сорок лет по камням да пескам в пустыне бродили, измученные и в отрепьях, хоть грешники, зато каялись. И скинию несли, как самую большую святыню. А мы? — несем ли мы в сердцах своих ковчег, завещанный нам Христом, несем ли заповеди Его? Бросили! И понесли злобу. Без молитв. Возгордились, что у нас плодородная земля. Вот и отобрали ее у нас. Без молитв. Возгордились, что много было хлеба. Вот и отобрали его у нас. Потому что за пирогами забыли о скинии духовной. Одумаемся же! Секира при дереве и огонь: изничтожить, коли духовного плода нет.

Пугается бабка, вспоминая, что так оно и есть: распились и рассобачились в селе, и сплетничаем как свиньи, о каждом — нечисто. Живем без страха Божьего. В воскресенье драка на улице. Озверели. Разве что кара исправит Божья.

Священник упрекает:

— Мы говорим, зачем любить соседей, если от них — зло? Так ведь тогда любовь — истинная! Ибо чего она стоит, ежи в обмен для равной платы любовь, как деньги? Вспомним разбойников, распятых возле Иисуса. Один насмеялся над истиной. Другой молил Господа о помиловании, и врата райские раскрылись — перед тем, кто причинял другим зло. Возможно те, кому зло причинено было, возропщут: "Зачем он, Господи, тут? Ненавидим его! Достойны ли будут жить в Царстве такие не прощающие, вносящие злобу и раздор? Нет! Никак и никогда! Потому что в небе — только мир и согласие, только любовь и прощение, только радость блаженных. Ни отклика ссоры с отмщением; благоутробно Всемилосердному простить раскаявшегося разбойника, и никто не смеет допрашивать суды Божьи. Каждый заботится об одном: прощены ли его собственные прегрешения? — ибо каждый осквернился.

Харитина Григорьевна кается мысленно: "Это обо мне! Чернота души чужой меня злит, а о своей, худшей, забыла. И все — цыплята, все — грядки, неделями в хлопотах, некогда и на небо глянуть". Внезапно охватила ее, отделившись от сердца, тревога, с которой в церковь пришла: "За что сына увели сельсоветчики? Экая напасть!".

Проповедь завершается в смирении:

— Забудем же, кто кому должен. Отмоем души от злобы и станем единой семьей в имени Спасителя, который кровью и смертью выкупил

нас. Обратим очи к Нему в день испытания, который уже близок. Будем тверды, как первые мученики перед зверями, что готовились их растерзать.

Плакала вся церковь. Люди видели судьбу свою: обокраденные и загнанные в постылое толпище, где стали нищими, а кто туда не пошел, того затравили нуждою в родных стенах.

До сих пор был у них хотя бы челнок светлый, спасающий в бедах. Ан нет, подступают и тут пришлецы, ниспосланные мраком.

Выходя в толпе, бабушка посматривает на изображение давних лет, отсюда видны врата, наискосок возведенные посредине; вверху книга излучает свет и заключена в огненный венец. Белокрестный схимник справа, а за ним — солнце, луна и звезды — одновременно. Слева от ворот, как перегородки, размещено: бочонок, полный червонцев, графин с вином, оправленный в золото, лик женщины, не строго причесанной, княжья корона. Посредине — костлявая с косой. Внизу подпись кириллицею — алеет потемневшая киноварь: "Да не искусятся помыслы!"

Харитина Григорьевна рассматривает картину и, прижатая в толпе, вынуждена слушать шепот двух старушек:

— Вот уже девятнадцать веков минуло, как Христа распяли, и непременно отметит это анафемская сила — душить начнет! — скорбно покачивает головой одна.

— Вот-вот! И знает, откуда начинать — с церкви. В том-то и беда, — болезненным шепотком отвечает ей другая.

Народ вышел из церкви. Староста закрыл дверь и с ключами ждет комиссию. Поодаль полукружием толпятся любопытные, дожидаясь, что будет с церковью. Тихий гомон пробежал по живой человеческой стене, и все стихло. Женщины помоложе выдвинулись вперед. Затишье! — стоят люди, словно колосья в поле перед грозой.

Древняя женская душа, такая старая, что ресницы осыпались, что-то прошамкала сморщенным ртом. Те, что помоложе, поставили ее впереди, пусть увидит.

Приближается комиссия и с нею комсомольцы, которых люди знают в лицо и по именам, а отныне запомнят и по оружию разорения, внесенному в храм: лом, кайло, топор, молоток, пила, канат и другое. Как вооруженные солдаты, парни держат свое орудье, кичась смелостью, однако невольно опускают глаза под взглядами односельчан.

У дверей староста и те, что к нему поближе, встречают пришедших, тихо и несуетно отвечают на вопросы, в которых — тон нетерпеливого окрика. Члены комиссии раздражены и спешат, всем своим видом являя непреклонную решимость, решительность, словно судебные исполнители. И кучкой, во главе бригады, пробиваются к дверям.

Напряжение враждебности было столь велико, что, казалось, довольно любой случайности, чтобы молнии чувств разрядились в сторону пришлецов.

Внезапно что-то отвлекло их внимание — и прихожан, и старосты с его людьми, и комиссия с разрушителями.

Глянули люди и застыли. Под стеною пел, словно задевая церковный колокол, слепой нищий с лирой. Седина его, посеревшая от старости, — припорошена пылью. Рядом стоял оборванный мальчуган и держал в одной руке стариков посох, в другой — деревянную плошку для милостыни.

Скрипела тягучими звуками лира: в сопровождении голоса, который, вырываясь из хриплости, возносился к печальной повести через протяжное пенье.

По святой горе Спаситель ходил, — аллилуйя;
Спаситель ходил, райский сад сажил: Господи, помилуй.
Райский сад сажил, три раза полил, — аллилуйя;
Три раза полил, райский сад расцвел: Господи, помилуй!
Жесткие дети цветы сорвали, — аллилуйя;
Цветы сорвали, ни за что увяли: Господи, помилуй!
Спаситель сказал: "Не печальтесь!" — аллилуйя!
Во поле терновник белый зацвел: Господи, помилуй!

Терянку сорвете, венки сплетете, — аллилуйя;
 Венки сплетете, меня снарядите: Господи, помилуй!
 Меня снарядите, на кресте распнете, — аллилуйя;
 Ноги и ладони гвоздями пробьете: Господи, помилуй!
 Ребро мне копьем пронзите, — аллилуйя;
 И кровь потечет из моего серденька: Господи, помилуй!
 Я тою кровью весь народ искуплю, — аллилуйя.
 Весь народ искуплю, с собой возьму: Господи, помилуй!

Посреди пения председатель комиссии вырвал ключ из рук старосты и стал открывать замок, вознамериваясь показать всем, сколь презрительно настроен он к суеверию разному — он, сознательный гражданин. С ним и члены комиссии подступили ко входу, делая вид, будто равнодушны они к псалму, а слушали между тем со вниманием, и то сказать — интересно!

Не повезло председателю с ключами — никак не откроет: нервничает, внимание туда и сюда, поскольку и сам ловит нить лириковой речи.

Пока отворяли дверь, старец заканчивал пение стиха; было нечто волнующее в его приподнятом голосе, и картина псалма возникала перед глазами, как живая. Никто не шевелился в толпе.

Старец умолк, — не успели отзвенеть последние звуки, как уже бросился к нищему один из членов комиссии, задиристо прокричал:

— Ты что? Контрреволюцию принес?

Нищий думает. Наконец, покачав головою:

— Ан нет, давно эта старина была. Ирод царствовал. А уже опосля, при казачьине, псалом сложили. Это давнее! А то, о чем говорите, — откуда ему взяться?

У задиры и рот на замок: не знал, как ответить. Меж тем председатель с сопровождающими уже входил в церковь. И бабы из толпы тоже подступили. Смешались с бригадой. А далее сдвинулось с места и все людское собрание. Среди живых волн комиссия с бригадой завертелись щепками в половодье. Опомниться не успели, как народ быстро, без единого слова, заполнил церковь и с муравьиной тщательностью обволол церковную утварь.

Никто не попытался пробиться к царским вратам. Вбегали в алтарь сквозь южную и северную двери. В этом столпотворении ни один из комсомольцев и комиссии не мог протолкнуться. Мигом схвачены Евангелие, крест, дарохранительница, антиминс и все, что из алтаря можно унести.

Хоругви среди живого смута мотались, падали и, отделенные от древка, исчезали у мужиков за пазухами; иконы сошли со своих мест и, чуть проплыв над головами, утонули в людском потоке. Плащаница, бережно поднятая, светледа над головами, приближаясь к выходу, и вдруг словно растаяла. Кадила, священные одежды, подносы, лампадки — все, что можно было уберечь от злодеев, исчезло в мгновение ока.

Внезапно толпа бросилась к выходу, словно на пожаре, и тоже без единого слова. Как неожиданно заполнили храм, так вдруг и разбежались. Лирник с поводырем тоже словно растаяли.

Председатель комиссии начал было кричать, чтобы людей задержали, да мигом и притих, барахтаясь в толпе. Очнулся уже после давки, когда церковь полностью опустела.

Ни прихожан, ни ценностей. Только бригада с комиссией. Тянутся к начальнику, а тот пытается сделать вид, что ничего не случилось:

— Знаю, позакапывают! Были и хуторские, разнесут по степи и в лес. Ну да ничего: найдется!

Одернул на себе пиджак сероватый, в клетку. Махнул пухленькой ручкой, как полководец в битве. Лысина, словно скошенный лужок, роскошные желтые усы и мешки под бесцветными глазками только утяжеляют портрет.

— Снять колокола!

Хлопцы нехотя, как ленивые подпаски, которых послали вернуть лошадей, двинулись к колокольне. Через какое-то время валили колокол, натянув канат и приспособив деревянные пристрои. Заблестел колокол против света в оконном проеме. А во дворы, что у церковной площади, высыпали крестьяне: смотря на разор.

Колокол летел молнией; сверкнул, охваченный солнечным пожаром, и с невероятным шумом грохнулся о брусчатку у колокольни. Отлетел вверх и в сторону, теряя клин меди, неровно отколотый. Негромко, но страшным духовным эхом отозвался этот звук вокруг — во всем селе. Пусто и горько стало, как после пожара. И все село будто окаменело у колокольни, лишившись голоса.

5

Подходя с дочкой к родной калитке, хозяйка увидела: возвращается муж с обоими сыновьями, а следом — толпа вокруг подводы. Кровь застыла в жилах: "Опять беда!"

Муж пришиблен горем — таким еще не видала... Он, бедняга, в работе с утра до вечера, всю семью кормит... и за что они его? Кажется, беднее нас и быть не может — даже до середняков не поднялись. Как обреченный идет Мирон Данилыч с хлопцами. За ними, на пятки им наступаая, — бригадники.

Стала хозяйка у ворот и — ни с места, ноги будто приросли к земле, а тревога валит с ног, пригибает к земле, как ветер сухую былинку.

Обидчики распахнули ворота и с гиканьем несутся у подводы, что твоя орда.

Хозяин сказал жене:

— Столько требуют хлеба, что и в доме нет...

— Да откуда ему взяться? Все забрали давно! — выкрикнула, сама не своя Дарья Александровна, женским своим чутьем уразумев, что ввалившаяся толпа готова свести их в могилу.

— Забрали? — переспрашивает распорядитель, подходя поближе. Пепельные круги темнеют вокруг мутных гляделок, похмельных и заспанных. На пергаментных щеках — редкая щетина.

— Забрали? — и это вы о государственной заготовке?.. Вместо сдать лишнее, как сознательные граждане, вы произносите клеветнические измышления: забрали! Мы вам покажем, что значит забрали, чертовы подкулачники!

— Кто подкулачники? Уже приходили похожие на вас, землю забрали. Только хата и осталась да пара грядок под окнами. Мы незаможники.

— Ну да, расскажите! — с досадой ответил распорядитель. — Хлеба полно.

— Мы засевали только один клин — нет хлеба.

— Заладили: нет!

— Право слово, нету, кукурузы оставалось немного да свеклы с картошкой: думали, худо-бедно перебьемся. Землю-то — отобрали!

— Отобрали, отобрали! — ярься, передразнивает распорядитель. — Сейчас увидите, что значит отобрали.

И враз — лицом к стене: там уже базар у соседа. Крик-выкрик — и тут же ответ.

Звено пионеров-школьников, как отрепетированный хор под руководством партийца — речитативом:

— От-дай хлеб, кур-куль!

Сосед, стоя на пороге, спокойно отвечает:

— Что ж, берите, если вам надо...

— Отдай хлеб, куркуль, эсплутатор!

Обученные кое-как, искалечили слово, а сосед отвечает в тон:

— Какой же я эсплутатор. Это кто-то другой: обучает неправде и сам

так творит. А я от земли. Глянь-ка на мои руки — все в мозолях! А теперь на чьи-нибудь другие...

Глянули пионеры на руки дирижера-партийца — мягкие, как две сдобных пампушки, но он угрожающе подмигнул — и пионеры снова закричали хором:

— Отдай ключи, куркуль!

— Вот они! — мирно отвечает сосед, берите, если так надо. Разве я не даю?

Руководитель подал особый сигнал ладошкой, и хор завизжал так, что эхо донеслось до околицы:

— Куркуль!

Дирижер грозит хлебобобу:

— Мы из тебя Свитченку сделаем!

На одной из здешних улиц всегда красовался образец будущего, обещанного народу партией. У плетня, где зеленела полоска бурьяна, в тени от тополя обычно валялся некто Свитченко. Лежал и храпел. Весь в грязи, оборванный, как и годится "казнесу"¹, то есть незаможнику, то есть беднейшему. В селе его имя стало нарицательным, свитченками называли лодырей и лентяев.

Сосед сказал:

— Сделать из меня Свитченку легко, а вот сделать из Свитченки меня — это сложнее.

Партиец стоял и молчал. Потом как ужаленный сделал знак ладонями, и вновь резанули слух высокие голоса:

— Куркуль!

Весь этот крик слышен через улицу во дворе Катранников. Распорядитель вопрошает:

— Так отдаете хлеб или нет?

— Где же нам взять? — в отчаянии бросила Дарья Александровна, — все забрано!

— А-а-а, забрано! — вновь обозлился тот, пучеглазый.

Он обернулся к своим, те уже въехали во двор подводой и стояли теперь у него за спиной, вооруженные лопатами, ломami, "шпиками" или щупами — длинными, выше человеческого роста, железными стержнями, с одной стороны заостренными, а с другой — согнутыми под прямым углом: чтобы рукою держать, вгоняя в землю. У некоторых были винтовки.

— Так проучим же подкулачников!

Старший разделил отряд на две части. Одна разбредается по усадьбе, другая во главе с ним самим заходит в хату, как к себе домой, не спросив позволения и даже не взглянув на хозяев.

Дарья Александровна за ними, дочка, подбежав, неверной рукою держится за ее рукав. Вся дрожит, словно в лихорадке. Хлопцы, идя за Оленкой, присмирели — очень.

Хозяин в хату не идет, взгляд его прикован к тем, что обыскивают. Морозный страх заползает в его сердце, когда они начинают шнырять вокруг пепелища: сперва у поваленного плетня, затем шарят возле глинища, где крутая тропинка спускается к ручью с кладкой, среди осиновых зарослей.

Они то и дело вгоняют в землю "шпики", тычут везде. Перекапывают сад, расшатывают каждый столбик. Переворачивают дрова. Лезут даже под пни. Перекапывают камни и рушат крапивные заросли. Выворачивают ограду. Глухо бьют железом оземь и прислушиваются, не отдастся ли эхом в земной тверди пустота.

Мирон Данилыч разоренья такого выдержать не может: сутулясь больше обычного, отступает он в хату.

Там грабеж, как в сказке о человекоподобном змее.

Ворвались в дом — и все перевернули. Горшок со смальцем, надбитый, без ручки, поставили к двери как дорожную добычу. Винтовочника над ним

¹ КНС — Комитет незаможных селян (укр.).

поставили: стеречь!.. Важный, как индюк, как воплощение "нового порядка".

Был на чердаке старый мешок с непровеянным просом, приложили и его к горшку. Сбросили с печи все тряпки, в которых рылись, выскивая хоть горсточку зерна. Висел узелок с фасолью на жердочке, — и старшой самолично, сняв его с жердочки, понес к горшку. Хлеба краюху со стола, рушником прикрытую, и ту присовокупили к добыче.

Красную свеклу в бочонке — углядели враз. На картошку в гнущем ведре с прохудившимся дном набежали, как волки на телячью печенку. Выкатили из подпола тыкву и бережно вынесли мешочек, весь в заплатках, с семечками и еще решето с пшеничкою "конский зуб".

Мирон Данилыч, как приговоренный к виселице, с побелевшим лицом стоял под стеной, напротив окна. Был миг, что ему казалось, выхватит он из-под печи колун и развалит башку старшому: раздел, ограбил, детей уже завтра нечем будет накормить...

"Это не то, что воры, — те, коли доберутся, возьмут самое лучшее, остального не тронут; ну, а власть, та кругом обдирает, как липку!"

Что будет? У него в хате пять ртов — чем прокормить?..

Женщина метнулась отнимать краюху:

— Это же детям, зачем забираете?

Ее оттолкнули. Плачет в красном углу, закрывшись краем платка. Дочка прижалась к ней, как птеник в бурю, никак не уймется дрожи. Хлопцы рядом с отцом: тоже притихли, тоже напуганы.

Вынесли харчи на подводу. Винтовочник, изображая на широкоскулом, белобрисом лице важность, застыл в окаменелой своей серости, как статуя "вождя", что стоит в районе, между элеватором и железнодорожным вокзалом.

С грохотом вывалившись из хаты, ватага примкнула к сообщникам.

Мирон Данилыч снова тревожно поглядывает, как они бродят, вонзая шупы в землю.

Вернулась из церкви Харитина Григорьевна. Испуганно смотрит и спрашивает сына:

— Это они?

— Они, мама!

Пошла в хату, глянула, переступив порог, и обмерла! Их хата, еще прадедовская, со сволоками в старинных знаках, резных и свечами выжженных, была всегда белой. Харитина Григорьевна с невесткой так старались, так заботились, чтобы сохранить этот белый цвет и внутри и снаружи. И вот на тебе! — хуже, чем в хлеву! Как после землетрясения! Все перерыто, перевернуто, перемешано и растоптано. Слезы набежали на глаза. Она впервые осознала, что это — конец.

Обесчестили их хату, хату-святыню, где, сколько она себя помнит, иконы всегда освящали хлеб на столе.

Дождалась на старости лет! Забрали все съестное. Вышла на крыльцо, глядит — топчутся бригадники в огороде. Разгребают землю, словно псы поганные на чужой усадьбе. Подошла к подводе, стала уговаривать часового:

— Верните харчи, это не ваше! А детям есть надо. Сейчас же верните. Я кому сказала!

Часовой молчит, делает вид, будто не слышит и не видит старушку. Грозен. В руке сила собственная и начальникова. За начальником рыжее Отроходин, у него приказ: "Забрать до последней крохи!" А дальше, наверху, — вождь партии и государства!

Так какого же черта старуха морочит голову?

Бабка ухватила за воз. Тогда часовой толкнул ее в плечо — покачнувшись она и упала в траву. И не смогла встать. Сын, подбежав, поднимает. Глянул на часового:

— Дикарь собачий!

Тот, обозленный, взял ружье наизготовку, процедил презрительно:

— Ты! Смотри у меня! — и смолк.

Ответственный, как у порохового погреба.

Старуха ничего не сказала, заковыляла к хате. Прилегла на лавку, подстав кой-какое тряпье, — и с той поры, словно занедужила.

Кружились перед нею мглистые видения, как вихри. Сквозь кружение их чувствовала: близкий сумрак холодной завесой обволакивает жизнь, и никак его не обойдешь. Затем сумрак таял. Оставалась боль, горькая и режущая. Не так за себя, как за внуков — ничем их уже не накормишь. Будут стонать и плакать, птенчики ее при дороге. И нет никого на свете, кто бы помог. Никому они не нужны, никто за них не заступится; и если пропадут, слова никто не скажет. Один Бог видит с неба. Может, испытание нам послано, дабы очистились в горе, как в последнем огне?

6

Семья расставляет вещи на свои места.

И потом — голод не тетка — дети просят есть. А что им дашь! Мать выкопала где-то в конце огорода мелкую свеклу, сварила юшку. Очень соленую — хлебали, подбирая с полу крошки, оброненные незваными гостями.

Захватила беда неводом — нет сил вырваться. Облегла безжалостно, словно гроза: мучит, ведет к гибели. Дети серьезны, как взрослые, словно понимают, что происходит.

Бабка с матерью, сидя на полу, возятся с одеждой, осматривают, что годится на зиму, а что нет.

— Встретила сейчас печника, — говорит бабушка, — спрашивал, что с церковью, — закрыли аль нет.

Андрея интересует кудесник, который сложил им печь, рассказывая между делом о хитроумных дымоходах внутри. Раньше печь казалась скучной: гора кирпича, теперь — сплошные загадки.

— Рассказываю ему, что было. Он и жалуется: не глядим на Писание, — а по нему жить. Читаем страницы собственных грядков, им сердца отданы. Так и батюшка сказал.

— И то правда! — вздыхает мать.

— О небе забыли. Быть беде.

— Уже началось.

— Сказал тогда: живем в конце времени. Посему антихристы спешат зло свое довершить. Это по иконам видно. Спаситель на кресте мучится, а внизу они, дорисованные, зубами скрежещут, глядя на невинного. Люди говорят, девятнадцать веков после распятия отмечены будут геенной огненной, так говорят.

— Да ведь уже видно! — согласилась невестка.

— Печник приметил: птица падает мертвой.

— Походом на нас двинулись, — сказал Мирон Данилыч, — это кажется только, что знамена у них красные: черные они.

— Странно говоришь, — замечает жена.

— Так вижу! Пропадем — разве можно жить по-дьявольски?

— Уймись...

Дарья Александровна и сама видит — край жизни, но надо как-то оберечь детей от страха.

Меньшой у стола листает книгу; старший присел в простенке меж окнами: застыл! — а взглядом горяч. Оленка пристроилась возле мамы, внимательно следит за движениями больших рук: двух потемнее, в морщинах, и двух посветлее, перебирающих одежду, рубчик за рубчиком, латку за латкой.

— Да я ничего!.. Неладно у них со знаменами-то, — поправился хозяин, это только Лукьян утешает, что "заживем". Лукьян знает одно: голосовать "за". Сразу тянет руку — первым. Всегда "за" и впереди всех. Не успел докладчик закрыть рот, Лукьян тянет вверх руку, соглашается. За займ — первый, за раскулачивание — первый. Сегодня быстро разбежались,

а то и здесь голосовал бы "за", хотя, если подумать, кладут на село крышку гроба. Утешает — "заживем". Змей съест!

— Зачем зря говорить? — прерывает жена, скользнув взглядом по детям, — Лукьян не хуже начальников.

— Это не люди, а крючки — хлеб тянуть! Перед собранием слышал новость. Ночью приходит поезд, обтыканный стражею; переполох... городское начальство хором пылит на вокзал — главные едут — из Москвы! Сквозь вагонную дверь горсточку отцедили, главнейших. Встретили их: надутый один и серый-серенький, усы щеточкой, Молотов, что ли, а рядом — Каганович, бедовый, с усами — как валет червей. Распорядились разбить углы в хатах и вынести все съестное... Чернявый вскинулся и орет на весь вокзал: "До зернышка!" — то есть учит, как забрать хлеб; а серенький выгреб из кармана горсть пшеницы и сыпанул изо всех сил в лицо окружному партсекретарю: "Вот ваша хлебозаготовка! Если такое гнилье сдавать будут, всех под расстрел!" Зерно ударилось и разлетелось: кто-то из тамошних поднял одно зернышко и давай вертеть его на зубах и размалывать, неплохое зерно — тот мужик агрономом был и толк в своем деле знал. А реву, а топоту! Говорят, если бы паровоз свистнул, никто б не услышал. Секретаря тут же арестовали, и больше никто его не видел. А эти двое в сговоре с третьим...

— Может, ты бы потише? — попросила жена, — и так ведь слышим.

— Хорошо! — Мирон Данилыч понизил голос. — Люди узнали, что вагон для этих двоих полная чаша, всего полно, как в ресторане, и жратвы, и питья: мяса, окороков, ну всего!.. напитки лучшие, заграничные. Как узнали об этом люди... Подумать страшно...

— Отчего ж не узнать? — вмешивается бабушка. — Вон когда обокрали Журавленков, тому уже лет десять будет, так никто видом не видывал, слухом не слыхивал, а все в один голос: не иначе, Коренчук залез! Пошли искать — так и есть! Повытрясли краденое!

— А еды в вагоне собрано: рыба консервная и корейка — закусывать: чтобы, значит, нарезать и на булку класть; курятина и масло, сколько чего хочешь! — апельсины, виноград...

— Мама, хочу апельсин, — чуть слышно отозвалась Оленка, словно спросонья.

— Дитятко, да откуда же нам взять? Тут — быть бы живу.

Мирон Данилыч, словно замороженный, перечисляет напитки, стоя у окна. Отсюда ему хорошо видно место, где недавно стояла подвода:

— А в буфете — вина и наливки, и водка разная, настоящая на чем угодно, даже на польни.

— С чего бы они полынню-то пили? — засомневалась бабушка.

— Может, и нет! Да ведь говорят... И зубровка...

— Неужто станут дуть горькую?

— На то у них и дорога, чтобы прикладываться... и в Кремле полно...

— Да и то сказать, самому-то — разнесло физиономию! — вспомнила бабка.

— Сказывают, быстро ест, хмур!

— Хмурый глубоко носом землю роет!

— При детях бы не болтали: где-нибудь да вырвется! — умоляет Дарья Александровна.

— Не бойся, дочка! Мы уже к самым черным дверям подошли — с этого света на тот. Куда уж хуже?

Безмолвие воцаряется в хате; словно невидимый черный ворон, громадный, как ночь, распростер над ними крылья.

Тьма — как черный дым.

Чутко вслушиваясь в ночные шорохи, спускается хозяин к оврагу откапывать запас, самое большое сокровище для семьи.

Долго рыл! — вытирая пот со лба и поминутно вздрагивая. Мучила тревога! Раскрыл ямку, выстланную соломой, вынул пшено в узелке, обернутом старой клеенкой со слипшимися краями. Малость отсыпал и снова закопал. Хотел чиркнуть спичкой и проверить, не осталось ли

следов, да побоялся: огонь мог привлечь лихое око. Перед рассветом надо будет наведаться еще раз. Внизу, недалеко от оврага, плескалась речушка — пошел туда, ополоснуть руки.

Возвращался, ступая осторожно, словно кот, опасаящийся собаки. Быстро взял на себя дверь: и скрипнуть не успела, тут же закрыл.

Дети спят. В печурке — прикрученная лампа; печальными сполохами выхватывает из тьмы хозяина и его жену, — возятся с пшеном. Сварили кашу — жиденькую, чуть приправленную остатками мукицы.

Разбудили детей и сели к столу: поздняя вечеря.

— Вот напасть, — говорит Мирон Данилыч, обирая кашу с краев миски. Было что есть — не доедал, а не стало — над крошкой дрожись.

— От страха за еду, — поясняет бабушка.

Все молча выскребают миски, котелок отдан младшенькому, и тот долго, бесконечно долго с ним возится, хотя веки слипаются, словно смазанные клеем.

С той ночи вошла в хату неуголимая жадность к еде: и словно неслышимый крик, больной провостью, повисла над ними в воздухе и стала мучить.

Недолго спал Мирон Данилыч, проснулся вовремя, как сам себе назначил: привычка, выработанная годами, поскольку — тревожно... В нервах росли неведомые хронометры, отсчитывающие без ошибки. Сквозь сумерки, смешанные с туманом, крался хозяин к оврагу — скрыть следы прикопанного и насыпать сверху сухих листьев. Пташка проснулась, подала рассветную весть, но он уже не слушал, как раньше. Бросил на нее торопливый взгляд и, сам того не желая, представил ее съедобной — без перьев. Упорхнула пташка над течением, в кусты по ту сторону, а хозяин пошел наверх, к хате. Посматривал по сторонам: какие из трав годятся в горшок. Зорким оком обвел пепелище среди польни и крапивы, у остатков садовой ограды, однако ближе не подступал, чтобы не оставить на траве следа. В сарайчике повозился с остатками сбруи, хотя все равно ни к чему: нету животины.

Нетерпеливый! Бросил дела и вышел за ворота, постоял — прислушался; тихими улочками побрел через околицу.

Кое-где люди сновали во дворах, как тени.

Решил заглянуть к Никифору Кайданцу, который знал всего понемножку: бочар, кузнец, кожемяка, слесарь и все, что хочешь, — везде бывает и новости приносит, как газета.

Там был приятель мастера, Стадничук, плотник средней руки.

— Ну что, вас уже обыскали? — спросил кузнец у нового гостя.

— Да: перенюхали двор до мелочи. Все, что можно было в рот положить, забрали.

Невесело и тут. Кайданцы — он светлоглазый мужчина, могучий, как вол, а она сухонькая, как терновая ветка, — сидят возле сдвинутых пожитков. Кузнец заметил удивление гостя:

— Ждем, скоро будут у нас...

— Время не ждет, уходить надо! — закричал Стадничук.

Вспыльчив сердцем, а руками силен, словно корень вяза. Под колючими бровями, похожими на стерню, — скорбный огонек.

"... Могучие люди, а бегут! — видать, беда надолго!" — решает про себя Мирон Данилыч.

Топот от ворот — двое; в дверь загрохотали:

— Кайданцы, а ну давай сюда, быстро!

Вышел кузнец, за ним жена. Слышен спор за окном:

— Почему не оплатил повестки, которые присланы? — доругиваясь на ходу, спрашивает сельсоветчик.

— Как почему? Я ж не тут работал, а в городе: коней подковывал, возы чинил. К чему эти повестки ваши — мне и жене? Она ведь не работает — хвора.

— Открутиться хочешь! — въедливо протянул другой голос.

— Не хочешь в колхоз,— бросает первый, с горячею злостью,— плати по всем повесткам.

Отозвалась жена:

— И штраф к повестке прицепили...

Стадничук, угрюмо слушавший, наклонился к гостю:

— Я уже весь штрафами оброс, как Жучка шерстью.

За окном угрозы растут:

— Не хочешь платить, фтало быть — враг!

— Да где же нам взять? — отбивается кузнец.— Мне пятый месяц зарплату не платят, а кузница-то государственная...

— Не наше дело; плати!

Кузнец рассказывает:

— Кто-то фартук кожаный, как нарочно, украл, а деньги требуют с меня, и начислили за старый вчетверо больше, чем ему новому цена. Тоже дают: плати сразу! А у меня ничего нет. Что делать?

— Так тебе и надо, раз ты враг! И чтобы уплачено было, слышишь? А то засвиистишь, сам знаешь, куда...

Сельсоветчики протопали к воротам.

Кайданцы вернулись в хату.

— Ободрали как липку: гладенькие мы и круглые! Снегом притрусят, чтобы не ускользнули из рук.

— Притрусят! — соглашается Стадничук.— Притрусят, но не здесь, а в тундре: там липа, знаешь, становится мягче лапши. Надо с узлами бежать на Кавказ, иначе — конец. Слыхали? Разорили в Вороницах всех подряд — подчистую! Был там один, которого не смогли расколоть, так сосед помог. Долго ходила комиссия по двору, рыла, прутьями прокалывала — нет хлеба! А член комиссии, сосед, горбун, хуже ведьмы, злой на него был, наверное, без причины — так, от черного сердца,— взял дома женский рукав с зерном, пошел и подбросил мужику под стожок сена. Вот комиссия и допытывается:

— Есть у тебя хлеб?

— Сами же видите, нету, хоть десять лет ищите, не найдете.

— Так, говоришь, нету?

— Нет.

— Распишись вот тут.

Мужик подписал показания, тогда горбун и говорит:

— Он засвидетельствовал, что нет, а может, под стогом пошарим?

Идут к стогу: человек сорок собралось, и переворачивают стожок. Он тяжеленький был, долго возились, и вот с трудом, но перевернули, глядь, а там рукав с зерном.

— А! — кричат,— вот ты каков! Подписался, что нету зерна, а оно есть! Власть советскую обманул, противу своей же подписи пошел: стало быть, ты преступник!

Все у него забрала комиссия, в прах разорила; вот как это делается. Никого не щадят.

— А может, пройдет эта пошесть, перемелется? — спросила Кайданцова жена.

— Перемелется, да нас уже не будет! — ответил плотник.— Страшное дело против нас затеяли. Есть у меня один знакомый старичок, ну, как знакомый? Мастерил ему полки под книги: там чтения собрано — на целый век. Я с полками старался — основательно сделал и недорого взял. Так он, бывало, подходит и разговор заводит; сам он математик, из Академии; спрашивает однажды:

— Ну, так вы поняли, отчего беда?

— Беда,— говорю.— Вижу, что беда, а отчего — не знаю.

— Так у них решено: шкурами своими, как большими карбованцами, заплатим. Мы.

— Почему же — мы?

— Мы крайние. Больше драть не с кого. Ценности церковные перепроданы будут. Окружают хитрецы полумертвого и показывают ему

сухарик, приговаривая: отдай с груди крестик — получишь сухарик! И отдаст, лишь бы пожевать что-нибудь, пока не сдохнет.

Возражает хозяйка:

— Подумаешь — старичок. Говорить-то он говорил, да ведь мог и ошибиться. По числам он смекалист, а тут дело другое, не его ума.

— Будет или не будет — посмотрим,— отмахнулся Кайданец.— Но этот, из столицы, уже сегодня жить не дает.

— Так и на луне показано: брат брата вилами подбросил,— поясняет Мирон Данилыч.

Хозяйка ответила:

— Показано, а не верится, чтобы так — с нами...

— А как же делают?— распалился Стадничук.— Прислали каких-то чокнутых, и они у грудных детей крохи отрывают. Был я во дворе у Касьяненка: там детишки грудные, а эти пристали, роются в люльках... детей вышвыривают, доискиваются под пеленками, нет ли крупинок, сохраненных на кашку; все подмели, подчистую. А вы себе сдыхайте с ребятней! Так это — что, скажите? Все главные начальники обысков и грабежей, кто? — саранча из столицы. Вот побежали гурьбой к Григору, моему соседу, у того с женою разладилось, и она уехала, детишек бросила. Холодно в хате и голодно. А зашли с обыском — последнее унесли. Молоко стояло в кринке, для детворы, так нарочно тебе перевернули на припечке и разлили. Молчал Григорун, от горя сам не свой. Прикипел к месту и смотрит во все глаза, худой, как жердь. Смотрит, а будто не видит ничего. Дети плачут, да что там! Детские слезы для грабителей — пустое. Один из них, с треснутой губой, все переворачивал, ломал, рыл — пока не пробрало его от взгляда Григоруна, и начал он, нервный, дергаться. Закричал на хозяина: "Самашедший!" — а сам кругом — и вон из хаты. Но нет, чувствует на себе взгляд, оглядывается и таки падает, споткнувшись о порог. Мог бы и разбиться, да бригадные подхватили. Стукнулся еще и в сенях лбом о лестницу и летел оттуда злющий, как волк. Думаете, утих после этого? Подобрел? Куда там! — метлою выметает детские харчи и разоряет хаты. Крушит все подряд. Их, таких, черт знает сколько: на погибель нашу. Говорю вам, двигайте, пока не поздно, на Кавказ, и заработки там погуще, и уполномоченные не так думат.

— Да как же ехать-то? — возражает хозяйка.— Душа к окнам приросла.

— Все равно оторвут. Старичок, о котором я рассказывал, над верхними книгами среди скрученных бумаг хранит одну potvrждение — на ней рисунок. Как-то развернул ее:

— Посмотрите!

Сидит остроглазый кто-то, и весь будто литой из червонного золота; корона на нем причудливая, и облачен в роскошь. Высоко вознесся. Видна только верхняя часть — словно выброшенная из недоброго зеркала. Ребра похожи на верхушку ворот, раскрытых так, что туда, с нижней части картинки, непрерывным потоком тянутся люди; бедолаги сырые — входят в грудную клетку призрака и там исчезают. Как овцы на бойне. Согбенные все, худущие, ободранные; семьями идут, детей на руках несут. А надзиратели подгоняют пиками, отточенными на концах, как молнии. Спрашивает старичок:

— Вот такой барин. Откуда?

Рассмотрел я картинку. Молчу. Аж слеза меня прошибла. Говорю ему:

— Это мы все — там, внизу. На погибель с детишками.

Кайданец внимательно слушал и вдруг — жеде:

— Собирайся!

Заплакала жена и взмолилась:

— Да куда же я поеду от родного порога? Коль все равно смерть, то приму ее тут, у этой белой стены. Не хочу мучиться на чужой стороне. Ты — поезжай!..

— Ну да ладно, не плачь! Хочешь остаться — будь по-твоему. А я подамся на промысел, здесь и копейки не заработаешь.

— Не тяните, а то перекроют все ходы-выходы! — подгонял Стадничук. И хозяйка тут же взялась за дело — стала отбирать, что из домашних вещей сгодится в дорогу.

Возвращаясь домой, Мирон Данилыч впервые осознал, какая неодолимая беда настигла их всех и куда единственно можно от нее скрыться. И думалось ему: чем погубить у порога, надо испробовать иные пути! — где-нибудь да заработаю на пропитание. А душа убита, и задувает в глаза огнем полыхающим — от желтого владыки, который живьем заглатывает, обставив надсмотрщиками...

Мысль о том, чтобы уйти в бега, как гвоздь застряла в сознании; где-то же должна быть в этой сетке дыра, пусть и крохотная, лишь бы проскочить... На пузе бы прополз... Потемнев лицом, он смотрел теперь сквозь мир, ставший для него иным, — будто вывернул мир его, Мирон Данилыча, наизнанку, и обвалились добрые чувства, а образ жизни выглядел руиной.

7

Мирон Данилыч приближался к колхозным владениям. И название, и порядок вещей снова разбудили в нем мысленный крик: "Татарва! Как есть татарва!" — жаль односельчан, которых свалили вот так в одну жуткую кучу.

Что-то и тут неладно: мечутся как угорелые. Один, расхристанный, видно, напуган до смерти и несется мимо — вслепую; и лишь услышав, что встречный спрашивает, отчего переполох, отвечает, приостанавливаясь:

— Со двора скот согнали, а он возьми, зараза, и передохни. Весь, как есть, одним махом. Вот и выдергивают виновных, кто сечку с малясом на ночь им подсыпал, решили — падеж от этого.

И человек умчался.

Толпа на колхозном подворье все больше и больше, слышны выкрики: "Отрава, не иначе! Потравили!" — руками машут, кричат, ссорятся... И разошлись восвояси.

Тогда засуетилась милиция: надо же кого-то ловить. А Мирон Данилыч решил — довольно с него зрелищ — и двинулся прочь, убыстряя шаги.

Однако миновал переулочек и приостановился. Во дворе шум — хозяйева охают над околёвшей коровой. Рядом соседи.

— Нет, ты погляди, что с коровой! — поражается махонькая бабенка, светлый платок в горошину, в руке палка и хлебная корка, черствая, в плесени, — от собак.

Другая баба, обожженная солнцем, как орех, туда же:

— И так везде! Птица падает замертво, без причины: летела-летела — и вдруг шмяк! — мертвая.

Тут же вслух размышляет дед в засаленном картузе, шея длинная, как оглобля, белый пух на подбородке.

— Уж не конец ли света? Как знать...

Мирон Данилыч миновал рощу, что плавной дугой врезалась в сельскую околицу, спускаясь затем в овраг, заросший дубами, березами и ольхой. Черная галка, похожая на кусок антрацита, беспомощно присела на голую ветку, а оттуда внезапно свалилась в траву.

Мирон Данилыч застыл как вкопанный! А когда подступил к птице и носком ботинка перевернул ее, то увидел: неживая, хоть о пень колоти.

Вышел на дорогу и размышляет: как же это? Впрочем, случается, и птица болеет, чай, тоже не вечная...

И даже вздрогнул от окрика... Глянул — кличет его Калинчак Петро, живет он в стороне, за балкой, тоже "индус", то есть индивидуальный хозяин, единоличник. Белесый, словно весь из льна, только глаза темно-карие, со светлыми крапинками. Петро — косарь, каждое лето нанимался скашивать сорняки у железной дороги.

— Потевали что-нибудь? — интересуется Калинчак.

— Да нет, Петро. Ничего я не потерял. Птица падает.
— Это недавно началось, когда луна кровью покрылась.
— Время, говорят, злое близится. Оттого и знаки.
— И я, косивши на курорте, слышал от приезжих: беда приближается.
— Все сходится. Одно к одному.
— Сходится, потому — правда.
— Отдельные, с партийной печатью, преступят,— сказал Мирон Данилыч.

Собеседники отдалаются от рощи.

— Да, преступят! А вы, часом, не слышали про Зинченко — есть такой на свете, может, встречались?

— Да, кажись,— колеблется Мирон Данилыч.

— Он там курортом заведовал — везде сосны по склонам и павильончики резные, как игрушки. Полным-полно курортников, городские, конечно. Там у них и купание — речка внизу.

— Знаю, песок у берега и вода теплая. А дальше — глубь и холодина — жуть, мороз по коже, с детских лет помню,— добавил Мирон Данилыч.— Вода, говорят, целительная, даром — курорт.

— Да уж даром! Уголок что надо, свежий, чистенький — земли двадцать десятин. Высадили сосны и березы — под линейку, то есть рядами — под бечевку, чтобы прогуливаться; для четырех человек одновременно.

— Козыряют партейцы, да, небось, страшновато им в лес-то по одному ходить?

— Боятся: и трудовой курорт, а боятся! Ходил к ним однажды, а навстречу мне сам заведующий — Зинченко. Рассказываю про нашу беду, про детишек голодных. Он выслушал и советует: помочь могу только одним — подкормить корову, ежели отошала, перестала доиться и ребра лестницей. Появится у нее молоко — спасетесь от голода. И сказал: "Вы вот что, накосите-ка себе здесь между линиями сена и отвезите домой. Лучше всего в воскресенье, когда у меня свободны подводы. Думаю, за день управитесь. Копенку-другую сбросьте у самого коровника. Ежели спросят, можете ответить: да, сено. А сколько его, никто знать не будет. Для курортных коров корму припасено — больше надобности". Вот видишь — Зинченко партийный, а детей пожалел. Другие — куда там! Любого разорвут на части, если в инструкции на партсобрании зачитано.

— Разорвут и без инструкции,— ответил Мирон Данилыч.— А сам он откуда, из какой семьи?

— Сказывают, земля, где высажены эти самые "линии", принадлежала когда-то его родителю, хотя значился он по соседнему уезду. Просто ехал однажды мимо и прикупил надел — думал хозяйствовать. Да не суждено было! Пришли в девятьсот двадцатом красные, кликнули сход: голосуют, чтобы тех, кто побогаче,— к ногтю! Кто "за"? Уже тогда наш Лукьян, да вы его знаете...

— Лукьян, который "за"?

— Он самый! Первым поднял "за" обе руки сразу и с того дня одинаково голосует. Некоторые вообще не тянули вверх ладонь, среди них и Зинченков родитель. Жил он тогда в хате мужика одного, сбежавшего на Донбасс. Уходя, тот говорил: "Бери все и хозяйствуй, ничего мне за это не надо. А я уеду, не то большевики порешат". Ну и не поднял руки старый Зинченко. Через неделю понаехали красные: "Где такой-то? А этот где? Это все не наши!" Был приказ — убивать всех подряд.

Когда брали детей, дети за них цеплялись. У одного дети были немые, никак говорить не могли, и так цеплялись, что страшно, а их прикладами били — ломали им руки. Всех, и детей тоже, собрали на площади: там разрывными пулями расстреляли, мозги во все стороны летели. Лежали долго. Мухи их облепили, и дух стоял тяжелый. Толпою пошли старухи, коим смерть уже не страшна: седые, все в черном, с посохами: как на похоронах — и это сплошная беднота деревенская. Пошли к начальству: спорить супротив ихнего пекла. Вскочил комиссар в красной буденовке,

как сатанинец, и закричал: "Не смей! Это — враги! Есть приказ от Ленина с врагами так расправляться, чтоб и духу их не было!" С тем и прогнал старух. Зинченко — сын одного из тех, расстрелянных на площади. Когда родителей забирали, его не было дома, уцелел случайно. Затем переехал в другой уезд; жил там и записался в партию.

— Оно и видно,— соглашается Мирон Данилыч.— Ежели и найдется меж ними добрый, так и знай — не ихнего поля ягода.

— Может, есть и ихнего, но я не видал! А этого видел. Рассудительный мужик; помог в себя придти и защитил. Мы еще там с одним выкосили сено, четырнадцать стогов, перевезли и поделили.

Для меня было это спасением, а им, на курорте, трава лишь ходить мешала, никто ее не косил, все пропадало. И знаете, что было потом? Вызывают Зинченко в милицию, спрашивают: "За деньги продал сено али как?" "Нет,— говорит,— я распорядился прокосить сено только на "линиях", чтоб удобнее было гулять отдыхающим; они там, случается, курят, бросают окурки в траву — от огня могли бы вспыхнуть сосны". Отпустили Зинченко; он тогда сразу ко мне: так, мол, и так, вы, если вызовут в милицию, говорите то же самое. И точно, вызывают меня денька через три: "Сколько ты уплатил за сено?" "Ничего не платил, заведующий приказал скосить траву на "линиях" для удобства курортников, по оврагам я не косил". Хорошо, что Зинченко предупредил, как отвечать.

— Таких выбивают из начальства, а ставят мучителей.

— Это — повсеместно. Сняли и Зинченко. Пошел я как-то к нему и встретил у дороги двух охотников из Киева. Один черненький — глазам темно, а другой с лысинкой, и зрачки веселые. Интересуются, где хорошая охота. А я каждую птицу знаю, где какая водится: голубь лесной, дикая утка, перепела. Рассказал им и хочу идти к заведующему. "К Зинченке? Не ходите. Мы тоже хотели его навестить, приехали — нет!.. Переведен в другой район. Партсекретарь подкопался и выжил. Беседуем дальше, я расспрашиваю,— кто они сами? — узнаю: чернявый книги печатает, а тот, что постарше,— химик из лаборатории. Зашла речь о селе,— что тут делается и как грабят напропалую; чернявый лицом то еще больше темнеет, то бледнеет внезапно и наконец выдал: "Пойми, друг-товарищ, монгол из московской ночи вылез — груди наши рвать клещами". Химик одним лишь дополнил: "Иду улицей и слышу крик; милиционер посередине толпы людской вещает: "Слуги бесовские постановили удушить Украину в год распятия тридцать третий,— берегитесь, люди, берегитесь"! Проповедует — ну как на службе божьей. Прохожие подходят и слушают, большая толпа собралась; слушают, как пророка в старину".

— Так и было, мать моя слышала в церкви об этом.

— А на пророка этого в милицейском френче — мигом налетели, видимо-невидимо, и к себе в учреждение. Скоро слух прошел: расстреляли милиционера.

Постояли собеседники у лесного оврага, проводили взглядом коршуна, парившего в небе на большой высоте, и распрощались. По дороге домой припомнил Мирон Данилыч и название этого места — Змиев яр. Наверное, отсюда вылезал ненасытный Горыныч хватать скотину домашнюю, а то и людей. Была такая картинка в школе — его родители пытались усмирять учеников, ибо дисциплина в классах вконец распаталась из-за комсомольских выходок против учителей. Изображение было цветное: из болота и липких зарослей выползал жуткий ящер с оскаленной пастью, подбираясь к малым зверушкам. Красными были острые клыки его зубов — кого-то он, видать, уже задрал. Не выходит из головы это изображение, нет сил у Мирон Данилыча прогнать его! Будто блестит чеканка медная и цветом меняется к черному. Какое-то время мысли его ничем не заняты, а затем сбоку, в пространстве сознания, словно подброшенное пружиной, при любопытстве души, возникает страшилище! — рождается, проступая сквозь духовную наготу. Мирон Данилыч, мысленно напрягшись, гонит видение прочь, пытаясь обратиться взором к окружающему — к деревьям, к земле, к погоде, которая вдруг испортилась, потому что с севера темными

полосами напоззли тучи... И вновь возникли очертания кошмарного силуэта — вновь! — проклятье! В отчаянье, словно возопила его душа, взывая к кому-то невидимому: "Да отойди ты, нечистая кровь! — прочь изыди!..." Мирон Данилыч отвернулся от страшного призрака и побрел, не разбирая дороги. Меж тем по обе стороны шляха на мертвецки бледные стены хат ложилась с севера мрачная тень.

"... Вот она, беда, подходит, а помощи ждать не от кого!" — угрюмо думает Мирон Данилыч. С этой мыслью дошел до площади; хотел было свернуть на свою улицу, но, к удивлению своему, миновал и ее. Какой-то могучий чувственный порыв увлекал его все дальше и дальше. И вот уже Мирон Данилыч у крыльца кирпичного дома, крытого жестью, где свила себе гнездо партийная ячейка.

Миновал и его — и только тогда стало угасать в нем полыханье недоброго чувства. В какой-то миг показалось ему, что он слышит выстрел; нервы ловят повторение звука. Мирон Данилыч снова мрачнеет и убыстряет шаг; прочь отсюда, прочь.

Внезапно за его спиной раздался истошный вопль. Дернувшись, будто ужаленный, Мирон Данилыч оглянулся; душу его обдало холодом — крик доносился из кирпичного дома.

Там, цепляясь за дверной косяк, стоит женщина: побелевшая и дышит так, словно это ее только что душили, и теперь ей удалось ухватить чуть-чуть воздуха:

— Помогите!

Мирон Данилыч рванулся к крыльцу, но, добежав, остановился из-за привычного страха перед этим зданием, откуда всегда исходили начальственные угрозы; и от презжей власти, и от местной мелкоты; дом пугал пустотой и разореньем.

Сзади слышались шаги. Кто-то окликнул его:

— Зайдемте!

Оглянувшись, Мирон Данилыч увидел счетовода из сельсовета, случайно оказавшегося здесь; вдвоем и поднялись по ступенькам.

Женщина одной рукой все еще держалась за косяк, а другой — болезненным жестом, почти безвольно, указывала куда-то в глубь дома. И тут же, прижав руку к груди, словно пытаясь остановить сердце:

— Там... секретарь райкома застрелился... только-только приехал...

Осторожно ступая, подбежавшие вошли в дом. Миновали коридор, похожий на сени, только подлинней, и оказались в просторной желтоватой комнате, служившей залом для заседаний; с одной стороны дверь была слегка приоткрыта. Заглянули туда — и застыли у порога.

Счетовод отважился зайти первым, и Мирон Данилыч тенью последовал за ним. Секретарь лежал у стола, поджав ноги, под самой стеной; рядом — револьвер. Глаза, затянутые дымовато-белесой мглой, остекленели, застыли недвижно, без блеска и свечения; в них одна лишь холодная пустота и поверху — легкая прозрачность. Из пролома у виска густо и вязко, разделившись на несколько подтеков, сочится кровь; разлилась по полу, вокруг головы и плеч. Брызги крови на столе — задели бумагу.

Вошедшие смотрели на все это, словно преодолевая слепящий, хоть и невидимый, сполох тайного пожара, вспыхнувшего разом, в одночасье, — иного, не того, что сжигает реальные вещи.

Мирон Данилыч стоял, погруженный в воспоминания и мучимый давним страхом: вот оно, сейчас все усилится, цвет крови превратится из красного в черный, и пред глазами... Но нет! Кровь по-прежнему оставалась красной, как была. И едва не вскрикнул он ликующее: "Стало быть, кровь — настоящая! Стало быть, кровь — это правда!"

Осмотрев самоубийцу, свидетели убедились: мертв. Что делать дальше — не ясно. Счетовод стоял, словно высеченный из серого камня. Через силу выйдя из оцепенения, с болью сказал:

— Поставил точку!

Цвет крови словно сковал Мирон Данилыча. Тщетно пытался отделаться от неотвязной мысли: так вот что хотелось ему тайно увидеть... ее

пролитую; мол, ею заплатят за несчастья всех, люто разоренных и убиенных,— доволен теперь ее красным отблеском? Может, послано тебе это свыше,— глянь и скажи: ты этого хотел? радуешься ли? "Нет!" — воплем вырвалось из сердца: не искупительной была кровь секретаря — против нее лежал океан горя людского; им и такими, как этот секретарь, содеянного.

Счетоводу невольно глядеть на мертвого, и он переводит взгляд на стол, на белеющие там бумаги. Наклонившись к самой большой и забрызганной кровью странице, читает, и зрачки его расширяются от разящего смысла. дочитав, с минуту стоял молча.

— Разберите сами! — сказал и отошел прочь.

Вначале строки попали перед глазами Мирона Данилыча; и все же удастся прочесть. Сверху гриф: "Совершенно секретно", дальше — подтверждение приказа о сдаче девяноста процентов зерна государству, в хлебозаготовках и для семенных фондов; в самом конце — Москва, Кремль — и подписи.

От руки, буквами неровными и быстрыми, дописано: об искусственно завышенном плане хлебозаготовок, который невозможно выполнить — после ликвидации значительной части дееспособного населения. А далее вывод, что эти нереальные десять процентов обрекают деревню на смерть; с ними даже актив не продержишь на грани голода, не говоря уже обо всех остальных... "Эта директива — смертный приговор трудовому крестьянству, и я не могу..."

Еще раз перечитав запись, оставленную секретарем, МIRON Данилыч подытоживает:

— Был честен по-своему.

— И как жестко засвидетельствовал это! — сказал счетовод. — Другой бы скорее все село уморил... Сделаем так; выйдите в соседнюю комнату и сидите там, будто никаких бумаг не видели. А я дозвонюсь до сельсовета.

Взяв телефон, звонит,— которому повыше, сообщает, что случилось:

— Да! Нет, была одна уборщица... Думаю, он нарочно всех разослал с заданиями, чтобы остаться одному... Портфель? Нет, портфеля не видно. Хорошо, буду ждать.

Закончив разговор, счетовод прошелся по комнате, выглянул в коридор. Вынес женщине стул и распорядился до приезда властей никого из посетителей не пускать.

Прибыли они вослед за локтями Отроходина, который спешил, стремительный и властный,— авторитет для всех. Даже уполномоченный с его револьверным равнодушием к тому, о чем думают граждане за закрытыми дверями и занавешенными окнами, вынужден был вытянуться перед ним и уступить дорогу.

Рыжий распорядился: выставить у входа часового и приступить к допросу свидетелей. Когда же взгляд его упал на МIRON Данилыча, в сизых зрачках Отроходина полыхнули белесые свечи, и это было видно даже сквозь массивные стекла очков.

Кликнули одного из "свиты", это оказался широколицый и сильно, видать, побитый жизнью партиец из рабочих; ему было дано какое-то распоряжение; при этом рыжий тыкал пальцем в сторону Катранника.

Под покровом партийного чувства жила в Отроходине привычка, напоминавшая о себе с механическим постоянством, впрочем, осознанным. При каждой встрече с человеком, который мешает или просто чем-то не нравится,— непременно его подозревать, подключив для этой цели еще кого-нибудь, под стать себе. Такова была первая модель их групповой договоренности. Далее предполагалось установить вокруг жертвы зону заграждений — поначалу небольших, и уже здесь, в пределах контролируемой зоны, разворачивать все подозрения, преследуя единственную цель — убрать намеченную личность с жизненного поля. Ее всегда можно наихудшим образом оговорить, для этого всегда "имеется резон", а она — не могла защищаться. Против нее выдвинут непременно "идейные" обвинения, а она — молчи. Закрепят за че-

ловеком клеймо, что он "не наш", "не такой" — и он уже подсуден. Они — кучка ловкачей, и ничего более; но царствуют на арене жизни именно они, всенепременно. Прежде всего надо сбить намеченную жертву с привычной для нее линии поведения. И это удастся, потому что действуют они силою могущества хорошо налаженного в стране всеподозрения, самолично присвоив себе право преследовать жертву до конца, до гибели. Именно на этом строится путь к владычеству — красная лестница власти; подсиживай других и карабкайся все выше и выше, пока крысы не сделаются царями. Если не хватает для обвинения политического материала, найдут бытовой; выработают особый стиль общения с "осужденным на казнь" и доведут дело до степени государственной важности, приплетут сюда и философию жизни. Каждый раз заново смакуя скабрешную выдумку, наконец поверят в нее сами и будут наслаждаться ею в полноте ума и сердца, интеллектуально и чувственно, и станет она для них духовной пищей на вершине их исторической героики и особого призвания. Пафос сверхмировоззренческой подозрительности всех ко всем на практике непременно выльется в потребность спихнуть с жизненной жердочки тех, кого наметили, обязательно — спихнуть! — и захватить жердочку себе, в прямом и переносном смысле слова, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мирон Данилыч понял, что оказался дичью в силках подозрений, которые прочнее железных. И сердце у него упало.

Перед глазами те двое — Отроходин и его джура, друг и помощник, — как из кошмарного видения.

Главари осматривали самоубийцу, а один из помощников, взявший на себя роль следователя, допрашивал счетовода и составлял протокол. Затем наступила очередь Мирон Данилыча — на допрос, и желтолицый Отроходин приготовился слушать. Соответственно при нем и записано: о выстреле и женском вопле; возвращение и страх перед крыльцом. Вот товарищ счетовод подтвердит: он приободрил. Вошли вдвоем, глянули только издали. Подступать боялись. Товарищ счетовод сразу распорядился: тут сидеть, а я позвоню председателю сельсовета. Это — все! На вопрос, осматривали место происшествия или нет, трогали ль что-нибудь возле секретаря, Мирон Данилыч повторил: "Нет, боялись." Рыжий ел и щиплял глазами — после каждого слова. Закончив писать протокол, допрашивающий пригрозил: "Никому ни слова! за нарушение привлеку к уголовной ответственности; подпишите вот здесь..." — и выпроводил свидетеля из комнаты, точнее сказать — выгнал.

Мирон Данилыч уходил от крыльца стремительно, с тревогой на сердце, остро предчувствуя, что самоубийство это каким-то образом ухудшит его положение. Партийный оруженосец и его джура польхали в его воображении, словно нарисованные огненной краской; неотступно и угрожающе.

"... Ту бумагу прочли главари и сами слух разнесут, — размышляет Мирон Данилыч. — Дома женам расскажут. Те разболтают знакомым — и покатится... а за разговоры начнут, небось, сажать: верхнее начальство, узнав о случившемся, непременно захочет выслужиться — сдавит село, ровно клещами; беда!"

Дома пересказывает, что видел и слышал: о курорте и Зинченко, о жутком хозяине и милиционере, который пророчил роковой конец и был расстрелян.

— Сказал правду, за это и убили! — определила бабушка.

О самоубийстве в доме партии слушали со страхом, ожидая недоброго.

О секретаревой записке и кознях Отроходина Мирон Данилыч умолчал; зачем класть своим близким еще один камень на душу, им и так тяжело. События же растут, как горы, через которые надо идти, — над ущельями, — и неизвестно, кто выживет, а кто сорвется вниз.

8

Во второй половине дня распогодилось, и даже показалась горбушка солнца. Мимо окна промелькнули женские фигуры, среди них — тетка Ганна. В сенях зашуршало, и вот уже слышен осторожный стук.

Не успела Дарья Александровна отворить дверь, как ее поманили в сени, где в легких сумерках проступали лица — соседки и двух девушек.

Тетка зашептала:

— Сродственницы мои, пришли посоветоваться, а я долго думала и говорю: пойдем-ка за помощью к Дарье...

— Федора, надо советчице знать...

Одна из девчат приоткрыла на груди шаль, голубым и зеленым разделенную по синему, шаль окутывала ее, будто кирея, — и протянула сверток, закутанный в белый платок.

— Кать, помоги! — обратилась к подружке; та подставила ладони, поддержать вещь. Федора развернула платок.

И тогда в полумраке сеней, куда сквозь чердачный люк просачивались остатки вечернего света, сверкнула чаша. Узкий луч, прорвавшись сквозь щель, упал на ее полукружье, и вспыхнули на ней драгоценные камни, и определилась чаша на девичьих ладонях всем своим силуэтом, посылая сияние.

Женщины смотрели на нее из своего убожества, лишившись дара речи; стоявшая перед ними святыня была им хорошо известна. Меньшому из ребяти, Андрейке, не терпелось увидеть маму; выглянул он в сени и застыл от удивления:

— Звезда утром! — и указал на чашу.

— Да, правда, однако ступай в хату, я скоро.

Тетка просит:

— Подскажи, Дарья, где схоронить-то! Вчера Федора и Катря выхватили чашу у комиссии, почитай, из самых рук. И закопали за хатой. Теперь ихнего двора очередь на обыск. Найдут, анафемы, и заберут.

Хозяйка смотрела на отблески, и казалось ей, что неведом путь, коим идти незнаемо куда и как; идти долго и тяжело, запасшись нечеловеческим терпением, и, не единожды упав, снова подниматься и идти до последней черты, до предела, так надо.

Глаза пообвыкли в полусумерках и находят древнюю надпись на чаше — о крови "за многих изливаемой"; изображено: Иисус Христос, распятый на кресте, подле него Богородица и апостолы. По ободу чаши украшение — с тонкими веточками; и самоцветы, охватывая крещатый узор, разделяют картины из святого Письма. Драгоценные камни везде: квадратные, в золотой, как вся чаша, оправе. Низ сосуда тоже в окрасе, только пошире волнами, такой же стебель и подставка: трехступенчатая, в топазах, и узор меж камнями.

Смотрит на чашу Дарья Александровна и чувствует, как отошла, истаяла над нею беспробудная темень; так хорошо на душе; покой несказанный. Кажется, стояла бы тут бесконечно. Напряженно думает и не находит ответа: где схоронить чашу? Наконец вздохнула:

— Давайте спросим у мамы!

Бабуся, когда ее призвали, тихо стояла пред чашей, слушая Ганнину речь; и перебирала в уме, кто бы мог спрятать — надежно? Ответ пришел сам — жена печника, богобоязненная молчунья; хоть на огне ее жги, не скажет, где закопано. Мужик у нее покладистый, если она согласится, все будет хорошо: оба не землепашцы, земли у них отродясь не было, а раз он для колхоза трудится, рыться у него в огороде не станут.

— А ну кликните Марьяну, жену печника! — сказала старуха. Все обрадовались — и правда, во всем селе не найдешь ее надежнее. — Печник не в нашу церковь ходит, а на домашнее пение он ведь евангелист. И человек честный.

Мать велит младшему:

— Беги к печникам и скажи тетке Марьяне, чтобы немедля шла — очень надо!

Он юркнул в дверь, но мать, выглянув за порог, вернула.

— Никому о чаше ни слова! Иначе нас всех арестуют и хату развалят, — запретила строжайшим шепотом.

— Я буду молчать! — и он побежал к воротам.

Федора снова обернула чашу платком и, прижав к груди, скрыла под тяжелой шалью, ниспадавшей складками к земле.

Хозяйка сказала:

— Славно! Выхватили прямо из когтей.

— Мы с людьми еще во дворе сговорились, — делилась Федора, — вбежать и унести что можно, чтобы не попало в нечистые руки. Мне самой бы не пробиться, это все Катря — работала впереди меня локтями, комсомолцы сыпались, как груши.

— Ну зачем говорить, разве такое было? — смущается Катря, русая, стройная, как тополек, коричневый жакет поверх вылинявшего, когда-то зеленого, платья.

— Да что ж это мы в сенях? Идемте в хату!

— Нет, нам пора, — отвечает тетка. — Разве что посидим чуток на завалинке — хоть на небо поглядим. Скоро и этого лишат.

Вышли — три последних солнечных луча. Соседка жалуется:

— Ворвались вчера, все верх дном перевернули; выскребли, как собаки, и забрали весь скarb. Я к сестрам. Хоть и недалеко до ихнего хуторка, все равно задержалась, пришлось у них заночевать. Говорю им: спасайтесь, родимые! Прячьте все, как есть, и не во дворе, а в лесу или в поле. Поезжайте ночью, закопайте, да поглубже, чтоб они острыми своими спицами не достали. А то до ниточки оберут, подчистую. Мы-то со стариком как-нибудь перебьемся, он на заработках, я тут; а ежели и сгинем, то только двое, а у них дети малые.

Сидят женщины на завалинке, что рыжее глиной в вечернем свете; стена за спиной у них — белым-бела, словно серебряная. Кажется, во всем мире одно лишь солнце слышит их жалобы, да и оно заходит.

Андрей застал печников за ужином: вареная картошка в миске, на блюде лужица постного масла и рядом соль; хлеба на столе нет. Услышав, зачем прислали парня, печничиха стала собираться.

— Может, доели бы с гостем, опосля пойдешь? — спрашивает печник.

— Хватит уже!

Набросила поверх поношенного платья старый мужнин пиджак. Приглашает Андрея к столу:

— А ты, сынок, присаживайся. Картошка еще осталась.

Женщина немолодая, в летах, только вот ростом не вышла. На лице, рано увявшем от забот, проступают черты былой красоты; оживляют его карие очи, тонко очерченные, как середина цветка, чистые и ясные.

В селе знают: жена у печника — молчунья и добрая. Сколько печей и дымоходов сложили они за четверть века, не сосчитать, и — иголки чужой не взяли, а ведь по целым-то дням — среди чужого добра. Их редко звали Максим Бережан или Марьяна Бережан, чаще говорили просто — печники, потому что при печном деле были они одни на все село, оба мастера своего дела, золотые руки: кирпич да глина, зола да песок, сажа да пепел.

Парнишка поначалу оробел, слишком косматые были у печника брови и нависали над глазами грозно, словно две стрехи; но глаза оказались добрые и такие синие, будто обнимали весь мир своей синевой. Андрейка сидел смирно, макал картошину в масло и осторожно, чтоб не рассыпалось, подносил ее к губам. Вкусная! — сама тает во рту.

— А тебя часом не Андрейкой звать? — прогремело вдруг из-под усов цвета спелого колоса, ровно подрезанных, а таких маленьких, что парень даже удивился, откуда столь грозное громоыхание.

— Андрейкой, — подтвердил гость. Он уже догадался, что печник помнит его по прошлой зиме, когда ладил у них печь.

— Да ты соли картошку, не стесняйся!

Мальчуган послушался и ощутил, как обостряется сразу вкус, и как он входит в чувство.

Доел, утер губы и, поблагодарив хозяев, хотел идти домой.

— Чуток погоди! — велит печник.

Открыл шкафчик; перекладывал с места на место пустые коробочки, склянки, узелки, пока не попался ему кусок сахара, — протянул мальцу.

Андрейка осторожно откусил от белого камешка, остальное — бережно упрятал в карман.

Страх постепенно исчезал.

— Дяденька, а как делают сахар? — спрашивает Андрей, а сам смотрит на печь, кривую и низкую; и это-то у волшебника, который всем печи кладет, как картинки.

— Везут белую свеклу, которая называется сахарной, — начал печник, — на завод везут, чистят и гонят под ножи, закрепленные на колесах; стружка оттуда бежит, как шинкованная капуста. Стружку эту — в котлы величиной с дом, и варят. Начинается сложная песня — я забыл, хоть и знал немного. Варят так, что из сечки сахарный сок сам всасывается в горячую воду, и дальше уже варят кристаллик; добавляют что-то, этого я не знаю. Выварив все до конца, сливают жидкость в эдакие страшные посудины, которые вращаются и режут почисте твоего зверя. Возле сеток кристаллик задерживается, а жидкость сливают. Бурый этот песок выбирают и везут сушить в лежащих бочках. Они с двух сторон открыты и крутятся, перетряхивают песок под ветродуями. Уж и не знаю, как они его затем отбеливают. Я у них брал маляк, когда у нас была корова. И на заводе немного работал, в литейном цехе сообща клали печь.

— А вам кто клал печь?

— Печь — мне?

Мальчишка молча кивнул на печь в хате.

— Я сам! — уверяет печник.

— Нет, обманываете...

— Правда-правда, я сам! А почему ты спрашиваешь?

— Печь-то — кривая; а клали бы вы — была бы красивой, как наша. Хохочет печник. Даже слезой прошибло.

— Э, паренек, — говорит он, наконец унявшись, — об этом и присказка есть. Идем, что-то покажу!

Вскоре старый и малый сидели в сарайчике, разбирая образец печи и ее секреты. Пацан осмотрел инструменты, острые и плоские, лежали они тут среди кирпича и кафеля, вьюшек и заслонок, меж колосников и другого железного и деревянного скарба, нужного мастеру.

Спросил о недоброй тайне каждой печи: "Отчего ночью сажа сама горит?" После полученного разъяснения стал осматривать двор. Вот осыпавшаяся шелковица с ветками, протянувшимися через все подворье; говорят, под этой шелковицей печник по воскресеньям читает.

Огненными листьями осыпаются в сумерках вишни — их четыре — и одна груша, ровная, как свеча; две сухие сливы, во все стороны сучья колючие. У самого забора шеренгой выстроились тополя. Заросло все; хозяевам недосуг, устают после работы, нужда, где уж тут ухаживать за деревьями и кустами. Хотя тропинки аккуратно устланы галькой и щебнем.

Поляна у вишен; сейчас на ней ничего нет, а когда-то была клумба: ровные холмики, покрытые зеленью, говорят о том, что красовалась она в форме звезды. Рядом куча битого кирпича, видно, хозяин хотел обновить рисунок.

Тишина и покой. От улицы далеко, она закрыта кустами жасмина и сирени. Мальчонка припоминает: рядом — пустырь, возле которого они вчера с Миколкой ждали отца. Но здесь ничто не напоминает о пустыре — и не догадаешься, глядя отсюда. Тут царит какая-то иная подлинность, иная реальность, никому еще пока неведомая, и к ней, неведомой, малец прикипает чувством и взглядом.

Во двор вошла жена печника, с ней Федора и Катря.

— Беги домой, мать звала, — кивнула Федора.

Уходя, Андрейка представил себе: где-то тут спрячут сокровище. Но сразу же вспомнил, что мать строго-настрого запретила даже думать об этом.

Вдруг, уже на подходе к дому, навстречу ему человечек, с рябым, словно исклеванным лицом и мерзкий, словно сера, посреди которой темной охрой пылают нехорошие глаза! — жжет он мальчишку взглядом, как на допросе, и надвигается на него, почти прилепившись к их двору. Малец отпрянул в сторону, юркнул в калитку и оглянулся: прицепливый медленно двигался дальше.

Услышав о рябом, отец помрачнел:

— Нынче приспособились не хуже легавой: крикнут ей — взять! — она и вцепится в горло.

С тех пор стал Мирон Данилыч внимательно смотреть по сторонам; знал, что двор под присмотром горящих глаз все того же рябого, который и ночью, казалось, видит, как днем.

Микола и Оленка совсем оголодали; мать накопила в огороде капустных кочерыжек, тем и утешила. Андрей разделил сахар: пить кипяток.

Возле дома, после того случая, с утра до вечера пасет их теперь сернистомордый Шикрятов; подглядывает и подслушивает, что там делают Катранники. Вконец измучил. Сидят безвыходно, как белки в дупле дерева, облаянного собакой: и поверху не перебежишь — нет ветвей.

Однажды вечером цепной пес Отроходина куда-то отлучился, воспользовавшись этим, Мирон Данилыч набрал из запаса пшена. Опечалился, увидав, как быстро тает схороненное; теперь останется только свекла, зарытая на пепелище, — харч невкусный, но какой-то месяц можно продержаться, на грани смерти.

Все так отощали и ослабли, что стала их дрожь бить; а в сердце у каждого залегла горечь.

Ведро оттягивало руки, однако Марьяна, привыкнув к его весу у криниц и журавлей, преодолевала усталость и слабость, как терпеливый муравей, но работать в крошечной тьме было все-таки жутковато.

Трудились наощупь у двух куч: на одну высыпала землю, опрокинув ведро, вытянутое из ямы, другая состояла из нарезанного на пустыре дерна, к которому муж приставил ведро с цементом и прислонил лестницу.

Поначалу лишь откидывала землю от края ямы, чтобы не осыпалась, потом натужно тянула из глубины набитые землей ведра, и все это надо было делать бесшумно.

Иногда печник и его жена пережидали, пока стихнут шаги на улице или прогремывает подвода, и вновь брались за свой тайник, похожий на неглубокую шахту.

Сверху изредка сеялся мелкий, как мак, осенний дождичек, и тут же стихал.

Бережан раскапывал дно при слепом каганце, вставленном в коробку, на которой сбоку блестела прорезь, как в копилке. Он старался не думать о только что полученном известии: отныне ему, печнику, нет и не будет больше в колхозе работы и, стало быть, из села надо уезжать.

Шахта становилась все глубже — сюда железные "щупы" бригадников уже не доберутся. Пора выкладывать сам тайник: в квадратной яме, на самом дне, ровно посередине.

— Подай лестницу! — шепотом попросил он из темноты.

Марьяна спустила лестницу, и печник, поднимаясь по ней, принимал

кирпичи и складывал на дне, затем опустил туда цемент и свои инструменты и, наконец, ящичек и доски.

Выложил квадрат из кирпича и вставил в него ящик, казавшийся темным, хотя был он на самом деле синий. В нем — чаша, обернутая, как и раньше, белым шелковым платком, и по нему — листами вошеной бумаги. Щели меж досками тщательно залиты воском. Сверху все густо покрашено масляной краской.

Бережан в два слоя заделал тайник кирпичом, накрыл все досками и забросал землей. Выбрался из шахты. Вытянул лестницу: посидел немного, переводя дух.

Засыпали яму, бесшумно двигая лопатами, возились как ночные птицы.

Вновь моросит дождик: мелкий, мельче пыли.

— Как раз и следовало полить, — сказал Максим. Примется зелень.

— Примется, хотя дело к осени! — ответила жена.

Близилась предраассветная пора, когда закончили работу: ровно уложили квадраты дерна на вспапанной земле. Непривычному глазу трудно заметить, что поверхность тронута.

Отнесли инструменты в сени. Хата дохнула теплой тишиной; окна — синие, словно колер на спрятанном ящичке. Кажется, вот-вот сквозь сумрак проступит, пылая, похожий на чашу, обод солнца. Но нет, тучи закрыли горизонт и сеют мельчайший плач, отделив окна от света, как насыпанная земля — очи людские от чаши. И сердце тоже прячется: в свою печаль.

Исполнен дома последний труд. Теперь вяжи узлы, бросай родной порог, потому — нет работы. Как нет? — да ведь печи-то сплошь пообваливались и дымят. А так решено: пусть дым людям глаза ест, потому что главари экономят, как бы себе урвать — получше.

— Найдем работу в городе! — сказал Максим. Жена оглянулась.

— Работу найдем, — повторил он, — сказали, тут нет.

Молча ставила Марьяна чугунок в печь, растопив соломой.

— Чудно как-то: председатель колхоза, Вартимец, встретился, идет — не замечает, только когда нос к носу столкнулись, брови вскинул, словно проснулся: "Максим, ты?" — спрашивает и смотрит, сам не свой.

— Наверно вам плохо или голова болит? — говорю ему. А он: "Не болит, кругом идет. Головокружение".

— Отчего?

Он оглянулся на разоренные сараи, где скотина передохла:

— Отчего? Жужжат газетки, что у нас "головкружение от успехов".

Как пришибленный стоит, тянет горестно:

— Та-а-ак...

Жаль его стало, я и советую:

— Да выбросьте вы из головы заботы, думайте о чем-нибудь другом!

— О чем? — удивляется он. — Везде одно и то же, и акты составлены, что я виноват; отстранят от должности, вот что. Двигайте и вы отсюда, потому что работы мастеровым людям не будет. Освободят, чтобы оставить без копейки. Так решили.

Вартимец ушел; я шатался как сонный. Думаю: бедный человек, при должности и партбилете! — к бесу приписан, а тот с первого же дня его калечит. Нам бы тут — беречь, что люди доверили. Ан нет, — тянись под городские заборы. Забью окна досками: комиссия увидит, что пусто, и безо всякого щупанья отвалит. Разве что воры заберутся. Да за чем полезут-то — за горбатыми горшками? Я спрячу их в подпечье, и кирпичами заложу: там низко, словно глухой подмуровок лег. А работа в городе найдется. Ты — как на это?

— Да мне-то что! — бросила жена. Стало быть, ей все равно. Максим знает: хоть и молчит она, а приняла к сердцу. Рассказать ли, как Вартимец о смерти расспрашивал? Колеблется печник.

Дождик перестал; сквозь тучи разлилась белесая светлость.

— Выхожу я с колхозного двора, — опять встречаю Вартимца: смотрит испытывающе. Советует перейти на кирпичный завод — они там печи будут перекладывать и им понадобятся каменщики. Дают семейные углы

в бараках. И сам бы пошел, да на привязи — цепь не пускает. Благодарю его и смотрю — подобрел человек; он мои мысли угадал:

— Улыбаешься, потому что заговорил по-иному, не так, как раньше?

— Нет! Радуюсь...

Он поднял голову и посмотрел на меня внимательно, словно впервые увидал:

— Нет уже того Вартимца, прежнего. Знаешь, за час бывает жизнь перевернется. Служил им, как вол, рвал жилы на себе и — всех подгонял, верил: вот правда! Они же по центрам дров наломали чертям на растопку. С нами обходятся, как дурные хозяева с собаками. Вот и я: пойду под суд, могут и в концлагерь загнать, и под расстрел подвести, значит, я для них ничто. Верить, что есть черти?

— Злые духи; без личин, как их малюют.

— Что ж они в котлах варят? На кухне аль где?

— Без котлов и кухни.

— Вишь как! — сказал он, — а то бы надо индустрию ввести для котлов, на целое множество; и рудники нужны, с непрерывностью, в четыре смены, и десятники, и крепильщики разные, потому что — откуда же чугун? — и каменщиков для печей и кирпичных заводов — много всего надо. Смотри, у нас руды полно, а поди купи кастрюлю — редко бывает, и цена аховая.

— Там без котлов, и огонь всегда, — говорю ему. — Будут грешники и демоны, али нет, — огонь не гасится.

— А отчего огонь? Ты печник и должен хорошо знать, на чем-то же огонь держится?

— Не знаю, — признался я. — Там огонь горит не так, как наш. Тут, коль ударил мороз, который тоже, вишь, без ничего и ни на чем не держится, — однако дух зашибает. А там не мороз — похуже, стораает в тебе вся внутренность, сама собою. Где нет милости от Бога — никакой! — там все горит огнем. Состояние такое. Это все равно, если б кто спрятался от солнца в землю, в самую что ни на есть ее сердцевину. Уже ни тучка не даст тени, ни ветерки не повеют, ни деревце не убережет от зноя, — ничего, что от солнца явлено, один огонь. Говорю для примера.

— Похоже, ты в точку попал! — соглашается Вартимец. — И хорошо, если не запроторят в самую середку, потому как вместо Сибиряги — туда гнали бы по этапу. Вона, как теперь меня. Ночью по снежку сбежать можно. Не забудь о кирпичном заводе, туда возьмут с десяток каменщиков, мне сказали. Поспеши, а то ведь тут завяжут под самую петельку!

Вартимец ушел, а я не знаю, что и думать; странный он...

— Отчего же странный? — подала голос Марьяна. — Сердце у него проснулось; беда научит.

— Право слово; у него и вид был такой, словно он вырвался ото сна к живому дню. Пришел к самому краю и чует, где стоит.

— Выходи, опишь свеклы будя!

Старшие побледнели: найдены бураки, и теперь скоро конец.

Вышел Мирон Данилыч к разрытому пепелищу, похолодев от страха. Немного той свеклы, а крику вокруг, будто отыскивали царскую кладовую. Перекаладывают находку в мешок и составляют опись. Шикрятов рад! — и кроет матом; руки от волнения вразлет, сам из желто-сизого становится красным, почти как вырытая свекла. В руке "шуп", как мечущий молнии меч демона.

Мирон Данилыч безмолвно стоит при всем этом крике; знает: вот она, рукой подать — смерть.

9

Пробыли в печали, будто похороненные заживо, полдня. Оленка прижалась к матери:

— Есть хочу!..

— Тихо, маленькая, терпи!

Мирон Данилыч решил: "Наведаюсь-ка я в магазин"; выходя, глянул на дочь — так похудела, что личико стало почти прозрачным.

"... Бедная моя,— казнится он,— мы, старые, терпим, поскольку грешны, а она безвинно за нас страдает".

Спрятав под локоть торбу, побрел к площади, хотя зн л, что место это немногим харчевитее пустыни; лишь по редкому случаю на прилавках — продукты.

Очередь! — никак привезли что-то.

Мирон Данилыч спросил дедку, школьного сторожа, обеими руками опиравшегося на палку:

— Что?

— Я даже удивляюсь, отвечает дед,— дают муку не знамо какую, уж не из собачьих ли костей. Животы скручивает, кто пробов л: вона как! И дорогая.

— Отчего же берут?

— А что в рот положишь, глину? Берут, потому как название — мука. Женщина тут одна — уже несла; от такой муки до тесанного креста, как от тебя до меня — один шаг.

Мирон Данилыч достоял таки до весов; глянул на едкую смесь и, как нюхнул,— шибануло ему в нос трупной затхлостью... Нервы взыгр ли, и что-то под грудью, словно дернувшись на привязи, с резкой болью пыт лось рвануться и вырваться наверх. Подышал на чистом воздухе, прислонясь к стене, перестоял слабость.

Многих воротило от едкой гнили, намешанной на продажу.

Мирон Данилыч присоединился к нескольким мужикам, направлявшимся к хате какого-то заводского рабочего, где дел ли подсолнечное масло. Там, сказывали, продают макуху, с большой наценкой, но хорошую.

Заходят. Отец хозяина, в преклонных годах, седой, хранил макуху в дырявом мешке под лавкой.

Вот, четыре кружка сторговал, жирные, когда берешь в руку, с резким и густым запахом; необычен разве только цвет...

"Темновата, как для рисовой!" — подумалось Мирону Данилычу. Прикупил также колотой на куски, эта — из табачного зерна, масло от него идет на краску.

Принес добычу домой и выгрузил на стол. Его обступили: разглядывают, трогают, отламывают кусочки и едят, кто без воды, как Андрей, а кто размачивает, все хвалят.

— Словно пряник,— говорит бабушка.

Пробует табачную.

— Нет, эта не такая!

— Эта похуже,— соглашается Дарья Александровна,— съедим, однако, если забрали свеклу.

Советуются, как ее разваривать и что к ней добавлять.

Тетка Ганна приходит — расхворалась; пробует макуху, интересуется, у кого купили.

— Пойду и я. Худо мне: была у Йосипенок, страшной муки купили, из какого-то зерна, похоже на лен; и сразу испекли корж... Я попробовала, теперь душу разрывает, едва хожу. Смотрите, не покупайте этой погибели! По два пуда в одни руки отпускали, люди накупили и мрут, как мухи, все подряд! Ой, нехорошо мне! — а я ведь только от краюхи чуток откусила.

Взяв, как праздничный гостинец, кусок рисовой макухи, тетка двинулась восвояси, едва переставляя ноги.

Несколько недель Катранники спасались макухой; но вот и она стала кончаться. Глянули как-то утром — остатки рыжеют.

Холодный день начинался в чистом небе, как вымытое зеркало, да быстро испортился; заволокли его свинцовые тучи, утопившие село в сумерках

Снова покупает Мирон Данилыч макуху; снова выискивает в огороде какую-то мелочь.

Дети отошали и не могли уже высидеть в школе. Мучит их голод.

— Если бы бурачки, — жалуется старуха, — можно сварить и дать по одному: пусть подкрепляются дети на перерыве, а так — чего же их изводить?

— И наука странная; сегодня пойдут, и хватит, — сказала мать, — возвращаются еле живые.

Школьные занятия в селе начались поздно — после плохого ремонта школа до осени оставалась развалюхой в лесах.

Побудут дети в школе и разболеются; голова у них кружится, в желудках — резь, и слабенькие становятся, двигаются как тени. Дома полежат, отойдут чуток.

— Чему вас учили сегодня? — спросила как-то мать.

— Учитель объяснял, что наши родители — саботажники...

Мать промолчала. Но подумала, что на какое-то время ученье лучше прервать: "В самом деле — зачем? Дети, искалеченные ими же устроенным голодом, будут еще и душами уродоваться, обучаться неправде о родителях".

Сегодня, едва они вернулись из школы, мать снова спросила:

— Чему учили?

— О партии, — ответил Андрей, — как при ней хорошо...

— Чтоб их так хорошо разорвало с нею вместе, антихристов! — буркнула в сердцах бабушка.

В этот черный день на детской науке была поставлена точка.

Миколка стал почти землистый; запали не только глаза и щеки, но и душа. Рубашонка висела на плечах, как на жердочке.

Молчит он, поглощенный большими мыслями. Это как загадка, за знание которой демоны и их прихвостни убивают сразу, в одночасье, пытаются вырвать из жизни и сам корень.

Как-то Микола сказал отцу:

— Половину учителей забрали, нет нашей истории...

— Недаром же забрали! — бросил Мирон Данилыч. — Помалкивай на людях о таких вещах.

Тревожило, что парень стал все чаще ложиться, как больной, с открытыми глазами.

Младший сохранил живой блеск в глазах, но стал похож на маленького старичка: голова большая, а шея тоненькая, как пшеничный стебелек, и на нем качается голова: и смеяться перестал.

Только у Оленки чуть теплится радость во взгляде, но радость эта уже кажется нездешней — дочка стала похожа на восковую свечу: догорает чистым огоньком. А тетрадь все прижимает к груди и смотрит на маму, как зачарованная. Будто хочет сказать что-то очень важное, но не может.

Харитина Григорьевна за осень сразу одряхлела — тень себя прежней: рука дрожит и с глазами совсем стало плохо, нитку в иголку вдеть не может.

И кажется, время летит, как пыльная буря, — всех их вместе с хатой несет, словно паром, оторванный от троса, к неведомой пропасти, к водовороту, который чернее ночи.

Дарья Александровна, хоть и ест меньше других, — все детям отдает! — каким-то чудом еще держится. А высохла: когда кутается в платок, завязывая под подбородком, по его обводу над челом, похожему на свод старой иконы, становится видно, как сильно она сдала.

Губы очерчены страданием и строгостью, а вместе — чувственная негромкость... "Праведница моя!" — внезапно для себя отозвался к ней всем своим сердцем Мирон Данилыч, да вслух этих слов не сказал; боялся, — произнесенные, они утратят искренность.

Дети еще немного посидели в хате, дожевывая остатки макухи, затем выбрались вместе с родителями на промысел; дома — одна бабушка.

Долго рылись в огороде, не осталось ли чего съестного меж корешков.

Околицею, через глухие подворья, которых после высылки осталось

немало, детвора сыпанула в поле, на заброшенные огороды, и уже оттуда — домой.

Разыскали с десяток картофелин, несколько свеколок, пару усохших подсолнухов почти без семечек и кочан капусты.

"Забавляются, сердешные, и не знают какая ждет их впереди беда!" — пригорюнился, глядя на детские раскопы, Мирон Данилыч.

Для него сам мир уже изменился; был он с незапамятных времен четок и нерушим в устоях и на нем держалось все, чего нельзя было объять разумом, вся красота и богатство видимого и сущего, основанные на твердом законе. А нынче мир сдвинулся — весь, полностью, будто устои его уже рассыпались, отчего стал он бурлив, темен и насторожен — дали и глубины вмиг отзываются на каждый взмах руки и даже на взгляд украдкой. Ясность порушена: чернотой поросло пространство, и отбор событий в нем наполнился враждебным смыслом, противным душе. Свет воедино доселе неизвестные вихри; отчаянно великие и слепые, — и стал их вращать со скоростью, которая с каждым днем все больше и злее, так, что для души и вовсе не осталось места. Душе предстоит убедиться в том, что она обречена уйти отсюда в небытие, терпя непосильные голодные муки, — неизвестно за что.

Горчайшая осень! — а вот поди ж ты, близится зима, которая и того горше; как ее пережить?

Покопавшись без всякой пользы в огороде, Мирон Данилыч вознамерился сходить за село, к мельнице: кое-кто умудрялся принести оттуда фунт-другой муки; ах, если бы поесть хлеба, настоящего! — можно, можно бы выжить!

Чувствовал в себе непривычную слабость, даже недуг, от которого вздрагивал всей грудью: его начинало трясти, как в лихорадке. В глазах темнеет. Ноги не слушаются; хоть и ослабели, а все равно тяжеленные.

Изменилось даже зрение! Все вокруг приготовилось течь перед его взором, утратив и равновесие прежнего обозрения, и постоянство. Изменился сам внешний вид вещей — они стали восприниматься, как бы встревоженными и лишенными доброй былой значительности. Все стало раздражать Мирона Данилыча, его, обычно спокойного сердцем, как вода в пруду... вот, стоило зацепиться рукавом за колючку шиповника, и он так разволновался, что едва не порвал одежду, — хотел сразу рвануться. С какой-то болезненной, почти детской обидчивостью ударялась душа о всякую мелочь, хотя в то же время при жгучей ранимости и обостренности в теле происходило глушение, из-за чего вещи, чрезвычайно когда-то важные, угасали значением для мысли, как совершенно пустые. Надо всем — неограниченное господство кривды; она ранит, впивается жалом в кровь сердца, впрыскивает яд, непереносимая боль от которого обволакивается комком тревоги. Кажется, ранит любое прикосновение; а вместе с досадной хворью сердце, как в тисках; и чувства словно цепями скованы. Оттого и не дают мысли выскочить за этот круг беды, вырваться из непостижимого плена, подбирающего себе жертв, плена, исполненного лютой горечи и подобного морю. А тихая сила в человеке ежеминутно противится плену и тлену; и потихоньку-полегоньку возвращает его к былой примиренности с миром...

"Будь что будет!" — решает Мирон Данилыч, направляясь к мельнице; не спеша, — вконец обессиленный, — отчего дорога показалась ему намного длиннее, чем прежде.

Поначалу не узнал строения — какая-то крепость возвышалась над железнодорожной веткой и бурьянами. Вокруг сновали люди, словно мухи, мелкие и серые на фоне стены, могуче обшитой свежей древесиной.

Мирону Данилычу пришлось присесть на холмике, — натрудил ноги, — самое время перевести дух среди таких же, как он, горемык.

Сел и смотрит на высоченный забор, возведенный вокруг мельницы: к чему сие страхолюдное ограждение?

Один из пришлых, подросток — голая башка и, как бумажка, белая, —

спросил у крестьянина с редкой бородашкой, на котором обвис столетний армяк:

- Дяденька, а зачем мельницу закрыли?
- От таких, как ты! Сколь будет аршин, как ты скажешь?
- Пять либо шесть...

— Вишь, не угадал! — девять аршин высотой. Потому что кое-кто так делает, вот, если б твой отец был: видит, что дети голодные, взял рукавичку от материнской сорочки, насыпал муки полнехонек да и выбросил через забор — в бурьяны. А ты бы, скажем, с братиками и сестрами подобрал. После такой вот переборки всю детвору опухшую, что в бурьянах вокруг слонялась, выловили, а мельницу обстучали — вишь какими государственными досками!

Молчит парень, глядя на крепкий забор и на вагоны, которые все идут и идут: порожняком — в ворота мельницы, груженные — оттуда.

— Вона, железным колесом наш хлеб тянут: от твоего рта и от моего — прямиком на Москву и оттуда далее, далее, чертовому сыну! — сказал дядька.

Слушал парень, а меж тем стороною, прячась под забором от милиции, несколько его однолотов стали подбираться к воротам. Кое-кто из стариков тоже двигался туда напрямик; люди, словно ослепнув от боли, утратили твердый шаг.

Голодные, кто постарше, кто помоложе хотели, прячась за выезжающими вагонами проскочить на мельничный двор. И проскочили бы, но из-за ворот показались милиционеры: быстрые, словно спущенные с цепи. Дубинками разгоняют — бьют по чем попало. Лежат, не двигаясь, искалеченные или неживые: их за руки, за ноги оттянули от ворот и бросили в придорожный бурьян.

Мирон Данилыч стоит в страхе, башмаки будто приросли к желтой траве. Небольшие группы крестьян застыли в отчаянье: худые, как обгорелые щепки, рвань вместо одежды, лихорадочные взгляды прикованы к воротам. Там их хлеб, добытый кровавым потом, там — мука! — можно испечь буханку и выжить, и спастись... ибо клонит беда к земле, в черноту, и нет никакой надежды на спасение и подмогу.

Совсем ослабевшие и больные ложатся на землю — не шевелятся; кое-кто умер: так близко от ворот!

Прибывали грохочущие поезда, ползли друг за другом, как исполинские гусеницы, напившиеся крови из-под ребер мертвецов; от Москвы шли сухие да легкие, а отползают — земля прогибается под их тяжестью.

Милиционеры стоят: неподвижно, как степные древние истуканы, высеченные из камня, выцвели мундирами и смотрят выветренными взорами поверх лежащих.

Тарахтит подвода; возчики собирают мертвых и увозят в степь, оставаясь неподалеку от мельницы; там, в неглубокой яме, закидают землей. Спешат взвратиться назад, за новыми мертвецами.

Воронье суетится, черные птицы то присядут в стороне, то сорвутся и кружат темной метелицей, пронзительно крича, а то замрут широченной дугой над степью, мельницей и людьми. Однако вагоны, выкатываясь, заглушают их карканье своим красным грохотом, дребезжаньем и перестуком. Все идут и идут они от мельницы, как от харчевни, — куда-то на север. Мирон Данилыч провожает взглядом красную вереницу вагонов, которая уже застит ему глаза и кружит голову.

Придя в себя, он поднялся и стал ходить недалеко от ворот, чтобы немного размяться. Потоптался среди полутрупов и неверной походкой побрел в сторону. Те, что помоложе и похужее, тоже возвращались от неприступных ворот, опережая его; один все повторял:

— Теперь только на Воронежчину! Там есть хлеб; сосед говорил: за верхнюю сорочку выменял муки. Одежда вся идет.

Тем словам Мирон Данилыч не придавал особого значения. Но чем дальше отходили говорившие, тем слова их все больше и больше врезались в память. Возбуждали надежду, хотя и слабую, — добыть хлеба... "А,

гляди, удастся? Надо ехать, именно — на Воронежчину! — если есть у них там хлеб, выменяю".

С этой неотступной мыслью вернулся домой. И снова прилег на лавку — устал! — руки безвольны, словно чужие, на груди. Лежа и рассказывал о мельнице — тихо, как выписанный из больницы; когда же к слову пришлось, сказал о Воронежчине, жена согласилась: надо ехать.

— Есть у нас немного полотна белого, на белье; можно повезти и что-нибудь из верхней одежды.

— Найди! — просит он. — Это возьмут.

— Вдвоем поедем.

Мирон Данилыч отрицательно мотнул головой.

— Нет? — допытывается жена.

— Почему вдвоем? Вещей не так много — на одну руку переброшу. А деньги за билеты немалые.

Мирон Данилыч лежал, глубоко дыша полной грудью, до стука крови в висках. Поднялся, немного окрепший, пожевал макухи; какая ни есть — все еда, вот только мучительно после нее, сколько ни запивай. Пожевать бы зелени какой — перебить привкус.

Взял мешок и вышел из хаты. В воздухе как будто остановилось что-то. Остановилось и застыло в сонной неподвижности, вопреки дуновениям ветерка, свежим, даже пронизывающим. Тучи серые и низкие. Наверно, скоро снег повалит.

За селом Мирон Данилыч выбрался к ручью, что бежит через Змиев яр и впадает в речушку. Там над темной глубиной — запруда; излишек воды сбегает из-под мостков вниз, в болотистую топь, поросшую ряской.

Добытчик подкатал штанины и начал лихорадочно рыть, используя подвернувшуюся под руку палку, как делали его далекие предки на заре человечества, рыл везде — на берегу болота, пруда, ручья и речушки, шел вверх против течения, до самого оврага. Тянул корни из вязкой тины, собирал съедобные стебли и — в мешок; даже листья очищал, которые помягче: все — в мешок. Принес домой и сказал:

— Это на обед. Стебли можно есть сырыми.

Жевали неохотно сырые стебли и расходились. Сварив корешки и листья в большом чугушке, мать налила в общую глиняную миску, посолила; хлебают. Горячая похлебка немножко подкрепляет, хотя после такой еды и подташнивает — до боли.

Дети молчат. Даже странно. Раньше, бывало, заведут свою песню: "Кушать хочется!" — а теперь притихли и мучаются безмолвно; все понимают. Откуда у них терпение? — как у стариков.

Жена с матерью перебирают скудное добро; выбрали два полотенца, кусок полотна, одну сорочку и скатерть — менять на хлеб. Положил хозяин вещи в торбу, а эту торбу — в другую, побольше. Стал прощаться с родными. Когда уходил от порога, растревожился очень, вослед ему тихо плакали.

10

Истлела на закатном небе лимонная полоса и сгнула во мгле небесного покрывала, в сумерках ветреного вечера.

Сорвался снег и повалил косо: такой густой, что ни былинки не видно на обочинах.

Мирон Данилыч знал все ухабы и колдобины на пути к железной дороге, потому шел уверенно, согнувшись под порывами холодного ветра. Неожиданно наткнулся в темноте на каких-то людей; тоже — согбенные, тоже с узлами; и узнал их — односельчане, семья Савченко: сам недавно вернулся из Сибири. Все тут: он, жена и двое мальчишек.

Мирон Данилыч поздоровался и хотел было пройти мимо, неизвестно ведь — захотят ли они попутчика? Однако чувствует, как трудно ему

ступать против ветра, и замедляет шаг. Савченко первым окликнул, разговорились.

— Вот, идем семьей,— жалуется,— не знаем, где голову приклонить придется.

Сквозь густую снежную пелену обозначилась крепко сбитая фигура; на мужике потерята шапка, когда-то каракулевая, и подобие бушлата; в куцей бородачке уже больше снега, чем волос.

— Что так? — спрашивает Катранник, а сам думает: может и нам бежать всей семьей, пока не поздно.

— Кто бы пошел, если б не гнали? — сказал Савченко.— Я, вишь, попал в ссылку, не в той вышивке дернул за нитку. А домой принес бумагу, что срок отбыл полностью и отпущен, потому как работал за двух волов и одного человека. Теперь забрали все подчистую. Знаете сами: село, как старая птаха, гребется — зернышко ищет. Мы сидели голодные. Тогда зарезали петуха, последнего на подворье: был он заместо часов, будил раненько, да вот пришлось зарезать. Сварили борщ и сели к столу: хлеба осталось полбуханки. А тут, откуда ни возьмись, комиссия — приходит раскулачивать, шнырит везде. Ничего нет, так они борщ сожрали и хлеб уплели. Затем повыбивали окна и приказали: "Выметайся из хаты!" Вот и тащимся в пургу. Беда! Надо целую ночь идти: к свояченице идем — ее муж работает в правлении колхоза ездовым, отвезет за восемнадцать верст в поселок. Оттудова доберемся до города, если, конечно, денег хватит, и пойдём к моему дяде, авось что-нибудь придумает. Он хороший слесарь; вот если бы возле него работу найти!

На перекрестке стали прощаться. "И что это людей по свету гоняют?" — думает Мирон Данилыч, глядя на Савченко; по-нищенски одетый и облепленный снегом, он похож на призрак. Жена рядом бледная и худенькая, в залатанном тулупчике на рыбьем меху, подвязанном веревкой. Серый платок низко опущен — снег бьет в лицо. Двое мальчишек с ними: один за мамкину руку держится, другой за батину уцепился, оба в сукончатых ушанках и старых пиджаках, натянутых по два на каждого; нижние рукава видны из-под верхних.

И разошлись в разные стороны; вьюга разделила, ветром обдав перекресток.

Снег шел густым сплошняком и, как пеленой, укрывал степь. А вскоре снежинки стали отличаться; одни большие, как перышки, меж ними неисчислимые — поменьше... куда-то летели вместе, словно само пространство сдвинулось, относя их. Часто они соединялись в вихри, потеряв направление и силу, но затем, влекомые внезапным порывом, уносились все дальше. Неслись, словно стрелы, пущенные из лука, и мгновенно, сменив направление движения, самоубийцами бросались вниз. Затем огромной массой, притихшие, двигались плавно; и вновь, рванувшись, несутся вдаль! — без конца и без края; не прекращается безумие метели...

Крыльями белого пожара снежные комья закрывают весь мир. Иногда стремительно, сплетаемые поземкой, снежные космы напоминают струны кошмарного телеграфа, передающего весть о всемирном бедствии.

"Ну и метет! Просто нечем дышать," — подумал Мирон Данилыч и стал — передохнуть: снежные хлопья толпились, словно не успевая прорваться в неведомые врата. Вскоре они, как звезды небо, заполнили всю ширь земли. Но, тихо оседая, снежинки тут же, уносимые ветром, кружат в диком вихре, вращаются в огромной воронке — спуске вселенской бездны, и снова несутся вниз, к белому лику земли, чтобы укрыть каждый пожелтевший кустик и мерзлую траву, бурьян, деревца и холмы, заполнить каждый ухаб на дороге.

Понеслись! Летят, словно идет прицельная стрельба по невидимым призракам у степных могил: безграничен запас их, и не устают они бежать бледными пчелами несчастья, жалящими душу.

К станции прибился Мирон Данилыч поздно: вьюга стихла, неспешно ведя свои снежные армии наискосок через освещенные желтым фонарем

участки — на кирпичную стену. Под нею, на каменных плитах, люди: в лохмотьях, скрюченные от холода; им долго ждать — поезда очень опаздывают.

Катранник с большим трудом пробрался сквозь толпу к очередному поезду, и, забравшись в вагон, поспешил занять верхнюю полку. Сразу же, положив торбу под голову, растянулся на грязном дереве. Пассажиры толпились в проходах; перебрасывались словами, рассовывали и доставали вещи, курили, жевали и в конце концов притихли, Мирону Данилычу удалось задремать под размеренный стук колес.

Через некоторое время, почувствовав сквозь сон, что кто-то прощупывает путь к внутреннему карману его пиджака, он резко вскинулся и гребанул по угрожающему месту, — опоздал... темная фигура бесшумно, как тень, мелькнула сквозь вагонные сумерки, едва разбавленные дохлым мерцанием лампы под потолком, и растаяла: быстро и призрачно, словно ее и не было, только приснилась.

Теперь он долго не мог заснуть — разволновался! Вот ведь, сколько там у него тех рублей, последние, на билет домой, чтобы вернуться к семье, которая ждет его, надеясь, голодная. А тут, вишь, волчья жадность хотела всех их погубить.

Мирон Данилыч лег на бок: ребрами прикрыл карман и придавил его к полке всем телом. Еще и загородил подступ к кошельку. Спал тревожно. Сны его были разбросаны, утоплены в беспредельной тревоге, бежали быстро; досадно лишь, что невыразительны, никак не мог их объединить. Снилось, что он мучительно долго, с выражением отчаянья, добивался у кого-то: "Отдай, я кому говорю!" — чтобы тот вернул ему вещь, похожую на глиняный ковшик, из которого дома пьют воду, только темный. Добивался, надрывая душу, а тот — некто, недобрый, никак не хотел отдавать, превращаясь в клуб дыма: недостижимый — никто не смог бы его коснуться, а взятое пропало. Но сердце исходило криком, рвалось за ним, пока вконец не обесилело, и от этого горько стало в груди и тяжело — сдавило дыхание...

Катранник проснулся; болел бок, натруженный о твердую поверхность, к тому же отлежал локоть — и надо переворачиваться, не спеша, держась другой рукой за перегородку. Поезд надолго стал в немоте степной шири. Внезапно дернулся железными суставами и двинулся: сперва медленно, как улитка, потом разогнался на полную скорость. Опять пересадка. Ожидание без конца, и вновь свалка на подступах к вагону. Снова стояли часами: то на глухом полустанке, то просто посреди снежного поля. Бледная предрассветная заря сменила ночь — разлилась по холодному окоему, затянутому серой дымкой, куда, синяя, убегали перелески.

Мирон Данилыч все время волновался: не проехать бы Воронежчину! Откликнулся сосед с нижней полки, пожилой, из городских, в шляпе, ободранной и мятой, однако на удивление чистой. Мягкие усы с подусниками и редковатая борода — так тщательно расчесаны, словно начерчены на бумаге. Поражало различие между выцветшим, в мелких прожилках лицом и ясными, как коричневое стекло, глазами, необычайно спокойными.

— Бойтесь проехать мимо? Вам куда?

— На Воронежчину.

— И мне туда! — обрадовался старик, — я дорогу знаю.

Приглушил голос:

— Наверное, менять.

— За чем же еще?

— Все за этим. Держитесь меня — я уже там был и кое-что привез.

У многих дверей побывал. Дети у вас?

— Трое в хате да мы, старшие; едоков хватает.

— Да! Тяжелый крест... Что на обмен?

Мирон Данилыч перечислил вещи, а старик хмуро задумался, словно решал задачу; потом пожевал губами в размышлении:

— Вот что: муки много не выменяете; достанется торба — отберут на

станции. Зерна тоже дадут мало — с такой семьей, как ваша, долго не протянете. Берите отруби, мешка два!.. Отбиральщики не тронут, на кой ляд им отруби? А в них сила из зерна.

— Хотя бы отрубей, а то помрем,— сказал Мирон Данилыч.

На станции, куда прибыли, облава.

— Гляньте-ка, обмечают поезд из Воронежчины! — шептал старик, — и кто командует? Вороны душеядные.

Милиция и "вороны" обыскивали всех, переходя из вагона в вагон; свертки, узлы, баулы, мешки, "сидоры", — все высматривают бегающие глаза досмотрщиков. Повсюду запускается липкая пятерня, привыкшая к единственному усилию: грабежу последних людских харчей. Женщины в плач.

— Помогут ли их слезы? — сказал Мирон Данилыч.

— Никак нет. Присказка есть о слезах.

— Что им столица не верит?

— Это еще не все. Кровушку берет.

— Еще как! Этим держится.

Обыск продолжался; плач ограбленных женщин, которые, выменяв на остатки одежды крупичи еды, везли ее полумертвым детям и теперь остались ни с чем: плач стоял по всей станции, тяжкий и безнадежный.

Ни милиция, ни красные жандармы или, как называл их старик, "вороны душеядные", ничуть не обращали внимания на людское горе; грубо выхватывали из женских рук любую рвань, тумачами и едкой руганью отгоняя прочь тех, кто упрашивал.

Насмотревшись на государственный разбой среди бела дня, соседи угрюмо молчали, а их поезд прибыл наконец куда надо: на долгожданную Воронежчину.

Шли к селу. Тяжесть на сердце лежала камнем.

— Вы колхозник? — спрашивает старик.

— Нет, отошел, я "индус", так теперь кличут единоличника.

— Отчего так?

— Ибо это — татарщина. Отрекись от собственной души. Стань мальчиком на побегушках. Звякнут о кусок рельса — и ты протянул руки-ноги быстрехонько в кандалы, как собака, а не то — бить будут. Заработанного не видать; ты жилы рвешь, а другой в это время попусту рукой водит, мера же равная: трудодень. Дуракам выдумка на разоренье.

— Не скажите. Выдумка хитрая. Знаете, за какую цену добро из колхозов берут?.. За десятую часть... и того менее... против цены магазинной, где это затем продается... капитализму такое и не снилось!

— Хвалятся, что это дорога к радости, а я думаю — напрямиком на скотный двор.

— Потому как насилие. Если бы своим умыслом — и хлев превратили бы во дворец. А коли душа не приемлет — пустое дело!

— Кто не хочет, того чернят: враг и подкулачник.

— Враг? — смеется старик. — Проворная выдумка. А скажите, почему кругом полно гвалта, что, мол, враг везде и повсюду? Отчего день и ночь ревмя ревут, надрываются так, что уши всем заложило, отчего об этом талдычат без конца и тиражируют без счета во всех газетах подряд, аж в глазах рябит! Тычут в уши, в глаза, чтобы люди очумели — с чего бы это, зачем?

— Кто его знает? Уж этим-то кормили, сыты по горло.

— Во-во! Базарные обиралы кричат: "Держи вора!" — и показывают на других, пусть, мол, народ туда смотрит.

— Значит сни... — начал было Мирон Данилыч.

— Именно это и значит! — перебил старик, — не произносите вслух, может вырваться невзначай — и тогда смерть. Каждого, кто знает, что это значит, сотрут с лица земли, и его родных тоже. Ибо открывается нам пророчество: о сатане и о служащем ему звере, о палаче в желтой одежде, в коей он княжит, и о конце века, который близится.

— Может, еще нет?

— Уже близится! — упорствует старик, — уже на подходе. Наш век убыстрился; сверху повалил.

— Это как же — на подходе?

— А так. Далеко ли до вашего дома?

— Да много верст будет!

— Смотрите: сколько проехали из дому, это — все прошлые времена, а остаток, как от нас — до тех крайних хаток.

— До хаток? — дивится Мирон Данилыч, глянув на околицу села. — Мало осталось, всего ничего...

— Мало! И жить следует, словно перед гробом стоишь.

— Трудно это.

— Дальше будет полегче; надо решиться.

— Поздно, нас и так уже поставили у самой могилы.

— Давно пора!

Старик становился все угрюмее: затем и вовсе притих. Возле самого села спросил:

— Вас как зовут? Мы до сих пор — вроде чужие.

— Катранник Мирон.

— Мирон? Так и буду называть. А я — Прокопий. Зовите просто: брат Прокопий.

Их опережали группы приезжих, которые, входя в село, сразу рассыпались по улицам и дворам, где уже бродило немало народу, стучали в двери и колотили палками в калитки и ворота, что означало приглашение к торгу. Кое-кто молча стоял у забора, ожидая, что хозяйева увидят и пригласят сами. Небогатое село, но еще не ободранное, как там, дома.

"Чудной мужик! — думает Катранник о попутчике. — Не спрашивал, как зовут, пока не пришли. Знать, остерегался моего недоверия, дескать, все-то он выпрашивает — первым заговорил... нет, он добр! Только вот почему "брат Прокопий"? Разве что из таких, как печник: у них так принято".

Между тем, брат Прокопий ведет своего попутчика узкими улочками и переулками к серым воротам у костистых тополей и входит в дом, как старый знакомый.

Тепло в хате. Две женщины, похоже, что сестры, обе лобастые и в веснушках, обе в зеленых платках, возились у стола и полки с мисками.

Старик с привычной почтительностью поздоровался, расспросил о здоровье всех без исключения, и лишь после этого начался торг. Вынимали вещи, раскладывали, проверяли на прочность — "на разрыв", просвечивали, подняв против окна, выворачивали, проверяли швы, а еще пересевали с ладони на ладонь, брали на зуб и на язык, нюхали, растирали пальцами — все как следует.

Закончив обмен, гости съели по миске теплого борща и откланялись. У старика была крупа и мешок отрубей, у Катранника — два мешка отрубей и пшено.

— Порадую своих, — сказал старик, — трудно нам: жена не в силах работать; дочь, семнадцатилет, единственная у нас, туберкулезная. Учится — ей питание надо получше, а где взять? Я работаю в переплетной мастерской, дело свое знаю, — тридцать лет практики, — а зарплата какая? Гроши! Случается, набежит работы — потей до ночи; потом пусто, а на день отпросишься — непременно вычтут из зарплаты!

Мирон Данилыч хотел сказать: "Беда", — и сдержался; понятно, что беда, да в эти минуты чего нарекать? Предостерег:

— Только бы довести нам, что выменяли!..

Тяжесть возрастала на плечах: словно каждое зернышко пшена делалось железным, неодолимо тянуло вниз, и отруби становились тяжелыми, словно кирпичи; ломило плечи.

Сыпанул снег и утих. Часто отдыхали путники, еле переводя дух. Едва добравшись до станции, сразу же заняли очередь за билетами. С вещами приткнулись неподалеку, у стены; и ждут полдня.

Близится время брать билеты, а тут — облава. Вокзал окружили. К каждому узлу подходят: "Развязывай!" — пересматривают и перетряхивают.

К счастью, крупу, пшено и отруби в тот день не отбирали. Муку грабили всю подряд. Мирон Данилыч и брат Прокопий проскочили без потерь. Рядом стоял суховатый, но широкоплечий мужик в рыжем, будто ржавом, пальто: было у него пуда три муки — все отобрали "вороны". Молчал ошалело; бедняга никак не мог взять в толк случившееся; наконец выжал из себя: "Последнее! Теперь всем конец..."

Женщины, ограбленные, как этот мужик, плакали навзрыд.

В стороне стояли главные обиралы: двое в форме учреждения "воронов" и двое в штатском — тоже воронье, хотя и в другом оперении, из парткомов, тамошние "шишки". Выражение презрительной скуки оттянуло нижнюю губу; когда раскуривали папиросы, рожи воротили в сторону; словно это их не касается и не коснется во веки веков; однако с хищной остротой темных зрачков следили за грабежом — "чисто" ли все идет, никого ли не упустили.

Женское отчаяние проходило мимо, незначительное для них, словно снег, что снова сорвался с жалобным шумом ветра, по всему необъятному полю. Сыпал сквозь стены станции, где красная смерть над награбленными узлами протянула руку к ребрам детей и матерей.

— Знаете, чья воля вершится чрез этих? — показал старик на распорядителей.

— Чья? Партийный царь — их воля.

— А через него чья?

— Мировой кормчий. Полно злата и чертей.

— А дальше?

Мирон Данилыч молчит, и старик, сочувственно глянув на него, подсказывает ответ:

— Зверя!

— Зверя?.. Какого зверя?

— Того, что на грабеже любом зиждется. Но супротив него, числом и верою сильна, церковь сплотилась, как великий голубь. Враги же ее предстанут в подобии зверя — он со дна морского выходит, это — из жизни народов, где разные волны катятся. Вылез он из грязи в образе компартии и сразу кинулся на семьи людские: разрывает их, сказано ведь — зверь. И он не последний, следующие будут позлее. Затем всех придавит один. Поставит на каждом искушенном знак: что думать и что делать. Кто отступает — кара! Всех супротивных ему, но верных Христу, начнут выклевывать из нивы жизни, убивать, как чужую птицу — огнем, железом, голодом; вот как ныне делается. Особо ухудшится при последнем звере: корки хлеба не дадут, коли не явить знак на лбу и на ладони, поставленный князем, что при диаволе жодит.

— Мы же это видим!

— Зрим же, а не видно нам, что князь и властелин этого восседает близко на престолище... он не в аду; там горячо и туда бросят его в судный день. Теперь парит под небесами — в бездне, так названо пространство меж небесами и земною юдолюю, это иное пространство, нежели воздушное и звездное. Там ничего нет. Страшное море грозит, с чудищами: встречает каждую душу — сразу по смерти человека. Только вкрапленные сердцем в Церковь избежат падения в бездну, — все едино, православные или других приходов. Тут, меж нами, Церкви сила дана — собрать всех добрых в последние часы спасения. Держитесь твердо, ибо сказано: кто верен до смерти, обретет венец жизни. В годину смертной скорби обновите правду перед глазами! Однако пора: поезд идет.

Мирон Данилыч был внутренне собран, слушая стариковы толкования, решительные и острые — они поразили его открывшейся высью... Вот оно! — словно ворота отворились пред мысленным взором. И ужаснула вселенская бездна, пред коей душа утешится думой раскрепощенной и тихой — о спасении, которое сильнее смерти.

Подошел поезд; началась давка.

11

Вьюга не стихала весь день и всю ночь. Все вокруг — белое и запорошенное, словно дымит. Стихнув, метель оставила снежную пустыню с мелкой морозной пылью, и закрыла землю со съедобными корешками.

В хате немо и холодно, как в могиле, не только потому, что давно не топили и стены выстыли, но и от истощения, с голодухи. Дров мало: осталось несколько досок и кучка хворосту под печью, надо беречь, чтобы сварить похлебку, не то дети вовсе дойдут без горячего.

Каждый терпит про себя и отходит молча. Бабка стала совсем плоха: лежит на холодной печи и не может поднять руку.

Дети, забыв о своей боли, припадают к ее плечу; берут морщинистые, потемневшие бабушкины руки в свои ладони, осторожно гладят, прикладывают к своим щекам. Боятся говорить громко, чтобы не потревожить ее.

Дарья Александровна бросила в чугунок горсть пшена: из запаса, которого едва хватало — хоть что-то сварить и похлебать из миски дважды в день.

В сарае нашла несколько расколотых старых пней и прелую солому, а во дворе, под стеною, пару стеблей подсолнуха, занесенных снегом. Вынула расшатанные колья из остатков тына; нарубленные, сгодятся на растопку.

Через день, это было утром, Дарья Александровна припомнила: возле самого ручья осталась невыкопанной свекла. И как это она забыла? — можно сварить борщ, и больной полегчает.

Вышла с лопатой, отгребла снег на грядке, копает мерзлую землю и выбирает свеклу. Попадает только мелочь, и то совсем немного, еле хвátит на чугунок. Пальцы онемели от холода, пришлось растирать снегом. Несла в ведерке добычу и думала: вот поедят дома, согреются все и повеселеют.

Вернувшись в хату, стала промывать бурачки. Младшие сидят на полатах, закутанные кто во что, и следят за каждым маминым движением, старшой на кровати, думала — спит, но нет, лишь глаза прикрыл.

Дарья Александровна хотела порадовать старуху:

— Мама, сейчас борщ сварим! Как вам сегодня, полегче?

Нет ответа.

"... Наверное, спит," — подумала она и снова взялась за свеклу, но отметила, что какой-то непривычной стала тишина в доме — нервами ощутила: не так, как всегда. Ей показалось, что хата чего-то лишилась. Чувство это нарастало и томило Дарью Александровну все больше и больше. Она стала на приступок, заглянула на печь и тихонечко позвала, чтобы не разбудить мать, если спит, а если не спит, чтобы услышала.

Тишина.

Дарья Александровна приблизилась к старухе, глянула ей в лицо, и вмиг такой страх и боль охватили все ее существо, что она не удержалась и крикнула в отчаянье: "Мама!"

Перед нею лежала старуха с закрытыми глазами, такими глубоко запавшими и темными в глазницах! — а застывший рот был слегка приоткрыт.

Взяла ее руку Дарья Александровна: холодная рука безжизненна, словно кость в рукаве.

Тогда жалость с горькой обидой за эту жизнь, законченную в несчастье, но во всем праведную, светлую, — ранила, пронзила ее сердце. Была для них старуха словно ангел-хранитель: только ими жила, и для них были все ее думы и труды.

Дарья Александровна молчит у печи, а слезы бегут, бегут непослушные, одна за другой, ничем их не остановить, только порой судорожно задрожат грудь и плечи; и ничего не видят за слезами глаза. Слышит только, что дети сгрудились тесно подле нее, и младшие ревут.

А поутихли, видно было: очень испуганы, и говорили тихо, шептались, словно малые пташки.

"... Бабушка мертвая", — повторяли шепотом, не то убеждая самих себя, не то переспрашивая маму.

Дарья Александровна обрядила мать в последнюю дорогу и с помощью старшего сына перенесла через сени — на стол, в горницу, стоявшую последнее время закрытой.

— Андрейка! — шепотом приказывает мать, — поди-ка свечу принеси: она в сундуке, спички на подоконнике.

Принес хлопец, что мать велела. Вот: горит свеча в руках бабушкиных, бросая бледные отблески на лицо, которое уже пожелтело и словно покрылось тенью, запавшее и худое. Череп обтянут одною кожей. Но выражение лица было спокойным и даже торжественным.

— Молитесь за бабушку, чтобы Бог принял ее в Царствие Небесное! — просит мать, еле сдерживая слезы и останавливаясь после каждого слова. Дети послушно склонили головы, шепчут, кто как умеет. А теперь ступайте, милые, я сама побуду возле бабушки! Слышит мать, как они прошли через сени и закрыли дверь. Кажется ей — тут старуха, рядом, и глядит невидимо, с нею поговорить можно, услышит, если позвать.

— Мама! — смиряя сердце, просит она. — Я знаю, вы нас любили и все нам отдали, себе не взяв ничего, мы так виноваты перед вами, так виноваты, не попомните зла!

Дарья Александровна присела на пол, прижалась головой к столу и снова горько и безудержно зарыдала, стараясь не голосить, чтобы дети не услышали. Потом поднялась и стала в изголовье, закрыв лицо ладонями и в отчаянье покачивая головой.

Вытерла слезы и подождала, пока высохнут глаза, — не хотела, чтобы дети видели.

Выходя, задула свечку в руках покойницы: искра могла упасть и поджечь одежду.

В тот день немо было в хате, как никогда, почти и не говорилось ничего. И только посылая Миколу за водой, просила его быть осторожным: скользко теперь у колодца — можно упасть и сломать ногу.

И все остерегала детей, чтобы не пили много. Слишком уж часто подходили они к цинковому ведру, стоявшему на скамейке, у окна — и, зачерпнув глиняным ковшиком, жадно припадали к воде.

— Потерпите! — умоляла их, — не пейте лишнего, а то ноги начнут опухать. Видели, как на улице люди с трудом передвигаются? Воды пьют чрез меру, и ноги опухают: у кое-кого уже как бревна, тряпьем обмотанные: трудно переставлять. Опухшие ноги и обморозить недолго, их надо хорошо укутывать в тряпки и сверху веревками обвязывать. Зачем вам это несчастье? Сдерживайтесь!..

Ели борщ — бабушкин стул одиноко стоял у стола.

В ту ночь спали недолго. Дарье Александровне привиделось, что где-то погибает муж: эта весть острым копьём пронзила ей грудь, и прогнать ее удалось только резким душевным усилием. Как заклятьем.

Дети допытывались, скоро ли вернется отец; были словно напуганы чем-то. Ей показалось, что дети догадываются о ее страхе. Олена в самом деле стала похожа на тень; ручонки тонкие, как соломинки.

А Микола, устало заваливаясь на кровать, тихо проговорил:

— Я лежу, как бабушка.

Мать на него и руками замахала, так испугалась, что в глазах потемнело:

— Молчи, что ты говоришь!

Он не отвечал и не спорил; сказал, что было на уме, и лежал тихо: видно, знал о своем времени. Губы темные, запекшиеся. Уголки глаз и тени у переносицы — черным-черны. Лицо высохло, и высокий бледный лоб, словно вытесанный из мела, неестественно выдавался вперед и как бы светился: так истлевший дубовый корень причудливо белеет днем на снегу, не давая, однако, того фосфорического свечения, как бывает во тьме.

Мать присела к Миколу, положила руку ему на лоб, гладит чуб, сухой, как давно скошенная, иссохшая травка.

В парне словно стихла жизнь, хотя дышал он ровно и водил рукою у горла.

— Хочешь пожевать? Я приберегла для тебя корочку, — зашептала, как в лихорадке, мать, не зная, что теперь делать.

Он спокойно глянул на нее широко раскрытыми и уже похолодевшими глазами, долго молчал и, наконец, сказал, явно желая утешить:

— Я еще поживу.

Словно раздумывала его ласковая душа, сколько ему еще мучиться, и мирно принимала любые повороты судьбы.

Микола стал засыпать.

Мать бесшумно отошла от кровати: пусть поспит — может укрепитс душой после отдыха; села в углу на лавке и смотрит на сына издали. Вымолвить слово единое — и на это нет у нее силы; смотрит — и даже не плачет. Чует сердце, как нависает над нею тяжелейшая из туч. Ее первенец уже за пределами ее власти — не принадлежит он уже никому.

В хате она самая тощая; держалась на одном лишь усилии, странном даже для нее. Только однажды подумала: "Это от терпения моего прежнего!" — потому что и в самом деле, в ее сиротской жизни было столько боли и горечи, обид и хвори, что все перенесенное сошлось сегодня именно в этом усилии, как средство против измора, голода и немощи.

Сидела, не думая о времени, смотрела, как спит сын, будто стерегла его при жизни.

Меньшие, тоже зная, что брат болен, прижались к матери и скорбно светят глазами. Так просидели до вечера. Усталость клонила их ко сну.

Поутру кто-то стучится в окно. Дарья Александровна сразу же, по стуку, угадала — муж.

Дети проснулись и, как только отец переступил порог, волоча узлы, меньшие с радостным криком бросились к нему: Андрейка прижался и не отходит ни на шаг. Оленка крепко схватила отцовский локоть обеими руками и, сцепив пальцы, повисла, как груша на ветке. Подошел сразу и Микола, берется за мешки, пытается помочь.

Младшие так и виснут; здороваются с ними отец, касаясь их лица задубевшими на морозе ладонями. Бесконечно дороги и милы ему дети. Оторвавшись в эти дни от семьи, он почувствовал, что и не жил вовсе, что вся душа его — тут, с женой и детьми, и одному, без них, не стоит бродить по свету.

В какой-то миг дети вдруг приумолкли. Жена, поздоровавшись с Мироном Данилычем, тоже стихла в одночасье и стоит, опустив голову.

— А где бабушка? — спрашивает он детей. — Утро, а ее нет.

Все молчат.

— Что же вы не говорите, где бабушка? — громко спросил, посматривая на Оленку с Андрейкой, а затем повернулся к жене.

Она хотела что-то сказать, но не смогла, вытерла глаза краешком платка и, взяв мужа за руку, повела в другую комнату:

— Нет у нас больше мамы...

И он обмер, увидав мать на столе: в руках угасшая свеча, короткий фитиль чернеет у груди, как коготь, среди восковых капель блеклого цвета, застывших, как глина, как ее руки.

Мирон Данилыч подошел к покойнице поближе и вновь застыл, словно лишившись рассудка, и так недвижно стоял возле жены, пока она вновь зажигала свечу, не мог оправиться от страшного горя, которым встретила его хата. Внезапно выплыло из воспоминаний: был предрассветный час, вот как теперь, но он тогда еще был юношей, ехал на сахарный завод, на заработки, мать простилась у порога; вышла вослед ему и спросила у калитки:

— Кто ж тебя, бедного, накормит?

Тех материнских слов не мог никогда забыть. Снова явились они в душевный слух и отозвались невыносимой болью. Была мать — как свет в небе, и нет его, померк, и такая тоска теперь, такая жгучая, что нет сил. Наклонился к покойнице. Только и произнес: "Простите, мама!" Сказал и вновь застыл, и долго стоял так, онемевший от горя. Поцеловал руку матери и вышел из хаты, как подбитый. Двинулся к сараю — гроб делать. Пока ладил, как за тесал доски, крутилась в голове шальная мысль, навеянная разговором с вагонным старичком. Понемногу обретала четкость догадка: тут повсюду действуют демоны зла, черными коршунами и ястребами наседа — из бездны меж нами и небом; так говорил брат Прокопий. Это их напасть обращает свет во тьму, несет гниение и ужас, о чем сердце даже себе боится признаться. Вона как! — чудище терзает души людские, отыскивая в наших проступках свое поганое подобие и цепляясь за него, как за свою собственность. Но пробьет час! И Господь огненной силой поразит хищников, а верную душу матери, что была столь долготерпелива, вознаградит венцом немеркнущим. "Оттого и обступили меня демоны зла,— закончил, наконец, мысль Мирон Данилыч,— и даят, ибо знаю причину".

Сбил из старых досок гроб, внес его в хату, и стали они вдвоем с женой готовить покойницу к погребению. Потом, взяв лопату, пошел рыть могильную яму. Облюбовал полянку у вишен, которые когда-то давным-давно, словно брызгами серебра обсыпанные, в светлой тишине и прозрачных тенях, расцветали белым цветом в саду, и мать любила сидеть под ними, иногда напевая тихонько, чтоб никто не слышал. Были то незабываемые песни ее молодых лет: пела и тосковала, вспоминая покойного мужа. Забрали его на немецкую войну зимой; прислал одно письмо, и с той поры больше — ни весточки. Далеко в безымянной могиле его схоронили.

Так пусть же там, где мать горевала вдовою, вспоминая молодые годы, поживает она до того часа, когда всех призовут.

Мирон Данилыч копал трудно, с перерывами — до самых сумерек.

Нести гроб в сад на руках не было сил — пристроили на санки, сразу же с порога отец с Миколкой и потянули, а Дарья Александровна и младшие дети поддержали его, чтоб не свалился, и толкали сзади. Поставили гроб у могилы и потихоньку опустили его на самое дно в примерзшую землю. И долго не засыпали яму: не была еще покойница для них небожительницей, оставаясь такой же, как и они: все здесь, как на ладони, перед ее глазами. Не хотели холодной землею отделять ее от себя.

Было такое чувство, что все они связаны нитью незримой. Жила среди бела света семья их единым целым, все были дороги друг другу, как этот мир.

Редкие снежинки пролетели, словно выткали саван — из метелицы. Катранники стоят у самого края могилы — никто ни слова. Прикрыл глаза дрожащей ладонью Мирон Данилыч; тогда жена, восприняв этот знак, повела детей:

— Повторяйте за мною: Господи, помяни нашу бабушку в царстве небесном!

Отец первым бросил горсть земли на крышку гроба, за ним остальные, и стал засыпать могилу. Остались сиротами без бабушки. За всех думала и утешала каждого, теперь ее нет. Слово половина жизни в мире, отойдя, угасла, до того пусто и печально стало вокруг. Мирон Данилыч насыпал холмик, снег меж тем припустился. Постояли еще немного, перекрестились и пошли в хату; только хозяин вернулся в сарай — сбивать крест.

Темнела в саду светлая земля над покойницей, переселившейся отныне в иной дом, необустроенный ни окнами, ни дверями, только стены холодные даят.

Взяли в земные тиски сущность, похожую на поваленный жертвенник, из которого некогда рвался священный огонь. Теперь конец. Все родные должны отстраниться, потому как вернулась сущность к началу ея.

Крепко берет их зима в окружение — белой блокадой.

Снежинки, собравшись вместе, проблеснули быстро, — словно голубь крыльями, пытающийся удержаться на подоконнике. Понеслись над дворьем, а вверху завихрились: сноп, внезапно развязанный, — стебли в разные стороны. Неуемна метель — пронеслась и засыпала воздух. Но над могилкой снежинки легко колышутся всей своей бесчисленной ратью и стихают, ложась на мерзлые комья; вот уже совсем закрыли; и когда Мирон Данилыч понес вкапывать крест, не узнал могилы: вся белая.

Оленка из окна следила за тем, как снег засыпал холмик, сидела и думала: "Там бабушка мертвая!" Но представляла себе покойницу живой: вот сейчас позовет. Даже голос такой же, как всегда: "Оленка!" От неожиданности девочка вздрогнула и хотела крикнуть маме, что слышит, как бабушка ее зовет, но потом передумала: не надо. Ну вот, теперь могилка как настоящая: отец приладил крест, который тоже скоро стал совсем белым. Снег сыплет густой и частый, закрыл могилу и сад, а вскоре запорошил и оконное стекло, к которому приближались вечерние сумерки.

12

Мирон Данилыч и его жена возятся с отрубями; толченые в ступе и просеянные сквозь сито, они превращаются в нечто новое.

— Вроде муки! — недоверчиво определила хозяйка.

Это "нечто" не совсем раздроблено. Приходится толочь снова, до сильной слабости в груди, толочь со вздохом, похожим на стон. Наконец, вещество окончательно изменилось, и, зачерпнутое горстью, радует Дарью Александровну.

— Уже пересыпается как мука. Можно печь.

Вот и готов корж при нетерпеливом детском ожидании и заглядывании в печь. Сейчас решится, выживут они, если питаться отрубями. Или — погибнут.

— А ничего! Во вкусе — что-то от хлеба, — сказал хозяин.

— Есть можно! — заключила жена и спрашивает у детей: — Как вам?

Микола пытается распробовать. Младшие едят быстро и без той болезненной гримасы, как от макухи. Дочка все же пожаловалась:

— Горькое, горькое!

Мать с отцом согласны — горькое; а не говорили, чтобы не перебить аппетит.

— Горчит как полынь, хотя дух все-таки хлебный! — подтвердил отец.

— Полынь не полынь, а есть можно, привыкнем, — сказала мать, повернувшись к детям. Хорошо, хоть это достали.

Микола, переломив корж, откусил, вяло пожевал и отложил свой кусок. Лег опять.

Младшие тоже сразу перестали есть.

— Что делать? — затревожился Мирон Данилыч, — вот бы патоки...

— Хорошо: будут пряники! — одобряет жена. — Отдохнем сегодня, а завтра утром сходишь за патокой. А пока сварю пшена.

Кашу, хорошо упревшую в печи, ели как на праздник. Микола повеселел и выскребал ложкой с доньшка.

Рано утром хозяин, взяв с собой палку и ведро с крышкой, отправился на сахарный завод.

Повсюду лежали сугробы. Бреди морозной пустыней, опираясь на палку, и береги силы. Начинает припорошивать снежком, но дорога знакома, как своя ладонь. И столбы обозначены. Пороша внезапно стихла, выглянуло солнце: степь стала слепить блистающей белизной и вспыхивать искрами, сквозь которые, синяя, пролегли тени от столбов. А затем тучи вновь пошли низко: тогда посерело в степи. Снег потемнел, и тени

растаяли. Идущему казалось: нет у дороги конца. Однако — вон уже, там, за белыми деревьями, огненные прямоугольники окон; крестьяне тянутся к холодному заводскому двору.

По кивку желтобородого весовщика Мирон Данилыч поставил ведро на весы: сперва ведро уравнили, затем наполнили темной и тягуче-вязкой жидкостью, похожей на мед, только запах приторный.

Ведро накрыл покупатель плотно, не потеряв ни капли; поверху обмотал тряпичей и, вложив в мешок, забросил его себе за спину.

Мирон Данилыч повеселел. Уже и заводской двор с клубами дыма и пара, мазутной чернотой на снегу и кирпичными стенами бурого цвета, со скрипом подвод и свистом манежового паровозика, с грохотом цехов и могучим стоном центрифуг, который шел от главного корпуса, — все это выглядело теперь веселее, чем вначале. И по степи брел теперь живее, хоть и ломила плечи тяжесть, и пригибала к снежной целине. Стал почаще останавливаться, чтобы передохнуть. Радовался: будут мазать отходами от патоки — малясом — коржи и сбивать прогорклость — от сырости она, что ли? — либо печь малясники с отрубями. Какое-то время протянут.

Вечер, утопая в сизых сумерках, уже угасал с тревожной багровостью по горизонту, когда Мирон Данилыч подошел к селу. Возле крайних хаток, у дороги, стояли двое, настороженно и недобро поглядывая, и глаза их светились по-волчьи: на прохожего, в руках у которого темнела увесистая палка, и шел он прямо на них. Посторонились, как тени, пропустили.

"Будь я помельче, в аккурат пропал бы — такие удавят!" — Мирон Данилыч прибавил шагу.

Пришел домой, когда уже стемнело. Ожили родимые:

— Одно слишком горькое, другое слишком сладкое, авось хороши будут вместе, — сказала жена, нацедив в миску патоки.

Оленка коснулась затека на миске и облизывает пальчик.

— Погоди! — уговаривает мама, — сейчас испекутся пряники.

— Уж и пряники, — улынулся хозяин.

Оленка подумала и, показав на медовый затек, сказала:

— Как лекарство.

Отруби слипаются в комочки, затвердевая, а тошнотворная приторность не выветривается, как и горечь. Но все голодно, все жуют, хотя неотвязчивый привкус отбивает желание есть.

Младший откусывал жадно, пока не утолил остроту голода. Потом стал жевать поспокойнее, не спеша, чувствуя потребность в продолжительности самого процесса еды, по велению нутра, как зверюшка.

Старший опять съел немного и пошел за ковшиком. В желудке что-то случилось: казалось, невесомые вещества заполнили места под ребрами, а, может, он сам изменился, и теперь глубина его закрыта для еды, отсюда — жжение. И каждый глоток болью отдается в сердце.

Изголодавшись до изнеможения, Оленка упрямо жевала корж и, пока было возможно, терпела тошнотный привкус еды. Но вот и предел. С ужином покончили.

На следующий день проснулись уже засветло. Сквозь белые стекла, залепленные снегом, в хату пробивалось утро. А в хате так холодно, и такая скорбь от безнадежной нищеты, что и сам день перестал радовать, — все сразу вернулись к мыслям о еде. Доели оставшееся от ужина и ждут, пока испечется новый малясник. Он, водруженный на стол, выглядел аппетитно: четырехугольник темно-желтого цвета заполнял "лист", — жестянку с загнутыми кверху краями. Нарезали корж на части, подносят ко рту — нет, снова отбивает, как вчера. Отец с матерью терпеливее, преодолевают горечь, едят; дети же чуть пожевали — и на боковую.

— Ешь, миленькая! Что ж ты не берешь! — упрашивает мать Оленку, надеясь, что хлопцы услышат и вернутся к столу.

Но никто не протянул руки за свежим куском. Вдруг — кто-то цап-царап во входную дверь.

— Я знаю, кто это! — воскликнул Андрейка, срываясь с места.

— Зорик! — догадалась Оленка и тоже — шмыг к порогу.

Мать останавливает:

— Куда же вы? Оденьтесь, потом идите!

Ухватили дети по одежке на плечи и выскочили из хаты. И в самом деле у дверей, опустив голову, стоял Зорик, их пес, пропавший еще летом. Недолго жил он у них во дворе. Мирон Данилыч наткнулся на собаку в поле и поманил за собой — подарок детям, обожавшим всякое зверье. По-видимому, пес давно отбился от своего прежнего дома и слишком одичал, потому что покрутился тогда возле хаты, попрыгал возле детей с месячишко и исчез.

Теперь — снова к ним: еле приплелся, худой, как палка. Поводит глазами, блеклыми точками в черноте. Дети хотели погладить — не дается.

Оленка сбегала в хату и вынесла лопоту малясника, бросила на снег... пес дотронулся носом до еды, втянул воздух раз, другой — и поднял голову: не взял брошенного. Подождал, не дадут ли еще чего. И, видно, поняв, что только зовут: "Зорик! Зорик!" — а ничего не дают, отошел от порога и потрусил заснеженной улицей.

Когда дети вернулись, мать напомнила:

— Ешьте, остынет!

— Нет, я — все! — сказал младший.

— Оленка, а ты?

— Уже не хочу. Пускай останется на обед.

— На обед я испеку другой.

— Тогда на ужин.

Микола сразу же прилег: желтый с лица и весь почерневший, как бабушка перед смертью. Мать около него и так и эдак, попытывается, где болит, принесла еще кусочек коржа — ни в какую: он пил, отвечал, что нигде не болит, но больше к еде не притронулся. Что ей делать? Единственное для сына лекарство — хлеб: только он еще мог бы спасти. Она мужу:

— Сходил бы еще раз к мельнице, глядишь, продадут муки.

— И правда, схожу, вдруг отсыплют горсточку?

Опять вооружившись мешком и палкой, Мирон Данилыч пускается в путь, белый и холодный. Выходя из села, видит, как возле одной из хат, что дверью у самых ворот, остановился мужик с обвислыми усами, подпоясанный поверх просторного ватника; остановился и стучит.

Мирон Данилыч вспомнил: тут живут Синенки; хозяин — из первых колхозников. На стук вышла женщина и слышит:

— Ваш муж умер.

Всплеснула руками:

— Да как же это? Он пошел искать муку!

— Готов.

Запричитала несчастная — на все подворье:

— Что же я с малыми ребятами делать-то буду? — пятеро их! Ой, горе, горе! Дети, идемте к отцу простаться...

Как утешал ее вестник лихой беды, Мирон Данилыч уже не слышал. На сердце кошки скребли. "Надо бы помочь, да чем? И, смотри ж ты, все позакрывали: ни заработать, ни купить! Только и всего, что гонят на свой скотный двор, а там — один конец".

Вышел за село и видит: люди на дороге останавливаются возле мертвого, чья шапка откатилась в сторону. Одна рука откинута в сторону, другая мешок придерживает. У лица скомкан снег, словно хватал его рукой перед смертью. Крестьяне обходят покойника; Катранник тоже пошел своей дорогой, подумав: "Страшится каждый мертвого, себя узнает".

Вскоре слышал вопли и оглянулся: уже Синенчиха с гурьбой ребятишек подходила оплакивать покойника. Стали вокруг и причитают. Рядом остановилась подвода: отвозить мертвеца.

Невеселая дорога! Бредут сгорбленные люди; кое-кто останавливается передохнуть: нет мочи. У мельницы голодных все прибавляется. Слоняются повсюду, как бесплотные привидения, часто оседают на снег. Муки им — ни пылиночки от высоченных ворот.

Выходят оттуда двое с оттопыренными мешками: Отроходин и Шикрятов; первый в мышастом пальто поверх полувоенного френча и в кепке, обхватил обеими руками добычу, держит ее на левом боку и прет напролом, а следом другой, в черном пальто, аж надывается под тяжестью. Нести-то недалеко, к подводе, вон она высится среди сборища голодных теней. Мука, высыпаясь из мешка на спину и черный рукав Шикрятова, белеет так заманчиво, что скелетоподобные тени не выдержали и бросились к несущим. Множеством веток тянутся иссохшие руки и цепляются слабыми пальцами: отнять мешки.

Прибежали милиционеры и расшвыривают толпу, словно копну пустых снопов. Отроходин выбрасывает вперед ногу, согнутую в колене, чтобы подбить мешок вверх и поддержать; тогда же, освободив правую руку, молниеносно лупит худых и немощных по чем попало и валит на снег. Одному, высохшему, как паутинка, удар пришелся прямо в переносицу, потеряв сознание, он упал и затих навсегда.

С охраны дошли несуну до подводы, положив добычу и быстро усевшись, велели возчику трогать. Он стеганул лошадей и прикрикнул: "Н-но, залетные, чтоб вы сдохли!" Только снег запылел из-под копыт.

Катранник как стоял, так и застыл. Билась мысль: "Ну вот. Опять наш хлеб из рук вырвали, а мы? — мы могли бы отнять, для детей... Нет разве надежных людей? Все равно — погибель!"

Поразило и происшествие, мелкое, но значительное; Отроходин встретился с ним глазами — на краткий миг. Когда валил пузатый мешок на подводу, задержал взгляд на Мироне Данилыче: узрели друг друга, словно в молниеносной вспышке, невидимой, однако, никому другому. Под очками Отроходина пробежал отблеск страха и ненависти. Отблеск этот неожиданно пробудил в Мироне Данилыче забытое детское воспоминание.

Был какой-то праздник. Одна семья выбралась в гости к дальним родственникам, в другое село, а ночью воры подкатили подводу и унесли из подклети все добро. Искали их долго, пока случайно не попался житель из предместья. Он приехал откуда-то из-под Рязани и снял угол у солдатки: среди голых акаций стояла на пригорке небольшая хатенка, без цветов и птичьего щебета, один чертополох вокруг, густой, как лес. Там и запили местные дружки, а с ними — солдатка безмужняя, сестра которой вышла замуж за сельского учителя и тоже учительствовала; к ним тогда в школу и ходил Катранник.

Однажды ночью рязанский постоялец, пьяный в дым, учинил стрельбу. Его схватили, сделали в доме обыск и нашли много чужих вещей. Слухи о найденном докатились до Кленоточи: оттуда прибыли потерпевшие; опознали свое добро и выставили свидетелей — подтвердить заявление. Началось следствие по селам, в частности в Кленоточах, куда приводили самого грабителя. Смотрел он тогда на людей бесстыже, с откровенной наглостью, точнехонько, как теперь Отроходин; оба даже лицом похожи... "Уж не сынок ли того самого? — гадают Мирон Данилыч. — Да нет! Этот, пожалуй, отдельно, по партийной линии".

Долго ждут крестьяне, слоняясь у ворот и простаивая на снегу; нет им муки, а ждут!.. Всматриваются, мельница приковывает к себе тайными цепями.

Те, кто упал в снег и умер, — так и лежат; никто из служителей не глядит в их сторону. Во второй половине дня приехала черная фура; два возчика набили ее трупами, как снопами, и фура медленно поскрипела в степь.

Вскоре Мирон Данилыч ушел оттуда, понял, что там ему, кроме тесного

места на фуре, ничего не светит. Вспомнил про дальние огороды; не найдется ли чего? Можно разгрести палкой. Рылся, как олень, что копытами и рогами наст отгребает в поисках немертвой травы. Грушевая палка прочна, как железо, а вырытые бурачки худосочны и попрымерзли. Попадаются с гнильцой, но есть и посвежее: если хорошо перечистить, будет что пожевать. Перебьют приторный вкус малясника.

В хате домашние обступают его: такие же тени, как у мельницы! — не могут унять дрожь (надеялись на муку), глазенки горят. Он только и сказал:

— Нет муки!..

Сразу отвели взгляды. Но оживились, увидав бураки.

— Ничего, сгодятся, — сказала хозяйка и засуетилась у печи.

Муж принес соломы, надерганной из крыши сарайчика, — что теперь думать о хозяйстве? Тут бы похлебку сварить и с ног не свалиться.

Дымилось варено: дети хлебали и понемногу откусывали от малясника.

— Если запивать супчиком, не тошнит, — сообщила Оленка.

— Вот видишь! — радуется мать, — вкус выравнивается. Как, Андрейка?

— Я согрелся, — сказал мальчик.

Боялась спрашивать у старшего, лишь смотрела на него, обмирая сердцем: тихо отходит сын, словно догорает сосновая лучина.

Отец тоже видит и тоже убивается, но виду не подает.

— Юшка укрепляет! — сказал он. — Добрая юшка.

Миколка слышит этот разговор, но не может одолеть слабости; тут же валится на кровать, как всегда. Скелет из воска. Еле-еле пальцы шевелятся.

Вечер черен; рано легли, экономя керосин, осталось совсем немного в лампе, и надо приберечь на черный день.

Андрей заснул мигом, первый сон был крепок и смысл горчайшую усталость. Но после полуночи, при болезненной чуткости, вновь напрягся слух: без волевого усилия, лишь от жжения в нервах.

Проснулся малец от легкого стука и видит, как отец отворил дверь и, что-то шепча, вводит кого-то в хату.

— Не надо света! — просит гость.

Андрей узнал его, это — Семенюта, зять деда Гонтаря, очень дальнего и единственного родственника, который был у них в селе. Редко заходили они: зять и тесть.

— Помогите, если можете! — просит Семенюта. — Наши прислали, — поезжай, говорят; к родичам!.. и сказать боюсь, что случилось. Могилу надо копать: и быстро, и чтоб никто не видел, а то я один не управлюсь.

Отец почти не раздумывал — сразу стал одеваться и только кивнул, уходя, матери:

— Закрой дверь!

Стихли мужские шаги за стеной, а мать, вернувшись из сеней, долго еще вздыхала и ворочалась. Хлопец ждет возвращения отца, ему не спится; лежит и прислушивается, нет ли со двора недоброго шума? Кажется ему: близится страшная беда, готовая уничтожить хату и каждого, кто в ней. Он не в силах четко представить себе несчастье, но, скорее всего, это — грабители, такие, как обычно о них рассказывают, и в то же время чуть другие, с раскосыми глазами, угрожающе лютые: словно силы, тьмою рожденные. Доберутся до пристройки, где у отца небольшая плотницкая; теперь она пустует, кровля — из старой соломы... подожгут ее и заберутся в дом. Досадно мальцу, почему отец с матерью не думают об опасности, которая всех погубит? Оно ведь так! Пытался уснуть и не смог, объятый тревогой. Перед рассветом услышал глухие шаги, приближавшиеся к хате. Звякнула щеколда. Мать спросонья схватилась открывать дверь; вошел отец, медленно переставляя ноги, словно вернулся из далекого похода. Шепотом рассказывает матери о случившемся.

... Старый Гонтарь уже на столе; женщины плачут. Я удивился, — все знали, что Гонтаря с сыновьями вывезли, а теперь сам он тут, мертвый, а никого из сыновей нет. Думаю, может, сидят в хате у зятя. Зять — ободранный, в царапинах и синяках; пока добрел до нас, свалился в

канаву,— плохо видит, почти ослеп. Дорогой я придерживал его за локоть. Стою в хате, и странно мне все это, однако молчу, пусть скажут сами.

Зять приглашает: сядем на лавку, расскажу вам — такая случилась беда, что и вспоминать страшно. Только никому не проговоритесь, а то и нас, и вас заберут. Старик вернулся ночью раненый, весь обмороженный. Двести верст шел пешком, ночами,— днем тайлся, как зверь, и так — целую неделю. Ране был могуч, а пришел — кожа да кости; упал, переступил порог и упал. Уложили беднягу на постель, видим — на груди рана. Пришел в сознание и рассказывает: привезли его с сыновьями в город и бросили в городскую тюрьму. Там людей пачками расстреливают, в подвале на полу песок насыпан, высоко, чтобы кровь собирал, днем и ночью. Когда совсем промокнет, выгребают и заменяют сухим. С большим страхом ждали, пока дойдет очередь, все стрельбу слышали, и сердце белело. Вот и наш черед, уж и не помню, какшли: словно на бойню вели нас. Поставили четырех к стенке — не так, как заведено у них, что поворачивают лицом к стене и в затылок пулями бьют, а по-старинному — спиной к кирпичу. Одно помню: сверкнуло, и я весь скорчился, будто искрой прожгло у сердца и оттуда по всему телу... скорчился вмиг... и сразу потемнело. Очнулся оттого, что давит что-то, стиснуло грудь и вздохнуть не дает, так иногда бывает во сне. Очень больно дышать. Начинаю шевелиться — вроде полегчало. Заворочался я, разгребаю землю и чувствую: землю жую, полон рот земли. Освободил руки, пробую приподняться на руках; как червь из земли выползает, так я вылезал. Стал понемногу различать предметы; когда же совсем выбрался, смотрю — и ничего понять не могу, словно сон вижу. Возле меня вроде белеет, а дальше кругом темно, только деревья, те, что побольше, различить можно. И холодно мне. Там, откуда вылез, была моя нора — в яме, широкой, как хата. А теперь трясет меня, как в лихорадке, и очень в груди ноет; начинаю ощупывать вокруг себя, руки липнут, что-то потихоньку стекает с пальцев и капает. Потом уже рассмотрел хорошенько: снег под ногами, и на него крови моей натекло. Оторвал я лоскут от нижней сорочки, сложил и, как мог, заткнул рану, а сверху перевязал ее поясом через грудь.

Надо уходить от ямы. Дерево на ветру скрипнет — я вздрагиваю: думаю, убийцы мои возвращаются за мною — достреливать; даже представил себе их в ночи. Отошел самую малость и снова бреду обратно — не хочется бросать этого места,— может, сыны мои, тоже недострелянные, тут лежат, может, теплые еще. А если кто из них очнется, как я, выползть будет — помогу ему. Уходил я и возвращался. Стану у ямы — прислушаюсь, на колени опущусь и снова слушаю. Голову наклоню, ухом к земле и снегу прижмусь; слушаю, не застонет ли кто из сынов моих, и кажется мне порой, что вздыхает-таки живой человек на глубине, а потом опять тихо. Другие шорохи доносятся — из лесу. Так я растревожился, что голова была как в огне, и жгло в груди. И понимаю, вроде, что это я сам вздыхаю, а кажется, будто слышу оттуда, из глубины. Начал даже стучать кулаком по земле, может, очнется кто, выйдет из забывчивости, стучу и тихо зову сынов: "Петро, чуешь ли? А ты, Иван? Эгей, Михайло!.. И в какой-то момент померещилось мне, что в ответ на это имя, младшего моего, словно застонало что в земле и отозвалось шепотом, в двух-трех шагах от меня. Бросился туда — стучу, кричу, зову!.. Нет, все тихо. Долго вызывал я их и слушал — ни один с того света не отозвался. А я все дожидаюсь; все пробую землю разгрести, нет, думаю, врешь, найду их!.. Да где там!.. Яма большая, много засыпано, и те, кто лежал возле меня, давно окоченели; ощупывал я их. Кто не кончился после расстрела, задохся под землею. Идти надо, а все перед глазами — дети мои: тут они, тут они лежат, и держит меня великая сила. Уже когда совсем замерзать стал, решил: ничего не поделаешь, надо простаться!

Отошел подальше, да тут выкатился на небо месяц — стало видно как днем, еще раз возвращаюсь... глядь: темнеет лощина, из которой я

вылез, а большая могила едва снегом присыпана. Сбрасывали, видать, в яму, заготовленную наперед, потому что все вокруг снегом ровно так заporошило. Когда же закидали нас землей, снежок пошел да и перестал — совсем немного его на свежей земле; там он и таял. Яма на болотах, среди лесных зарослей, сюда редко кто заглянет. Истеют покойники, травой в лесу порастут; мох пробьется под кустами и деревьями, никто не разглядит — так память о людях и сотрется.

Постоял я, поплакал над сыновьями и, перекрестившись на их могилу, побрел сам не знаю куда.

Выломал клюку: легче стало идти, а то совсем из сил выбивался. Хорошо, что светил месяц, пока я не набрел на тропу и не вышел на ровное — там дорога хоть и под снегом, зато кустов поменьше, и можно двигаться напрямик. Опять стемнело; брел я долго, не помню куда и сколько верст. Закрутила метель, вот беда — ни зги не видно, а я радуюсь: заметет мои следы, не станут искать. Так нанесло снегу, что до утра сугробы стояли вровень со мною. Сильно замерз я. Остановился под деревом и стал снегом вытирать места на одежде, где кровь. Трудно пришлось, но пиджак у меня темный. Вытер и вымочил снегом следы крови, не очень стало заметно, только сохло долго и морозом отдавалось в груди.

Вышел в степь и держусь поближе к заснеженным вербам и камышам. Набрел на сарайчик, который, видно, служил укрытием для работников, трудившихся на сахарной свекле; покосившийся и без дверей. На полу охапка соломы, снегом присыпана. Сгреб, сбил ее в копешку и зарылся, как зверь. Сразу же заснул и проспал чуть не до вечера. Выглянул я — солнце так светит на снег, что ничего не вижу: слепит глаза. Голова тяжелая, лихорадит всего. Поел снегу — вроде полегчало.

По солнцу видно в какую сторону идти, тороплюсь я и озираюсь по сторонам, потому как знаю: незаконный я теперь на земле человек, арестован и расстрелян, вычеркнут из списка живых; по документу — покойник. Стану перед начальством, пусть самым малым, и не смогу сказать, кто я таков! — вытолкали меня из жизни, никакой за мною вины не было, и что теперь делать?.. Невеселые думы одолевали меня, но я все шел и шел.

Темно стало в степи, но тут засветились огни в хуторе. Прохожу улицей и в окна заглядываю: вижу иконы в красном углу. Подхожу к калитке, стучусь: боюсь, если сразу зайти во двор, собаки могут наброситься. Старая бабка выглянула, спрашивает: "Кто там?" Говорю: "Путник я, — отстал от возов и заблудился, пустите переночевать! Не бойтесь, я и для воробьев не страшен". Впустила бабуса. С нею внуки, а сына и невестки нет — в город уехали; был как раз субботний вечер. Борща налила хозяйка и хлеба отрезала ячневого, ел с голодухи, как дикарь. Попросил тряпицу перевязать рану: упал, говорю, ночью, ударился о корягу.

Лег на скамью; темно и тихо. Звезды видны в окнах и месяц, словно кованный.

Утром бабка протянула мне узелок с вареной картошкой, было там немного капусты и огурцов — сын ее работал в огородной бригаде, носил овощи. Тем я и жил, покуда не прибилсЯ домой. Что и говорить, одичал, тайком добираясь до хаты. Теперь вот дома. Не знаю, что будет. Не жить мне на этом свете, хоть бы и выздоровел. Нету мне места!.. Дознаются и заберут снова, на смерть, и во мне самом что-то оборвалось — нить, которая с жизнью связывала. Одно хорошо: внуков и родню еще раз повидал.

Говорил так старик, и видно было, что не жилец он на этом свете! — пластом лежал, измученный и недужий; рана у него не затягивалась, а врача звать нельзя, да и лекарства — где их возьмешь? Но больше всего изводила старика тревога — никак не мог успокоиться, все казалось — идут за ним, чтобы расстрелять снова. Может, он и одолел бы хворь, да голодно в хате, нечем подкормить, одна похлебка. Голод доковал. "И

всех нас этой же дорожкой отправят,— продолжал рассказывать мне Семенюта,— едва ведь ходим. Я давеча ушибся, руку растянул. Так теперь одна рука при деле. Доски на гроб пилил, вся хата их придерживала. Сбить доски сумел, а вот яму выкопать в одиночку никак. Пойдем рыть, чтобы до утра обернуться".

— Это делаем,— ответил я, и все смотрю на деда Гонтаря: он белый, как голубь; голову, щеки и подбородок покрыла седина, только рот глубоко темнеет, то ли губы в смерти почернели и раскрылись, то ли тень какая,— и глазницы глубоко позападали.

Вышли мы с Семенютой, взяв лопаты, и выдолбили яму: долго морочились, ночью ведь, все — наощупь. Сообща похоронили бедного деда, как преступника аль самоубийцу какого, без людей и в ночной темноте. Честный он был человек, можно сказать, праведный. Родня боялась громко плакать, неровен час, услышит кто с улицы. Если бы эти душегубы дознались, кого предают земле, всю семью отправили бы на смерть, чтобы скрыть свидетельство о расстрелах, еженощных и ежедневных.

Собрался я уходить, а Семенюта благодарит и извиняется, что нечего дать за работу. Говорю я ему:

— Забудьте, ничего не надо.

— Вот что,— осенило его,— услугу-ка я вам советом. Перед смертью вспомнил старик о прошлогодних буртах. Так вы себе возьмите один из них. Пойдете к сахарному заводу и, не доходя, свернете на проселочную дорогу, что возле толоки, там когда-то для заводских лошадей устраивались скачки. Сразу же за этим местом, справа, на небольшом холме увидите бурт, его засыпали, оставив мелкую картошку на дне.

— Вот за это спасибо, и от меня, и от домашних! — отвечал я, выходя со двора; темно вокруг, хоть глаз выколи, а я иду и радуюсь, как ребенок. Потому что если в буртах оставили картофельную мелочь, нам ее хватит на месяц. Картошка в прошлом году хорошая была. Лишь бы не проспать — ранехонько и пойду.

Отец умолк. Но Андрей долго еще не спал; убедился: это "они!" — которые расстреливают. Приближаются со всех сторон. Собрались и смотрят — кого бы взять. Призраки, немые и таинственные, чернели, не давая уснуть. Только перед самым рассветом он, словно утопая, погрузился в сонное беспамятство.

13

С лопатой и неразлучным мешком спешит Мирон Данилыч к буртам — в нездоровой предраассветной мгле, которая, словно ядовитые испарения, поднимается над снегами. Но вот разыгралась метель и выручила охотника: "Очень хорошо! Не так меня видно будет!" Низкая поземка пронеслась по степи и плавными кругами закружила над самой землей, швыряя горсти холодной снежной пыли. Небо над нею серое, с цинковыми просветами, без лучей; близкое и печальное. Седой океан снежинок волнуется и мчится, мчится в неисчислимых воздушных потоках, осыпая странника, его путь, невысокие холмы и одинокие вербы бледной желтизной, выделяющейся в снежном потоке.

Мирон Данилыч опасался, что ему не повезет: либо придут другие добытки и никому не хватит, либо все уже разрыто. Вспомнилась дурацкая забава работников на этих скачках, года четыре тому назад: влезут в крапивные мешки, обвяжутся поясами и ну скакать наперегонки, путаясь в мешках и теряя шаг. Падают под хохот зрителей. Соревновались и верховые, а один, пеший и босиком, выиграл пари, что обгонит коня — на короткой дорожке. Теперь, наверное, отстал бы и от петуха.

Вот он — бурт! Нетронутый! Катранник отгреб снег и взялся копать. Земля промерзла, хоть и не до конца: тут коня закопай — до весны сохранится. Тяжело уставший — работа, голод и трудная ночь на похо-

ронах,— Мирон Данилыч ложился передохнуть на разрытую землю, перемешанную со старой соломой. И словно клад нашел, так ликовал!.. бросовая картошка — подкормит, в ней — крахмал: кисель можно сварить, и детишки оживут. Так уж, видно, было суждено, чтобы дед Гонтарь, вернувшись с того света, вспомнил о заброшенных дальних буртах.

Вновь принимается копать Катранник и уже выворачивает первые картошины! — их все больше и больше. Набрал в мешок, сколько мог донести, затем выкопал боковую нору и спрятал туда остальные находки. Долго трудился, закидал разрытое землею и снегом, чтобы не так бросалось в глаза. А когда шел домой, обходил всех и вся: вдруг позарятся и отнимут мешок! После того как встретил тех двоих, что вечером хищно целились на его ведро с патокой, приближался к селу, как осторожная птица. Делал большой крюк, завидев людей у околицы... "Голодные они и есть голодные,— словно извиняясь, пояснял себе,— я и сам такой: если уж человек доходит с голодухи, он слепнет душой: все у него путается, кто враг, кто свой,— отберет и с концами".

Вспомнилось, как такие же доходяги хватили скрюченными пальцами мешок Отроходина, а тот, сатанея, стрелял в них лютым взглядом сквозь ледяные очки.

Но тут обожгла Мирона Данилыча другая мысль: "Вот, пашешь всю жизнь как проклятый — и выгребай для детей, будто вор, картофельные остатки зимою в морозной степи; а набежали крикуны с партбилетами — подмели все до зернышка, от детей оторвали, и стража, поставленная властью, охраняет кривду".

В хате давно забыли вкус картошки. Если разварить ее как следует, до густоты, да еще присолить,— старший сын поест и обязательно поправится; он эту еду любит. И меньшие: им бы зиму продержаться, а там, как зайчата, перейдут на зелень.

У порога отряхнул снег и, войдя в хату, сразу же сообщил, развязывая мешок:

— Картошка — наша!

Жена трогает мелкие клубни, утешается:

— Отличная картошка, теперь — праздник...

Повеселели дети, ждут-не дождутся, пока суп закипит. Он густой получился, совсем разварилась картошка; ели и вылизывали миски.

Мирон Данилыч после завтрака, едва коснувшись подушки, уснул. Бесчувственно: будто в земле.

В селе Кленоточи люди вымирали, как и везде на Украине; хлеб и все съестные припасы у них отняли, а самих бросили на неминуемую гибель. Государство, как смертоносный враг, использовав против них всю свою силу, отняло, кроме пищи, еще и возможность заработать на пропитание. Положение — хуже, чем во время чумы.

Картошка у Катранников кончалась, и хозяин рыскал по всей округе: не найдется ли чего для семьи? Холодно и пустынно. Печаль охватывала душу среди снежной пустоты; казалось, мир остыл, как брошенный дом. Все существо человека лихорадило одна мысль: найти еду.

Взгляд метался по снежному насту, обыскивая каждый двор, каждую тропинку, подворотню и заснеженный кустик, ветви одиноких деревьев, на которые изредка садилась темная птица: "Это, видать, из последних, лесная".

Вспомнив о косаре, Мирон Данилыч пошел к его подворью — не узнать места! Рощи словно и не было. Овражек, полный снега, и только. На подворье, ровном, как скатерть, хаты как не бывало, одни развалины, тоже занесенные снегом. Соломенный верх, кровля и дверные рамы исчезли. Видно, после отъезда семьи, когда спилили рощицу, хата стала добычей дровосеков.

Мирон Данилыч возвращается в село; проходит мимо хаты Кайданца — ставни закрыты, и ни следа от порога до ворот; ровно белеют давно

наметенные сугробы. "Выбрался-таки на Кавказ. Не податься ли и нам? — задумался Катранник. — Тут — белая могила".

На углу услышал разговор; слова, дразнившие воображение, заставили остановиться и застыть: партийцы! говорят о еде...

— Что сегодня дают? — спрашивает черная ушанка; под нею — жирная складка пересекла выбритый затылок.

Четверо, встретившись, тащат разный харч: кто на плечах, кто подмышкой, кто и в обхват — мешочек, кошелек, узел или торбу.

— Крупу и говядину! Вместе дают!

— Как было: кукурузу, а к ней чечевицу.

Притихли, заметив Мирона Данилыча, — чужой! — и двинулись дальше.

Катранник вспомнил: у села пристроили контору ненавистного заведения, оттуда они и тянут харчи. У одного из корзины блестел краешек багрового воловьего мяса.

А со стороны ветер доносил вкусный запах забытого варева, он притягивал крестьянина, как рыбу — живьем на крючок. Запах привел его к колхозной ограде. Там, за забором, трещал, дымясь и разбрасывая искры, костер, слишком яркий среди снежной белизны.

Вокруг котла собрались активисты: стерегли его, как сундук с золотом; другие, из той же упряжки, сновали чуть поодаль — мыли посуду перед тем, как начнут разливать обед, а кто-то пристраивал в корзину горшок, обматывая его соломой.

Меж тем за конюшней, впрягшись, как египетские рабы в каменную глыбу, колхозники волокли в степь дохлую лошадь. Были они такие же изможденные, как и единоличники.

Посмотрел на эту картину Катранник и только головой покачал: "Вишь, нахватали чужого, а что осталось? Наша ведь крупа в котле. Из сусеков выметенная! От полуживых! А у активистов морды лоснятся".

Насмотревшись на костер активистов и на то, как истощенные крестьяне оттягивают веревками падаль, МIRON Данилыч двинулся домой кратчайшей дорогой, что пролегла у печального места... Знал бы, сколько горя придется ему вынести, обошел бы десятой дорогой.

Проехала подвода. "Это туда!" — сразу же отметил он про себя, заслышав глухой стук. Мертвых в подводе, аки снопов. Трое мужиков, повыше и половчее невольного свидетеля этой сцены, сопровождают горемычных односельчан на покой.

Вот оно: подвода свернула на неогражденный участок, где уже выкопана яма, а новую — ломом, кайлом, лопатами, выдалбливают могильщики, двигаясь, как в болезненном полусне. Между тем мужики побросали мертвых в яму — присыпали сверху, и айда за свежими, которые представились.

Большие деревья у кладбища останавливали снегопад, и снега тут было поменьше. Мертвых клали также у могил, просто на снежный наст или хоронили так неглубоко, что земля и снег, оседая, постепенно открывали мертвецов. Повсюду виднеются: то рука по локоть или одна голая кость, то согнутая спина и голова, как после побоища, устроенного уже не людьми, а скопищем демонов, коим неведом обычай достойно обрывать покойника к вечному сну. Бросили их мертвыми и затоптали, пронесшись над ними. Выныривают мертвые из снега, как из потока, — белого и морозного, залившего их, но не укрывшего целиком, — так и остались лежать, пугая живых.

МIRON Данилыч хотел уходить, но глядь: двигается небольшая процессия, медленно очень, напрямик, через дворы, оставшиеся без заборов, оттуда, где белеет детдом. Отчего же ребятня сама, без взрослых, тянется сюда? Покачиваются в такт, будто колоски, связанные вместе; двое мальчишек отстали — волокут какие-то вещи.

Приблизились: шестеро тянут дерюгу с поклажей, облепили ее по краям, как муравьи. Доволокли до свободного от покойников места. Двое присоединились с лопатами. Попеременно берутся за работу; свободные

отдыхают, пританцовывая на морозе и пытаясь согреть руки. Подошел Мирон Данилыч. Поздоровался.

— Добрый день! — вразнобой отвечают дети, но поглядывают на него недоверчиво. Однако не говорят больше ничего. На дерюге трупик — руки скрючены на груди.

Заколотилось сердце у Мирон Данилыча: маленький покойник был одних лет с Андреем и даже похож на него лицом.

— Давайте я помогу, ребята, хоть немного!

Молчат. Один протянул лопату.

Мирон Данилыч начинает копать, но — дурная примета — сразу устал. Когда-то мог работать от зари до зари, забыв об усталости, только, знай, вытирал пот с лица, а теперь, вишь, не может и полчаса помахать лопатой. Стал мелко дрожать, по-стариковски горько и немощно. Ощутил такое бессилие, такое черное изнурение, что, того и гляди, рухнет на снег. Стоял, опершись на лопату.

Перед глазами трупик с пергаментной кожей и неправдоподобной худобой. Один скелет остался — и кожа на нем усохшая, землистая вместо одежды.

Воткнув лопату в свеженакопанную землю, чтобы не упала, если отпустить, Мирон Данилыч признался:

— Нет моей моченьки землю копать, ребята!

— Мы сами.

Пошел он, оглянулся с улицы и увидел, что яму уже засыпают. Не осуждал их: "Где уж тут закопать, как следует, если так обессилели? — и у этого трупика ручки вылезут из-под снега..."

Поглядывает на чужие подворья Катранник; то в одном, то в другом — мертвые, уложенные на снег.

Желтеет охрой хата Никифора Самохи, совхозного овощевода. Надо бы узнать, жив ли. Хозяин и жена дома: возятся с кукурузными початками.

— Сегодня в совхозе никакой работы, — сказал Самоха, — вот и разошлись раньше времени. Пусть вас не удивляет моя мукомолка! Достал пять килограммов кукурузных початков, это такая зарплата; буду обмолачивать.

Порубил топором на колоде початки, побросал в мешок, зачистил по мешку обухом.

Катранник рассказал о своих встречах — с партийцами и детьми.

— Удавят нас! — сказала хозяйка, чернявая, как ночной жучок, но, видать, малокровная: кожа, словно воск. Ее муж, напротив, светел, как лен; усы под линейку подстрижены.

— Посмотрите на мою домашнюю мельницу! — приглашает он гостя, — сейчас буду засыпать, вот мое серебро и смелется.

В углу, из-под старого рядна, поблескивает самодельная машина; и гость подступил поближе, внимательно рассматривая.

— Ничего хитрого, — говорит Самоха, — я поставил ровно спленный пень с укороченными корнями. А сверху перебросил еще один пень, тоже ровный, только без корней и поменьше. Оба аккуратно пригнаны кругами, туда вделаны камни, как зубья, их много. В нижнем пне посредине шворень, на нем-то верхний пенек и вращается. Срезы обведены жестяным пасом, он к нижнему пню приколочен. Составлен желобок — для муки, куда ей сыпаться. За большой гвоздь, вот он вверху, забит сбоку, берусь рукой и вращаю верхний круг на нижнем; вот и вся механика.

— Вся-то вся, да зверская штука! — восхищается Мирон Данилыч, глядя, как хозяин крутит самодельную мельницу: прогрохотало дерево, и заскрежетали камни. Звук болезненно отдается в ушах.

Гость вспоминает картинку в книжке: осьминог с вытаращенными гляделками и щупальцами во все стороны, как эта машина, — и тоже камни кругом, как тут, навалены.

— Камни-то зачем?

— Надо. Крепить нижний пень, чтобы не ерзал.

Самоха засыпал толченых початков в отверстие у шворня и стал вращать верхний пень, сухой и твердый. Машина размеренно загрохотала. Из желоба посыпалось.

— Это бы на всемирную выставку в Париж, или еще куда,— сказал гость,— пускай смотрят! Такой индустрии небось и в дурном сне не видали.

— Отчего же? Отдам и в Париж, пусть только надпись сделают: "Завершение ленинизма в селе Кленоточи", и год поставят: на переходе зимы из тридцать второго в тридцать третий. После выставки можно будет, как подарок, отвезти в Кремль и поставить рядом с царь-пушкой и царь-колоколом. Будет третье диво — царь-голод.

— Скажут, неровня тем двоим.

— Как? Мое диво ценнее... Ни из царь-пушки стрелять, ни в царь-колокол звонить нельзя, а мое диво — кукурузные початки крушит. От него, какая ни есть, а польза.

— Им-то такая мельница для чего?

— Для чего? Нынче на каждого туза-кремлевца по ферме работает. Все поставляет, и птичье молоко доит. А мельница — общая. Они там скоро перегрызутся — не будут верить своим фермам, станут бояться подсыпанных порошков из гадючьей склянки. Вот и скажут тогда: а где механика Самохи? Подать ее сюда! Каждый в кремлевских палатах за гвоздь крутанет и пересет мучицу — печь оладушки.

— Премии выпишут.

— Будет: ошейник имени вождя революции.

— Уймитесь! — остановила хозяйка,— вон уже во двор заходят, такую премию вкатают, света белого не увидим.

— Я ждал; у всех совхозных обыски,— сказал Самоха.— А у вас уже были?

— Дважды. Перерыли и вымели хату, как везде.

И Самоха быстро набросил на свой корневой механизм дырявое рядно.

Заходят обыскиватели. Повсюду суют нос, прощупывают хатку, топчутся на чердаке, зыркают под печь, шарят в углах и под полатями, тянут покрывало.

— Это что у тебя? — спрашивает распорядитель.

— Круг самодельный, так и называется: круг! — кукурузные початки дробить. Ими зарплату выдают, без зерна, вы же их целыми не съедите, а такой мельницы казенной нет, чтобы их крушила.

— Поговори мне! — кричит главный и с помощью милиционера вытягивает Самохино сооружение на середину хаты.— Тоже мне артиллерия!.. конфискую, как противозаконную мельницу без мотора. Несите на подводу!

Четверо берут механического осьминога. Начальник садится писать протокол и повторяет: "...Незаконная мукомольная техника в пределах частного помещения".

Мычал и повторял придирку:

— Штраф семьдесят пять рублей. И скажи спасибо, что без тюрьмы.

— Где же я возьму денег? Нет их у меня! — крикнул Самоха.

— Не мое дело. Не заплатишь — месяц тюрьмы. Чтoб знал.

Грохоча сапожищами, перешли через двор и отъехали подводой, на которой, поверх награбленного, возвышалась мельница из пней.

— Ну псы поганые! Ну бесноватые! — ругается Самоха.— Дают пустые початки вместо денег, и лопают их целыми, хоть подавись... Держат на работе, потому что я любую корморезку, если надо, починю, любую машину. Держат и душат. Чертова сила...

— Верно: так и зовется! — подхватил гость.

— Что зовется?

— Чертова сила. Я от старика в поезде слышал, что диавол не посреди пекла сидит, его туда, в геенну огненную, после страшного суда бросят, дабы сгорел. А он меж тем княжит в воздухе: будто бы витает в пространстве меж небесами и всем миром. Там и демоны его, над душами, словно

ястребы и коршуны над цыплятами. Теперь слетелись во двор, ко всем и каждому: хватают и клюют. Испытание всем за грехи наши. Христос, как властитель, все видит, и скоро пробьет их час; хищники изловлены будут и в огне погибнут, а кто терпел и остался верен, получит белый венец. Я тогда, в суете и спешке слушая, не очень-то задумывался. Теперь, когда напомнили, враз — словно картину на стене узрел — истинно все это.

— Тяжелая истина! Бесы клюнули в миску — и развалится теперь все! Пошли клевать все подряд! Наседают на полумертвых, а как найдут спрятанное — гребут и гребут. Ну где мне взять семьдесят пять рублей? Пушай берут на месяц в тюрьму.

Жена в плач:

— Туда — легко затаянут, а обратно из звериных-то зубов — мало кто вырывался.

— Может, обойдется. Может, закону нет такого — отбирать самодельные мельницы, — утешает Катранник.

— Обойдется? Как бы не так! Их закон — обман собачий! — с гневом сказал хозяин. — В совхозе тоже старичок есть, сидит при счетах. И мысль у него иная: всему причина — антихрист усатый: устроил пекло.

— Старики знают. Им видно, — сказала хозяйка.

— Не видно только, что есть будем.

— Одолжим у счетовода денег на штраф: а долг понемногу бы отдавали. Он добрый человек, подождет. А я в город съезжу за хлебом.

— Да кто тебя отпустит? Всех таких ловят, как саботажников.

— Ловят мужчин.

— Всех! В овраги сбрасывают или завозят в степь, верст за пятьдесят, и потом сгоняют на снег — замерзать.

— Кто сказал?

— Вернулись некоторые в совхоз: еле живы. Многие пропали.

— Ох, беда! — вздохнула хозяйка. — И гляди ж ты, ни дня без мучений!

Известие об оврагах, куда сбрасывают людей, Мирон Данилыч воспринял как новость, ему известную, но — жуткую до немоты и отмеченную такой вселенской скорбью, что он поневоле стал гнать от себя тревожные мысли. Слишком уж притягательной была возможность раздобыть в городе хлеба: хоть немного. Неодолимо захотелось снова ощутить его вкус и запах: добрый и чистый, живительный, как солнце в великой милости. Все чувства его собрались вокруг хлеба. Неужели нет в мире краухи — для него, который всю жизнь растил хлеб! — горы хлеба! — для других! Ну хотя бы детям, колы не ему.

С этой мыслью шел он от Самохи, унося подарок: два коржика из початков. Остановился, глядя, как сборщики волокли латанные торбы на воз к царь-мельнице с корявыми пятернями корней. Она — словно корона нужды, увенчавшая грабеж, сладостный для власть имущих.

Подъезжают к очередной хате; навстречу им через порог — семейство: отец и куча детей. Родитель черен и худ, как мумия, и наряд на нем несусветный, из кое-как сшитого пестрого тряпья, видать, отодранного от поношенных кофт и юбок вековой давности. Снизу подбит необрезанной собачьей шкурой.

Катранник сразу про себя отметил: недавно содрана эта шкура. Беднягу-пса либо придушили, либо нашли на пустыре дохлого. Ноги у мужика опухли или обморожены; он обернул их старьем, а поверху обвязал веревками. И стали ноги толстыми, как бревна. Стайка оборванных детей со всех сторон цеплялась за отца. Поражало, что они, — все босиком и худые, как жерди, — были очень пузатые: животы у них оттопыривались, как торбы.

Кривая дверь приоткрылась в сени, там лежала мертвая жена, вокруг покойницы уже намело снегу.

Облава с шумом и грохотом разогналась было к двери. И враз замерла, глядя на безмолвных сирот, застывших у порога.

Начальник обыска хотел зайти в хату, однако его намерение столкнулось вдруг с таким страхом перед открывшейся картиной, что сила эта, как сжатая до предела пружина, отбросила его назад. Дернулся начальник и выругался; грязно, со всею злостью, на которую был способен. И вся облава, кто пятась и переминаясь с ноги на ногу, а кто повернув сразу, уходили от живых привидений; затем ускорили шаг и из ворот уже выбегали — к общей подводе, которая тут же и двинулась дальше. Три невольных свидетеля происходящего тоже, пряча глаза, побрели от беды подальше.

Мирон Данилыч застал домочадцев, плачущих у постели старшего сына, тот, лежа на узкой кровати, тяжело дышал и все повторял:

— Скоро я умру.

Убивается мать, и стал у постели отец — слова вымолвить не может, душа скована...

"Это — конец!" — как искрой, обожгло сознание. Казалось, сердце проваливается в яму. Так пробыл он долго возле своего первенца. Вынул из кармана коржики, вложил сыну в руку: чувствует какая холодная у него ладонь и совершенно безвольная. Глаза далеко — смотрят, но не видят...

Заснул или забылся на часок. Пока сын дремал, все в хате притихли, ходили на цыпочках и говорили шепотом.

Когда же он проснулся, то спокойно произнес:

— Хочу напиться горячей воды! — глянул на коржик и стал есть; как обычно.

Мать быстро взяла ухват и вынула из печи чугунок — там, у самой золы, держала остатки юшки; поставила на припечек, ищет кружку и не найдет: совсем растерялась... наконец, отыскав, зачерпнула юшки; мелко застучала кружка о чугун. Сын пил, а она пристально всматривалась в его лицо, пытаясь понять — останется Микола жить с ними, или бросит их — в пустоте, как в ночной бездне.

Глаза его светлее, чем были до сна. Дожевдал коржик медленно, смакуя. Отец переломил коржик надвое и оделил младших, те хрупали и подходили к печи запивать юшкой. Глядя, как мучился старший брат, дети были очень напуганы.

Угроза миновала, но душа материнская — в тревоге. Страх в мгновение ока разросся, потому что у Миколы над щиколотками, сквозь лохмотья, видно: на припухших и потрескавшихся местах, сквозь кожу просочилась вода. Едва не закричала мать, увидев руину живого тела сыновнего. Бросилась искать чистую тряпку и, находя ранки, стала перевязывать их.

Микола снова уснул.

Тишина в хате: до самого вечера. А когда наступили сумерки, Мирон Данилыч тишайшим шепотом рассказал жене, как наведывался к Самохе. Вспоминал о слухах: некоторые ездят за хлебом в город, хоть это и очень опасно. Ловят и вывозят в глухую степь, бросают на погибель вдали от жилья; трудно сказать, правда ли.

При упоминании о хлебе, жена ожила:

— Отчего не попытаться, все равно смерть. От тех, кто ловит, еще можно убежать — всех не переловят!

Во время разговора увидела — сын поднимает в отчаянии руку, словно тонет и знак подает; захлебываясь, бьется в последнем усилии. Подбежали к нему, но он вздохнул, как от большой обиды, и стих. Не шевельнутся уста, и веки не вздрогнут: недвижны стали; ушла из них жизнь.

Мать припала — как прилипла руками; то причитая, то захлебываясь в безудержном плаче, она, казалось, утратила разум, и смерть сейчас свалит и ее самое. Рядом стоял отец — тень человека; скупое текла, будто огненная, слеза по бескровной щеке. Около них дети — их колотит тревожная дрожь, ловят родительские руки, словно невыносимый мороз ворвался к ним в хату, и они хотят согреться. Не стало у них брата, который всегда был кроток и ласков, — голоса никогда не повысит. Только

взглянет тихими глазами, подождет, будто думая о чем-то хорошем, и потом уже сделает, что просили. Был он — сама доброта, вовеки такого другого не сыскать. Брошены они, горе им без него...

Поздно вечером, в белой сорочке, со свечой, мерцавшей на груди, лежал Микола в горнице. Было холодно. Стояли, тесно прижавшись друг к другу и не могли оторваться взглядом от покойника.

Мать невозможно узнать: за один вечер постарела. Как вишня, раненная насмерть палящим солнцем; опало цветенье, и осталась она темнеть ветвями, не откликаясь на новое тепло.

Надо дважды повторять каждое слово усохшей душе, потому что утрачено ею чувство реальности; как лунатик: даже не плакала в тот вечер. Муж, задув свечу, вывел ее из комнаты, ставшей покойницей. И дети вышли с ними. Угас огонек на груди старшего сына, угас, словно жизнь в здешнем мире: навсегда, навеки. Остался мрак, сквозь который идти, прощаясь, им и ему.

Мать легла на печи. Раньше она спала на полатах, невысоко поднятых над полом, между печью и стеной. Там, когда был маленький, устраивался и Миколка. Потом ему поставили кровать возле окна. А этой зимой передвинули к печи, от окна несло холодом; кровать тут и оставили, хотя хозяин покинул ее.

Была жива бабушка — спала на печи. Младшие устраивались рядом; слушали сказки, пока не уснут. А когда лютовала метель, и зимние ветры выли в трубе, здесь было тепло от нагретого зерна, что сушилось на печи. Бабушка рассказывала о сером волке и украденной царевне. Прикрученная лампа оставляла таинственный сумрак, в котором, как живые, проносились картины, вызванные детским воображением.

Нет бабушки. Зерно исчезло, остыла печь, и воцарилась тьма.

Лежит мама с детьми на печи: приникли к ней, она же, обхватив их руками, никак не придет в себя, не вырвется из горя, терзающего сердце. Но смертельная усталость, что посильнее несчастья, смежает ей веки.

День открылся серый. В хате большое молчание, из углов дышит холодная сырость, и малыши надрывно кашляют. Жизнь пошла, словно в тумане или во мгле. Глаза у каждого лихорадочно воспаленные. Мирон Данилыч делал гроб и копал новую яму. Вынесли покойника. Опустили гроб на дно. Мать взяла горсть земли и, став у края, хочет бросить — выпустить из пальцев, но сама клонится вниз, просыпая темные комочки. Упала бы, не подхвати ее Мирон Данилыч под руки. И еще долго не могла опомниться.

Выросла в саду свежая могилка: она казалась пугающе черной рядом с бабушкиной — серебряной под снегом.

До самой темноты пролежала мать, хвора, вечером поднялась с лихорадочным блеском в глазах.

— Поеду с детьми в город: за хлебом! — сказала мужу, — найду хоть кусок, иначе все полягут...

14

Собралась в дорогу быстро, да и брать с собой нечего, кроме денег на билеты; кое-что из теплых вещей, да торба, в которой кроме вареных картошек, лежали куски малясника. Двинулись на станцию в послеобеденную пору. Мать поначалу так спешила, что детям пришлось бежать за нею; затем, чуть успокоившись, сбавила шаг.

Потеплело. Низкие облака плыли по небу, темные, почти черные, у горизонта, как уголь с синим отливом. Тоненькая полоска вечернего огня, бесконечно печального и словно уставшего, пролегла у земли и незаметно угасла.

Одинокие силуэты, вяло переставляя ноги, двигались в сумерках над дорогой.

Не было метели, и семья успела к очередному поезду, который в полночь, а если опоздает, то к утру мог бы доставить их в город.

— Не знаю, что с нами будет, — сказала, прощаясь с мужем, Дарья Александровна, — может, выпросим для них...

Закрыла глаза платком, говорить не может: из жалости к малышам; а, собравшись с духом, наказывает:

— Смотри за домом. Если зайдут и развалят, куда денемся! Пропадем на снегу. А пока угол есть...

Остановилась на полуслове, никогда не видела мужа в такой скорби, и тут родилось предчувствие: словно в сердце влетел ветер с черного поля и возвестил разлуку, не совсем близкую, но большую, чем нынешняя. Надо совладать с этой болью.

— Едем, как в лодке по страшному морю; об одном думая: когда домой?

— Вы уж там обходите облавы — недаром о них говорят.

Ударил звонок.

— Прощайтесь! — велела детям Дарья Александровна.

Они припали головками, прижались к отцу. Тронуло это его очень: впервые в жизни — так! — до глубины души, страданье вздернуло его, словно буря дерево, вырванное из почвы.

Двинулись в вагон, без конца оглядываясь, утирая слезы платками и ладонками. Махали напоследок из окна, когда поезд отходил, пока не исчез в облаках, беспроектных, как земля; и след его поглотила тьма. Тогда пошел Мирон Данилыч через вокзал, на дорогу. Двери хлопали и слышна была из репродуктора чья-то речь: ржавый голос выкрикивал что-то о величии вождя.

Двигутся согбенные спины от станции, освещенные электрическими полосками, протянувшимися из окон в зимний сумрак.

Бричка дожидается, видать, из начальства кто задержался в буфете, у заветной стопочки.

Медленно уходит Катранник! — словно дом его тут остался. Почувствовал, как одинок он без семьи, один-одинешенек, никому не нужный и чужой, тень пробежавшего облачка; никому до него нет дела. Опустел мир и стал сиротским приютом; только вражья сила, как на страшной странице из книги детских лет, притаилась где-то рядом. Сирота учился тогда в сельской трехлетней школе. И так вникал в рисование, что учительница допытывалась: "Откуда приходят к тебе живые линии, Катранник?"

Он их, эти линии, словно песенные нити, выводил карандашом на плохой бумаге: любил их. Но от мысли стать художником пришлось отказаться — по бедности. Нарисовал как-то хищника в степи. Трава множеством стебельков выткалась густо, как туман. Сквозь него пятном, едва заметным, обозначено туловище зверя; видна охристая голова. Глаза остроугольные, поставлены косо; следит напряженными щелками без единого теплого проблеска; дышат угрозой два острых клыка.

Жажда крови приводит зверя в бешенство — вот она, жертва, рядом, ну подойди поближе. Беспечная! — сонный покой непуганого рассвета обманул ее, и она приближается к мученической смерти. Личина врага, зловеще желтая, скрыта в траве, среди ярких, как свечи, цветов и дурманящих запахов. Затаился убийца среди растений, с подветренной стороны, чтобы разящий смрад не насторожил жертву. Грозен и лют — воплощение хищной бездны. Вот-вот вопьется зубами в горло. Лапы уже напряглись: хребет перебив, когти вонзить в мясо. Зубастая машина, предназначенная для кровавого дела, способна нестись со скоростью бури. Прячется до мгновенья прыжка... затем — бросок! хрясь — и никнет со стоном живая плоть.

Вот и теперь: везде падают люди; из родной хаты две души выхвачены.

В горьком одиночестве бредет Катранник от станции; бричка протг рахтела мимо, неся какую-то власть — довершать гибель.

Тучи казались каменными, непроницаемой черноты, будто обожженные

— при белоснежной скатерти дороги, бледно светившейся сквозь ночь. А вдали, во мраке, мелькали редкие огоньки села.

Пришел Катранник домой и лег. Лег — и провалился в такой глубокий сон, что открыл глаза лишь на следующий день. Утром пожевал кусочек горького коржа, запил студеной водой, хотя зачерпнул из ведра мало, с гулькин нос; боялся водянки. Вышел во двор, надеялся что-нибудь найти, авось повезет.

Уходя от ворот, почувствовал какую-то скованность, непонятно отчего. Оглянулся на перекрестке — беда!.. догоняют: Шикрятов и другой, в серой ушанке и пальто землистого цвета.

Катранник переходит на другую сторону улицы и слышит: они — тоже. Сердце похолодело и сжалось: "Будут братья!" Шел, как на казнь. Преследователи поравнялись с ним и не отстают. На углу Шикрятов скомандовал:

— Иди с нами!

Прошли сельсовет и ведут на площадь. "Не в церковь ли? — удивился Катранник. — Она ведь закрыта".

Ан нет! Открыли! Ввели туда мужика и поставили пред очами Отроходина, который уже поджидал его в кругу подручных.

Крестьянин на "тысячника" и внимания не обратил. Взгляд его впился в кучи зерна, высотой со старые надгробья, посреди церкви и у стен: везде подгнивало. Недалеко от дверей — картошка, заметно, что мерзлая, и по полу рассыпанная, и в мешках — по обе стороны прохода. Между зерном и картофелем сложен распил — доски и сосновый горбыль. Незаконченная пристройка с грязными лесами и рядами столбов, прикрепленных к стене рейками. Везде пыль и паутина: в развалинах, коими обернулся недавний храм. А был чист, как звезда.

Шикрятов, кивнув, доложил:

— Вот он!

— Как зовут? — изображает рассеянность Отроходин.

Крестьянин подумал: знает ведь, кого взяли. Смолчу.

— Я тебя спрашиваю, как зовут! — закричал вдруг, покраснев даже, Отроходин.

Молчит мужик, хотя ведущий дознание и пронизывает его взглядом сквозь лдистые стекла очков. Вот и снова стали они лицом к лицу, встретились взглядом на узкой дороге жизни. Один после памятного собрания заметно обрюзг. Другой, наоборот, кожа да кости, живой скелет; лицо остро очерчено, небритая борода торчит, словно клоч серой ваты. Лоб обтянут кожей и отдает восковой серостью, раздражающе высокий — над запавшими глазницами. Так выглядят тифозные. Глаза стали словно еще больше, кажутся белесыми: застыли, тронутые душевной горечью.

Поначалу Отроходин хотел одним лишь криком разбить молчание, но почувствовал, что неожиданно срывается в гнев. Продолжая допрос, переводит взгляд на Шикрятова:

— Как его зовут?

— Зовут — Катранник МIRON, злостный подкулачник; прячет церковную утварь, подлежащую конфискации и сдаче государству.

— Вот как! — протянул Отроходин, пытаясь избавиться то ли от тайной мысли, то ли от какой-то глубоко засевшей в нем досады. — Так он злостный...

МIRON Данилыч поневоле поднимает глаза и решает положиться на ход событий: будь что будет... "Неужто злостный, — мелькнула мысль. — Пожалуй, нет. Хотя все равно".

Произнеся "злостный", Отроходин глянул на крестьянина, но тут же отвел глаза. Нервная напряженность росла и как волна, поднимала Отроходина все выше и выше в предвкушении жгучего удовольствия. Ко-

лебался только в одном: как вести дальше допрос? Выручил Шикрятов, землячок быстрый и расторопный:

— Мы у него на пепелище вырыли бураки. Там где-то и чаша золотая. Сделанная искусно, и вокруг драгоценные камни. Есть постановление комиссии — передать государству, а он спрятал. Ее принесли ему девки местные; а сами — поминай как звали!

— Кто свидетель? — с деланным спокойствием вопрошает Отроходин.

— Свидетель есть: одна комсомолка, случайно подслушала; Катря, что смылась из села, говорила именно о Катранниках. А бригадир видел, не сомневайтесь, Катря эта чашу и схватила.

— Немедленно сдать, — распорядился Отроходин, извлекая из себя металлический тон, словно командир при окопе. — В противном случае ответишь и ты, и твоя семья.

— Жена его с детьми сбежала, — сообщает Шикрятов, — я сегодня узнал.

— А, почуяла, что преступление раскрыто. По-видимому, и он хотел бежать после того, как спровадит семью. Признавайся, где чаша?!

Мирон Данилыч молча развел руками и покачал головой; не брал, не знает. Решил: ежели совсем ничего не отвечать, подумают — чашу спрятал и онемел, боится брякнуть лишнее. Надо хоть как-то отвечать, а то заклинятся на семье.

Отроходин видит это и мысленно радуется: "Вроде раскалывается индус! Поднажму!"

Загрохотав сапожищами, подбежал к нему — и в крик:

— Ты что размахался? Где чаша?

Понял тогда Катранник: стой лучше молча, окаменей. Иначе вопьется вражья личина в первую же твою слабость. Застыл мужик, хоть и жгло его изнутри.

И снова дознатель выкриком резал слух:

— Отвечай! Не то тебе конец!

Мрачен, как туча, мечет из глаз молоньи:

— Отвечай, считаю до пяти: раз! два! три! четыре!.. слышь, отсчитаю "пять" — и выбью из тебя душу! Ну, я жду, говори! Молчишь?

Катранник безмолвен. Тогда, отведя руку, Отроходин размахнулся и кулаком хватил его по голове. Крестьянин охнул и ничком упал к ногам следователя: стукнулись о пол локти.

Отроходин вытер руку ладонью пальто и отвернулся, воровато скользнув взглядом по лицу мужика, — жив ли? Ежели умер, следы чаши пропали. Нет, этому хоть кол на голове теши!.. Можно было б отдать упрямца в сельсовет — под арест. Но тогда кто-нибудь другой, добыв чашу, прикарманит лавры: себя выставит для награды, а ты опять оставайся с носом. Нет! лучше так! Он сам, наперекор канцелярским щелкоперам, еле устроился сюда, на склад; а то ведь до сих пор продирался бы по трупам к мельнице.

О жизни крестьянина, как самооценности, мысли в Отроходина не было.

— Расшевели! — велел Шикрятову.

У двери, рядом с метлой и лопатой, стояло ведро с грязной волой. Шикрятов принес его и опрокинул на голову лежавшего без сознания. Тот приоткрыл веки и застонал: поливавший тут же метко ударил его ногою под ребро. Зашевелился мужик от резкой боли и силится встать, опираясь руками о грязный пол.

Шикрятов с напарником, серой ушанкой, рванули его под руки и поставили, он едва держался на ногах. Голова падала на грудь. Будто незрячими были глаза, ни отблеска в них живого.

Повеселел от этого Отроходин, развеселился неистово, повторяя про себя: "Угас! Угас! — исчезло сиянье в мужиковых-то глазах!" Даже не кроется со своей радостью — делая, впрочем, вид, что рад по другому поводу: жив, дескать, молодец!

— Ну вот, проснулся! Кто же знал, что ты слабак? Чуть что — сразу

с ног. Сам виноват, в другой раз не дразни. Тут и железный не выдержит. Отвечай, где чаша?

Тщательно выждав, меняет тон:

— Есть хочешь, и семья тоже. Я накормлю! — Повернулся к своим и дал команду:

— Мешок пшеницы!

Двое подручных тащат мешок от стены.

— Скажешь, где чаша, пшеница твоя!

Катранник, поддерживаемый с обеих сторон, молчал, хотя мешок поставили у него прямо перед глазами и развязали. Смотрел безо всякого выражения... и вдруг аж дернулся, прикипев взглядом к живому цвету пшеницы. Вот хлеб, через минуту его можно будет забрать, только скажи, где чаша. Однако тут же явилась скорбная мысль: "Чтобы вот так, за это зерно — продать? А потом куда? А кара небесная, мне и моим детям? И кто выживет из деревенских, всяк плюнет вослед и проклянет Катранников. Нет, места себе на земле не найду, лучше умереть".

Он закрыл глаза и, свесив голову на грудь, молчит.

Следователь — подручным.

— Принести муку!

Слышал Мирон Данилыч, что ставят и другой мешок; и смотреть не хотел, да одолела его жажда — увидеть еще раз настоящую муку, белизну ее... Глянул... крупчатка! из нее пекли праздничный каравай, в детстве его звали "папою". Можно бы испечь уже нынче, вернувшись отсюда. Никогда еще в жизни таким диким воплем, никому не слышным, но бесконечно тягостным, не кричала его душа: съесть хлеба! Катранник задрожал всем телом и потянулся сухокостыми пальцами, теряя рассудок, к открытому мешку. Быстро же и опал, расслабленно закрыв глаза, лишь догадка мелькнула: "Все наперед подстроено, погубить меня..." В глазах потемнело. Он обвис, будто ветка, что надломилась и увяла.

Отроходин увидел: жертва полумертвою уплывает из рук. Однако про себя отметил: "Подействовало! Сам придет и просить будет". Но тут же приметил, что в мужиковых глазах вновь ожило сияние, хотя сразу же скрылось под опущенными веками.

Он подал нетерпеливый знак — убрать, самими кончиками пальцев.

Вывели мужика за дверь и столкнули в снег — со ступенек, и шапку бросили вслед.

Пришел в себя от холода; тихо постанывая, ворочался, словно калека. Поднимался медленно, сперва на колени, а затем и во весь рост. Спотыкаясь, поковылял через площадь. От морозного ветра и снега, на котором лежал набрякшим виском, быстро легчало; боль поутихла...

Все думал: сказать жене о вопросе или не сказать?... "Нет, пожалуй, промолчу, а то будет болеть за меня душой".

Домой брел по метелице, повалил густой снег, разыгралась поземка. Отчаянный крик неподалеку. Заметил: на крик сворачивали и другие, но каждый в одиночку, не так, как когда-то; раньше объединялись, торопясь и строя наперед всевозможные догадки о случившемся. Тоже новое: распались человеческие связи и всяк угрюмо спешит своей дорогой с замкнутой на себе мыслью и с остротенностью в сердце, люди одичали. Редко собираются по два-три человека. Собравшись, молча смотрят, как бежит женщина — бросается под порывами метели то в одну, то, натолкнувшись на мерзлую осину, — в другую сторону, к хате, и сразу отбегает; мечется, как угорелая, как слепая. Кричит одно и то же:

— Убейте меня! Убейте!

Ни у кого ни о чем не спрашивая, Мирон Данилыч подошел ближе к зрителям, один из них объясняет:

— Соседи тут проходили, говорят, что в ее семье все макуху ели и стали примешивать туда ботву, собранную еще с осени. Вот молодница-то и наелась белены. И мужа этим зельем накормила, он тоже ел, кто знает, что с ним случится — может, такое же будет. Не отвести ли ее домой? Убьется тут либо покалечится, если не замерзнет в сугробе.

— Отвести, а чего же? Отвести домой, и все! — вдруг с настойчивостью, неожиданной для себя самого, сказал Мирон Данилыч собравшимся. — Ну-ка, взялись, пока не замерзла!

Пошли навстречу молодежи, к дереву на неогороженном дворе, вчетвером схватили за руки и ведут. Она вырывается, воем воет, криком кричит, — убейте меня, убейте сразу, — еле довели до порога. Она уже и не понимает, куда ее ведут.

Гурьбой миновали сени и распахнули дверь. И увидели у печи ее мужа, на котором висели лохмотья рубахи. Смотрит, как безумный: верхние веки высоко подняты — впивается взглядом в вошедших. Повсюду в хате кровь; на скамейке зарезанный ребенок, обезображенный до неузнаваемости.

Муж развел огонь на самом шесте, дыма полная хата! — и готовит на сковородке еду; что-то жуёт. Один из вошедших крикнул:

— Он ребенка зарезал и жарит! Помешался!

Невыразимый страх обьял Мирон Данилыча, пальцы его невольно разжались, и он выпустил руках молодлицы; другие тоже бросились к порогу, перепуганные насмерть, но никто из хаты не вышел — стоят в углу, словно примерзли к глиняному полу.

Молодица, как и прежде, блуждала взглядом по комнате, не понимая, что происходит, словно потерянная, окончательно обессилев, опустилась — легла на пол, тут же, у ног своего мужа; минуту покорчившись, затихла, скончалась. А он уже не жевал, проглотил, что было во рту, да так и застыл: не может осознать ни смерти жены, ни своего состояния. Потом вдруг вскочил, уронил нож и, полураздетый, с остатками сорочки на голых плечах, выбежал во двор, растолкав мужчин у порога. И — понесся бог знает куда под вой метели, мимо столбов, оставшихся от ворот. Мужики за ним, бегут на ослабевших ногах, кажется им, что во всю прыть, — никак не догонят. Он несся в степь, петляя и увязая в глубоких сугробах, падая и снова вскакивая.

— Давайте догоним, а то ведь упадет и замерзнет!

— И никто не увидит, где он упал...

Побежал с мужиками и Мирон Данилыч, вконец запыхавшийся: все хотели обязательно поймать сумасшедшего — не дать ему сгинуть в снегах. Но были слабы; то и дело останавливались, чтоб отдышаться, перевести дух, тяжело хрипели.

Версты занесло, уж и не видно беглеца! — так далеко убежал, что ни догнать, ни разыскать. Постояли люди, облепленные снегом, да и вернулись обратно, пряча лица от ветра, до того уставшие, что еле плелись, и за всю дорогу никто не сказал ни слова.

У села, на едва протоптанной тропке, лежал человек, выставив вверх правую руку; метель и его заносит снегом. Те, кто бегал ловить сумасшедшего, тяжело дыша, остановились.

— Уже преставился! Готов. — Сказал один из мужиков и, сняв шапку, перекрестился; за ним остальные.

Второй добавил:

— Раньше нас протоптал стезжу и нас теперь поджидает.

Сказал мужик — и вдруг опознал покойника; протянул изумленно:

— Э-э, да это же Лукьян, голосующий "за"! Смотрите, поднятая рука!

— Он! Он самый и никто другой.

Окоченела рука у мертвого, поднявшись высоко из-под свежего снега.

— Значит, голосует! — отозвался кто-то, не до веселья было, и никто больше об этом не произнес ни слова.

Едва улыбнулись.

— Убрать бы его, — заговорил мужик, вспоминая о дорожке на тот свет.

Другие удрученно ответили:

— Скоро и сами так свалимся! Нет мочи. Надо сказать, пусть сюда подвода подъедет.

Возвращались в село молча: уже приближались к крайним хатам, когда вдруг топот из степи...

Кто-то бежал за ними сквозь буран. Мирон Данилыч даже вздрогнул от неожиданности: показалось, что летит тот сумасшедший.

— Эй, люди! Подождите! — кричал кто-то из снежной пелены. Приблизился, и все увидели мужика.

— Подождите, спросить хочу! Дают ли на мельнице муку? Вам ближе, я не здешний, из Ситняги...

— Муку? Держи карман! Как только зайцы прокукарекают, так и приходите с двумя мешками! Что вы! Скорее песок уродит на камне, у ворона легче выпросить!..

Мужики, задетые словами о мельнице и муке, выдали ему все, что думают об этом, и снова примолкли; смотрят на пришедшего с упреком: впал в детство, мужик, что ли...

— А-а! Стало быть, до сих пор,— протянул прибывший, высокий малый с резкими чертами небритого лица: на нем низкая шапка и ватник, белый от снега.— Слышал я, собираются туда многие завтра.

— Зря собираются! Разве что у кого ноги казенные.

— С шилом за патокой...

Детина огрызнулся:

— А хоть и с шилом! Кое-кому на мельнице вогнать под ребро, вмиг мучицы насыпал бы!

— Им вонись! Там с винтовками и колями. Стреляют и дают по шням такой крупчаткой, что снег потом жрешь...

— Муравьи, коли много их соберется, медведя гонят.

— Э-э, так то медведя. У него когтей не хватает, когда муравьев — тьма-тьмушая. А тут дьявол, а не медведь.

Мирон Данилыч лелеял тайную мысль, что у грабителей хлеб свой надо вырвать обязательно, да как? Ну, разве что соберется очень, очень много людей. Многим удастся тогда ворваться на мельницу. Набрать муки и спрятать. Он сказал:

— Навалиться сообща, только среди ночи, и мельница наша.

— Среди ночи? — спрашивает прибывший.— Утром, перед рассветом, тоже можно.

— Не знаю, можно ли,— колеблется Мирон Данилыч.

Мужики начали расходиться, каждый в свою сторону.

Прибывший сказал Катраннику:

— Провожу вас до угла...

На пустынном, перекрестке заговорил сурово, словно приказывая:

— Завтра спозаранку из нашего села пойдут на мельницу, потому все едино — смерть. Пускай и ваши подходят. Говорите каждому, в ком уверены!

Сказал — и ушел в метель.

Очень ему обрадовался Мирон Данилыч: Вот решительный человек! — если бы так сразу! Теперь-то ведь люди, что мухи, силы не те. А поутру не с руки: часовые начнут стрелять, всех видно. Ночью темнота, конечно, укроет; да не каждый встанет! Я, вон, за картошкой шел, и то ближе к утру".

Вьюга становилась плотнее. Снежинки подлетают к окнам и останавливаются, будто ищут вход в жилище, но, не найдя, отлетают в сторону и вверх, к соломенной крыше. Кружась, уносятся опять в бескрайний простор; чтобы упасть где-то на равнине и лечь там навсегда.

Идут высокие снега, ткнут их на белых пряхках, что стоят меж землею и небом. Их рассыпанные нити летят, множатся и сплетаются в чистый занавес, которым укрывают хаты.

Вот свой двор и дверь; останки сада, смахивающие на призраки. Мирон Данилыч подошел к могилкам: обе светлы под снежной кисеей; спокойные и далекие. Изъяты из этого мира два существа, самые для него родные, кровно с ним связанные: мать его и сын,— в чреде скорбных дней, из прошлого в будущее, где оборвалась нить его первенца. Близок их дом

— до них один шаг, но страшная и неодолимая граница отделяет их от него. Непостижимо далеки они за этой границей!.. Ни им ничего не скажешь, весть подавая, ни от них ничего не услышишь, стена незримая стоит, и никто сквозь нее не пройдет. Не передаст привета тем, кто его душе всего дороже. И глядишь, рядом с этими холмиками вырастут новые. Осталось бы хоть кому хоронить.

Утром надо идти войною на мельницу. Потому как сидеть безучастно — могилы множить. Будь рядом жена, запретила бы — словами и плачем; страшно. А брат Прокопий правду сказал! — хищник на цепи у дьявола, несется, бросаясь, и уничтожает всех подряд.

Зашел Мирон Данилыч в хату — студено и пусто. Пожевал малясников и прилег, чувствовал себя совершенно разбитым.

Отдохнул и взял топор: срубить вербу у глинища. Работа небыстрая. Дерево промерзло, а снег летит в глаза, слепит слабого дровосека.

Пора сходить за остатками картошки, закопанной в бурте, а вместо этого предстоит поход на мельницу. Можно и послезавтра вырыть запас.

Роем вихрятся вокруг снежинки и подгоняют, почти как мысли; да все вокруг беды. Отчего чужаки пришлые стали мучить всех, отбирая хлеб — для себя! — у каждого, кого замордовали? Это же наш хлеб, и мы должны его взять, коль погибает с малыми ребятишками. Вот только кому сказать о мельнице? Повезет — будут благодарить, а нет — проклянут ведь! Ежели остался в семье отец, то еще как-то держит при жизни детей и женщин; а пропал он — конец всей семье.

Нет, пойду-ка я один, а других пусть зовут те, кто надумал сбор поздний, утром — для расстрелов. Ночью полусонную охрану легче обойти, да и спрятаться с ношею легче. А тут... Быть беде, а приходится идти...

Мирон Данилыч сперва нарубил веток и отнес их в сени; потом подсек ствол. Впрягся в бечевку и перетянул колоды. Полежал, с трудом переводя дух. Сварил миску пшеничного супа — реденького, почти синюшного цвета.

15

Едва стала заниматься заря, люди уже выходили из Кленоточи, их больше, чем предполагал Мирон Данилыч. "Слух разнесся через доверенных!" — подумал он. Шли прямо по дороге, затем свернули в занесенную и нехоженую степь: кто поздоровее, протапывал тропку в снегу. Снег перед рассветом был мокрый и держал ровные следы. У каждого палка или кол, выдернутые из уцелевшего плетня, и мешок или торба. Двое мужиков, за которыми шел Катранник, приглушенно заговорили:

— Все едино, смерть, хоть и смирно дыши.

— Это и слепой видит...

— Хлеб прее в кучах и гниет: просто в грязи, под дырявым брезентом.

— Тут не палка нужна, а кое-что иное, а то ведь и прелого зернышка не отдадут.

— Всю свою мощь выставят. Было бы нас побольше. Говорят, обещали соседи...

— Будут! Нас-то ведь подняли! Надо быстро управиться: все вместе, все заодно. Набрать — и сразу же разбежаться, кто куда.

— А что, если бы мы семьями, с детьми опухшими поехали и бросились в снег под Москвой, и не уходили бы, пока не отдадут наш хлеб для малых ребят! — как думаешь, помогло бы аль нет?

— Да как же оно могло бы помочь, если приказ есть — не пускать нашего брата в Расею; отправлять назад! Нет у них сердца — камень под ребром. Сюда прислали своих: вершить этот ужас.

— Мы с женою даже поспорили, я говорю: наберем муки или зерна — и назад. Нас много, мыслимо ли всех поймать? Да ничего вы не успеете, — перечит она, — у них винтовки, постреляют. А я говорю: пойми, кто-нибудь все равно доберется до хлеба! Ох, нет, — отвечает, — они там

такие лютые, что всех вас уложат; не ходи, останься дома, страшно мне. Отвечаю ей: все равно смерть, сидим мы смирно дома или пытаемся хлеб забрать. А жена свое: не ходил бы ты, не надо, не кончится это добром; если б еще в начале голода двинули, может, и взяли б, а теперь-то ведь и людей не густо, повымерли. Я ее отчитываю: разве можно дома сидеть, когда все идут? Знаю,— сказала она, заливаясь слезами,— только чует мое сердце, что ничего не будет, окромя беды.

Закончив рассказывать, мужик замолк. Сосед упрекает:

— И без того досиделись. Не сумели собраться сразу, идем хоть теперь, а то ведь выморят, как муравьев!

Мирон Данилыч уверен: будь жена дома, ни за что сюда не пустила бы. Ну а коль ты остался один в хозяйстве, нельзя отказываться — не будет потом тебе оправдания; ни слезы жены, ни просьбы детские тебя прежде не останавливали, а ты сиднем сидел дома. Большим обернулось бы это позором. Должен идти: и не только чести ради, а от крайней безысходности! Вот если они ничем в городе не разживутся — голод, усталость — и вернутся больными, тогда без еды разве поставишь их на ноги? Мерзлой картошки мало, но глядишь, и ту выгребли. Надо продержаться еще ползими, до первых почек, а уже, кроме остатков отрубей и пшена в узелке, ничего нет. А тут, куда все идут, есть хлеб — так надо его брать сегодня, не медля, и можно продержаться...

Мрак, объявший снежное пространство, начал рассеиваться, отступая перед серой громадой света, шедшего с востока. Небо — в седых тучах, налитых чернотой.

Шествие разбилось на три части: людской ручей медленно продвигался через снежные заносы от соседнего села. Встретившись, люди немного постояли и развернулись в сторону мельницы.

Шли, убыстряя шаг, потом крестьянское это скопище стало делиться на шеренги, звенья, группы. Вскоре стихийная армия разбрелась по степи и усеяла темно-серыми фигурами все снежное пространство и теперь уже просматривалась четко: вверху — черные облака, внизу — она, степь, белая, как березовая кора, и ровная, как праздничная скатерть на столе — ни конца ей, ни края.

Шли крестьяне по холодному раздолью в одном направлении, и вела их одна-единственная дума, об этом красноречиво свидетельствовали мешки и торбы у каждого в руках.

На подступах к мельнице человеческое море сужалось в передовых шеренгах, как в волнах, охватывающих прибрежный камень со всех сторон.

Степь, будто ровная доска, но для ходака в ней всегда найдутся многочисленные холмы и пригорки, канавы и впадины, овраги и другие неровности, покрытые снегом.

Мирону Данилычу, как нарочно, выпала трудная дорога, изнурявшая сердце и множившая в нем досаду. Пока доплетешься, муку разберут, если, конечно, людям удастся прорваться на мельницу. Или — первым достанется, а с опоздавшими справится подоспевшая на помощь охрана. Постреляют всех либо заберут в кутузку.

Не оголодай он так сильно, опередил бы многих, сегодня же, ослабев, отстал — и на тебе, копошится в сугробе.

Мельницы из-за пригорка не видать, карабкайся вверх или бери наискосок. Везде следы: снег и земля разрыты — искали картошку. Встревожился: эдак, пожалуй, могут добраться и до его бурта, хотя он за селом, в другой стороне. Но вскоре надежда раздобыть муки снова заполонила все его существо. Чувствовал крестьянин, что он теперь другой, не тот, каким вышел из дому, со двора. Пружинило теперь в нем что-то неведомое и мощное, сообщаая отныне его замыслам силу закона. Если бы о чем-то подобном его спросили раньше, он только плечами пожал бы, не понимая, о чем речь. Обуздав тревогу, пробудившаяся в нем сила взяла на себя руководство всеми его помыслами, мобилизовала его сознание — словно свет, взметнувшийся от него в окружающий мир, чтобы вернуть его. Мирона Данилыча, самому себе, чтобы он наконец смог самовопло-

тяться. Сила эта, сильнее самой воли, заняла ее место и действует в твердой уверенности и надежде, что в этом, именно в этом — их общее спасение. Очень многое значит такое единение для души, замкнутой в глухом одиночестве, где единственная радость — островок теплоты и ласки, где надежды, боли и ожидания — для всех одни. Так чувствовал себя сейчас каждый из подходивших к мельнице, серые фигурки молча окружали крепость. Пришло осознание: не раздобудут хлеба,— угаснет свет жизни; и смерть поджидает тебя и твоих близких, единственных, любимых,— у оледеневших дверей.

Выбравшись на пригорок, Мирон Данилыч увидел на мельнице флаг. Красный цвет усилен белизной снежного пространства, вспыхнув сладострастным огнем, он мгновенно исторг из себя греховную угрозу, и она стала разрастаться, множиться ощутимо, яростная и хищная. Еще миг — и красный огонь угас, прибавив к мужиковой нетерпеливости жгучий страх. А люди все шли и шли — непрерывно. До мельницы рукой подать.

Часовые у ворот, завидев крестьян, сперва не очень-то и зашевелились. Поджидали, с винтовками наперевес, пока передние ряды остановятся, не понимая хорошенько, что это,— самовольный выход, или, может быть, сельское начальство перегоняет население через степь. Часовые давно уже свыклись с неестественным и лишенным всякого смысла всевластием начальства. Сразу и не сообразили, что поход возник вопреки его воле. Когда это наконец дошло до них, охрана спохватилась и с запоздалой поспешностью открыла стрельбу.

Боясь, что у крестьян есть ружья, одни часовые спрятались за воротами и открыли огонь из-за столбов, а другие залегли прямо в снег, за насыпью; оттуда, как в тире, и пристреливались по живым мишеням. Первые ряды голодных уже побежали к мельнице. Кое-кто был так близок, что, будь у него обрез или револьвер, он наверняка пристрелил бы одного-двух часовых и ворвался бы во двор. Но оружия ни у кого не было, и охрана в упор расстреливала безоружных, всех подряд.

Первые сразу упали, убитые на месте; другие корчились и стонали; кто-то, словно удивленный, остановился, приложив ладонь к простреленной груди, и медленно опускался на раскрошенный снег.

Нападающие не могли с разбегу остановиться: подбегали новые ряды; из них, наверное, мало кто понимал, что происходит, такой неожиданной была расправа с передними. Крестьяне рвались к воротам, кажется, больше гонимые вьюгой, чем страхом. Действовало отчаяние обреченной на смерть голодной толпы, когда ничего перед собою не видишь, кроме постройки, откуда можно забрать собственный хлеб, отнятый у тебя и у твоих близких; вот оно, это строение, рядом!.. Каждый, кто спешил к воротам, надеялся прорваться туда раньше других и отсыпать себе полную меру муки в приготовленную торбу. Потому что вернуться с пустыми руками означало медленную смерть — это понимали все.

Следом за павшими катилась такая большая людская волна, что грозила затоптать часовых. Она была уже так близко, что выстрелы из винтовок не могли ее всю уложить, через несколько минут охваченные отчаяньем люди прорвутся во двор.

Но вооруженные "вороны", как окрестил их брат Прокопий, в мгновение ока взобрались на ворота; до этого они прятались за воротами, прижимаясь к ограде. Из-за столба за полем боя следил начальник караула. Выждав момент, он взмахнул рукой, и часовые бегом вынесли по обе стороны ворот ручные пулеметы. Они сразу же застрочили; одновременно с ними из центрального пролома ударил станковый пулемет.

Бежавшие попадали под боковой огонь малых пулеметов и под прямой — от большого. Зоркие часовые подстреливали каждого, кто пытался подойти сбоку.

Как воровские косари спешат положить колосья чужой нивы, так пулеметчики прицельной стрельбой косили крестьян. Снежное поле укрыли снопы, сваленные в незаконной жатве. Намокнувший от крови, таял

снег; стон последней боли прошел через безмолвные степи и наполнил собою тот страшный рассвет.

Мужики, отходя к вечному сну, скрюченными пальцами хватались за снег и царапали ногтями мерзлую землю. Кое-кто пробовал подняться, чтобы уйти от гибельного места — того достреливали. И он уже падал навсегда. Немилосердно косили даже тех, кто, не дойдя до мельницы, останавливался и стоял ошеломленный: не было сил бежать, а лечь не догадались; не думали, что будут убивать и их, остановившихся далеко от ворот.

Расстрел проходил перед глазами Мирона Данилыча как во сне, словно видение, когда вдруг привиделся ему сосед по селу; в одном из первых рядов шел к воротам. Он ранен, и уронил посох, тоненький посошок, которым ни убить, ни искалечить... уронил и стоит, словно прислушиваясь, что это? Что это — у самого сердца? Никак не поймет. Но чувствует: дальше уже не пойдет, — слегка отвернулся от мельницы, бледен, как снег, на котором стоял. Из уголков рта течет кровь. И, наверное, подчиняясь душевному порыву, а не разуму, выразил желание свое. Поднял пустую торбу, многими заплатами меченую — ржавые все и темные, — поднял одной рукой торбу и держит, а другою на нее часовым показывает и отводит руку по направлению к селу. Хотел сказать: "Я должен принести муки тем, что в селе, они там умирают, а я не виноват, я могу и так сгинуть... но для них — должен набрать, непременно: вот в эту торбу." Хлопнул еще один выстрел, и крестьянин упал; резкий взмах локтем — и кровь ручьем хлынула у него изо рта; обагрила снег и залила торбу, как бы тем самым ответив: вот что тебе полагается, тебе и твоим детям! — полон твой мешок, неси, если подымешься.

Дальние понемногу двигались вперед, пока не увидели явственно: там — расправа над безоружными.

Недострелянный фланг ближнего ряда круто развернулся и из последних сил побегал назад; тогда, подхваченные его движением, стали отбегать и другие.

Отступление обернулось беспорядочным бегством; люди отчаянно метались по степи.

Пуля попала Мирону Данилычу в бок: под плечо. Перехватив палку в левую руку, он — правой, просунутой под ватник, — зажал рану. Устремился обратно и нашел свои прежние следы на снегу; "могло попасть в сердце!" — подумал он про себя, перебираясь через овраги и старательно огибая холмы. Дорога, к счастью, шла вниз, и пули неслись повыше: пока отдалялся от мельницы; затем стали реже. Пригорки, низко пригнувшись, Мирон Данилыч преодолевал как можно быстрее. Дальше отходил глубокой балкой и даже мог позволить себе передохнуть.

Сперва кровь просачивалась сквозь одежду, а затем запеклась. Даже боль утихла, что удивило Катранника. Однако стоило ему резко шевельнуть левой рукой, и боль отдалась в подреберье. Догадался: пуля прошла навывлет, с такой раной можно будет справиться без лекаря.

Стрельба утихла. А вскоре пошел снежок. "Еще бы не сбиться да не наскочить на пулемет", — опасливо подумал крестьянин. Буран, налетев как-то сразу, не больно усердствовал и вскоре стих.

До села близко, а чувствует Катранник — не в состоянии и шага ступить; жмет к стене безверного сарайчика — передохнуть, надеясь передышкою этой одолеть немощь и унять темноту перед глазами. Усталость отнимала силы, и надо справиться с ней, иначе нельзя: опрокинет в снег. Все-таки пересилил ее Мирон Данилыч. Открыл глаза, ослабевшие от потери крови, и пробежал взглядом по степи. На снежной белизне темнели одеждой люди: жертвы голодовки; словно крохи гречневого хлеба на праздничной самобранке.

Всматривался, недужий, болело сердце; будто и сам он уже среди неживых; убит во всех своих чувствах и приготовлен к гибели. Нету больше Катранника, это его тень пробует оторваться от бурой стены; с таким трудом! — усилие в каждом шаге. Сквозь марево недуга в нем,

однако, уже проступает что-то от еще нераспознанной, но уже засветившейся где-то в глубине сердца решимости и надежды.

Еле добился до хаты: упал, как подкошенный, и, накрывшись рваньем, заснул, словно положенный во гроб. Ни сновидений, ни березовых марев! Только, кажется, дребезжала беззвучно ничем не обозначенная бесформенная струна, натянутая в пространстве: от беспокойства, сопровождавшего сон.

Проснулся под вечер и ошупал рану: прострелено предплечье, больших разрывов нет, кровь, запекшись на обеих ранах, закрыла их. Одежда прилипла, и придется отдирать, это больно. Вскипятил воды в миске и, когда чуть остыла, зачерпнул ладонью: отмачивает полотно. Вспомнил, что где-то хранится склянка с остатками йода, на самом доньшке.

Мирон Данилыч вырвал перышко из гусяного крыла, которым обметали когда-то свежеспеченный хлеб, хорошенько обмыл, вытер, смочил йодом и смазал кровоточащую рану, остро запекло. Потом сделал перевязку.

От малясника, запитого водой, едва не стошнило, ощутил обморочную слабость и холодную, сырую боль в желудке... Лег и закрыл глаза. Положил обе ладони на живот; согреть его; почувствовал — боль понемногу стихает. Надо скорее забрать картошку из бурта; обдумывая это предприятие, он снова погружается в сон.

Пошатаваясь, вышел за околицу; дело шло уже к вечеру, мало кто хоронил своих покойников. Не было у людей сил. Лишь в нескольких местах копают могилы. А те, что оказались покрепче, вывезли раненых санками — эвон тянутся к селу следы от полозьев, смоченных кровью.

Поздним вечером малость отступили облака от звездного неба, и при его свете четыре фигуры поспешили в степь. Когда темень сгустилась, замелькали свечные огни и кадильницы: как созвездие, что упало с небес и дрожит на снегу. Раздался голос — старческий, негромкий, торжественно произнося речения, порой срываясь на хрип. Три других отозвались, сопровождая его вместе, в песенной скорби, сильнее всех земных рыданий, — отпевали; от лица всех. С молитвой: помиловать грешных рабов. Огоньки передвигались с места на место, прочерчивая причудливые линии, соединяющие звезды в рисунок; двигались во тьме и вели за собой певучую скорбь, обращенную в невидимость высшего неба, что поверх всех миров, словно световая гора. Во веки веков бела присутствием Отца людей и ангелов.

Катранник слушал и не мог уйти. Ему казалось — летит перед ним раскрытая в бесконечности книга, полная тайного смысла, и душа неспособна его постичь, читая светящиеся буквы. Но он принадлежит ей, как то единственное, последнее владение, которое желтый князь не в силах отобрать, лишая жизни.

16

Предрассветный сумрак. Видно уже, как люди плетутся по снегу, тяжело переставляя ноги; кто-то прилег. Многие идут вдоль насыпи, опередив более слабых, разбросанных по степи.

Поезд спешит мимо мертвых и мимо живых, которые в большинстве своем тоже обречены, хотя и пытаются выбраться из морозной западни. Остановится ли поезд, чтобы спасти их? — нет; так ведомое уголовником судно минует несчастных, когда, выбиваясь из сил, мечутся они в волнах бушующего моря после крушения.

Один из пассажиров, хозяин ручной пилы и торбы с инструментами, приглушенно сказал:

— Застукают кого в городе у хлебного ларька, швыряют в грузовик — и в степь! Выбросят на снег, километров за сорок. Хорошо тому, кто доберется....

Холодом обдало Дарью Александровну, и она зашептала детям:

— Слышите? Смотрите же, не теряйтесь, не отставайте от меня: ни на шаг!

Приехали на рассвете: вокзал — замызганный кирпич и железо, паровозный дым и клубы пара; свистки, лязганье, крик, чемоданный грохот у дверей и шарканье подошв; толпы спешат — никто никому не нужен.

Давно не была в городе крестьянка и ужаснулась, подумав: "Несутся, равнодушные навеки!.. для ближнего — что холодный камень; а кто умрет — обойдут, словно и не видели".

Прут тяжеленные чемоданы, потеют командиры с ромбами на воротничках, и тут же — партийцы в кожаных пальто. Поблескивают желтые портфели на медных защелках и нетрезвые лица "ответственных". Сквозь общий гул нет-нет да и прорежет себе дорогу сизая физиономия с багровыми прожилками на белках глаз; и граждане в бегущих толпах резко отклоняются направлением, как окуни от щуки.

Снуют служащие в недорогих, но старательно отутюженных пальто с полосатыми шарфами поверх галстуков и выцветших шляпах. Отдельно рабочие: худые до воспаленности, тяжело ступают. Засаленными ватниками и кепками они похожи на крестьян, которые тоже здесь толпятся, ободранные и грязные, загаженные ночевками в городских подворотнях — вконец истощенные, серые и костлявые, как выходцы с того света. Или опухшие перед смертью. Проноса свои пустые торбы, они с трудом протискиваются сквозь толпу; ложатся на камни, покрытые грязным снегом. Их полуживые тела повсюду рядом с вокзалом; под ногами — на мостовой и на цементных плитах у стен, а еще больше — под заборами. Тянутся голодные к магазинным витринам и умирают; никто на них не обращает внимания.

Партейщина высокого ранга и звания, с яркими звездами на груди и на картузах, с выраженьем кислотовато-горделивой скуки поглядывает сквозь стекла легковых машин — недосуг! — поглядывает на трупы, рассеянные по улицам, и воротит откормленные хари. Ужасная занятость — надо спешить на хронические заседания в облаках табачного дыма, и без конца оглашать речи о строительстве счастья. В перерывах, сгрудясь в буфете, опрокидывать незнаемо какую по счету стопку и заедать корейкой, рыбцом и копчением; а "заправившись" до сопящей одышки с икотой, вновь говорить о построении бесклассовой мечты и курить фимиами вождю, ровно божеству, чья мудрость, дескать, привела к веселой жизни народ, то есть всех, издыхающих за окнами.

Никогда еще в подлунном мире ни одно живое существо так не купалось в неправде, как красная партия: словно исполинская хавронья в грязной луже, упивалась, марая бока, ноги и уши, окунаясь в зловонную жижу и захлебываясь от восторга, выхрюкивала на весь мир свое блаженство.

Тех же, кто осмелился перечить или пытался усовестить, вмиг разрывает клыками.

Мимо доходяг "организаторы" их смерти пролетают в легковушках, брезгливо поджав губу.

— Вишь какие! — прошептала Дарья Александровна, выжидая с детьми на перекрестке, когда можно будет перейти.

Долго водила детей морозными улицами: следила, куда направляются другие голодающие; их такое множество, что повсюду в городе просто рябит от лохмотьев, толпятся у распределителей, магазинов, ларьков. Тысячные очереди ждут известий о хлебе, продаваемом без карточек по коммерческим ценам, несусветно взвинченным. Слабейшие из несчастных калечатся в давке.

В тот день не сумела Дарья Александровна пробиться к заветным весам. Беспросветное ожидает в очереди, — ни конца ей, ни края, — на затоптанном снегу. Впереди разговорились две женщины: одна средних лет, светловолосая, в коричневом, не по росту большом для нее мужском пальто и в стареньком темно-синем берете; другая — лет пятидесяти

пяти, седая, в поношенном, но теплом пиджаке песочного цвета и в платке, который был когда-то зеленым, а теперь выцвел до крайней блеклости рисунка.

Платок рассказывает, как приходилось работать в степи, и как мокли под дождем до самых холодов.

Собеседница берет комментирует:

— Без дождя, если долго нет, еще хуже: все сохнет.

— То-то и оно! Без дождя — хуже.

Старшая беззвучно шевелит губами, словно припоминая:

— В позапрошлом году работали в подсобном хозяйстве, его тогда к заводу прикрепили. И повадились к нам заводские комсомольцы: всех обыскивают, одежду на груди лапают, смотрят, нет ли на нас крестов. Роятся в торбах и чемоданах, у кого есть иконка, забирают немедленно. Кидают кресты и ладанки на пол, это если в доме, а на дворе — в грязь, и затаптывают тут же, при нас, сапожищами. Видели мы, как они измываются, и думали — может, и правда, Бога нет, ежели он за такое не карает. Один комсомольский хлопчик срывает с меня крест и кричит:

— Я тебя задушу, гадюка, ты зачем этот дурман носишь?.. А мы все с раннего утра до позднего вечера — в поле.

Засуха началась, дождя нет и нет. Комсомольцы объявили, что им не надо ни Бога, ни его дождя — обойдутся; говорят: "Создадим искусственный дождь!"

... Всех заводских гнали потом еще и дополнительно работать вечерами на поле. А у рабочих и так на рубахах соль выступала: душно на заводе, и работа тяжелая. Сверх того, должны воду таскать из канав и прудов, либо из привозных баков — поливать овощи. Сколько ни поливали, ничегошеньки из этого не выходило. Ни один росток из земли не показался, хоть воды вылили — прорву. И только сильней после этого солнце жарит: все подчистую горит, хоть плачь. Долго так-то возились да народ мучили; делая свой искусственный дождь, заморили всех поливкой. А ничего не прорезается из земли; не зеленеет — и точка. Все черным-черно. Стало видно, как на ладони: вознамерились против Бога и хотят что-то сделать, его опровергнуть, да ничего у них не выйдет. Обречено.

И вот, опосля незадачи с искусственным дождем, как уже и ведра позабросили, явилось вдруг облачко, стало приближаться и расти; увеличилось на глазах и закрыло весь оком. Да как грянул гром! — засверкало страшнолюдно, и еще громче, громче гремит, оглушает. И такой тогда начался ливень, что все вернулись с поля мокрые до нитки, ручьями текло с них!

Просветлело после дождя, пар из земли пошел, везде появились всходы: зазеленело, да еще как! Ох и урожай был: давно такого не помнили.

Комсомольцы — дара речи лишились: никто из них больше не заикался, что Бога, дескать, нет. И об искусственном дожде, вместо Божьего, молчали. Так-то оно получилось с заводскими безбожниками: их дождь осрамил.

Женщина в синем берете оглянулась и быстро-быстро зашептала:

— И голодомор ихний — искусственный и от дьявола, пусть бы уж скорее конец.

Дарья Александровна наклонилась к Андрею:

— Слышал — про крестики?

— Слышал.

— Не станешь крестик с людей срывать?

— Нет.

— Смотри же: другое забудется, такое — никогда. Помни об этом постоянно.

В очереди подняли крик, стали толкаться. Высокобровый старикан с газетой и лихо закрученной на конце тростью, раздраженно бормочет, ни к кому вроде не обращаясь, — но слышно всем:

— Что, я не вижу? Стали впереди и меняются, по четыре раза, то одни подходят, то другие; сговорились! Милиция тоже хороша!.. Своих пропускают, а нас — опять в самый конец очереди...

Возмущается старик, впрочем, не очень громко.

— Из-за них столько времени теряем! — сказал и уткнулся в газету. Однако читать уже не мог, нервы.

Жалуются соседи:

— Идешь за хлебом, торчишь целый день, а они у тебя на глазах тут же все расхватают.

— Наш, а нам не достанется.

— Три дня тут — ни крошки не взяла!

— Ноги не держат.

— Еще и берегись, а то схватят и вывезут в овраг. Я уже там побывал — еле вылез. Если не мертвый, так убьешься, падая.

Опять — давка, борьба, взаимные упреки; как вспенившиеся волны прибоя — летят и, утратив разгон, стихают, чтобы тут же родиться снова.

Во время затишья, наступившего после общей перебранки, женщины заговорили снова:

— Сами-то вы откуда? — интересуется платок. — А то гляжу я на вас: одежда городская, а речь — наша.

— Недавно тут; я из села. Муж привез, дома уже доходила, траву только и ели. Двоих деток спасла, а двое умерли. Да и не жильцы уже были: опухли, кожа полопалась, водянка. Муж поехал искать работу. Чую, смертушка моя на подходе. А тут муж возвращается — нашел работу и хлеба маленечко раздобыл; приехал нас выволить. Сюда привез и советовался с доктором, а тот говорит: "Есть им понемногу давай, умрут они, ежели наедаться вволю, на изголодалый-то желудок". Нас в этой строгости муж целый месяц держал. Я давно хлеба не видала, так хочется есть, что вся обмираю, глядя на краюху, да он не давал наедаться. Мучилась я тогда и думала, что он с умыслом делает, извести меня хочет. Только когда отошла малость и совсем поправилась — поняла, как верно он делал. Вспоминаю теперь, как подозревала его, будто со свету сжить меня хочет, — стыдоба.

— Люди и не такое вытерпят! — вздохнул платок.

Впереди стояла крестьянка в зеленоватом пальто, когда-то теплом, теперь истрепанном и облезлом, с неровно слежавшейся ватой.

Стояла, наклонив голову, так, что темные пряди, словно два галочьих крыла, свисали ей на лоб из-под бесцветной шали.

— Не прогневайтесь, слышала я ваш рассказ. Я из таких же, как вы, только хуже мне было. Не по правде судила, и не в ту сторону шла, не о добре пеклась, а о зле.

— Что ж тут гневаться? Всех нас беда в одну кучу гонит. Расскажите и вы, а то все мы, да мы.

— Всего не расскажешь! Мой-то помер, и я пришла сюда, уборщицей в школу. В селе, где мы жили, муж был активистом. Сам он не из бедняков, нет, отец его принадлежал, как теперь говорят, к "бывшим", подворье у него было довольно богатое. Хороший хозяин был, теперь такого не сыщешь. Сын же его, супруг мой, сделался активистом, не из-за выгоды, нет, просто поверил: так надо для блага трудящихся. Люди от него плакали: "Ко всем цепляется и обдирает, как липку... да что же он с нами делает? Спасу нет; тянет с нас последнее".

Однажды так было. Встретил он деда. А надо сказать, кулаков у нас тогда надвое делили: одних величали "экспортными" — для высылки за Урал, те были поздоровее; других, старых баб и дедов, тут оставляли. Один дед был еще крепенький, хоть и семь десятков ему, мог еще жить. Был у него сын, горбун, — этого калеку тоже оставили в селе: изголодался тот скоро и пропал. А дед знай себе ходит. Было это зимой; встретил мой-то муженек деда и говорит:

— А-ну, сякой-такой, скидывай с себя все!

Стянул с деда одежду, всю как есть: не для себя, для колхоза; думал, так надо, вот и старался. И голым пустил деда по снегу. Дед просит:

— Кондрат Петрович, оставь ты мне хоть портянки, чтобы не босиком-то по снегу идти!

Супружник мой на него как вызверится:

— Ах ты ж такой да эдакий! Убирайся вон, пока я тебя не удавил!

Так и побрел дед босиком по снежному насту.

Я тогда верила — вместе со своим-то, — что так и надо. Когда заводили речь об умирающих с голоду, я им отвечала въедливо:

— Честные теперь не умирают, одни кулаки и лодыри. Мой не упадет — он работает.

Но, видать, надо всеми есть какой-то суд, там, вверху, по великой правде. Было у моего супруга что поесть, не корчился с голодухи, а все-таки упал однажды и помер. А я уехала в город и тут теперь спасаюсь. Рассказываю вот, что с нами было, и легче мне. Тяжело одной-то вспоминать свою глупую жизнь.

Соседки сочувствуют:

— Бедная душа! Носите крестик и надейтесь на Бога; везде поможет, — сказала соседка, та, что в линялом платке.

— Теперь буду. А смотрите, кара была, потому что не только люди, скот погибал: шкура отставала и трескалась. Пропадала животина незнано от чего. Может, травили те, что приехали в наши села — все развалить. А только они и худшее делали: душу муженьку моему отравили и еще многим, таким, как он. Его погубили и других — его руками.

К рассказу об активисте Андрей почти не прислушивался, но когда речь пошла о разбойниках, мигом наострил уши.

Женщина в платке, заметив стайку шустрых подростков, кивнула в их сторону:

— Тут деньги воруют. И это со стороны принесено. Воровства у нас на Украине отродясь не было, дверей никто не запирает; если всей семьей выходили в поле, прислонят к двери коромысло — и прохожий видит: в хате никого... повернулся и был таков. Даже мысли не возникало, чтобы зайти и взять чужое. Унесет кто курицу — десять лет вспоминают; говорят, — вот пошли внуки того, что курицу украл! Жили без воров, а теперь набежало их откуда-то, ничего не убережешь! — все тянут, стоит только отвернуться.

— Так оно и есть, — соглашается та, что помоложе, — чужаки гонят из хаты на смерть. Разбойники, и те такого не делали.

Женщина в берете вспоминает:

— Я слышала, пригремел какой-то Каганович — забирает наш хлеб до зернышка.

— Гляди, какой! — отвечает собеседница. — Был у нас тут один, звали его Жульга; тогда тоже хлеб выметали продрозверсткой, и тоже голод косил. А этот прибил из курских земель, сказал: я такой-то; а кто он и чем занимался прежде, поди знай. На краю села жила вдова: он и пошел к ней в примки. Ничего не делал, а — то одно пристроит в усадьбе, то другое. Людям это показалось подозрительным, но никто ничего не мог доказать; так и молчали. Да только стал повсюду скот пропадать: то лошадей ночью уведут, то корову в степи зарежут, то волов уведут из хлева. И это все — по большому кругу, на добрую сотню верст; длилась такая беда около трех лет.

У наших родичей добрые были кони и жеребенок. Их закрывали в конюшне на шину — винт такой в дверных косяках, ключом на резьбе закручивался.

Стали примечать хозяева по вечерам слежку за конюшней. Им сосед сказал, смотрите, потому как у вашего двора жуликов с добрый десяток околачивается — подстерегают, видать.

Один из них приходил днем и предупреждал: "Хотят ваших лошадей украсть, слышал я и кто, да не знаю наверное. Вы уж поберегитесь, я вам добра желаю!"

— Они все одинаковы! — сказала соседка, та, что в берете; все нам о счастье кричат; полные уши.

— Одинаковы, — согласилась рассказчица, — тот вор хотел на лошадей посмотреть. Заходил и все поглядывал на ячейку, куда ключ всовывается, только туда и косил глазами. Когда он ушел, хозяин спохватился: "Ай да Потап! И нашим, и вашим — пришел замок осматривать".

Несколько ночей не смыкали глаз, — все вокруг воры шастали, не раз у конюшни топтались, да не смогли открыть.

В других местах легко шло: приложат воск, закажут ключ по размеру и выводят лошадей.

А у наших родичей свояк был кузнец, он придумал еще один винт сверху в замке: сквозь этот винт нарезка сперва в ключе пройти должна, а тогда уже можно добраться ключом до замка.

Воры всю шину исцарапали — пробовали открыть, а секрета не разгадали; так и ушли ни с чем. Уже весной в навозной куче нашли связку отмычек; воры бросили, уходя.

— Нынче конюшню бы разнесли, а украли! — сказал кто-то.

— Тогда воры были поплоче, — согласилась рассказчица, — но они быстро управлялись, по селам везде кражи, и никого поймать нельзя. Ведь как было: скот уводили далеко и оставляли в лесу, либо других скрытых местах, перестоять, пока идет розыск. У них везде свои люди были — через них краденое и сбывали.

— Как нынешние. Сила у них есть.

— Есть, на наши головы, и никакого замка никто не придумает. Все заберут. Так и тогда, обворовывали все: амбары, хлева, сараи, хаты, словно чума какая, года три!

— Да нынешние — уже годков пятнадцать будет.

— И кто знает, скоро ли кончится. Чтоб их уже...

— А с теми — чем кончилось?

— Возвращались как-то обходчики лесом в поздний час, в чаще встретили двух незнакомцев, каждый гнал по паре волов. Поздоровались и двинулись дальше. А уже как отъехали верст девять, спохватились: с чего это так поздно скот гонят? Где это видано, чтобы в глухую ночь гнать волов сквозь густой лес. Возвращаются, догоняют погонщиков с волами:

— Откуда скот гоните?

— Да вон с того дальнего хутора.

— А куда?

— На станцию.

— Кому?

— Знакомые наши выедут на ярмарку.

Долго расспрашивали мужики, видят, что концы с концами не сходятся, — ни с тем, чьи волы, ни с тем, отчего хозяева не сами гонят, — обходчики этих людей знали. Не поверили байкам погонщиков, забрали их с волами и доставили на расследование. Оказалось: волы краденые. Главных воров схватили, судили их и выслали. Больше никто их у нас не видел.

— Дай Бог, чтоб и этих мы больше не увидели.

— Когда-нибудь дождемся.

— А что же с другими?

— Таких, как Потап... простили его, говорят, этот в одиночку не опасен. Недолго он у нас и пожил, уехал в другое село, запил и пьяный повесился.

Закружил снег, словно заблудившийся человек; дымя, завихрился вдоль белых тротуаров. Разбушевалась метель. Со свистом и шумом погнала клубы морозного дыма мимо седых домов. Устав, плавно взвесила на лету сгустки снежинок и повела их теперь уже прямо, укладывая на заснеженную мостовую. Даже сменила ход: подула в обратную сторону. Но мигом опомнилась и вновь замела поземкой в прежнем разбеге — ровной и страшной массой, словно обстреливая город невесомыми белыми ядрами.

Некоторые из них крутились вблизи, словно отыскивая жертву; слепо роились и исчезали в быстрых течениях, будто посланные к цели.

Люди, горбясь, закрывали лица.

Стихла метель так же внезапно, как и началась; резко похолодало.

Снова пришлось, насмотревшись на хлебный киоск, жевать домашние малясики с отрубями, привезенные в узелке.

Много опухших; уходили из очереди под заборы и опускались на снег — умирать.

Мимо спешат "шишки" в чернкожаных фуражках или в цветных картузах, ярких, как попугайчики, с красными затылками и выбритые до баклажанной синевы. Глаза кипят блеклой желчью; вылиняли от бессонниц, проведенных в допросах и мучении арестованных.

Один произнес без выражения, пронося вислый нос над тонкими, в ниточку, губами:

— Работать не хотят. Лезут за хлебом.

Эти слова ударили Дарью Александровну в самую душу, но возразить она не посмела, лишь мысленно обругала: "Чтоб вам так божьего свету не видать, как нам не хотелось работать! Только и знаете — жилы из людей тянуть, а труд их пожираете, выродки! — чтоб вам добра не было!"

Встал над фонарями чернеющий вечер; без луны и звездного света. Очередь сморила всех, Дарья Александровна то закроет глаза, дремая с детьми, то проснется — надо следить, не случилось бы какой беды. Соседки тоже клевали носом. До нее доносился чуть слышный монотонный разговор двух горожан: они вышли из очереди и, прислонившись к забору, набивают папиросные гильзы — табаком — из небольшой машинки.

По виду похожи на учителей. У одного под мышкой серая книга, вложенная в журнал. Шляпы и пальто худые: галстуки дудочками свернулись во время давки у ларька. Один из приятелей, круглолицый шатен; свежесподстриженные усы; и свисает черный шнур от пенсне, за которым поблескивают светлые глаза. Другой — высокий, худой, нос с горбинкой; карие глаза, в скорбной кротости теплеют из-под дугастых бровей, а губы, словно в тысячелетнем терпении, притаились за рыжими усами и курчавой бородкой такого же цвета. Закуривая, старые горожане бубнили о чем-то своем.

Рядом сельская баба, равнодушная к их делу, обняла детей, как птенцов; согревает их плечики, прикрывая рукавами, словно крыльями. Чуть задремала. Многие ждут вот так в стороне, как эти два курильщика, прислонившись к забору или сидя на нем, подложив кирпич или мешок. Так примостилась и Дарья Александровна с детьми: у сырых досок.

И сама того не желая, вынуждена слушать все, о чем едва слышно басят курильщики, остановившиеся как раз напротив нее. Когда они даже начинают шептаться, их слова слышны, да и что им бояться голодной крестьянки, которая мучается с детьми на морозе.

Они долго перебирали — так и эдак — и журналы, и союзы.

— Но знает ли он? — задумывается круглолицый.

— Знает! Сверху, от высокого козыря пошло к низшему, от того — дальше вниз, и так по лестнице с сотней ступенек спустилось сюда: стало быть, разыграли пьесу, когда "хозяин" обедал. Ест он поспешно, голову опустит и слушает члена ЦеКа, который аж дрожит, докладывая:

— Смертность массовая, уже — миллионы...

В тот миг была проблема с неподатливой отбивной: "хозяин" не мог перегрызть сухожилие и морочился — застревало в щели между двумя соседними зубами. Вытянул и подцепил вилкой, чтобы скорее откусить. Когда же, наконец, перепилил жилу и заглотнул кусок, мигом опустошил стакан и косо огрызнулся, вытирая усы:

— Не говорите мне об этом: людей у нас достаточно! — И снова заработал вилкой и челюстями.

— Представляю себе, как "он" возмутился, что ему испортили аппетит...

— Именно. Твердая жилка, наверное, редко встречается в таком хорошем мясе.

— Вы сказали, отбивная?

— Да. Возможно, твердая жилка впервые, а то бы отложил кусок.

— И мне случилось — ну, что скрипучая струна; приходилось грызть, ведь ножи у нас тупые.

— Хотел "хозяин" непременно перекусить: упрямство! Мясо из того хозяйства, откуда все идет лишь на его стол. Самолет возит свежезрезанных барашков для шашлыка, чего, конечно, не предусматривал "Капитал" Маркса в главе "Историческая тенденция капиталистического накопления". Между прочим, соратники тоже не дремлют! Существует небедный Лазарь: у него имение — любой предводитель дворянства позавидовал бы. Там построен коммунизм не по Энгельсу, а по цыганскому королю. Везде ликеры; где спит, где бредется. У каждого подобный эдем, кроме общего для всех заведения для ночи, но это мелочь. Пасутся возле "меча революции" и греют котел сатаниила.

— Плюс мираж. Иногда я жду: наваждение вот-вот исчезнет, словно сон. Нет! Все идет, как шло.

— Ибо предсказано,— сказал рыжебородый,— предсказано для воцарения Вельзевула, чьи слуги, словно змеи, будут изгрызать жизнь...

— Змеи? Нет, спецпоезда: один ходит исключительно по ночам, и стерегут его тайну, однако просачивается...

— Я в школе тоже был. Спрашиваю у партийцев — боятся сказать. По глазам вижу: знают.

— Кое-кто уже был зван туда, рассказывали по секрету родным, а те — миру. У ларька, где продают кости от коровьих голов вместе с рогами, тоже говорят.

— Об этом скоро будут кричать даже окна и двери.

"... Все — верно: обо всем, что творится,— думает Дарья Александровна.— Вот отчего погибаем..."

Круглолицый продолжал:

— Вспоминаю стихи, в которых две строки полностью определили причину: И в желтых окнах засмеялись, Что этих бедных провели. Длительное молчание; наконец, рыжебородый шепчет:

— Это самые горькие строки, написанные в наш век.

Глянул вверх, на заснеженный силуэт города: сквозь крошечную тьму ярко светились окна огромных правительственных зданий.

— Очень странно! Мне померещилось: оттуда, из-за желтых стекол, выглянуло привидение.

Он застыл, словно прислушиваясь к непонятному шуму.

— Знаете, я тоже будто слышал ледяное дыхание, когда читал эти строки,— сказал круглолицый.

Отчего-то и у Дарьи Александровны екнуло сердце, когда слушала эти строки, вмиг — будто разлегся зловещий смех: "Ой, никак пахнет бедою! Надо быть начеку..."

Она быстро осматривается, куда можно скрыться, ежели что; да вон хотя бы в тот пролом в заборе; до него рукой подать.

Предчувствие не подвело ее. Вскоре примчались грузовики, с гиканьем прыгивая на землю, картузники ловят и тянут, как скот, всех, кто, судя по ободранному виду и мешкам, деревенский. Хватают — и в кузов, а там их уже ждут вооруженные часовые.

Дарья Александровна ни на миг не успокаивалась. Слушая городских, напряженно следила за движением на улице, и, едва началась облава, закрывала детям:

— На погребель хватают! Бежим!

И потянула детей за руки к дыре в заборе; там кто-то вырвал пару досок для растопки; протолкнув туда детей, пролезла сама и помчалась с ними через садик, припорошенный снегом, а потом дворами — к калитке, выходившей на соседнюю улицу, параллельную той, где хлебная очередь.

— Чш-ш, не шуметь! — предупреждает мать, — потихоньку! Рядом собаки.

Калитка на крючке. Дрожа от страха, мать приоткрыла ее и осмотрелась: на улице ни души; фонари с адресом под жестяным козырьком светятся над дверьми.

Беглецы побежали прочь от калитки и завернули за угол — подальше от несчастливого места, откуда доносились крики женщин и детей, которых тянули за руки и швыряли в грузовики.

Вновь сорвался снег, не густой, но идти было трудно, слепило и забивало дух резким ветром.

Бродили до полуночи, пока не набрали на лесной склад, у которого прохаживался сторож. Видать, озяб, сидя у ворот, которые оставил открытыми. Встречая редких прохожих, уступал им дорогу.

Метель, досаждавшая во время бега по городу, тут пригодилась: укрыла бесприютных белой пеленой. Когда сторож, повернувшись к ним спиной, двинулся от ворот, они пристроились у него за спиной и юркнули во двор. И сразу же метнулись в сторону, укрывшись в тени наваленных грудой досок. Оттуда осторожно и высоко, словно речные птицы, переставляя ноги, перебрались дальше, в неосвещенную глубь склада: тут повсюду лежали горы пиленой сосны и так мирно пахло смолой!

Мать нашла укромное место — за досками, которые, нависая неровным козырьком, укрывали от вьюги. Там и присела с детьми; прижимала их, сонных, и целую ночь дрожала, сидя: то задремает, то снова проснется от холода и тревоги. Докучал неотвязный голод — казалось, все существо пронзено беззвучным стоном. Надо терпеть: брала горстями снег и глотала, чтобы унять голод, но тогда в душу стал проникать мороз; прекратила.

Ей мерещилось, что преследователи уже близко, что они незнано как видят, где она спрятала детей, что следят за ними, и когда явятся, от смерти не спастись.

Перед рассветом, вконец обессиленная и больная, вывела детей к воротам; все так же приоткрыты. Выглянула — сторож, прислонившись к столбу, спит, и она с детьми поскорей вышла на тротуар, белый после ночной метели.

Целый день мучилась, пристраиваясь к хлебным очередям, везде такая давка! — кто послабее, жметесь в самом конце "хвоста", без надежды добиться до прилавка.

Надо возвращаться к вчерашнему ларьку, а там людская толпа поболее, очередь там занимали еще с ночи.

Голод пересилил страх. На место тех, кого вчера схватили и вывезли на погибель в заснеженную степь, пришли другие, такие же заморыши, доведенные до отчаяния, взрыв которого, впрочем, гасится немощью. Тщетно, видать, их надежды на хлеб — им дозволено только сгинуть, как тысячи других.

— Едьте, дети, домой! — сказала, глотая слезы, Дарья Александровна. — Коль умирать, то лучше у себя дома, не под забором на улице.

Пошла с малышами на вокзал — вход закрыт: деревенских не пускают. Оставляйтесь ночевать под стенами, где протаял снег, и в морозной грязи блестят лужи. Да еще захватила метель — вперемежку с дождем. Негде присесть. А ждать поезда надо целую ночь!

Дарья Александровна подумала: чем тут мучиться в лужах и на сквозняках, не лучше ли снова переждать ночь на складе?.. Там хоть присесть можно с детьми на сухом-то месте и слегка подремать.

— Нет, мои пташки, пойдем, где сосна. Маленечко поспим.

— Там лучше, мама, там лучше! — согласились дети.

Побрела с ними к складу и, как в прошлый раз, опять прокрались во двор. Кое-что изменилось: часть пиленого леса за день убрали, а новый привезли и сложили у ворот. По их вчерашним следам разбросана солома; отличная находка: втроем насобирали ее столько, что хватило вымостить угол, который, по счастью, остался нетронутым. Снова прижались друг к

дружке; пожевали малясника, и их стало клонить в сон; спали, вобрав головы в плечи и теснясь, как пернатые в гнезде.

Спалось спокойнее, чем вчера. Но слабость от недоедания была уже, как хворь, — утром едва могли проснуться и встать; казалось, пропадают! Все плыло перед глазами, а в желудке холодила и жгла мутная, словно ядовитая резь, убивавшая жизненную силу и душу. Глаза уже едва видели.

Светало. Бездомные, выходя из своего убежища, отметили, что сторож с кем-то закуривает на перекрестке. Небось видел, что женщина с малыми детьми ночует, да постарался не замечать! — еще и соломы набросал: пусть возьмут, теплей будет.

Или все-таки не видел? Если видел, то смолчал, — начальство выгонит, узнав, что разрешил ночевать деревенским.

Они же, измученные, миновали очередь, где, гонимые страхом смерти, утративший добрый свой образ, одичалые толпы рвались к хлебу.

Катранники еле держались на ногах. Дети отупели и уже не видели, куда идут, как после угара. И мать подумала: "Это уже на нас смотрит смерть!"

Загодя прибыли на вокзал. Вокруг — стар и млад, мужчины и женщины — в невообразимых лохмотьях и тощие, словно вынутые из могил. Лежат и сидят, окружив вокзал, как муравьи пень, много их на грязной брусчатке и в скверике напротив, среди обломанных деревьев. Морозная земля и снег покрыты людьми, из которых понемногу уходит жизнь, оставляя в их душах огненный след — невыносимую муку.

Вдруг все пришло в движение! — сперва зашевелились у стены тени: они поднимались и тянулись куда-то в одном направлении, к ним присоединялись другие. Круг ширился. Оказалось, толпа собралась у сарайчика, что вблизи вокзальных мастерских, заброшенного и темного. Сквозь широко раскрытую дверь, давно отворенную, — за погребом намело снежный сугроб, — видно, как висит в петле крестьянин, не старый еще; неподалеку, у ног, сереет торба.

Два пассажира чисто, но неброско одетые, отошли от самоубийцы — к дежурному по станции, стоявшему на перроне.

— Человек повесился, — говорят ему, — там, в сарайчике, надо что-то делать.

Дежурный молчит, словно оглох, когда же ему повторили это еще раз, он негромко ответил:

— Послушайте, чего вы хотите, это случается тут ежедневно; каждый день подбираем мертвых. А по ночам крадут детей, из тех, что спят под дверью. Для чего крадут? Страшно выговорить. Тут... говорят, есть какая-то... мясорубка, что ли, а где именно, никто не знает. Туда и взрослому угодить недолго! — берегитесь! Я сам не уверен, встречу ли завтра поезд.

Пассажиры молча отошли от дежурного.

Как ни устала и как ни замерзла Дарья Александровна, стоявшая неподалеку, после этих слов ее будто огнем обожгло.

— Не отходите от меня ни на шаг! — в отчаянии зашептала она детям, сжимая их зябнущие пальчики.

Смертельно устала. Даже торба, хоть и пустая, только с остатками малясников, бутылкой воды и рушником, стала тяжелой, словно туда наложили камней.

Из машин вырывался пар и шипел; тянулся дым, разлезаясь на клочки: едкий дым от железных существ, загадочно передвигавшихся по блестящим рельсам, грохоча, скрежеща высвистывал в ответ на сумеречные сигналы и взмахи флажков.

Тоска, нечеловечески безысходная, как ветер с того света, нависла по всему пространству тьмы.

После злополучного наступления на мельницу Катранник разболелся. Ему так и не удалось, пока стояла хорошая погода, съездить за остатками

картошки. Когда же сумел, наконец, выбраться, то увидел на улицах и по всему полю свежие сугробы. Мело, словно там, наверху, осатанели. В предрассветной тьме он сразу же сбился с дороги и еле отыскал бурт — лишь после того, как метель ослабела. Пока разгрёб снег и прокопал мерзлый слой земли, устал, сбился с дыхания и вспотел, даже дрожь пробрала. Присел на мешок; меж склоном холма и кучей набросанного снега, где меньше дуло; передохнул и обсох.

Когда откопал боковую заначку и выгреб картошку, пожалел, что опоздал: часть картошки уже сгнила. Однако, оставалось немало целых картошин, на неделю, считай, хватит для похлебки.

"... Вернутся мои родненькие, накормлю; что ж их так долго нет?"

Там, где вставало солнце, разливался бледный огонь меж полосами туч, у самого горизонта, словно седой пожар; блики его озаряли степь с глубокими сугробами. Вскоре небо целиком затянуло тучами, и утренний огонь исчез.

Возвращаясь от бурта, Мирон Данилыч увидел село в сплошных тенях, ни дать, ни взять — обгоревший остов корабля. Ни дыма из его труб, ни голоса домашней твари, ни круженья птиц, ни гомона человеческого; так тихо, словно там стояли не хаты — гробы, накрытые крышками из потемневшей соломы.

На своей улице Катранник заметил сани, запряженные парой лошадей, остановившиеся как раз напротив его дома. Вылезли два гостя и подступили к воротам; рассматривают хату, курят, смеются, в то время как сам хозяин прижался к чужой стене, за углом, узнав своих лютых врагов — Отроходина и Шикрятова. Около пустой хаты, занесенной снегом, докурили папиросы и резкими жестами, помесь презрения и наглости, выстрелили пальцами во двор окурки, под окна, залепленные снегом. Сели в сани и погнали — белая пыль из-под копыт.

"... Как обрадовались! думают: я мертвый и никого нет в живых из семьи,— этого они только и хотели!"

Хмурым взглядом проводил Мирон Данилыч сани, пока те не свернули за дальние дворы.

Войдя в хату, принялся, не откладывая, варить суп. Глотал куски еще сырой картошки — нетерпению не было предела. Они же, словно живые, ходуном ходили в желудке, кололи. Но во рту были, что твои конфеты: слюна сама всасывала и собирала их в пищевод, создавая чувство сладости, хотя за всем этим тоже мерещилась болезненная горечь.

Варил похлебку и живописал чувствами, — не одним уже воображением или мыслью,— кажется, всем своим естественным жаждом хлеба. Густой аромат разваренной картошки уможил желание. Хотя бы горбушку, хоть бы сухарик! Но нигде ничего. Единственная возможность — у мельницы. Странная вещь! — кровь и гибель отвращают, до сих пор болит рана, и хорошо знает человек: не дадут подойти к воротам вооруженные часовые, пристрелят: и все-таки, вопреки этому, зарождается мысль — вновь отправиться за хлебом в это гиблое место. Надежда манит: смотри, не проворонь, может, изменилось что-нибудь после расстрелов, и теперь будет выдавать хлеб. Другие, дождавшиеся, возьмут свою долю и выживут, а коли ты, кормилец, помрешь, то и родные твои пойдут за тобой. Где же они? Что так долго?

Кажется, бросил бы суп и сразу пошел: так тянет мельница!..

Суп был пустой. Картошка в присоленном кипятке разбегалась. Похлебал одной воды: согреть душу, потом, смакуя, ел картошку. Все выскреб, что понакипало на стенках чугуна. А сырой картофельный запас разделил и, завязав в узелки, спрятал для семьи; часть в подпечье, где прибросал тряпьем и хворостом, часть под подушками, а часть закопал в сарае, привалив сверху чем попало.

Проложил по снегу дорожки во дворе и ослаб, пришлось вернуться в хату. Лег и затих в сонной бесчувственности, не похожей на обычный сон. Сквозь нее оставались близкими к чувству окружающие вещи, как их воспринимала, как их чувствовала душа. Вернулся Мирон Данилыч к

обычному своему состоянию мгновенно: почудились ему шаги от ворот и голоса под окнами. Но это, разбудив его, уже было — точно так же, только во сне, хотя происходит сейчас наяву — минутою позже. Чудно!

Вскинулся он и бежит к двери, а она уже открывается: входит жена с детьми, такая измученная! — половина той, что уехала в город. И дети тоже выглядят, как после короткой, но злой болезни. Все закоченели, скукожились и еле идут, как и сам он, навстречу.

Прижалась жена к его груди и тихо, тихо заплакала. А дети к отцу подходят, жмутся к его локтям; ждут к себе ласкового внимания.

— Бедные вы мои! Как я ждал вас, что же с вами случилось?

Жена только плачет — не может ничего сказать.

— Папа, кто хотел хлеба, того в степь везут на машине, — сообщил сын.

— Зачем в степь?

— Выбрасывают...

— Это как же?

— Далеко от города выбрасывают, — объясняет дочь, — чтоб не дошли за хлебом и померли.

— А мы сбежали, — сказал сын.

— Через двор бежали и собак боялись, — прибавила дочка, — бежали долго, а ночевали на досках.

— Промучились даром: хлеба для нас нет! — сказала жена.

Она сразу слегла, в лихорадке; дети же, хоть как измучены, ходят по хате, заглядывают на печь, снова слезают вниз.

Мирон Данилыч — за чугунок; варить картофельный суп; от доли, спрятанной под подушку, взял половину.

— Страшно было — рассказывает Дарья Александровна, — но хотелось взять хлеба, хоть по кусочку для детей! — нет, не дали.

— Кирпич дадут вместо хлеба, — сказал муж, — таких прислали, что равны чертям.

— И вправду, уже равны.

— Ездят и рыскают по дворам; если видят, что нет следов, значит, семья вымерла. И так им тогда весело! Радуются, смеются, папироски смолят и стреляют окурками в окна, чем не из пекла?

— Я лежу, хоть и хвораю, а все в своей хате, тут каждый угол родной. И на сердце светлее.

Пили картофельный суп из ложек.

Дарья Александровна, присев на постели, осторожно держит перед собой миску, как бесценное сокровище. Дети, хоть и вернулись прозрачными тенями, болтали у окна, тихо вздыхали, постукивали ложками, ожидая пищи. Выбирали же ее из мисок неуклюже, как старики; однако жадно и старательно. Каждую картофельную крошку смаковали. Миски были — как вымытые.

— В городе все есть, да не для нас! — безнадежно сказал Мирон Данилыч. — Мы наработали, а взяли чужие.

Жена скоро уснула, и дети возле нее. Когда проснулась, вдруг спросила: — А на мельнице дают муку?

Досадное и заманчивое слово прозвучало в хате. Мирон Данилыч хотел рассказать о походе и о расстреле, однако смолчал. Зачем пугать? Но мука только там — по ту сторону ворот.

— Нет, не давали. Надо будет снова пойти: в последний раз.

— Наведайся!

— И мы с тобой, папа! И мы пойдем! — зашумели дети; просят, горя желанием увидеть мельницу, где дают муку.

— Нет, отдохните, да вам и не надо видеть, что там делается.

— Куда вы пойдете, еле домой доплелись. Сидите! — прикрикнула мать.

Побрел один. Облака тяжелые и нависали низко, без просветов; сумерки заполнили снежную степь. Но потеплело, и снег превратился в плотный ледяной наст.

У мельницы снова людей, что теней в лесу. Муравьями ложатся на стоптанную и наезженную землю, где снег уже протаял. То и дело подходят новые, из Кленоточи и соседних сел: ждать. Подвода движется по живому кладбищу; останавливается около вздувшихся мертвецов, могильщики складывают их прямо через борта и отвозят к ямам — они вырыты нынче поближе, чем в прошлый раз.

Кто-то из голодных сказал:

— Снопы повезли, уложат рядочком и присыплут известью, а сверху новых...

Катранник ужаснулся: "Неужто и мне придется так лечь? Ишь, какие могильщики! Смотрит в сторону ям: как они там складывают "снопы", и не хочет — всем сердцем противится — не хочет поверить, что рухнет и он мертвым под известь, в очередной ряд.

"... Все человек на что-то надеется!" — сказал сам себе и отвел взгляд от мертвецкой ямы.

Стоят крестьяне, тупо уставившись в запрещенные ворота или в недалекое свое погребение, будто видят дурные сны. Уже ясно: нечего им ждать. Возвращаются могильщики. За время, пока отвозили и укладывали трупы в яму, — посреди толпы померло еще несколько хлеборобов, и теперь их забирают. Подвода, уже нагруженная, отходит, один лежащий, еще живой, тянется к ней, просит могильщиков:

— Возьмите и меня! Все одно помру.

Он так просит, что один из них говорит ему, успокаивая:

— Полежи, пока вернемся, так и быть, возьмем тогда и живого.

Утешился бедный, лежит и ждет.

Возвращаются к нему могильщики, а он — готов; брякнули на подводу и едут за другими, несколько человек полегло у дороги.

Часовые поглядывают на живые и мертвые тени, держа винтовки наперез: дежурят они теперь у самых ворот, откуда время от времени выходят партийцы с мешками, которые, быстро погрузившись на сани или на подводу, уносятся отсюда, как можно быстрее.

Мирон Данилыч хоть и замерз, а смотрит на ворота, как зачарованный: рядом с ним много односельчан, чьи померкшие глаза, словно высохшие и треснувшие плоды, тоже ждут неожиданной вести с мельницы. Но ее нет.

Издали послышалось гроыханье; вскоре оно усилилось так, что хлеборобы-тени развернулись в сторону странного шума. То шел некто незнакомый, скорее всего из соседнего села, мужик средних лет, иссиня-бледный, как гипсовая маска, с небритыми щеками и всклокоченным чубом; без шапки и босиком. Глаза тоже белеют, полные болью, словно горячечной, возбужденности. На нем разодранная сорочка, потемневшая, нестираная, одни отрепья, которые держатся лишь потому, что поверх тряпья он обвит цепями: и прямо по плечам, и поперек, через грудь, живот, и ноги — и так до колен в заплатках, и еще крест-накрест на груди. Цепи облегли его, свисая вместе с обрывками холста.

Он не смотрел по сторонам, но с гипнотической озабоченностью нес в руках удлиненный ящик, вылепленный из снега. Осторожно проносил его между притихшими крестьянами, то бормоча себе что-то под нос, то, напевая и подымая голос до торжественного тона или скороговоркой читая что-то, вроде стихка.

Мирон Данилыч рассмотрел: сумасшедший несет в руках подобие гроба. Шагая, бережно держит вещь прямо перед собою, словно должен быстро кому-то ее доставить. Приостановился, проверяет, хорошо ли подходит крышка.

Все, кто был у мельницы, недоумевающе смотрели на одетого в железо, ожидая, что будет дальше.

А он шагом деловитого человека подошел к часовым, выставил снежный гробик перед собой и стал декламировать стихок. как это делают дети, отдавая подарок.

Заразар-заказар
Цепей наварил,
Кости укрыв,
Ой-ой-о-о-й!
Заразар-заказар,
кому на, кому нет,
кому гроб, кому снег,
ой-ой-ой!

Часовые и их начальники, сбежавшиеся послушать блаженного, вмиг изменились в лице и стали хлестать его розгами, сперва по плечам и спине, отчего железо зазвенело, а потом и по голове. Но он держал свой гробик и, раскрыв его, просил:

— Сюда насыпьте! Муки: для деток...

Несколько винтовочников бросились на него и потянули во двор, подбодряя прикладами,— там его, звенящего от битья, и затолкали в какую-то дальнюю дверь, наполовину в земле.

— Просветил орду! — откликнулся один из слабых, что прилегли на снег.

О к о н ч а н и е с л е д у е т

Алесь Рязанов

Из книги "Острые стрелы"



С белорусского.
Перевод
Виктора Полещука

Возражение

Еще способен болеть,
еще способен страдать,
еще способен умереть,
я разбиваю душу и руки о камни
и стены, которые меня обступают.
Я рвусь из прошлого в сегодня,
из безопасности в свободу.

— Но мы — твоя защита,— возражают
мне камни и стены,— мы твое внешнее
тело.

Мы спасаем тебя от жары и стужи,
от огня и воды, от пуль и сабли,
ибо ты еще не способен не болеть,
ибо ты еще не способен не страдать,
ибо ты еще не способен не умереть.

Приметы

Чтобы защититься от случайности, мы
оградили себя каменной стеной,
замостили землю,
установили громоотводы,
составили законы,
распланировали свою жизнь далеко
вперед — на десятилетия, столетия,
но...

Но в самом начале лета пожухла
береза в сквере,
но возле самой ратуши вдруг с лёта
упала мертвая птица,
но заговорила вода в колодцах,
но старые люди останавливаются на дороге
и говорят: "Мы чувствуем, как плачут наши
отцы.."

Птица

Огромная хищная птица качается надо мной. Я знаю: она ждет моей гибели. Тогда с голодным и хриплым криком она опустится на мое тело и жестким клювом ударит в лицо.

Я натягиваю тетиву и выпускаю стрелу. Стрела, не долетев до птицы, падает наземь. Я поднимаю ее и опять прилаживаю к луку: сейчас я попытаюсь выстрелить точнее.

Но на прежнем месте птицы уже нет. Словно что-то придумав, она перелетает вперед — туда, куда я иду.

Бескрайняя степь.
И мы вдвоем: я и птица — мой заклятый враг.

Она одна сопровождает меня на пути жизни.

Впрочем, как бы я узнал, куда мне идти, если бы она время от времени не залетала вперед?!

Поверхность

Поверхность расчерчена на треугольники, ромбы, круги...

Чтобы проникнуть в глубину, я набираю побольше воздуха и беру в руки камень.

Но глубина уходит от меня. Самое большее, что я могу достичь,— это новой поверхности — дна.

Неужели таково мое свойство, такова моя черта: все, что я осваиваю, все, что трогаю, — превращается в поверхность?!

Живу на поверхности земли и воды, и огня, и воздуха,
и тело — поверхность моей жизни,— и разум — поверхность тела.

Поверхностью — рассуждаю, поверхностью — понимаю, поверхностью — измеряю глубину.

Еле живой, выбираюсь на берег.
Меня окружают знакомые треугольники, ромбы, круги...
Теперь я в безопасности, теперь я дома...
Но колеблется во мне непостижимая глубина и заставляет колебаться поверхность.

Капканы

Чтобы не бояться ходить в лес, понаставили
сельчане в лесу капканы:
на лису, на рысь, на волка, на кабана,
на медведя...

Пошел Симон поглядеть, что
в его ловушках — попал невзначай сам,
пошел Тарас поглядеть, что
в его силках — запутался невзначай сам,
пошел Демьян поглядеть, что
в его ямах — как будто сквозь землю
провалился...

И стали люди еще сильнее бояться леса:
там водятся рыси,
там водятся лисы,
медведи,
волки
и — капканы.

Вещий камень

Из века в век лежал на большаке камень.
Из века в век шли по большаку люди.

Люди глядели на камень, камень глядел
на людей, глядел — приглядывался и наконец
стал вещим.

И стала его проницательность излучаться на
большак и освещать каждого, кто шел по
нему.

И стали делаться вещими люди, и стал
каждый видеть мысли другого — пестрые,
простые, извилистые, белые, черные, серые,
цветные, и стал каждый понимать другого
без слов.

Сначала все обрадовались, а потом
испугались своей проницательности,
зрячести необычной своей.

Набросились толпой на камень и столкнули
его в глубокую яму, но на третий день стала
светиться яма,

бросили камень в море — на шестой день
стало светиться море,

забросили камень высоко в небо — камень
только сверкнул и стал, словно новый месяц,
кружиться и сиять над землей.

Так кончился прежний свет и настал —
вещий.

Марк Алданов

Истоки

Р О М А Н



Часть четырнадцатая

I

К очередному заседанию совета профессоров накопилось несколько важных дел; прения должны были затянуться. Михаил Яковлевич предупредил жену, что не вернется к обеду. В последнее время ему было все тяжелее наедине с Лизой, и он всегда был рад случаю пообедать в ресторане.

— Это как нельзя более кстати,— сказала Елизавета Павловна.— Я тоже уйду. Значит, обе наши красавицы могут нынче отдохнуть. Я их отпущу.

— И прекрасно,— холодно заметил Черняков. Он демонстративно не спросил жену, где она обедает, и сам подумал, что его семейная жизнь свелась к незначительным демонстрациям, которых Лиза, по-видимому, даже не замечала.

Заседание было назначено на два часа, следовательно, должно было начаться в три. Перед заседанием Михаил Яковлевич читал лекцию. Она прошла с успехом, студенты аплодировали, хотя и в меру. "Конечно, не "бурные аплодисменты, переходящие в овацию", но "аудитория наградила лектора рукоплесканиями",— с усмешкой подумал, сходя с кафедры, Черняков.

В зале заседаний собралось уже довольно много людей. В первой группе стоял молодой радикальный профессор, ставший в последнее время любимцем учащейся молодежи. Он обладал способностью с необыкновенным подъемом высказывать мысли, бывшие общими местами в радикальном кругу. Михаил Яковлевич поддерживал с ним корректные отношения, как со всеми, но почему-то этот профессор своим видом нагонял на него дурное настроение, оттого ли, что Черняков считал не очень заслуженной его популярность, или потому, что самого Михаила Яковлевича с некоторых пор уже не причисляли к профессорской группе молодых (он все не мог с этим примириться: так незаметно— и точно вполне естественно!— это произошло). Все в молодом профессоре раздражало Чернякова. "Другие носят бороду— и ничего, а у него борода с надрывом, народолюбивая и социалистическая. И рубашка с надрывом. А между тем имеет и доходный домик, и капиталец. Удивительно, как у таких людей все хорошо устроено: убеждения сами по себе, капиталец тоже сам по себе, это вещь посторонняя, социализма и ничего не касающаяся. Он страшно обиделся бы, если б кто спросил: как же, собственно, так?... Я вот живу только на заработок, но я, видите ли, буржуа. И забавно то, что наша глупенькая молодежь именно за социализм его и любит, ибо лектор он весьма средний. Может, с годами он и свой социализм продаст, но уж не продешевит себя, как Иуда". Михаил Яковлевич сам подумал, что зашел слишком далеко и крайне несправедлив к профессору, ничего дурного не сделавшему. "Да, характер у меня тоже начинает портиться". Чтобы покарать

себя за не джентльменские мысли, он любезно поговорил с молодым профессором и даже похвалил его последнюю статью.

У окна собралась другая группа. В ней был и Муравьев, рассеянно слушающий разговоры. Говорили о ближнем боярине. Так граф Валуев называл ставшего в последнее время всемогущим Лорис-Меликова. Придворные сплетни немедленно становились известными всей России. Седой профессор рассказывал новости. Валуев ненавидит ближнего боярина потому, что его собственный конституционный проект был царем забракован. Не понравился и проект, составленный великим князем Константином. Царь никому, кроме Лориса, больше не верит.

— Августейшего брата государь всегда недолюбливал,— весело сказал профессор-балагур, тот, который следовал методу Светония.— Михаил Тарелкович умница или, вернее, хитрая бестия. За его проект высказываются еще два-три министра. Но они вроде тех маленьких божков, которые у древних арабов назывались "товарищами Бога". Одного только я, хоть убейте, не могу понять: почему проект ближнего боярина именуется конституционным? С таким же правом его можно было бы называть, например, конногвардейским или противочумным. Конституцией там и не пахнет.

— Да он и есть противочумный,— сказал, тоже смеясь, седой профессор.— Ведь все дело в борьбе с революционной заразой.

— Что ж, террор как будто идет на убыль.

Разговор перешел на революционеров. Черняков рассказал, что в одной из революционных коммун было постановлено, в целях борьбы с предрассудками, съезть коммунальную собаку.

— Это для испытания стойкости убеждений.

— А женщины у них обязаны носить мужские сорочки.

— Насчет собаки и сорочек я не знаю,— сказал Муравьев раздраженно.— Но я знаю, что такой прекрасной молодежи, как у нас, нет нигде в мире.

— Это сильное преувеличение,— ответил Черняков.— У нас, давно известно, все самое прекрасное в мире. Мы очень скромны, но никто так себя не хвалит с самым скромным видом, как мы. Стоит, например, на Западе кому-либо сделать какое-либо открытие, как тотчас оказывается, что у нас оно открытие было сделано на сто лет раньше и по чистой случайности осталось никому не известным. Точно так же, когда...

— Это может быть, но я не об этом говорю. Я вообще не охотник до национальной психологии. Шопенгауэр справедливо сказал, что каждая нация издевается над всеми другими и все совершенно правы. Однако и без национального самохвальства можно сказать, что русская молодежь не такая, как на Западе. У нас, грешных, три четверти помыслов уходит на собственные, личные дела и делишки и разве одна четверть, да и то нет, на заботы об интересе общественном. А у них соотношение обратное, это вещь редкая и ценная. Кроме невежества, я им ничего в вину поставить не могу, а невежество в двадцать лет простительно.

— Жаль только, что эти двадцатилетние мальчишки и девчонки находят возможным решать судьбы мира. Они убеждены, что за них весь рабочий народ. Между тем кружок чайковцев выдали именно рабочие, распропагандированные этими мальчишками.

— Однако, господа, пора бы начинать,— сказал седой профессор.— Который час? Я часов не ношу... В старину говорили, что иметь часы грех: это проверять Господа Бога.

— Без четверти три... Одно все-таки сделал хороший ближний боярин, это что убрал дорогого нам всем графа Толстого, общую нашу симпатию,— сказал профессор-балагур.— Мне говорили, что, когда его уволили, то в дворцовой церкви люди целовались: "Толстой ушел, воистину ушел!"

— И преемник его ненамного лучше!

— Да, может быть, господа, в Англии то же самое. Вот уж на что ругали Биконсфильда, а многие находят, что Гладстон еще хуже.

— Ну, это как Глинка, который говорил, что Рубинштейн играет еще хуже Листа.

Ректор сел в кресло посредине длинного стола и позвонил в колокольчик. Заседание началось.

"Отчего они так любят говорить?"— думал Муравьев, слушая прения. По каждому вопросу высказывалось не менее пяти-шести профессоров. Все они говорили складно, гладко, даже интересно. Павел Васильевич соглашался было

с одним оратором, но выступал другой, говоривший не менее убедительно; трудно было не согласиться и с ним, хотя он возражал первому. "Должно быть, это потому, что все переливают из пустого в порожнее. А может быть, дело просто в моем совершенном равнодушии к их борьбе, не стоящей выеденного яйца"... Он перестал слушать и начал рисовать на лежащем перед ним листе бумаги свой новый спектроскоп. "Кто у них так прекрасно чинит карандаши?.. Вот, теперь еще и этот!.. Шепелявый, а туда же!.. Приду домой, выпью чаю с лимоном и прилягу. Незачем и работать, за последний месяц не было ни одной мысли... Раньше шести, верно, не кончим... Как же мне быть с Машей?" Павел Васильевич чувствовал, что с обеими его дочерьми, особенно с младшей, происходит что-то очень тяжелое. Это горе у него совпало с другим — в его жизни научная работа занимала такое большое место, что огорчение от ее неудач могло сравниться с семейным несчастьем. Вдобавок, работа, быть может, не шла именно от того, что для нее требовалось душевное спокойствие. "Спросить ее — опять скороговоркой скажет: "Ничего, решительно ничего, папочка"..."

Заседание кончилось рано: главное дело было отложено, чем, по-видимому, несмотря на его важность, все были очень довольны. Черняков собирал компанию для обеда в ресторане. Уходя, Павел Васильевич отозвал зятя в сторону.

— У меня нынче есть билет в Александринский театр. Торжественный спектакль в честь георгиевских кавалеров, кажется, сегодня их праздник. Я, разумеется, не пойду, Маша тоже не может. Хотите пойти, Миша?— спросил он, как всегда делая над собой небольшое усилие, чтобы так назвать зятя. Они остались на "вы" после женитьбы Чернякова. Павел Васильевич не был на "ты" почти ни с кем. Ввиду разницы лет, зять называл его по имени-отчеству.

— А что дают?

Муравьев развел руками.

— Ей-Богу, не знаю. Мне всучили билет. Вот он... Или Лизе отдайте.

— Лиза на такой спектакль не пойдет, убеждения не позволяют,— сказал Михаил Яковлевич.— Ну что ж, спасибо за подарок. А как вы, Павел Васильевич? Что-то вид у вас озабоченный?

— О нет. Просто работа не очень идет, я всегда в таких случаях не в духе.

— Работа пойдет. Это бывает, я по себе знаю.

II

Компания для обеда не образовалась, да и было еще слишком рано. Михаил Яковлевич вспомнил, что давно не был у сестры. "Разве Коле отдать билет?" Ему самому не очень хотелось идти в театр.

Швейцар поздоровался с ним как будто несколько смущенно. "Или он здесь?"— с неприятным чувством спросил себя Черняков. После того как его сестра и Мамонтов почти одновременно вернулись из-за границы, Черняков старался не встречаться с Николаем Сергеевичем, старался даже о нем не думать. Он редко ссорился с людьми, и, когда ссорился, не очень огорчался, тем более что почти всегда был прав в ссорах. "Бог даст, помирюсь, а нет, так tant pis"¹,— говорил он себе в таких случаях. Мамонтов был школьный товарищ и старый друг, но и разрыв с ним не слишком огорчил бы Михаила Яковлевича, если бы произошел по какой-либо допустимой причине. Тут же неприятнее всего было то, что причины как будто не было. Собственно, не было даже и разрыва: был только большой холод, о причинах которого думать не следовало.

— У барыни гости, Василий?— спросил Черняков, отдавая шубу. О нем в доме сестры никогда не докладывали.

— Их сиятельство граф Лорис-Меликов,— вполголоса, значительным тоном сказал швейцар. Михаил Яковлевич остановился. "Вот так штука! Не помешаю

¹ Плевать (франц.).

ли я?.. Что ж, не уходить же теперь!— нерешительно подумал он.— Послать спросить Соню? Перед Василием неловко”.

— А Николай Юрьевич дома?

Коля дома не было. Швейцар, не вешая шубы, поглядывал на Чернякова, точно понимал причину его замешательства. Михаил Яковлевич нахмурился и прошел в гостиную.

— Ах, как я рада, что ты пришел, Миша!— сказала Софья Яковлевна.— Я тебя искала весь день, и нельзя было прийти более кстати... Позвольте, Михаил Тариелович, представить вам моего брата,— обратилась она к сидевшему у камина генералу в парадном мундире с голубой лентой.— Граф Лорис-Меликов.

Генерал поставил на столик чашку, привстал и крепко пожал руку Чернякову, окинув его внимательным взглядом.

— Профессор Черняков? Очень рад познакомиться. Знаю, слышал, читал,— сказал он с приветливой улыбкой. Михаил Яковлевич только поклонился. Лорис-Меликов был слишком высокопоставленным человеком для того, чтобы можно было ответить: “Я тоже очень рад” или “Я тоже знаю и слышал”. “На вид невзрачный, а лицо умное. Это, кажется, Андреевская лента?” Черняков не раз встречал сановников в доме сестры, но андреевских кавалеров никогда не видал.

В августе было упразднено Третье отделение. Граф Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел с оставлением членом Государственного совета и в звании генерал-адъютанта. Немного позднее ему был пожалован орден Андрея Первозванного с рескриптом, который государь подписал “искренно вас любящий и благодарный Александр”. Недовольные саркастически замечали, что любить и благодарить Лорис-Меликова, собственно, не за что, так как созданный им Департамент государственной полиции ничем не отличается от Третьего отделения,— это старый излюбленный деспотами прием: ничего не изменив в существе ненавистного обществу учреждения, изменить его название. Однако некоторая перемена произошла и в действиях полицейских властей. Административная высылка больше не применялась. При обысках и арестах жандармы вели себя очень вежливо. Изменилось и отношение к печати. Лорис-Меликов принимал редакторов газет и журналов, а с некоторыми, например, с Салтыковым, беседовал дружелюбно и даже почтительно.

По слухам, на верхах власти борьба еще обострилась. Говорили, что в придворных кругах все растет ненависть к “армяшке” и к “Екатерине III”,— молва как-то связывала их цели.

—...Я ведь только на минуту заехал, Соня,— сказал, преодолевая смущение, Черняков.— У меня есть билет на сегодняшний спектакль в Александринском театре. Не хочет ли Коля пойти?

— Коля уже ушел, он обедает у твоего тестя... Коля — это мой сын,— пояснила она гостю.— Вы тоже будете на спектакле, Михаил Тариелович?

— И рад бы в рай, да не могу. Нынче парадный обед у государя, поэтому ведь я так и разрядился,— с улыбкой ответил Лорис-Меликов, прикоснувшись к своей ленте. Михаил Яковлевич подумал, что и мундир, и лента не очень идут к генералу. “Точно из театральной мастерской, на актере, не умеющем носить костюм”.

— У нас с Михаилом Тариеловичем очень интересный разговор,— обратилась Софья Яковлевна к брату.— Михаил Тариелович рассказывал о кампании, которая против него ведется... Я думаю, что я не совершаю нескромности?

— Да это все знают, и он, конечно, знает,— ответил Лорис-Меликов.— Я, впрочем, к этой кампании равнодушен. Уйдут меня, так спасибо скажу. За властью никогда не гонялся. На всех и солнышко не угодит, а я и не солнышко,— сказал Лорис-Меликов, все так же внимательно глядя на Чернякова. Михаила Яковлевича удивило и чуть резнуло слово “он”. Лорис-Меликов и дальше говорил в несколько фамильярном тоне, Чернякову показалось, что это связано с общим его стилем, с любовью к поговоркам и к народной речи.

— Кого же они все-таки больше ненавидят: вас или Екатерину Михайловну?— спросила, смеясь, Софья Яковлевна. “Я и не знал, что они так коротко знакомы. Удивительный все-таки человек Соня!”— подумал Михаил Яковлевич.

— Думаю, что все-таки больше меня,— весело ответил генерал.— Она ведь как никак русская по крови и носит знаменитую фамилию. А я не только карьерист, но и "армяшка". Что армяшка, винюсь: мой грех. А вот почему карьерист, им виднее,— сказал Лорис-Меликов. Он говорил совершенно спокойно, с веселой улыбкой, но Михаилу Яковлевичу показалось, что в глазах у него пробежала злоба.— В толк не возьму, какая такая мне еще может быть нужна карьера? Взыскан царской милостью безмерно выше заслуг: генерал от кавалерии, генерал-адъютант, министр внутренних дел, эту голубую штучку ношу. Богатство, что ли? Государь предлагал мне деньги, я отказался, хоть я человек весьма небогатый. Было небольшое имение на юге, да и то продал.— Он засмеялся.— Купец-то кто! Купил у меня— ох, дешево— почтеннейший Михаил Никифорович Катков, тот самый, что вкупе с Победоносцевым вертит всей этой кампанией против меня. Пусть вертит: не страшно. В боях бывало страшнее, голубчик, да мы люди обстрелянные.

— Ведь это Катков и пустил словечко "диктатура сердца", граф?— спросил Черняков. "Уж если я голубчик, то незачем говорить "ваше сиятельство".

— Он самый. И ведь ишь как обидно загнул: сердцем попрекнул! Есть, мол, у человека сердце, значит, ясное дело, мерзавец. А диктатором я отроду не был и не собираюсь оным становиться, да и не может быть диктатора при царе, да еще при таком, как наш государь император. Это у них на первом месте власть, чины, должности, а наипаче денежки... Поверьте, наверху только два человека и думают, болеют душой о России: государь и, простите нескромность, ваш покорнейший слуга. Вот чего не хочет понять общество.

"Смотрит на Сою, а говорит, кажется, для меня!"— подумал Черняков.

— Вот об этом мы и говорили,— пояснила брату Софья Яковлевна. Слова Лорис-Меликова давали прямой переход к интересовавшему ее делу, но любопытство в ней взяло верх.— Вы, однако, не докончили, Михаил Тариелович: как же наследник относится к Екатерине Михайловне?

"Не очень удобный вопрос для ближнего боярина. Ну, да Соня лучше знает, о чем можно и о чем нельзя его спрашивать",— подумал Михаил Яковлевич. По-видимому, Лорис-Меликов не нашел в вопросе ничего нескромного.

— С внешней стороны отношения хорошие. Государь другого и не потерпел бы. Но, по существу, Александр Александрович, разумеется, считает, что это семейный позор. И государь прекрасно это понимает: он очень неглупый человек. И всем знает цену, даже своим сыновьям.

"Нет, право, они прежде так не выражались: "он", "Александр Александрович", "очень неглупый человек",— подумал изумленно Черняков.

— Добавьте, что государь сама доброта!— горячо сказала Софья Яковлевна.— Вы знаете, он мальчиком, путешествуя с Жуковским по Польше, плакал, видя, как бедно живут польские крестьяне и евреи. А когда он уже юношей ездил в Сибирь, Николай I по его ходатайству дал какие-то льготы некоторым декабристам. Он был счастлив, но очень добр,— подтвердил Лорис-Меликов.— Я думаю, добрее царя у нас никогда не было.

— Однако государственных преступников казнят,— сказал Черняков, не желавший поддакивать министру.— В обществе находят, что, например, Преснякову и Квятковскому можно было смягчить смертный приговор.

— Поминывали ли бы в Англия людей, совершавших убийства?— ни к кому не обращаясь, сказал Лорис-Меликов.— Но, кроме того, надо знать, в каких условиях государь осуществляет свое право помилования,— прибавил он со значительной интонацией в голосе. "Это что ж, намек на давление со стороны полицейских вельмож?"— подумал Михаил Яковлевич. По лицу сестры он видел, что она недовольна его замечанием.

— Я не отрицаю, что общество плохо осведомлено о том, что делается на верхах. Но кто же виноват, если на императора возлагается иногда ответственность за то, что делается, быть может, помимо его ведома или даже вопреки его воле,— упрямо продолжал Черняков.

— Это бывает или, по крайней мере, прежде бывало. Не ведает царь, что делает псарь. Кто виноват? Не знаю. Скорее всего обе стороны. Во всяком случае, часть правительства очень желает "жить в совете" с обществом, чтобы употребить старое выражение.

— Я мог бы сказать то же самое о значительной части интеллигенции, граф. Мы прекрасно видим, что с вашим приходом к власти стали обозначаться

новые веянья, но, к несчастью, пока очень сильны и влияния, действующие в противоположном направлении.

Лорис-Меликов смотрел на него рассеянно, точно не слышал или не понимал его слов.

— Я отлично знаю, что я чужой человек и для интеллигенции. "Мы все учились понемногу чему-нибудь да как-нибудь". А уж я-то, естественно, больших познаний не приобрел. Всю жизнь прослужил в армии. В молодости, впрочем, я кое-кого знал, но больше по случайности. Так, одно время жил в одной квартире с поэтом Некрасовым.

— Неужели? Я не знала.

— Талантливейший был поэт и человек. Да, конечно, я читаю, стараюсь следить. "Отечественные записки" всегда читаю... Что сказали бы при дворе?— опять засмеявшись, обратился он к Софье Яковлевне.— Впрочем, они и не знают, что это такое. Разве только слышали, что там работают какие-то каторжники. А я Щедрина чрезвычайно высоко ставлю. Недавно имел удовольствие с ним познакомиться. Умнейший, конечно, человек. Наградил-то его Господь Бог мозгами весьма широко, да они у него, верно, выкрашены такой густой черной краской, что до светлых цветов и не докопаетесь. Смешно, а он мне Победоносцева напомнил,— сказал Лорис-Меликов и вдруг закашлялся.— Ох, этот ваш петербургский климат, все я у вас забну,— сказал он через некоторое время.

— Я мало встречалась с Победоносцевым, но он мне всегда был неприятен. Говорят, он ученый человек?

— Весьма ученый. И даже умный. Однако при всем своем уме он решительно ничего не понимает. Победоносцев все на свете ненавидит, но вместе с тем не хочет, чтобы хоть что-либо в мире изменилось. Должно, видите ли, остаться в полной неприкосновенности все то, что возбуждает в нем ненависть или полное презрение. Это какой-то редкий душевный выверт. А я неученый человек, мне книги некогда было читать, но я у жизни учусь и нахожу, что в ней постепенно можно и должно изменить весьма многое. Кто на постепенную починку согласен, с тем мне по дороге,— сказал он, полувопросительно глядя на Чернякова.— Люди очень образованные и даровитые, каких у нас в интеллигенции немало, такие люди, как вы, могли бы сделать очень многое.— Он тотчас с улыбкой обратился к Софье Яковлевне.— Возвращаясь к Победоносцеву... Сказать или нет? Так и быть, скажу. Я считаю своей величайшей ошибкой, что на одну из двух должностей, которые занимал граф Толстой, я предложил государю Победоносцева. Сделал это по желанию наследника Александра Александровича. Государь уступил мне чрезвычайно неохотно и, удовлетворив наконец мою просьбу, сказал мне: "Помни, что ты добился назначения своего худшего врага". Государь был совершенно прав... А моя сила в чем? Она в том, что я здесь новый человек, что я на все могу смотреть новыми глазами, да еще не оглядываясь на княгиню Марью Алексевну. И даже на великую княгиню Марью Алексевну. Так вот, видите ли, я пришел к ним не по своей воле, а по воле государя, взглянул на них и, не скрываю, я ужаснулся. Наш двор! Больше пустоты представить себе нельзя. О чем думают эти люди? Чем они заняты? Послушайте их разговоры. Княгиня Юрьевская, и еще княгиня Юрьевская, и опять княгиня Юрьевская! Да если бы еще о ней хоть говорили дело! А то все вертится вокруг того, кто был свидетелем на ее свадьбе с государем. Почему-то ведь они уверены, что я и свадьбу устроил, я и устраиваю все свои злодейские дела через Екатерину Михайловну! И еще необычайно всех волнует, сколько денег ей подарил государь. Как-то они это узнают! Мне еще сегодня сообщили, что государь в Ливадии внес на ее имя в Государственный банк три миллиона триста тысяч рублей. Назвали даже более точную цифру, чуть ли не с точностью до копеек. И представьте, верно назвали,— сказал он, смеясь.— Я по случайности знаю, что это так.

"Все-таки ему не следовало бы это говорить",— подумала с некоторым недоумением Софья Яковлевна.

— Еще одно доказательство того, что государь ничего в своей жизни скрыть не может,— сказала она.— Я могу, вы можете, все могут, только он один не может. Но все-таки, Михаил Тариелович, вы сказали, что вы ужаснулись. Не слишком ли сильное слово? Где же люди не любят перемывать косточки ближнему?

— Бывает и в интеллигенции,— сказал Черняков, желавший вернуть разговор к очень заинтересовавшему его предмету. Лорис-Меликов смотрел на него. "Ох, хитренькие глаза",— подумал Михаил Яковлевич.

— Я военный человек,— сказал Лорис-Меликов. ("В третий раз зачем-то напоминает,— отметил мысленно Черняков,— все знают, что ты военный человек".) — В этом тоже, если хотите, некоторое мое преимущество. Я всегда рассуждаю по-военному. Если бы у меня под Карсом было, скажем, сто тысяч войск, а у паши десять, то я, конечно, ничего ему не предложил бы, кроме чистой капитуляции. Ну, конечно, я солдатскую честь знаю, рыцарство и всякое такое. Шпагу, верно, вернул бы с комплиментами, как государь Осману после падения Плевны. Однако капитуляции, уж что там ни мели, потребовал бы безоговорочной. Ну а ежели бы у меня было пятьдесят тысяч солдат, а у паши столько же или еще того боле? Что тогда? Тогда нет, я капитуляции не потребовал бы. Я постарался бы вступить в переговоры, хоть тем временем, может, стал бы стягивать войска. Казалось бы, буки-аз ба. Но вот у нас этой азбуки не понимают. У революционеров две роты войск, а им, видите ли, подавай Учредительное собрание! Вся эта "Народная воля" мальчишеская организация, и разгромить ее ничего не стоит. Да она уже разгромлена. Но общество наше? Тут-то она ему и сказала. Умеет ли общество рассчитывать свои и чужие силы?

— Сколько же, по вашему, граф, войск у интеллигентского паши?— весело спросил Черняков, уже освободившийся от смущения.

Лорис-Меликов засмеялся тоже очень весело.

— Вот он какой пистолет! А ведь хорошо сказал! Остроумный ваш брат,— обратился он к Софье Яковлевне.— Впрочем, я ведь больше т а к говорю. Революционеры— пустое место, нет ничего проще, как всех их отправить в Сибирь соболей ловить, да жалко молодых людей и их родителей. Наш придворный мир тоже пустое место. Царская власть другое дело: это сила, сила тысячелетняя, сила огромная, хоть и меньшая, чем многие из них думают. За эту силу они, придворные люди, и цепляются. А если что с ней случится, за милую душу бросят и предадут! Я их теперь знаю, на мякине не проведешь. Общество? Откровенно говорю, его я знаю меньше. Хотел бы узнать, очень хотел бы. Может, на поверку и за ним ничего нет, за интеллигентским пашой, а все только хвастают, пускают пыль в глаза. Но все лучше бы действовать сообща, а? Совестно жить— ни о чем не тужить.

— Вот и надо бы вам обменяться мнениями с представителями общества,— горячо сказала Софья Яковлевна.— Я это давно говорю!

— Я ничуть не прочь. Отчего же не поговорить? Сразу выяснилось бы, что можно, чего нельзя. Многого нельзя, а кое-что и можно, и должно... Русская история держится такими людьми, как, скажем, Сперанский, которые во-время чинили то, что следовало и еще можно было починить. А что нельзя, то нельзя. Дойдет до торга — буду упрям, как карамышевский черт!

— Но что же вы, граф, предлагаете?— начал Михаил Яковлевич.— Ведь первое и основное...

— Виноват, я ничего не предлагаю. Поговорить был бы рад, об этом мы с вашей сестрицей беседовали. Позовет — приду, посижу, послушаю. Но, ох, боюсь, что и обществу присущи иллюзии относительно его силы. Я всю жизнь провел с солдатами и могу сказать, что их знаю. Солдат наш царя любит и ему верит. Генералам, может, и верит, но их любит не так, чтобы слишком. А вот люди из "Вестника Европы" да из "Отечественных записок" ему совсем ни к чему. Недаром они и подкрепляют себя революционерами. Точно будто я не знаю, что близкие сотрудники Салтыкова участвуют в подпольных изданиях. Ведь по должности шефа жандармов у меня обо всех есть сведения,— подчеркнул он.— Скажем, в "Народной воле" появилась обо мне статья: "Волчья пасть и лисий хвост". Ведь это Михайловский написал,— полувопросительно сказал он, взглянув на Михаила Яковлевича, который мгновенно насторожился. "Ну, этого я шефу жандармов подтверждать не стану!" — подумал он.— Да не в том дело, кто написал... Этакого ведь волка нашел! Что ж, волк так волк. Только ежели у тебя на волка ни ружья, ни дубья не припасено, так даром языка не чеши. Не подействует.

— Кроме революционеров есть люди, которые хотят преобразования России мирными способами,— сказал Черняков.— Но их моральный капитал это их убеждения, от которых они отказаться не могут. Если бы отказались, то им грош была бы цена и правительству и не стоило бы с ними сговариваться. Скажу совершенно откровенно, граф, уж если вы со мной об этом по

случайности заговорили. Ваши ближайшие намерения обществу, к сожалению, неизвестны или известны только понаслышке. Обмен мнениями, никого ни к чему не обязывающий, и, по-моему, был бы чрезвычайно благотворен. Мы, поверьте, ничего, кроме блага России, не желаем,— сказал Михаил Яковлевич и подумал, что выразил идее больше сочувствия, чем следовало бы для первого раза.— Все зависит от того, что может быть предложено и осуществлено,— сказал он, воспользовавшись страдательным залогом, чтобы не употреблять слов "вы", "мы".— Я лично думаю, что средостенье между престолом и обществом роковое явление новейшей истории России.

— Я и сам так думаю,— сказал Лорис-Меликов, одобрительно кивая головой.— Здание наше старое, и хорошего в нем много. Но, как все старые здания, оно нуждается в починках. В этом я и вижу свою главную задачу: я чиню. И готов это делать со всяким, кто хочет в работе участвовать. Чужим знаниям всегда отдавал и отдаю должное, быть может, потому, что у меня у самого знаний немного. Учился я в школе гвардейских прапорщиков. А наша старая школа!.. Вы "Очерки бursы" Помяловского читали?

— Читала. И испытывала такое чувство, точно хочется принять ванну.

— Вот именно. Мне довелось прочесть почти одновременно с этой книгой "Записки из Мертвого дома" Достоевского. И я был поражен сходством: буквально одна и та же жизнь, одни и те же нравы, один и тот же быт. Что каторжники, что школьники,— у нас еще недавно было почти то же самое. А ведь из бursы вышли те пастыри, которые теперь ведают духовной жизнью народа. Для Победоносцевых золотые люди. Из точно такой же бursы, только военной, вышли наши нынешние правители и администраторы, так метко изображаемые Салтыковым. Вы этой жизни не помните, а я ее застал и помню. Свежо предание, а верится с трудом. Как же не оценить того, что сделал для России нынешний государь, пошл ему Бог долгие дни.

Он отпил глоток кофе, откашлялся и заговорил о прошлом и нынешнем царствовании. "А ведь у нас в университете немного найдется профессоров, которые говорили бы так хорошо,— с некоторым удивлением думал, слушая его, Михаил Яковлевич.— Правда, эта манера пересыпать речь поговорками и народными изречениями немного утомительна, *c'est trop facile*.¹ Но у него это выходит лучше, чем у многих других". У какого-либо профессора такая манера речи показалась бы Чернякову даже пошловатой. Но этот старый либеральный генерал очень ему понравился. "Стихов тоже слишком много, во всем сказывается самоучка, но и тут большого греха нет"... Михаил Яковлевич слушал очень внимательно. Лорис-Меликов, по существу, говорил осторожно, слово "конституция" ни разу не было произнесено, однако смысл его речи заключался в том, что к участию в управлении Россией должны быть привлечены выборные люди от населения, что должны быть произведены глубокие и серьезные реформы, что печати должно быть представлено больше прав и больше свободы. "Что ж, ты называй это починкой, а, по существу, это та же конституция",— говорил себе Черняков. Стать членом парламента было всю жизнь мечтой Михайла Яковлевича. Но теперь он о себе не думал. Мысль о том, что в близком будущем может исполниться мечта десятка поколений, переполняла его радостью. "Надо, однако, быть очень осторожным: и выразить одобрение, и не продешевить нас, и не высказать чрезмерного восторга"... Черняков обдумывал, что сказать, когда Лорис-Меликов кончит. Однако сестра его предупредила.

— Как вы хорошо говорили, Михайл Тариелович, и как я приветствую вашу мысль!— с жаром сказала она.— Выборные люди от населения это именно то, что нужно. Общество выскажется, и царь его услышит. Вам обеспечено огромное место в истории, и вас поддержит вся Россия, кроме кучки людей, которые ничему не научились и ничего не забыли.

Любезно-рассеянная улыбка Лорис-Меликова как будто выражала удивление.

— Да что же я сказал? Ваш брат, должно, и не верит. Я только, как наши солдатики, говорю: "Как весь народ вздохнет, до царя дойдет". Но в один день ничего не делается, общество должно твердо это помнить,— сказал он так, как артисты говорят "в сторону".

— Это верно. Но верно и то, что большие реформы нельзя откладывать *ad calendas graecas*²,— внушительно сказал Михаил Яковлевич. Лорис-Меликов посмотрел на часы.

¹ Нарочито простоват (франц.).

² До греческих календ (латин.).

— Должен вас покинуть: скоро обед... Что ж, я всегда буду рад побеседовать с вами и с вашими друзьями. Как вы правильно сказали, беседы ни к чему не обязывают... Очень рад буду, Софья Яковлевна, если эта ваша мысль о встречах осуществится,— сказал он, целуя ей руку.— И простите, что заговорился. Мне бы послушать хотелось, а я все говорил и, боюсь, утомил вас.

— Утомили! Мы вас заслушались, Михаил Тариелович!— сказала Софья Яковлевна с искренним восторгом.— Такие встречи должны быть, и я уверена, что из них выйдет большое историческое дело.

Он опять улыбнулся и крепко пожал руку Чернякову.

— Весьма рад был познакомиться с вами, профессор.

— Ну, как он тебе понравился?— спросила, вернувшись, Софья Яковлевна.— Я страшно рада! И я действительно думаю, что из таких бесед может выйти большое дело.

— При известных условиях, да. Во всяком случае, отчего же не попробовать?

— Если так подходить к делу "отчего же не попробовать", то никогда ничего не выходит! Так он тебе не понравился?

— Напротив, очень понравился. Но...

— Он странный и замечательный человек. Кажется, радикалы его считают хитрой придворной лисой! Если есть наверху совершенно не придворный человек, то это именно он. Двор его ненавидит. Хитрый, да, это правда. Михаил Тариелович умница... Я знаю, ум самое неопределенное из всех понятий: Пушкин умен, и Ротшильд умен, и Ньютон умен, да все по-разному ("Это Мамонтов мне как-то сказал",— с очень неприятным чувством подумал Михаил Яковлевич). Конечно, он человек с хитрецей. Разве без этого можно было бы проделать такую головокружительную карьеру?.. Ты думаешь, это была моя мысль, чтобы он встретился с вами, с интеллигенцией? Разумеется, в Петербурге будут все приписывать моему тщеславию, предвижу разные мыльные шуточки. На самом деле это была его мысль, но ему почему-то удобнее, чтобы она исходила не от него, и он мне ее подсказал. Разумеется, я делаю вид, что этого не заметила.

— А почему он ее подсказал именно тебе?

— Я сама об этом думала,— ответила нехотя Софья Яковлевна.— Мне стало известно, что он говорил и с другими. Он везде, где только может, нащупывает почву: не выйдет здесь, так выйдет там. Именно поэтому лучше, чтобы это дело взяли в свои руки... чтобы это дело осуществилось поскорее и подходящими людьми. Мой дом ему в некоторых отношениях удобнее других. Он знает, что государь относится ко мне милостиво. Кроме того, людей передовых взглядов в том кругу не так много. И, наконец, он узнал случайно из разговора со мной, что я твоя сестра. Он о тебе слышал... И читал, конечно, твои работы,— добавила Софья Яковлевна.— Быть может, все дело именно в тебе, в твоей группе, в твоём журнале.

— Признаюсь, меня немного удивила его откровенность. Уж не болтлив ли он?

— Кажется, есть грех,— смеясь, сказала она.— Но я отнюдь не уверена, что он проговаривается и говорит лишнее. Может быть, ему нужно сказать то, что нам кажется лишним. Думаю, что и солдатская манера у него немного наиграна: "я, мол, солдат и режу правду-матку". Возможно, что он режет только ту правду-матку, которая ему зачем-то нужна. Мне тоже сегодня показалось, что кое-чего о Долгорукой он мог бы не говорить. Конечно, его бескорыстие выгодно выделяется на фоне ее трех миллионов... Кстати, бедная Екатерина Михайловна теперь стала конституционалисткой! Едва ли она знает, что это, собственно, такое, was ist das für eine Mehlspeise¹, как говорила моя Элла. Но ей известно, что при старом порядке она уж никак не может короноваться.

— Так это правда, что она мечтает о короновании?

— Спит и во сне видит. И... не поэтому, конечно, но я думаю, что конституция у нас скоро будет. Помогите Бог государю и Михаилу Тариеловичу. Он прав, что по-настоящему там о России думают только они двое. И именно этих двух людей хотят убить революционеры, эти Соловьевы, Перовские, Млодецкие!.. Зачем, кстати, ты ему сказал о тех двух казненных револю-

¹ Что это за блюдо (нем.).

ционерах, не помню, как их звали? Я знаю, что государь плачет, когда не может смягчить смертного приговора.

— Государь очень слаб на слезы. Лучше бы не плакал, а смягчал. Вот в том-то и беда, что ты, даже ты, "не помнишь, как их звали",— сказал Черняков. Ему самому было неясно, что его раздражает. Софья Яковлевна взглянула на него удивленно.

— Если б ты только знал, какие люди могут прийти на смену государю и Михаилу Тариеловичу!.. Ну, да что об этом говорить... Так ты готов помочь мне... ты готов взять на себя осуществление этой мысли?

— Значит, ты хочешь, чтобы он у тебя встречался с либеральной интеллигенцией?

— Мне все равно, где это будет. Ты знаешь, это моя давняя мысль. По-моему, большая часть зла в мире происходит оттого, что у людей различных— или пусть даже противоположных— взглядов нет такого места, где бы они могли поговорить в дружественной атмосфере. Не в деловой обстановке, что почти всегда легко, а в доброжелательной атмосфере, за чайным столом. Если нужно, чтобы это было у меня, так как я нейтральна и я никто, то пусть это будет у меня. Но мое дело будет только в том, чтобы напоить вас чаем. Я не маркиза Рамбуйе и даже не Ольга Новикова и на роль "хозяйки политического салона" нисколько не претендую. Пусть этим занимаются другие, в желающих недостатка не будет. Я больше всего рассчитываю на тебя.

— Разумеется, связи в высшей либеральной интеллигенции у меня достаточные. Точнее, я ее всю знаю наперечет. Что ж, еще раз я очень рад.

— Я даже не ограничивалась бы очень узким кругом. Отчего же не приглашать и умеренных радикалов... Тут я немного надеялась и на связи Николая Сергеевича,— сказала Софья Яковлевна.

Лицо у Чернякова потемнело.

— Радикалы и не придут, и совершенно нежелательны. Если ты хочешь, чтобы был толк, то надо позвать человек десять умеренных взглядов, и не иначе, как с большими именами.

— Я ведь этого не знаю. Мы с тобой обсудим каждую кандидатуру,— сказала смущенно Софья Яковлевна. Брат на нее не смотрел.

— Из знаменитых людей Тургенев был бы незаменим, если бы для этого приехал в Петербург. Салтыков кое-как возможен. А уж Михайловский был бы совершенно ни к чему, хотя бы он и согласился пожаловать... Видишь ли, нужно какое-то единство в подходе или в основной точке зрения... Ну, как это объяснить? Я, например, не люблю романсов. Почему? Поэт написал стихи, он подошел к ним как поэт. А композитор повторит какие-нибудь два его стиха. Как композитор он прав, ему повторение нужно, но стихотворение как таковое он испортил. Потому что у них к делу разный подход. Так и у нас с радикалами... Нет, мое сравнение неудачно, но ты понимаешь мою мысль. Либо мы, либо они... Ты когда хотела бы начать?

— Чем скорее, тем лучше. Я твердо знаю, что там именно сейчас идет жестокий бой. Все будет решено в ближайшие недели. Разумеется, слово "конституция" не произносится, они это называют как-то скучно и длинно. Но *j'appelle un chat un chat*¹,— сказала, смеясь, Софья Яковлевна.

III

"Знаю, надо делать поправку на то, что они говорят в обществе либеральных людей,— взволнованно думал Черняков, выходя из дома сестры.— Но он, несомненно, замечательный человек и, быть может, именно ему и суждено вывести Россию на путь нормального конституционного развития. Разумно ли предвзято отрицательное отношение к нему со стороны наших радикалов, Михайловских и *tutti quanti*². "Лисий хвост и волчья пасть", это не разговор. В первый раз министр, и даже не просто министр, а фактический глава

¹ Я называю кошку кошкой (франц.).

² Прочих (итал.).

правительства протягивает нам руку. Было бы безумием, если бы его протянутая рука повисла в воздухе!"

Михаил Яковлевич допускал, что из бесед с Лорис-Меликовым может выйти большое политическое дело, и ему хотелось поскорее обсудить вопрос с некоторыми ближайшими единомышленниками. "Конечно, я не закрываю глаз на то, что личная любезность обладает большой подкупательной силой и заставляет закрывать глаза на многое. Он был со мной очень любезен, это правда, но разве в этом дело? И разве я на что-либо закрываю глаза? Я все знаю, и, конечно, мы ни на одну йоту не отступим от наших принципов и политических требований. Если они пойдут нам навстречу, слава Богу, и будет ему великая историческая честь. А нет, так прощайте, *pi vu pi soppi*¹, мы вам сказали правду, а ваше дело принять или не принять наши условия. И первым нашим условием, конечно, будет созыв не шуточного, а настоящего парламента, введение в России подлинной конституции. Мы за властью не гоняемся и от нее не отказываемся. Никаких личных интересов у нас, и у меня в частности, нет", — говорил себе Михаил Яковлевич совершенно искренне.

Личный интерес им в самом деле не руководил, но он не мог не понимать, что на этих собраниях в доме его сестры на его долю выпадет одна из руководящих ролей. Для такого дела надо было создать "инициативную группу". Инициаторов же инициативной группы, естественно, должен был наметить он сам. "Затем все придет в норму, и я буду настаивать, чтобы на главные роли были выдвинуты люди старше и известнее меня". Очень подходил для бесед с Лорис-Меликовым редактор его журнала; подходили два известных адвоката; необходимо было пригласить трех или четырех профессоров. "Может быть, и из писателей кого-нибудь? Но очень расширять первоначальный состав участников бесед тоже не следует... Главное, чтобы позднее моральная ответственность за отказ от таких встреч не пала на нас. Да, было бы истинным безумием, если бы его рука повисла в воздухе". Михаил Яковлевич почти не сомневался, что рука в воздухе не повиснет, но думал, что кое-кто из его единомышленников от бесед с Лорис-Меликовым откажется.

Несчастливая семейная история, как казалось Чернякову, разбила его жизнь. Однако в самое последнее время Елизавета Павловна несколько изменилась. Перемена произошла и в ее наружности. Лицо у Лизы вытянулось, стало бледнее; она почему-то переменяла прическу. Все это очень к ней шло и тревожило Михаила Яковлевича. "Что-то, кажется, ее грызет? Неужто их рокамбольские дела?" Он все же старался верить, что в наиболее рокамбольских делах его жена участия не принимает: это было бы слишком ужасно. Лиза стала и душевно мягче. Ее прежняя резкость почти исчезла. "Она всегда жила на какой-то пружине, и теперь эта пружина как будто сдала. Вопрос, почему сдала и хорошо ли это или плохо? Возможно и то, и другое", — со своей профессорской логикой думал Михаил Яковлевич. Теперь, в том радостном и возбужденном настроении, в котором он находился, ему казалось, что как-то устроится и его личная жизнь.

Создание инициативной группы не следовало откладывать. "Сейчас уже дома никого не застанешь... — Черняков вспомнил, что один из намеченных им участников бесед — записной театрал. — Верно, он нынче будет в Александринке. Тогда, пожалуй, не стоит обедать: после спектакля отправимся с ним к Палкину и в предварительном порядке провентилируем вопрос". Он посмотрел на часы. Еще можно было заехать домой за биноклем.

Окна кабинета в его квартире были освещены. "Так Лиза дома", — радостно подумал он, входя. На лестнице был неприятный запах сыра. В их новом благоустроенном доме этого никогда не случалось. "Надо будет сказать Степану". Запах усилился на площадке и как будто шел из их квартиры. Из-за двери слышался мужской голос, смех Елизаветы Павловны. "Странно!" — подумал Михаил Яковлевич и отворил дверь ключом. Голоса тотчас замолкли. Лиза вышла в переднюю из освещенной кухни, затворив за собой дверь.

— Добрый вечер. Но ведь вы сказали, что не будете обедать дома?

¹ Не видели, не знали (франц.).

— Да... Кстати, вы сказали то же самое... Заседание кончилось раньше, чем я думал. Павел Васильевич дал нам билет на сегодняшний парадный спектакль в Александринском театре. Не хотите ли вы им воспользоваться?

— Я? Нет, я занята. Но почему бы вам не пойти?

— Я и пойду, если вы не хотите. Я вернулся за биноклем. У вас, кажется, гости?

Она засмеялась.

— Что ж делать, попалась! Мой любовник сидит на кухне.

Он холодно, без улыбки смотрел на нее, ожидая объяснений. Ему показалось, что Лиза смущена.

— Это лавочник принес сыр... Вы надеялись пообедать дома? У нас ничего нет и вдобавок обе наши бабы ушли, я их отпустила.

— Нет, я пообедаю в ресторане,— ответил он и, взяв в кабинете бинокль, снова вышел. "В самом деле какая-то сцена из пьесы с адюльтером"... В передней Михаил Яковлевич невольно бросил взгляд в сторону кухни.

— Ушел ваш поставщик сыра?

— Ушел... Вы на меня сердитесь?

— Я давно поставил себе правилом ни на что не сердиться. До свидания.

На лестнице Михаил Яковлевич столкнулся с каким-то господином в военной фуражке, неторопливо поднимавшимся на площадку. Оба они посторонились, пропуская друг друга, и улыбнулись. "Где-то я его, кажется, встречал? Уж не к нам ли он?"— подумал Черняков. Но господин на их площадке не остановился и так же медленно, не оглянувшись, пошел вверх по лестнице в третий этаж.

Извозчика не было. Михаил Яковлевич остановился на углу, у освещенного фонарем круглого столба, и принялся разыскивать афишу Александринского театра. Попадались все другие афиши. "Оперетка... Крестовский"... Черняков ахнул: господина, только что столкнувшегося с ним на лестнице, он видел в Липецке, в тот день, когда читал книгу штабс-ротмистра Крестовского о русско-турецкой войне.

Собственно, в происшествии ничего особенного не было. Черняков отлично знал, что Лиза постоянно встречается с революционерами. Но он не думал, что они бывают в их доме тайком от него. "Конечно, он шел к нам! Значит, поднялся в третий этаж для отвода глаз!— В третьем этаже жил старый полковник.— И этот "лавочник" в седьмом часу вечера! Нет, положительно нам надо поговорить с ней обо всем очень серьезно!"

IV

Михайлов на лестнице тотчас узнал Чернякова, лицо которого навсегда запомнил в Липецке. "Все путает!"— сердито подумал он о Лизе. Постояв несколько минут на площадке третьего этажа, он осторожно спустился, прислушался, затем дернул звонок так, как полагалось.

— Ты говорила, что у тебя никого не б-будет,— проворчал он, войдя в переднюю.— А он тут как тут!

— Вы сначала поздоровались бы, Дворник,— сказала Лиза.— Будьте пай-мальчик, скажите "здравствуйте, тетенька"... Кто "тут как тут"?

Он большинству членов партии говорил "ты", но Елизавета Павловна, как и некоторые другие, продолжала говорить ему "вы". Михайлов с этим не считался: как кому приятнее, так пусть и говорят. К Лизе Черняковой он относился благодушно-пренебрежительно. Толка от ее работы было мало, он ничего важного ей и не поручил бы. С некоторых пор подумывал даже о том, как бы под благовидным предлогом отправить ее за границу.

— Твой муж. Я с ним встретился на лестнице.

— "Мой муж" не имеет чести быть с вами знакомым, Дворник,— ответила Лиза, раздражавшаяся, когда революционеры называли Михаила Яковлевича ее мужем. Михайлов знал, что брак Лизы фиктивный, но это мало его интересовало. Для него в их браке был важен только надежный адрес.— Да, Черняков нагрянул неожиданно. Но он Богдановича и Якимовой не видел, хоть они уже здесь.

— Нет никаких Богдановича и Якимовой. Есть Евдоким Кобозев и его жена Надежда... Впрочем, с ее бумагой что-то неладно: не то она Надежда, не то Елена, это надо будет п-проверить... Знаю, что они здесь: сыром пахнет во всем доме! Ведь я велел ему положить побольше бумаги. Из-за таких улик люди иногда и гибнут. П-поймите же, что если мы не поставим технику на надлежащую высоту, то все пойдет к черту.

— Все равно все пойдет к черту,— широко зевая, сказала Лиза. Он бросил на нее гневный взгляд.— Какая же улика сыр?

— Если их схватят, ты будешь знать, какая улика!— сердито ответил Михайлов и пошел в кухню. "Как можно скорее сплавить ее!" — решил он. За кухонным столом пили чай высокий бородатый человек и некрасивая, плохо причесанная женщина. Они были одеты по-простонародному.

— Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Как вас Бог милует?— радостно спросила Якимова. Он критически ее осмотрел и остался доволен. К ней он относился благосклонно. Якимовой предназначалась роль лавочницы в доме на Малой Садовой, и у нее был разве один шанс спастись из десяти.

— Я не Александр Дмитриевич, а Дворник.

— Вы наш дорогой отставной поручик артиллерии Константин Николаевич Поливанов,— сказала Лиза, наливая ему чаю.— С каким сыром прикажете бутерброд? У нас все есть... Они третий день зубрят, готовятся к экзамену.

— Напрасно купили такие большие порции, денег ох как мало,— сказал Михайлов, садясь. Он посмотрел на Богдановича, неодобрительно качая головой.

— Чем я опять провинился, барин?

— Беда с вами. Умное лицо. Просто профессор какой-то!

Все засмеялись. Действительно, Богданович наружностью не походил на лавочника.

— Значит, горе от ума. Другие, напротив, хвалят, Фигнер говорила: просто охотноредец!

— Вот ты, Надежда, гораздо лучше,— похвалил Михайлов. Он чуть было не сказал, что Якимова безобразна как смертный грех. Впрочем, в душе не понимал, почему она могла бы обидеться или огорчиться; по его мнению, это для нее было большим преимуществом: не будут приставать дворники и соседи.

— А что? Настоящая дура-баба? Да еще морда, правда?— почти совсем весело спросила она, угадав его мысль.

— Молодцом. Хорошо тоже, что чай пьешь вприкуску, надо приучаться. Берите с нее пример, Евдоким. А вот курить в лавке, Надежда, думать не смей!— строго сказал он.— П-первый, кто зайдет, донесет полиции: лавочница курит, тут что-то не так.

— Да мы еще ведь не скоро въезжаем,— сказал, вздыхая, Богданович.— Ремонт, оказывается, довольно затяжной.

— Ничего не поделаешь,— сказал Михайлов и отпил глоток чаю.— Ну-с, ладно, пожалуйста бриться. Какие бывают сыры, Евдоким?

— Сычужные и кисломолочные. Сычужные делятся на твердые и мягкие.

— Сычужные делятся на коровьи, овечьи и козьи, а уж потом на твердые и мягкие. Какие есть коровьи мягкие?— обратился он к Якимовой.

— Лимбургский, бри, камамбер, жерве, куломье.

— "Жерве", "куломье",— передразнила Лиза ее русское произношение французских названий.— Да кто у нас эти сыры спрашивает? У нас знают швейцарский, зеленый, голландский, меццерский, вот и все.

— Ты кончила?— презрительно спросил Михайлов.

— Кончила.

— Ну, так спрячься. Лавка между Невским и Итальянской, там живут богатые люди, они знают все сыры. Сколько стоит фунт рокфора?— спросил он Богдановича. В это время раздался условный звонок. Михайлов взглянул на часы и одобрительно кивнул головой.— Аккуратны.

— Это мой детский сад, сигналисты,— пояснила Лиза и, простившись с Богдановичем и Якимовой, вышла в переднюю. В квартиру вошли Маша и два молодых человека. Маша потянулась было, чтобы поцеловать старшую сестру, но спохватилась. Елизавета Павловна начальническим тоном спросила:

— Все в порядке?

Старший из молодых людей, улыбаясь, доложил, что все в порядке, очень вежливо поздоровался с хозяйкой, ловко помог Маше снять ботинки. Другой юноша угрюмо пожал Лизе руку, не сказав ни одного слова.

— Пожалуйте сюда,— уже по-товарищески сказала им Елизавета Павловна. У нее сердце сжалось при виде Маши. "Эти глаза!.. От румянца и следов не осталось. Ах, зачем, зачем я ее к нам ввела!"— в сотый раз подумала Лиза.— Ну, вот, садитесь, господа хорошие. Чаю хотите? Впрочем, я лучше вам дам коньяку, ведь очень холодно.

Лиза все не могла найти надлежащего тона с этими двумя молодыми людьми, не знала даже, как их называть. Она вначале радостно ухватила за предложение Михайлова "поработать с молодежью". Ответила, как всегда полужутливо, что такая работа "зажжет ее революционным огнем". Теперь ей казалось, что молодежь попала в неинтересная и никого не зажег не может. "Да, чего ждать от этих мальчиков? Не мешало бы их накормить. Кажется, на кухне что-то есть, но где? Впрочем, им не надо знать, что там старшие... Этот, говорят, страшно бедствует".

Рысаков, смущенный роскошью квартиры, сидел в кресле, не прикасаясь к спинке, и молча мямл бесформенную фуражку, скатывая ее в трубочку. Он был совсем мальчик. Ему было девятнадцать лет, а на вид казалось шестнадцать. "Этакое воплощение радости жизни! Именно "Мы ж утратим юность нашу— Вместе с жизнью дорогой",— подумала Елизавета Павловна, больше всего любившая у Пушкина эти два стиха. Рысаков состоял в наблюдательном отряде, докладывавшем обо всех важных делах Перовской, которая теперь под именем Воиновой жила в одной квартире с Желябовым. Лизе им, собственно, ни о чем докладывать не приходилось. Михайлов придумал эти доклады больше для того, чтобы ее занять.

Второй юноша, постарше, Гриневицкий, впрочем теперь называвшийся как-то иначе, одет был лучше, чем Рысаков, носил белую рубашку с отложным крахмальным воротничком, с большим темным галстуком бабочкой. Пока Елизавета Павловна доставала бутылку, рюмки, печенье, Гриневицкий внимательно рассматривал картины и гравюры на стенах. Кто-то говорил Лизе, что он прекрасно рисует цветы и очень любит живопись. Любезно улыбаясь, он помог хозяйке поставить поднос на стол, сказал, что выпьет с удовольствием, затем похвалил коньяк. Рысаков уронил печенье, рассыпавшееся на ковре, и густо покраснел, оглянувшись на хозяйку. "Бедный бука, мама далеко",— подумала Лиза. Гриневицкий доложил о первом номере "Рабочей газеты". Говорил он медленно, с легким польским акцентом, кратко и ясно. Лиза одобительно кивала головой, точно это революционное издание чрезвычайно ее интересовало. "Кажется, умный мальчик"... Собственно, Гриневицкий был почти одних лет с ней, но она примкнула к партии раньше, и как-то так вышло, что он причислялся к молодежи, а она к старикам. Елизавета Павловна одобрила его действия по выпуску газеты и начала общий политический разговор. Молодой человек и этот разговор поддерживал вполне прилично. "Фуражка у него польская, с коротенькими полями. Кажется, он из литовских шляхтичей. Недурен собой, только волосы — щетина. Руки красивые, ногти чистые. Конечно, он толковее того угрюмого увальня. Но и из него толка не будет",— почему-то решила Лиза. Ей никак не приходило в голову, что именно этот мягко улыбающийся юноша, хорошо рисующий розы, убьет Александра II.

—...Да, да, тысячу раз прав Некрасов: "бывали хуже времена, но не было подлей",— сказала Лиза, оглядываясь на Машу, которая сидела на стуле у стены, безжизненно опустив руки. Она все время молчала.

— Некрасов только переделал это в стихи, мысль принадлежит Хвоцинской: "бывали времена хуже, но подлее не было",— улыбаясь, поправил ее Гриневицкий. Лиза на него посмотрела. "Пани Хвоцинской",— мысленно сказала она за него.

— Так прочтите же эту передовую статью,— сказала она и уселась в кресле удобнее. "Читает с подъемом",— думала Елизавета Павловна, рассеянно его слушая. "Были красные дни и на русской земле! Было время, когда на привольных полях и в лесах дремучих, на реках и морях был хозяин один — вольный русский народ. Ни царей с их чиновниками, ни помещиков, ни лживых попов, никого он не знал. Управлял сам собой. Сам давал законы. Сам страну защищал, не нуждаясь в солдатах",— читал Гриневицкий.— "Когда же это были такие красные дни?"— думала Лиза,— и совсем я не хотела бы тогда жить, в лесах дремучих... Они находят, что теперь хуже"...— "...Всяк остерегается другого, какой-то темный дух, дух злобы и корысти всеми обуял. Брат брата предаст; мать дочь торгует; отец не рад семье.

Свет Божий опостылел"... — "Тут они все-таки хватили. Неужто это Желябов писал?.. Но где же о царе? Да, вот"... — "...Что же сам запеваля? Какую роль царь ведет? О, это злодей обстоятельный! Сейчас видать — всему делу голова... Не любят царь серой публики и по улице-то не едет, а мчится, как оглашенный: видно, на воре шапка горит"... — "Что ж, это понравится, может быть, так и надо писать"... — "...И кипит потеха молодецкая, и, глядячи на нее, щелкает царь зубами: прячется губитель за спины черкесские от своего народа русского. Да не уйдет"...

— Ну, что ж, недурно, — сказала Елизавета Павловна, когда Гриневицкий кончил статью. — Хотя Герцен, верно, написал бы лучше.

Гриневицкий весело рассмеялся.

— Совсем плохо написано. Я удивился. Мне и читать было совестно.

"Все-таки этот юноша не должен так выражаться о членах Исполнительного комитета, — с легким неудовольствием подумала Лиза. — Ничего не поймешь в нем, на него глядячи"... Она посмотрела на часы, хотя никуда не спешила. Гриневицкий тотчас встал. За ним с видимым облегчением поднялся и Рысаков.

— Что ж, не хотите закусить, друзья мои? Разве вы так спешите?

Гриневицкий поблагодарил и объяснил, что они должны быть по делу у Воиновой, — не сказал, по какому делу. Елизавета Павловна знала, что сигналистам (их еще иначе называли "слезниками") поручено следить за часами выезда царя. Но Александр II в последнюю неделю не выезжал из Зимнего дворца, и сигналистам нечего было делать. Михайлов и Желябов присматривались к ним, чтобы выбрать из них кандидатов на более опасную работу. Оба они твердо обещали Лизе, что Машу ни на какую другую работу не возьмут. "Нет, ей и это не по силам!" — подумала Елизавета Павловна, все тревожнее поглядывая на сестру. — Если она узнает, что за мной установлена слежка, то она сойдет с ума!"

— Ну, что ж, если по делу и к Воиновой, то я вас, друзья мои, не задерживаю. Долг прежде всего, — шутливо сказала Лиза, давая понять, что все знает. Она вышла за ними в переднюю и чуть было не попросила молодых людей потом проводить Машу домой. "Впрочем, юный шляхтич, наверное, ничего странного не нашел бы в том, чтобы проводить шановну паненку, — подумала она, почему-то забавляясь этой игрой. — Но Маша умерла бы от стыда".

— Как папа?

Маша тяжело вздохнула.

— Жалуется, что не идет работа.

— А ты сама, Машенька? — быстро спросила Елизавета Павловна.

— Я? Я отлично! — испуганно ответила Маша. Лиза крепко ее поцеловала. Рысаков сконфуженно отвернулся. Гриневицкий с той же мягкой ласковой улыбкой смотрел на сестер.

Елизавета Павловна вернулась в гостиную, села на диван и положила на колени бархатную подушку. "Что-то у нас стали плохо топить... — Она взяла со столика книгу "Отечественных записок". — Ох, какая скука... Да, папа, Маша... Что ж делать? Не мы одни. Все наше поколение обречено... Пусть они там торгуют рокфором без меня... Я очень устала. Быть может, я состарилась, как моя пленительная *belle soeur*¹, теперь по уши влюбленная в Мамонтова... Да, он, Мамонтов, был в чем-то прав... Он сказал вчера обо мне что-то важное... О том, что со мной сейчас. Но что?"

Она накануне завтракала с Мамонтовым в кофейне Исакова. Он много выпил, говорил без умолку, все перескакивая с одного предмета на другой. "Кажется, он начал со своих обычных шуточек: "Эту кофейню, Елизавета Павловна, когда-нибудь будут показывать посетителям: "Здесь собирались народовольцы... Это столик Елизаветы Черняковой, повешенной в 1881 году". Я рассердилась: "вы пьяны". Он хохотал и изображал актеров: "Эх, брат М-митрий, забудься хочи!" Сказал, что любит разговаривать с женщинами выпивши: "говоришь лишнее, на следующий день стыдно, а в этот день приятно". Но какое мне дело до того, что говорил Мамонтов! Впрочем, я и сама люблю так разговаривать, быть может, даже люблю это больше всего на свете... Он говорил, что чернопередельцы гораздо умнее нас: у них вожди

¹ Золовка (франц.).

для руководства движением в России уехали или уезжают за границу. Говорил, что мы и чернопередельцы вроде как доминиканцы и францисканцы: "Вы помните, Фра-Анжелико, добрый доминиканец, своих грешников в аду писал не иначе, как с братьев-францисканцев..." Что-то еще говорил о художниках, только я не могу вспомнить, и зачем, конечно, вспоминать. "У Веронеза крест — такой шедевр столярного искусства, что думаешь об этом, а не о распятии"... Кажется, это тоже относилось к революции, но как, не могу вспомнить... Завтра я должна была в два часа быть у портнихи. Попросить Мишу сказать ей, что платья не надо? И, значит, опять, чтобы Миша заплатил?.. Он и над Мишей насмехался, и я сказала ему, что прошу его так не говорить о моем муже. Или он догадывается, что наш брак фиктивный? Он умен, Мамонтов, но у него пошлый ум. Потом он говорил о Достоевском, и тут-то что-то было обо мне. "Ваш Достоевский — гениальный писатель, учившийся литературе у самого Эжена Сю. Все его Ставрогины — это новые Дубровские, они хороши для семнадцатилетних барышень, которые мечтают спасти их любовью. Гениальны же у него те сцены, где все действующие лица уже не полусумасшедшие, а совершенно сумасшедшие: например, князь и Рогожин у трупа Настасьи Филипповны. На Достоевском нет Божьей благодати, так как жизнь за нелюбовь к ней мстит писателю лишением поэзии. Вот, наоборот, "Анна Каренина" и с самоубийством героини, вся насквозь пронизана светом, летним уютным светом дворянской деревни, — роль уюта в литературе еще ведь не оценена критиками. Граф Толстой? Он величайший из величайших, я за "Войну и мир" и "Казачков" отдам Шекспира и Гете, но жизнь со временем тронет его творения, так как он слишком связал себя с ее временными и местными формами. Если бы в России существовал приличный закон о разводе, то каково было бы графу Толстому? Ведь Анна, чем бросаться под поезд, вышла бы замуж за Вронского, а Пьер развелся бы с женой и женился на Наташе, не дожидаясь Отечественной войны. Ничего не поделаешь, всякий роман со временем становится историческим романом и вызывает печаль, как старая затрепанная адресная книжка с адресами давно умерших людей"... Нет, я плохо помню, что он говорил, кажется, он говорил не так. Не все ли равно, и пропади он пропадом, Мамонтов!.. Но что же было обо мне, о том, что сейчас?.. Страшно, он пишет какие-то скучные, никому не нужные статьи, а говорит превосходно, хоть бессвязно, — я так и люблю. Очень он распустил вчера перышки. Кажется, ему моя *belle sœur* осточертела... "И на вас... на нас тоже нет благословения, потому что вы в душе свободы не любите, потому что для вас свобода — это теория, как бетховенская музыка для немзыкального человека. У вас нет внутренней свободы, нет духовной свободы, и самый быт вас свободу исключает, а быт рано или поздно подчиняет, перестраивает, перемалывает людей. Вот ваш отец любит и чувствует свободу, и Россия сильна такими людьми, как он, а нами лишь в той мере, в какой некоторые из нас к этому приближаются. О, не думайте, что я над всем издеваюсь, я не провинциальный демон, я горжусь тем, что принадлежу к русской интеллигенции, с ней жил, в ней жил, в ней надеюсь и умереть, но... Я знаю, Желябов, Перовская, Михайлов, каждый по-своему, замечательные люди ("меня не назвал"). Таких со всеми их недостатками, верно, немного найдется на земле. Они люди тройного сальто-мортале. Быть может, эти люди соль земли, но возможно и то, что такая соль землю погубит"... "Иначе говоря, вы находите, что больше всего любят свободу те, которые за нее не борются", — сказала я. Он перескочил на что-то другое, кажется, на веру, и что-то тоже наговорил страшно глубокомысленное, что никакой Бог ему не нужен, а нужно бессмертие и не то, которое обещает вера. А уж если нужна вера, то легкая, нетребовательная, греческая, где боги ничем не лучше людей, где есть жертвоприношения, те же взятки богам... Кажется, и это он говорил не так, и как-то все связывал с революцией. "Революционная работа — тот же сон, ведь сон — это когда человек живет и думает без логики... Знаете ли вы эти страшные сны с перерывами — просыпаешься, засыпаешь опять, и новый сон, с новой фабулой, и раздвоение людей, — один человек появляется, думает, говорит в двух видах, и хуже всего, когда раздвоенный человек — ты сам... И все мы, даже лучшие, особенно лучшие, мы как быки ассирийских скульпторов, гадкие звери с благородными человеческими лицами. И что-то тут он сказал обо мне, о себе, и это было верно, хоть я не помню, при чем тут были эти благородные лица... Ах да, он сказал, что есть проза

мученичества и что я этой прозы не вынесу. "Знаете прозу болезней? Я видел, как Сара Бернар умирает в "Даме с камелиями". Очень красиво и поэтично, но на самом деле люди умирают от чахотки совсем не так. То же и с мученичеством. Взойти на эшафот вы, Елизавета Павловна, пожалуй, могли бы, но тюрьма, каторга, унижения, оскорбления, грязь — это не для вас и не для меня". Тут он и заговорил о Достоевском: "Мы с вами люди одного безумия!" Но у меня все выходит ни к селу ни к городу... Он назвал меня спортсменкой террора, сказал, что я живу для сильных ощущений... Я тоже много выпила и говорила лишнее. Да, ему как будто стало меня жалко, когда я сказала, что у меня бабушка умерла в доме умалишенных. Кажется, он был испуган. Я спросила его, верит ли он в наследственность. Он отделался шуткой: "Негритянская принцесса сказала королеве Виктории, что в ее жилах течет английская кровь: "мои предки съели капитана Кука". Я смеялась, хоть это было глупо. Я могла бы вскружить ему голову... Под конец мне пришлось его осадить. "Вы обиделись?" — "Я никогда ни на кого не обижаюсь". — "Да ведь это, Елизавета Павловна, классический ответ всех обидчивых дам"... Каков бы он ни был, а он в одном сказал правду: это не для меня... Теперь, во всяком случае, сильные ощущения не нужны. Страх? Нет... С Машей что будет?.."

Маша была назначена в наблюдательный отряд еще весной. В первый раз она следила за Александром II на набережной в день перенесения тела императрицы в Петропавловский собор. С крепости, с судов на Неве, с расставленных вдоль реки орудий каждую минуту раздавались залпы. Вдруг барабаны забили поход. Издали послышалось пение певчих. Бесчисленными рядами шли или ехали какие-то люди в мундирах с траурным крепом. И наконец показалась высокая колесница под золоченым балдахинном, увенчанная золотой короной. Маша знала, что за колесницей едет верхом царь. Она схватилась рукой за фонарь, завешенный черным сукном. Ни о каком покушении в этот день не было речи: и революционеры, и Третье отделение понимали, что в такой день оно невозможно. Машу послали для того, чтобы приучить ее к наблюдению. Но она почти ничего не видела, — впервые поняла, что значат слова "помутилось в глазах". Когда Маша опомнилась, колесница уже была почти посередине моста.

Затем был доклад. Она старательно к нему готовилась, прочла описание похорон в газете и кое-как, сильно заикаясь, беспрестанно вспыхивая и бледнея, рассказала, что он проехал в кирасирском мундире, что за ним ехали верхом иностранные принцы и великие князья. Члены Исполнительного комитета старались не замечать ее волнения и обменивались замечаниями между собой.

— Очень жаль, что нельзя было тут же бросить бомбу, — сказала Перовская. Желябов с недоумением подумал, что больше всего ненавидят царя женщины-дворянки. "Соня его ненавидит гораздо больше, чем я, хотя у меня дядю драли на конюшне".

— Молодцом, Машенька. Выйдет из вас прекрасная сигналичка, — потом ласково сказал он. Маше ввиду малой серьезности поручавшихся ей дел еще не дали прозвища, и это ее огорчало. Вначале она сама придумала для себя несколько хороших прозвищ, но не знала, как их предложить товарищам.

— А это, братцы, тем более надо ценить, что еще года четыре тому назад моя Машенька каждый вечер молилась за матушку императрицу, — сказала, смеясь, Лиза. Маша вскочила и выбежала из комнаты.

Затем она еще раза три следила за царем на Екатерининском канале, на Невском. Работа была не опасная. "В первый раз жутковато, а потом привыкаешь", — говорили молодые сигналисты. Маша говорила о себе то же самое. Однако Михайлов, внимательно за всеми следивший и все решительно замечавший, вскоре счел нужным перевести ее на другую работу: ей, как еще двум или трем юным членам партии, было поручено следить за знаками в окнах. Она оставалась в отряде и продолжала делать доклады Перовской.

После экзамена, отпустив с черного хода чету Кобозевых, Александр Михайлов со стаканом чаю в руке вошел в гостиную. Лиза сидела в кресле с книгой на коленях, но не читала.

— Шикарно живете,— сказал он, с отвращением оглянув комнату. До того он здесь не бывал.— Если бы все с толком продать, много динамита можно изготовить.

— Вы нынче обедали? Кажется, у нас что-то есть.

— Не надо, я сыра поел.

— Да ведь там, кажется, не было хлеба?

— Я отыскал в шкапчике... Ну, как молодежь?

— Ничего, славные юноши. Только очень еще зелены. Им, боюсь, ничего важного поручить нельзя.

"А тебе можно!— подумал он. Александр Михайлов не видел для Лизы роли в своем хозяйстве. То есть роль-то, конечно, можно найти, да что из этого выйдет?" В свободное время он только о хозяйстве и думал: кого куда назначить. Лиза держалась гораздо лучше сестры, но и она стала нервничать. Михайлов нимало не винил ее в трусости: в их партии естественный подбор исключал боязливых людей. Однако он знал, что за самым редким исключением — вроде Желябова и его самого — люди не могут долго выносить нестерпимое нервное напряжение, которое требовалось для террора. Одни сдавали раньше, другие позже. Лиза, по его мнению, была способна на самые отчаянные дела, но лишь в минуты подъема. Таких людей он считал опасными: террористическая работа была затяжной и на минутном подъеме держаться не могла. Партийной деятельности за границей Михайлов придавал очень мало значения, но считал возможным назначать на нее уставших людей,— больше для поправки, как в санаторию. Так он недавно отправил в Париж Гартмана, который тоже был далеко не трусливым человеком. "Как бы ей все это лучше преподнести?"

— Старший совсем ничего малый. Жаль, что близорук. Я ему велел носить очки. Он был в очках?

— Нет. Назло вам без очков.

— Я так и знал! Верно, барышням так больше нравится!— гневно сказал Михайлов.— Я ему покажу!.. Ну, а ты как? У тебя очень скверный вид? Не спишь?

— Отлично сплю.

— Ох, врешь. Хочешь, я дам снотворное?

— Отлично сплю... А вот, Дворник, за мной установлена слежка.

— Что ты говоришь? Где ты заметила? К-когда?

Толком Лиза ничего не могла объяснить. Ей накануне показалось, что на углу их улицы и Невского за ней пошел какой-то подозрительный человек. Она подозвала извозчика, погони как будто не было. Михайлов сердито качал головой. "О, Господи! Не может отличить сыщика! А если заметила слежку, то обязана была тотчас мне сообщить, чтобы мы явку назначили не у нее. Да, верно, ей просто от нервного приснилось. Поскорее ее отправить к Марксу. Нет, при Марксе уже сидит Алхимик. Кто-то есть этаким вроде Маркса в Париже? Еще на какой-то сыр похожа фамилия"...

— П-просто ты, верно, ему понравилась. Ты нравишься многим мужчинам,— сказал он с искренним удивлением. Лиза усмехнулась.— Молодой?

— Да, скорее молодой.

— Смотри, теперь особенно будь осторожна перед поездкой. Мы ведь решили отправить тебя за границу.

— За границу? "Мы решили"? Кто это "мы"?

— У нас было маленькое совещание с Тарасом... И с Соней,— сказал он и пожалел, что сказал: ссылка на Соню должна была раздражить Аристократку.

— Я не знала, что Тарас и Соня теперь способны думать о делах!

— Ты что хочешь сказать?— спросил Михайлов, нахмурившись.

— Вы отлично знаете, что наши молодожены проводят медовый месяц. Правда, он у них как будто немного затянулся. А Соня уже совершенно забыла, что была невестой Старика.

— Это их чч... ч-частное дело!— очень строго сказал Михайлов, заикаясь больше обычного. Как ни раздражали его любовные романы в партии, сплетни о них раздражали еще больше.— Это никого не касается! А работают они сейчас так, как никто другой! Ты п-просто не знаешь, что говоришь.

— Хорошо... Так не хотите закусить?

— Вот что. Я пришел поговорить с тобой серьезно. Нам давно нужно иметь человека в Европе... Там Бог знает что о нас пишут! Недавно в

одном немецком журнале напечатали статью о кружке чайковцев. И 6-болван журналист объясняет: "чайковцы" — это по-немецки "Theetrinker"¹, и их так прозвали потому, что они пили за работой очень много чая!

Лиза засмеялась.

— Ну и пусть пишут.

— Нет, общественное мнение Европы нам очень важно. В Англии у нас теперь есть Гартман. Как ты знаешь, он установил теснейшую связь с Марксом... Кстати, Маркс нам недавно прислал свой портрет!— говорил значительным тоном Михайлов, точно это было чрезвычайно важно. Действительно, от Гартмана недавно был получен портрет, подаренный Марксом партии народовольцев. Они были тронуты и польщены подарком, но решительно не знали, что с ним делать. Едва ли наружность Маркса была известна жандармам; однако самый вид его на стене мог сделать подозрительной любую надежную квартиру в Москве или в Петербурге.— Следовательно, в Лондоне у нас все в порядке. Но главный мировой центр — Париж, и там у нас никого нет. Лавров все-таки не наш человек, и он немолод, и он профессор. Туда нужно послать Старика, либо тебя, либо вас обоих. Нам надо иметь представителя при этом... как его? При Рошфоре. Ты по-французски хорошо говоришь?

— Недурно.

— Ну, вот видишь. Ты там внесешь динамическое начало,— сказал Михайлов, вспомнивший, что Тихомиров говорил что-то такое.

— Я не поеду за границу. Это то же самое, что солдату бежать с поля сражения.

— Какой вздор!— сказал он со скупающим видом, точно сто раз это слышал. Михайлов в самом деле слышал дословно ту же фразу от Льва Гартмана после того, как они решили его отправить в Париж. Теперь Гартман, по-видимому, был вполне доволен заграничной жизнью и как будто возвращаться не собирался. "И с ней будет то же самое"...

Он с большой убедительностью объяснил Лизе, что отъезд по делу партии не имеет ничего общего с бегством, что ей дается очень важное, ответственное поручение, что если за ней следят, то она не может возлагать на товарищей еще дополнительные заботы по ее охране. Лиза слушала внимательно, и ей казалось, что он говорит правду. Но она чувствовала, что Перовской Михайлов просто не посмел бы предложить уехать за границу. Мысль о поездке в Париж была неожиданна. "Но что же я сказала бы Чернякову?.. А Маша!.."

— Наконец, это не п-просьба, а приказ Исполнительного комитета,— сказал Михайлов с силой.— Никто не имеет права отказываться от поручений, каковы бы они ни были. Комитет находит, что ты сейчас полезнее в Париже. Значит, ты едешь в Париж.

Гартману он еще говорил, что после работы на московском подкопе человек имеет все права на отдых. Лизе Михайлов этого не сказал: за ней важных дел не значилось; он знал вдобавок, что, услышав об отдыхе, Лиза наотрез отказалась бы уехать.

— На сколько же времени за границу?

— На полгода,— ответил Михайлов так, точно тщательно обсудил уже и вопрос о сроке.— Мы составили план работы за границей месяцев на шесть-семь. Впрочем, там будет виднее. Теперь еще одно: деньги. Тебе рублей тридцати в месяц будет достаточно? Это мы тебе дадим и, разумеется, оплатим билет.

— Деньги я как-нибудь достану и без вас. Но мы это еще посмотрим!

— Ну, тогда отлично, а то денег у нас маловато,— сказал он с облегчением. Теоретически Михайлов все же признавал, что от заграничной агитации может быть некоторая, хотя и очень небольшая, польза для партии. Сам он никогда за границей не был и очень смутно знал, кто такой Рошфор. "Верно, этому Рошфору на нас начинать",— подумал он. Однако, если маленькая польза от поездки Лизы и могла быть, тратить на нее партийные деньги Михайлову очень не хотелось. Теперь и это было в порядке. Лиза говорила, что ни за что не уедет, но он больше ее не слушал: знал, что дело сделано.— А то, дай чайку, многолюбимая,— перебил он ее,— я выпил бы второй стаканчик.

¹ Пьющие чай (нем.).

— А может быть, хотите поесть, Дворник? Выпьем с вами вина, а?

— Вино будем пить, когда выйдет дело.

Лиза принесла ему чаю и налила себе коньяку. Михайлов сокрушенно смотрел на нее, и на рюмку. "Толка от этой бабы не будет, Бог с ней... Кажется, ничего не забыл?.." Мучившее его дело не касалось Лизы. "А то сказать ей? Отчего бы и нет?.."

— Станный у меня нынче вышел случай, многолюбимая. Хочешь, расскажу?

— Какой случай?

— Ты знаешь, мне удалось раздобыть карточки Александра и Андрея,— сказал Михайлов. Александр и Андрей были террористы Квятковский и Пресняков, за три недели до того повешенные в Петропавловской крепости.— Надо п-переснять и размножить. Это и долг памяти товарищей, и хорошая пропаганда, значит, дело самонужнейшее. Ну-с, захожу я в одну фотографию на Невском. Принимает дамочка. П-показываю ей, говорю: так и так, нельзя ли переснять.— "Нет, говорит, нельзя, плохие фотографии, не выйдет". Карточки и вправду плохие.— "Нет,— говорит опять,— возьмите назад, нельзя переснять". В это время выходит из задней комнаты сам фотограф. Верно, ее муж.— "Что вам угодно?" Я опять объясняю. Взял он карточки и отошел к окну. И вот, представь себе, она из угла на меня смотрит и вдруг проводит пальцем вот так.— Михайлов провел рукой по шее. Лиза изменилась в лице.— А фотограф как раз говорит: "Что ж, можно. Сколько штук прикажете?" Недорого взял.

— Провела рукой по шее?

— Да... Может, п-простужена была?

— Действительно странно. Да что за женщина?

— Женщина как женщина. Стояла далеко от света, ничего я особенного не заметил. Разве только что очень быстро говорила: "Нет, нет, нельзя, возьмите".

— Да вам не померещилось?

— Не знаю как будто этого за собой. До чертиков не напиваюсь,— сказал он, засмеявшись несколько принужденно.

— Знаете, я на вашем месте больше к этому фотографу не заходила бы.

— Уж очень жаль карточек, я едва раздобыл и обещал отдать. Но ты права. Скорее всего вздор, а благоразумнее не заходить,— сказал он, допивая чай.

— Ну, прощай, многолюбимая. Скажи мужу, чтобы поскорее раздобыл тебе паспорт. Лучше всего 3-завтра. Если я есть слежка, то пока шпики выяснят да доложат, да пока при их порядках занесут тебя в списки, да пойдет по канцеляриям, ты десять раз можешь получить паспорт. Общественное положение у тебя — лучше и желать нельзя... Ты нам будешь очень нужна в Париже,— повторил он.— И еще вот что: если со мной что случится, то уезжай немедленно, хотя бы и без паспорта. Владимир тебе устроит переход через контрабандистов.

— Почему тогда "немедленно"?

— Потому что, милая, меня выследить не так просто, я матерый волк, осторожный. Если меня арестуют, то это значит, что среди нас есть предатель. Лицо у него дернулось. Лиза вытаращила глаза.

— Какой предатель? Среди нас предатель? Опомнитесь!

— Скорее всего никакого предателя нет. По крайней мере, в Исполнительном комитете... Впрочем, я знаки в окне выставляю аккуратно, не то что иные прочие. Ежели что, вы увидите этот мой новый знак: сигнал гибели.

— Ну, положим, могут схватить так быстро, что вы не успеете переменить знака.

— Не на такого напали. Впрочем, я так говорю. И не арестуют меня, и предателей среди нас нет. Ты не журись. "Спокойся, о княжна, п-победа совершенна!— Разбитый враг бежит, Россия свободенна",— шутливо продекламровал он.

— Не очень он еще бежит, враг.

— Увидишь, побегит. Скоро получим конституцию.

— Экая радость!— сказала пренебрежительно Лиза.

V

В Третьем отделении служил революционер Клеточников, перешедший затем вместе со всем персоналом в Департамент государственной полиции. Он был делопроизводителем, и через него проходили секретные полицейские распоря-

жения. Этот тихий незаметный человек оказывал партии огромные услуги, предупреждая ее об обысках и арестах. Александр Михайлов знал, что партия держится теперь, главным образом, на услугах Клеточникова. Он не мог понять, каким образом для заведывания секретнейшим столом полиция пригласила совершенно неизвестного ей человека. "Одна баба рекомендовала!" По такому же непостижимому легкомыслию властей Халтурин мог наняться столяром во дворец, в котором жил император, и ежедневно доставлять туда динамит. "Меня бы назначить шефом, остались бы от «Народной воли» через неделю рожки да ножки", — с усмешкой думал он.

Михайлов отлично видел, что партия чрезвычайно слаба, что она тоже принимает людей почти без всякого выбора, что она каждый день совершает самые неосторожные поступки. По его мнению, технику террора можно было бы сделать почти научной. Сам он в Технологическом институте недолго занимался математикой, физикой и химией. Точность этих наук ему нравилась и соответствовала складу его ума. Однако, несмотря на свой большой авторитет, он не мог добиться от товарищей всего того, что требовал.

Как большая часть революционных партий, "Народная воля" бессознательно подделывалась под военные порядки и под военную дисциплину. Тем не менее никто из вождей не мог просто п р и к а з ы в а т ь другому вождю, как на войне корпусный командир приказывает дивизионному. Да и было все же неизвестно, кто самый главный. Высшими органами партии были Распорядительная комиссия и Исполнительный комитет. Но Распорядительная комиссия ничем не распоряжалась, а Исполнительный комитет ничего не исполнял. В действительности почти все решали три-четыре человека. Если Михайлов, Желябов и Тихомиров бывали между собой согласны, то они в большинстве случаев могли провести любое решение. В редких же случаях разногласий обычно побеждал логикой и упорством Михайлов, хотя Желябов далеко превосходил его красноречием, а Тихомиров образованием, умением улавливать, писать и произносить брошюрные слова.

Технические требования Михайлова были просты и логичны; с этим соглашались все. Но исполнять их было трудно. Сам Желябов порою вел себя неблагоприятно. Его картинная наружность везде привлекала внимание и легко запоминалась. Тем не менее он ни за что не соглашался сбрить бороду, носить синие очки — говорил, что в очках не будет ничего видеть. "Врет! Все бабы, бабы! — с угрюмой насмешкой думал Михайлов. — А главное, верно стал ф а т а л и с т о м! Расплодились у нас эти фаталисты, они-то все и погубят... Должно быть, "верит в свою звезду"! Знаю я эти звезды! В нашем деле не фатализм, а техника и расчет".

Он вел упорную борьбу за знаки в окнах. Люди говорили, что снизу знаки не так легко разглядеть, что если кто утром забудет переменить знак, то лишь понапрасну вызовет панику. Скрывая злость, Михайлов отвечал, что "если кто забудет" не довод, — не надо забывать, — и что "не так легко" тоже не довод, — террор вообще не такая легкая вещь.

Впрочем, и некоторые из террористов, подчинявшихся его распоряжениям, выполняли их неумело. Он предписывал на ночь бесшумно придвигать к двери стол или диван — они так злоупотребляли комнатными баррикадами, что только вызвали подозрение у соседей. Другие соблюдали правило о знаках, но выставляли, например, в окне раскрытый зонтик. "Разве только последний идиот из жандармов не догадается, что раскрытый зонтик на подокопнике — условный знак. Неужто это так трудно понять?" — ядовито спрашивал он и думал, что для всего нужен дар. Сочетания дара с научной точностью приемов он ни в ком из террористов не видел, хотя отдавал им должное во всем другом.

В самые последние недели Михайлову стало казаться, что одни недочеты техники не объясняют провалов. Его все больше тревожила мысль о возможном предательстве. "Что, если и у нас есть и х Клеточниковы!.. Каким образом мог быть выслежен Ширяев? Кто им донес, что Гартман в Париже? Как они узнали его адрес?" Клеточников сообщил революционерам, что Гольденберг, желая спасти Россию, выдал правительству важные партийные тайны. Однако Гольденберг был арестован год тому назад; того, что террористы делали после его ареста, он знать не мог. Ходил глухой слух, будто Лорис-Меликов в Петропавловской крепости разговаривал с Гольденбергом. Этот слух расстроил Михайлова. "В кои веки министр пожелал узнать, что мы за люди, и попал на неуравновешенного дурака, — пусть бы он повесился! Вот Желябов тут

был бы на месте". (Позднее Гольденберг в самом деле повесился от угрызений совести, поняв, что жандармы его одурачили.)

Михайлову казалось, что политика Лорис-Меликова может нанести партии большой ущерб, лишив ее сочувствия и материальной поддержки людей, которых они пренебрежительно называли либералами. "Эти все бросятся под его крылышко!" Тревожило Михайлова и то, что в полиции, в прокуратуре стали появляться способные люди. Он следил за ними так же внимательно, как изучал особенности, дарования, недостатки каждого народовольца.

Сам он соблюдал все правила революционной техники очень строго и с удовольствием думал, что у него террор поднялся до уровня науки. На следующий день после своего разговора с Лизой он вернулся домой поздно и, несмотря на крайнюю усталость, проделал, как всегда, все, что требовалось: придвинул к двери диван, проверил знак, просмотрел записанные шифром дела, назначенные на следующий день. Затем он еще немного позанимался гимнастикой, лег спать и тотчас заснул.

Утром он пробежал газету — его преимущественно интересовало, не переехал ли куда-либо царь. Перед уходом взглянул на зашифрованную записку — всегда старался механически ее запомнить последним взглядом, — изорвал листок на мелкие клочки и сжег их. Он вышел бодрой военной походкой на улицу, прошел по Орловскому переулку на Рождественскую. Слежки не было.

Свиданий было множество; Михайлов никуда не опаздывал, его огромная зрительная память безошибочно подавала ему часы и адреса с уничтоженной записки. Завтракал он в трактире, ел немного, чтобы не отяжелеть, но достаточно для поддержания сил. После раннего завтрака он со стороны Невского вышел на Малую Садовую и, не торопясь, направился к Итальянской.

Дом графа Менгдена был намечен уже давно и признан вполне подходящим. Государь по воскресеньям ездил на развод, чаще всего по Малой Садовой. Правда, он мог также проехать по Невскому и Караванной или по Екатерининскому каналу и Инженерной. Возвращался царь во дворец обычно не тем путем, которым ездил в манеж, и были все основания думать, что он либо из дворца, либо на обратном пути проедет по Малой Садовой. Кроме мины, предполагалось расставить на улице метальщиков с бомбами. По мнению Михайлова, Александр II теперь был обречен. "Однако я думаю то же самое и в пору московского подкопа", — возражал он себе, неторопливо проходя мимо дома графа Менгдена.

Для сырной лавки Кобозевых сняли помещение в полуподвальном этаже. Над дверью выше уровня земли висела надпись "Склад". "Глупо: "Склад"! Склад чего?" — мимоходом отметил Михайлов, хоть как будто и не смотрел в ту сторону. Место было отличное. Он подумал, что можно вывести и другую линию подкопа на Караванную. "Тогда, при метальщиках, все дороги будут заняты"... Не нравилось ему лишь то, что в доме графа Менгдена уже была молочная лавка. "Правда, молочная, а не сырная, но маслом торгуют и эти. Значит, будет конкуренция. Значит, будут следить".

По Итальянской он вышел к Фонтанке, прошел через проходной двор и по Литейному направился на Невский. Никакой слежки по-прежнему не было: Михайлов все замечал почти автоматически, так что это не мешало ему думать. Он соображал, кого взять для работы над подкопом. Требовались выносливые люди. Их было не очень много. На роли метальщиков предназначалась молодежь, — Исполнительный комитет больше надеялся на подкоп. "Это неправильно. Самое страшное все-таки быть метальщиком. Тут нужны железные нервы. Надо идти мне или Желябову. Ему нельзя, он нужен для Учредительного собрания. Такого трибуна не сыскать. Кто же еще? Есть, конечно, Соня, но мужчина надежнее. Старик совершенно не годится и тоже необходим: литературная сила". Из молодых он выше других ставил Гриневецкого, однако считал совершенно невозможным назначать инородца на такое дело. "Нет, е г о должен убить чисто русский человек. Не иначе, как идти мне", — озабоченно думал Михайлов. Теперь как х о з я и н он обсуждал дело со стороны, расценивал себя просто как рабочую силу. С одной стороны, никто во всей партии не подходил лучше, чем он, для такого важного дела; с другой же стороны, лишиться его было бы партии тоже очень невыгодно: Михайлов допускал, что одного цареубийства будет недо-

статочно для созыва Учредительного собрания; по его замыслу, пришлось бы еще убить великого князя Владимира, а затем нового императора. "Без меня они со всем этим не справятся. Нет, нет у них научного расчета. Надо сначала поднять нашу технику... Вот фотограф",— рассеянно подумал он и вошел. Вдруг после того, как швейцар затворил за ним дверь, Михайлов тревожно вспомнил, что решил к фотографу не заходить. "Что же это? Как же я... Забыл вычеркнуть из записки!.. Да нет, вовсе не то, вздор, вздор, мне тогда просто померещилось. Нельзя терять карточки погибших товарищей"... За прилавком стояла та самая женщина. Она увидела его, и на ее лице изобразился ужас.

Этот фотограф состоял на службе у Департамента полиции. У него снимали арестованных революционеров. Когда Михайлов принес карточки Квятковского и Преснякова, жена фотографа тотчас их узнала. То ли она ненавидела мужа, то ли жалела террористов или просто не хотела иметь на совести грех,— она знаком дала понять Михайлову, что дело идет о виселице. Ее муж принял заказ, но она была уверена, что незнакомый человек за карточками не явится: "Ведь не ребенок же в самом деле!"

— Как же, как же, готово!— сказал фотограф. У него на лице была приятная улыбка, очень не понравившаяся Михайлову.— Отлично вышли, сейчас принесу. Пожалуйста, присядьте, сию минуту-с.— Он пододвинул стул. Жена фотографа выбежала из комнаты.— Одна минуточка... Очень хорошо вышли,— повторил, скрываясь, фотограф. "Плохо дело! Западня!"— подумал Михайлов и быстро вышел. В доме не было проходного двора. Швейцар загородил ему дорогу.

— Пропусти, болван! Не видишь, идут!— повелительно сказал Михайлов и, оттолкнув швейцара, выбежал на улицу. На тротуаре стоял огромного роста человек в штатском, которого он тотчас узнал. Это был околоточный Кононенко, известный своей необыкновенной силой. "Ну, теперь начистоту пошло!"— сказал себе Михайлов и побежал по мостовой, нагоняя конку. Он вскочил на площадку и пробежал вперед. Кононенко просвистел в свисток и ринулся за ним, расталкивая людей в вагоне. Михайлов соскочил с другой площадки и на мгновение остановился: перед ним пронесся лихач. Револьвер был в заднем кармане брюк. "Конец!"— подумал Михайлов. Околоточный тоже соскочил и вцепился в него своими железными руками. В конке все повставали с мест. Со стороны Владимирской церкви бежали городовые. "Кончено! Совсем кончено!.. Что будет с партией!.."— успел подумать Михайлов.

Кононенко не имел понятия о том, кого арестовал. Не зная этого и в Департаменте полиции. Получив донесение фотографа, Департамент предположил, что маленькое дело революционеры должны были поручить маленькому человеку, и отрядил для дежурства в соседнем подъезде лишь одного околоточного. Позднее полицейские сановники, услышав (от оставшегося неизвестным осведомителя), какой туз им так попался, только разводили руками. Александр Михайлов считался— вместе с Желябовым— самым опасным террористом России; об его ловкости и искусстве ходили легенды. Полицейские, конечно, не могли знать о знаке, поданном ему женой фотографа. Но и без того было невозможно допустить, что глава партии возьмет на себя поручение, которое мог исполнить любой гимназист, что по непостижимой случайности он обратится к единственному петербургскому фотографу, состоявшему на службе у Департамента, и попадет в западню, как ребенок. "На всякого мудреца довольно простоты!"— сказал с восторгом кто-то из жандармов.

— Как ваша фамилия, господин?

— Константин Михайлович Поливанов,— надменным тоном сказал Михайлов. Голова у него усиленно работала.— По какому п-праву вы меня задерживаете?

— Револьвер всегда при себе носите?

— Я отставной поручик артиллерии. Отчего военному человеку не носить револьвера? Я вас спрашиваю, п-по какому праву...

— Где вы живете?

"Кажется, этот медведь умом не блещет",— подумал Михайлов. У него в комнате находился динамит. "Хозяйка завтра же сообщит, что исчез жилец.

Полиция явится, найдет и устроит западню. Все пропало, если не выставить знака”.

— Я живу в Орловском переулке, дом номер 2, квартира 25-я,— отчеканил он.— Мою личность установит хозяйка квартиры. Вы будете отвечать за ваши действия. А я не обязан знать, что вы служите в полиции, ежели вы изволите ходить в партикулярном платье.

— Почему вы заходили за карточками казенных государственных преступников?— спросил околоточный, на которого тон Михайлова как будто немного подействовал.

— Хотя я и не обязан отвечать на вопросы неизвестного мне лица... Заходил потому, что это мой родственник. Пусть злодей, но кровь не вода,— импровизировал Михайлов. Теперь все было в том, чтобы еще ненадолго усыпить бдительность околоточного.— П-поедем ко мне, и недоразумение тотчас разъяснится.

— Эй, ты, клинки, братец, извозчика,— приказал околоточный.

”Да, конечно!”— думал он, глядя на улицы, на дома, на свободных людей. Знал, что больше никогда этого не увидит. ”В крепость, верно, перевезут в закрытой карете. Ну, что ж, я давно готов. Ах, как глупо попался! Как мальчишка! Позор!.. Теперь остается только одно”...

Хозяйка Туркина растерянно проводила их в комнату, которую снимал отставной поручик Поливанов.

—...Да вы не б-беспокойтесь, тут чистейшее недоразумение,— говорил ей Михайлов. Он говорил без умолку, точно не мог остановиться. Перебой инстинкта у него прошел, и теперь он говорил так, как если бы каждое слово обдумывал часами. Из дверей в коридор высовывали головы испуганные жильцы.

—...Вот это моя скромная обитель... Милости прошу... Тут я живу... Имею средства, хоть и небольшие. Плачу хозяйке регулярно, п-правду я говорю?— обратился он к Туркиной.

— Самые исправные жильцы!.. Господи, да как же это? Это ошибка,— говорила хозяйка.

— Если интересуетесь книгами, то их у меня немного, и все самые благонадежные, взгляните сами,— сказал Михайлов. Он небрежно взял книгу со второй полки стоявшей у окна узенькой этажерки.— ”Артиллерийский журнал” за прошлый год, это ведь по моей части... Видите?— спросил он и так же небрежно поставил книгу на верхнюю полку, возвышавшуюся на аршин над подоконником. ”Сигнал гибели” был выставлен.— Ничего недозволенного у меня нет... Вот чай... Это сахар,— быстро говорил он, отвлекая внимание околоточного. Кононенко хитрости не заметил. Михайловым овладела радость, такая радость, какой он давно не испытывал, быть может, не испытывал никогда, точно он одержал высшую свою победу. До сих пор в его чувствах преобладали стыд— попался так глупо!— и душевная боль от большой потери для партии— не придется принять участия в царевбийстве! Теперь он был счастлив. ”Сделал, что мог! Мало ли, много ли, но что мог, то сделал!..” Все заботы, все дела, все счета с миром были кончены. Оставалось только с достоинством умереть, и в своих силах он был совершенно уверен. Если б Михайлов был способен произносить, хотя бы мысленно, такие слова, он сказал бы: ”Ныне отпускаеши раба Твоего”.— Чем вы еще интересуетесь, господин околоточный надзиратель? Стыдно понапрасну беспокоить людей,— весело говорил он, отлично зная, что сейчас будет найден динамит. ”Лучше я и не хотел бы прожить. А обречен был все равно”...

— В шкапу что?.. Потрудитесь открыть.

— Неужто вы меня в самом деле подозреваете в чем-либо худом?— спросил Михайлов. Он больше почти и не заикался.— Да этого просто быть не может! Подозревать военного человека! Ах, как нехорошо!

— Вы что, господин, меня ребенком считаете, что ли?— сердито, хотя и не совсем уверенно, сказал околоточный.— Вы заказали фотографии казенных преступников. Что же вы...

— Ведь я же вам русским языком объяснил, что нахожусь в родстве...

— С обоими находитесь в родстве? А бежать зачем бросились? А револьвер? Впрочем, что тут разговаривать! Вы дадите объяснения кому следует, мое дело произвести у вас первый обыск. Шкап заперт. Где ключ? Или взломать?

— Зачем же взламывать? Это убыток хозяйке, господин околоточный,— сказал Михайлов. Он отворил шкаф. На полке лежал револьвер. Кононенко быстро схватил его и спрятал в карман. Хозяйка ахнула. Один из городских шагнул вперед.

— И дома храните оружие?

— Храню. Такой уж любитель. Вот и кастет. Храню и еще более интересные для вас вещи, извольте взглянуть,— сказал Михайлов и поднял простыню. На дне шкафа стояла огромная жестяная коробка. Михайлов поднял крышку. В коробке было черное тесто.

— Динамит!

— Так точно, динамит, господин Кононенко. Видите, и фамилию вашу знаю, хоть не имел чести быть представлен,— Михайлов говорил все веселее.

VI

Увидев в окне Александра Михайлова книгу на верхней полке этажерки, Маша вздрогнула и быстро пошла дальше, еще не понимая, что такое произошло. На углу Рождественской она остановилась, ахнула и побежала— на цыпочках — назад. Книга стояла на верхней полке.

Наблюдательному отряду недавно было сообщено о сигнале гибели. Слова были так же звучны, как страшны, и молодые люди произносили их с удовольствием. Маша долго стояла под окном, раскрыв рот. Она все не могла связать: Александр Дмитриевич будет казнен о т т о г о, что в его окне какая-то книга стоит не на средней, а на верхней полке этажерки.

Первого наблюдателя, прошедшего с заговорщическим видом под окном Михайлова за час до Маши, не арестовали только вследствие беспечности или бездарности полиции: западня была устроена в Орловском переулке не сразу. Маша пошла опять к Рождественской, трясаясь всем телом. Она наняла извозчика (где-то далеко, дала ему адрес конспиративной квартиры на Гороховой (это строго запрещалось Михайловым), затем долго сбивчиво объясняла, что ошиблась и почему ошиблась. Извозчик испуганно на нее смотрел.

Елизавета Павловна позднее вспоминала, что Маша вошла к ней "как сомнамбуличка". Лиза сама вначале совершенно растерялась. Она подумала, что тоже погибла, что жандармы могут теперь ввалиться к ней каждую минуту, что первым делом надо отправить Машу домой. "Нет, сначала надо сообщить товарищам!— Ей не было известно, что о сигнале в окне Михайлова уже доложил другой наблюдатель.— Да, очевидно, за ним все время следовали по пятам!.. Тогда не могли не выследить и меня. Конечно, тот человек на углу был филер... Здесь они ничего не найдут... Что сказать Мише?— беспорядочно думала она; впервые в жизни мысленно назвала Чернякова Мишей.— Значит, надо переходить на нелегальное положение... И не откладывая, сегодня же, сейчас... В гостинице потребуют паспорт. Надо достать фальшивый, а пока поселиться на конспиративной квартире. Ох, очень у них грязно и тесно... Это, конечно, третьестепенное соображение... Но как же я ей скажу, что я в опасности? Первым делом надо отослать ее",— думала Елизавета Павловна и сбивчиво, хоть с самыми убедительными интонациями, говорила Маше, что Александра Дмитриевича, наверное, скоро выпустят по недостатку улики, что теперь, при Лорисе, его, наверное, не повесят, что партия достанет для него самого лучшего адвоката, что конституция и амнистия не за горами. Маша вдруг подняла голову.

— Амнистия — это когда всех прощают?

— Когда всех освобождают.

— Ты думаешь, что это возможно? Правда?

— Это не только возможно, а правительство будет вынуждено всех освобождать после конституции. Но, Машенька, милая, ты должна исполнять приказ. Ты даже не имела права заезжать ко мне. Ты обязана тотчас доложить, ведь из-за промедления могут погибнуть люди.

— Я сейчас!— поспешно вставая, сказала Маша.— Сейчас, сию минуту! Я поеду прямо к Желябовым, да?

В партии изредка шутили о "молодоженах", но Желябовыми их никто не называл. "Эта детская наивность! Она влюблена в Желябова— и в Колю Дюмлера! Господи, как я могла ввести ее к нам?"— думала Лиза.

— Ты хочешь сказать, к Войновой и к Слатвинскому?— тоном Михайлова сказала она.— Нет, к ним на их частную квартиру ты не езди. Поезжай на Гороховую. Кажется, там сейчас заседание. Если их нет, скажи Гесе.— Елизавета Павловна подумала, что Гесья Гельфман, услышав о гибели Михайлова, может лишиться чувств, несмотря на свои крепкие нервы: так она его любила и почитала.— Ну, поезжай, душечка, дело прежде всего.

— Я сейчас, сию секунду! Я возьму лихача!

— Если бы тебя задержали на улице... Ведь все возможно... Если бы тебя задержали, Боже избави, не скрывай, что ты у меня была и что ты моя сестра. Так и скажи: была у сестры.

— Почему же ты думаешь, что меня могут задержать? Ты замечала слезку? В чем дело? Ты от меня что-то скрываешь? Нет, скажи правду!

— Я решительно ничего не скрываю и никакой слезки за собой не замечала. Я так говорю, на всякий случай. В нашем деле все возможно... Ну, поезжай, милая!— сказала Лиза почти резко. Маша испуганно на нее взглянула.— Остановись на углу Гороховой и Садовой. Долго у них не оставайся, доложи и иди домой, а то папа перепугается... И не волнуйся, все будет отлично.

После ухода Маши Елизавета Павловна долго ходила по кабинету. Она думала, что надо уйти немедленно, что нельзя терять ни минуты,— и не уходила. "Бессмысленно ждать, пока они придут сюда... Надо взять белье, платья... Значит, Богдановича и Якимову тоже выследили? Сейчас же им сообщить... Возьму только серое и лиловое, да еще немного белья. Шубу надеть? Миша потом доставит мне шубу... Где же я буду с ним встречаться? Денег у меня нет. Взять у папа или у Миши? Погубила его жизнь и на прощание взять деньги?.. Это известие убьет его... Неужели Александр Дмитриевич мог не заметить за собой слезки? Однако ведь если бы его выследили, то полиция нагрянула бы сюда еще нынче ночью или рано утром!— Это немного ее успокоило.— А может быть, предательство?— вспомнила она слова Михайлова.— Кто же? Кто?— Лиза мысленно перебирала состав партии, начиная с верхов. Как ни было ей тяжело, предположение, что Желябов или Перовская (которую она не любила) могли быть предателями, вызвало у нее невольную улыбку. Так же выше подозрений были Старик, другие члены Исполнительного комитета.— Может быть, один из этих мальчиков. Рысаков? Нет, он честный юноша... Гриневицкий? Тоже не похоже. Да они ничего и не знают". На самом деле в партии уже было не менее трех предателей (по некоторым данным, можно предположить, что в "Народной воле" были и предатели, не раскрытые историей). Но на них ее подозрения не остановились, как не остановились ни на ком вообще. "Ну, хорошо, я попадусь, что тогда? К смерти, конечно, приговорить не могут. А если бы и приговорили, о н должен будет смягчить приговор. Каторга? Тюрьма?.."

Она знала, что сейчас, сию минуту надо принять самое важное решение всей ее жизни; и не могла сосредоточить на этом мыслей. Лиза бессвязно думала о разных делах, и важных, и незначительных. "Если я перейду на нелегальное положение, то и это для папа будет страшный удар. И тут еще Маша... Все началось с той новогодней вечеринки, а потом она втянулась и я уже ничего не могла сделать, да и не хотела... Конечно, папа потребует, чтобы я уехала за границу. Но мне не дадут паспорта. Контрабандисты?"— Тайный переход границы с контрабандистами, который прежде соблазнил бы ее своей романтичностью, теперь казался ей скучным, тяжелым, невозможным делом.

Она не чувствовала страха: чувствовала только впервые в жизни крайнюю душевную усталость. То, что ей предстояло — большое и ничтожное, спасение жизни и отмена примерки у портнихи,— подавляло ее прежде всего утомительностью. Теперь ей хотелось спокойствия. "Чтобы ничего не менять, ничего не делать нового... Да, сильные ощущения! Я, конечно, не могла бы жить как другие. Но всему есть мера! Самое сильное ощущение — это все-таки желание жить по-человечески!"

Горничная вошла в кабинет и доложила, что к обеду нет закуски.

— Прикажете пойти купить?

— Да, купите,— сказала Елизавета Павловна. "Надо взять себя в руки, я не Маша",— подумала она.— Или вот что, я лучше сама пойду, мне

нужно быть на Невском... Но если я опоздаю к обеду, сбегайте за сардинами для барина. Он любит сардинки.

— Обед прикажете вам оставить? Нынче рассольник, нехорошо, если разогреть, — сказала горничная, удивленная неожиданной заботой барыни о барине.

— Оставьте, но я, быть может, вернусь поздно. "Написать ему записку? Нет, о таких вещах писать невозможно, и это его убьет. Я все-таки вернусь или вызову его"... — Сегодня холодно, дайте мне лучше шубу... Так непременно сходите за сардинами, Глаша.

На улице не было подозрительных фигур, и это ее успокоило. "Конечно, можно еще вернуться домой. Если ввалятся, то не раньше поздней ночи". Она велела извозчику остановиться на углу Гороховой и Екатерининского канала, велела больше потому, что Маше сказала: сойти на углу Гороховой и Садовой. Затем она с тревогой подумала, что под Каменным мостом еще лежат заложенные Желябовым бомбы. "Ну, и что же? Кажется, нервы в самом деле порядком расстроились и у меня".

Заседание на конспиративной квартире как раз кончилось. Впрочем, формального заседания не было: во взволнованном разговоре участвовали не только члены Исполнительного комитета: теперь было не до правил, и больше не было человека, заставлявшего партию соблюдать правила. В комитете уже знали о катастрофе. Все были подавлены и старались это скрыть. Желябов с первых слов сказал, что в планах партии ничто измениться не может, как ни страшно тяжела потеря. То же самое, но менее уверенно повторяли вслед за ним другие. Теперь все, кроме Старика, относились и друг к другу бережнее и нежнее обычного. Сигнал в окне Александра Михайлова предвещал гибель многим. О нем самом говорили почти как об умершем человеке. Называли его уже не Дворником, а по имени-отчеству, и, как показалось Елизавете Павловне, делали над собой усилие, чтобы не обмолвиться: "покойный Александр Дмитриевич". У Геси Гельфман глаза были заплаканные.

—...Я только в последний год узнал его по-настоящему, — говорил Желябов. — Какой вздор, будто он был сухой человек! Александр Дмитриевич в душе был поэт... Он погиб, но наше дело, его дело будет доведено до конца! Лавка на Малой Садовой снята. Мы расставим метальщиков на всех улицах, по которым о н может проехать. Я буду руководить делом. Я сам выйду на улицу, выйду не с бомбой, не с револьвером, а с кинжалом. Силы у меня для кинжала хватит! — говорил он с жаром. Все взволнованно его слушали. Члены партии, особенно женщины, теперь жались мысленно к этому сильному, решительному человеку.

Кто-то возразил, что Тарас не имеет права выходить на улицу: партия не может пожертвовать обоими вождями. Желябов горячо возражал: никаких вождей среди них нет, есть люди, служащие одному делу, одинаково готовые идти на смерть. Но хотя он говорил совершенно искренне, все понимали, что он человек единственный и незаменимый. Один Желябов теперь в партии удовлетворял человеческой потребности в вожде. Перовская смотрела на него блестящими глазами и молча одобрятельно кивала головой и ему, и тому товарищу, который говорил, что Тарасом пожертвовать невозможно. Тихомиров угрюмо молчал. Он был тоже удручен гибелью Михайлова; ставил его в "Народной воле" на первое место (себе мысленно отводил второе). Думал, что партия кончена, какие бы еще ни произошли события.

Гесья Гельфман подала чай. Ее вид показывал, что надо жить и дальше, а если надо жить, то нет причины не давать товарищам чая. Подала и угощение: нарезанные куски черного и белого хлеба. Некоторые принялись есть с жадностью. "Точно поминки! — подумала Лиза. — И как на поминках, с их вековой мудростью, тут ничего оскорбительного нет"... Не она одна это подумала, и не одной ей хотелось выпить вина. Гесья это почувствовала, хоть сама никогда к спиртному не прикасалась. Она поставила на стол бутылку. В шкафу были остатки рыбы, Гесья пошла на кухню. Вдруг она вспомнила, как на встрече Нового года Александр Дмитриевич помогал ей подать шуку. Она села на табурет и беззвучно заплакала, положив голову на стол у тарелки.

—...Когда же приблизительно э т о может произойти?— спросила Лиза. Вино и общество бодрых, мужественных людей, особенно Желябова, очень подняли ее настроение. В другое время она не задала бы такого вопроса, да ей и не ответили бы. По настоянию Михайлова наиболее важные дела держались в тайне между теми, кому надлежало их выполнять или следить за их выполнением; даже Исполнительный комитет не знал всех подробностей. Но сейчас в общем настроении братского подъема были забыты и правила конспирации, и партийная иерархия. Все взоры обратились на Тараса. Теперь ясно было, что и выполнять, и следить будет он. По рангу, никем не установленному и всеми смутно сознававшемуся, Тихомиров был не ниже. Однако члены Исполнительного комитета понимали, что Старик для этого дела не годится.

— Приблизительно рассчитать можно,— сказал Желябов, вынимая из кармана записную тетрадку с календарем.— Разумеется, только приблизительно. На подкуп надо считать два месяца. Если бросить на Малую Садовую все силы, то при удаче справимся в полтора. Из-за этого проклятого ремонта въехать в лавку можно будет только в начале января. Значит, земляные работы кончим в середине февраля. О н выезжает в Манеж по воскресеньям. Воскресенья будут...— Желябов перелистал календарь.— Воскресенья будут 22 февраля, 1 марта, 8 марта. В один из этих дней и сделаем...

Наступило довольно долгое молчание.

— Конечно, Александра Дмитриевича выследили на улице,— сказала Лиза.— Очевидно, за ним шли по пятам.

— Если так, то и Аристократка в опасности,— заметил кто-то.— Александр Дмитриевич у нее был накануне.

— Разумеется. Вы в очень серьезной опасности.

— Какой вздор!— беззаботно сказала Елизавета Павловна.

— Ведь вы же сами говорили, что заметили за собой слежку.

— Заметила, но это не имеет никакого значения.

— Нет, это имеет значение. Кроме того, и главное, Александр Дмитриевич как раз на днях выражал желание послать вас за границу.

— Он говорил и мне, но я теперь никуда не уеду. Все это вздор!

— Нет, не вздор. Александр Дмитриевич никогда вздора не говорил,— строго сказал Желябов. Авторитетный тон ему удавался гораздо лучше, чем Михайлову, который, впрочем, о своем престиже никогда не думал: ему важно было только существо дела. Желябов заговорил о репутации партии, о необходимости пропаганды за границей, о привлечении симпатий передовых людей Европы и Америки. Говорил он так хорошо, что все заслушались, хотя теперь было не до красноречия. Перовская, Гесья, Лиза не сводили с него глаз. "Да, это настоящий человек!"— думала с восторгом Елизавета Павловна. Из слушавших Желябова некоторые (как и он сам) знали, почему Михайлов хотел послать Аристократку за границу, но и они точно об этом позабыли. Елизавету Павловну, впрочем, любили, и сообщение об установленной за ней слежке всех встревожило. Когда Желябов кончил, другие члены комитета также стали убеждать ее уехать в Париж. В этом точно была последняя воля Александра Михайлова. Молчала только Перовская: как и Михайлов, она в душе презирала уезжавших за границу революционеров.

— Не могу я уехать, Тарас,— сказала Елизавета Павловна.— Ввела к вам Машу, а сама уеду.

— Маша сюда приходила за час до вас. Мы тотчас ее отослали домой. Очень она милая, ваша сестра, но у нее, скажу правду, нервы совершенно распались. Я... мы ее ни на какую работу назначать не будем. Вы можете быть совершенно спокойны: во-первых, за ней ровно ничего не значит, во-вторых, слежки за ней нет. А если и заметили, что она у вас бывает, то что же тут подозрительного? Бывает у сестры. Она слишком нервна для нашей работы, да и очень уж молода. Александр Дмитриевич был против привлечения к важной работе слишком молодых людей.

— И Маша, и я в распоряжении партии,— сказала Елизавета Павловна. У нее с души свалился камень.— Но если вы, Тарас, спрашиваете мое мнение, то я думаю, мне за границей делать нечего. Там и без меня есть люди.

— Есть, но не активные. Вы внесете динамическое начало,— сказал с усмешкой Тихомиров. "Кому динамическое начало, а кому динамит",—

саркастически подумал он. Елизавета Павловна бросила на него недобрый взгляд.

— Да как же я уеду? Разве Владимир переправит меня через своих контрабандистов?

— В этом необходимости нет,— ответил Желябов.— Пусть ваш муж сначала попытается получить для вас заграничный паспорт в легальном порядке. Если не дадут, мы обратимся к контрабандистам. Сегодня же лучше домой не возвращайтесь, переночуйте здесь.

— Мы вам тут поставим кровать, а я перейду на кухню,— предложила, оживившись, Гесья.— И одело я найду тепленькое.

— Я должна вернуться домой. Если ко мне сегодня не нагрянули, то до ночи уже не нагрянут.

— Это верно,— подтвердил Желябов, подумав.— Значит, через недельку начнется для нас агитация в Париже. Рошфор, говорят, всей душой предан нашему делу. Вы будете там чрезвычайно полезны партии.

В его словах не было ничего обидного. Напротив, они были лестны. Но ей была неприятна усмешка Старика.

VII

Первый разговор Михаила Яковлевича с единомышленниками оказался удачным. Он сделал небольшое сообщение, которое чрезвычайно заинтересовало группу людей, собравшихся у редактора журнала. Черняков предварительно взял со всех слово держать все в тайне, и это еще подняло интерес к делу. Произошел обмен мнениями. Только один из участников беседы высказался вначале против встречи с министром. "Пусть эти господа на деле покажут свою готовность безоговорочно вступить на конституционный путь, тогда и поговорим. А то ваш Лорис подумает, что стоит нас приласкать и мы бросимся к нему в объятия!"— сказал земский деятель, человек довольно желчный, несколько ближе, чем другие, стоявший к людям, которых Черняков называл радикальными *tutti quanti*¹: граница между либералами и радикалами была не очень определенной.— "Позвольте, это не разговор, Василий Васильевич,— обиженно ответил Михаил Яковлевич,— во-первых, Лорис не "мой", а во-вторых, в его объятия никто из нас бросаться не собирается. Но, по моему скромному суждению, рука, в первый раз протянутая нам сверху, не должна повиснуть в воздухе. В действительности мы изложим ему наши *desiderata* или, вернее, наши условия. А дальше его дело будет принять их или не принять. Бросаться же в его объятия я никак не предлагал и не предлагаю".— "Я ничего обидного не хотел сказать, но я желал бы, чтобы вы объяснили, как вы"...— "Я и не жалуюсь на обиду, но что же вам ответить, Василий Васильевич? Напомню вам слова Биконсфильда: "Never complain and never explain... Не жаловаться и не объяснять". Хозяин дома вмешался и сказал, что со старой лисой, с Лорисом, действительно надо держать ухо востро, однако нет причины отказываться от переговоров. "Скорее всего, конечно, ничего не выйдет". Все другие участники беседы высказались за переговоры и были, видимо, польщены предложением. Особенно ясно это стало после того, как начали составлять список. "Обид будет, конечно, великое множество,— сказал со вздохом редактор,— Иван Иваныча позвали, а меня не позвали. Ох, уж эти мне Иван Иванычи!" Все же он отвел другого редактора; отозвался о нем чрезвычайно лестно, но признал его неподходящим человеком. Были отведены еще два адвоката: они всех заговорят.— "Что ж, если так, то нашу инициативную группу можно считать сконституированной,— сказал в заключение Михаил Яковлевич.— Я только возражаю против названия "инициативная группа", инициатива ведь не наша, а ближнего боярина".— "Конечно, Василий Васильевич! Я говорю о группе лиц, откликнувшихся на его инициативу",— примирительно разъяснил Черняков. Под конец разговор стал шутивым: какой кому достанется портфель. "Вот увидите, Михаил Яковлевич, ближний боярин научит вас истинному либерализму",— весело сказал кто-то. "Это что внуху учить Потемкина, как говорил, кажется, Пушкин",— сказал желчный земец. Все смеялись. Прощаясь, участники беседы

¹ Здесь: всеми прочими (итал.).

крепче обычного жали руку Чернякову: понимали, что обязаны ему зачислением в инициативную группу; и он понимал, что они это понимают.

Вечером этого дня Михаил Яковлевич сидел за чаем у камина в красном бархатном халате, подаренном ему сестрой ко дню рождения. Он очень любил этот халат, который, по его наблюдениям, всегда приводил его в хорошее настроение. Лизы опять не было дома. Черняков беспокойно поглядывал на часы и думал о предстоящем решительном объяснении с женой. "Да, в общественной жизни удачи, а личная жизнь"...

С некоторых пор ему приходила мысль о разводе. "Кажется, только это и остается,— мрачно думал он и тогда в театре, после встречи с липецким революционером.— Конечно, я люблю ее, но именно любовь делает фиктивный брак еще более нелепым, отвратительным явлением. Я люблю ее, но я не могу, не хочу и не обязан разбивать из-за нее свою жизнь! Я скажу ей: *entweder— oder*"¹.

Однако, когда он услышал звонок и в передней голос Лизы, Михаилу Яковлевичу стало ясно, что он никогда развода не предложит.

— Я уже начинал беспокоиться. Вы, кажется, нынче должны были обедать дома?

— Да, извините меня, так вышло. Надеюсь, они вас накормили?

— Да. А вы? Вы еще не обедали?

— Нет... То есть, конечно, обедала. Она принесла вам сардины? Я ей велела.

— Принесла, спасибо.— Михаил Яковлевич был так не избалован вниманием со стороны жены, что был и тронут ее вопросом, и насторожился.— Хотите чаю? Самовар горячий.

— Очень хочу. Вам идет этот халат. Вы похожи на кардинала или на вельможу восемнадцатого века,— сказала Лиза, садясь в кресло. Черняков подал ей чашку. "Ах, как бы могло быть хорошо, если б... Сегодня она еще красивее, чем всегда. Ей идет бледность"... Елизавета Павловна неожиданно налила себе большую рюмку рома и выпила залпом.

— Лиза, это ром!

— Ничего... Ничего,— сказала она, кашляя.— В самом деле страшно крепкая вещь! Я и не думала... Это я с горя.

— Почему с горя? Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. Ах, какой крепкий ром... Ничего не случилось, кроме того, что меня не сегодня-завтра арестуют.

— Лиза!.. Ради Бога!

— Что ж "ради Бога"? Если бы арест от меня зависел, я бы его отменила.

— Что случилось? Лиза, неужели нельзя говорить раз в жизни без шуток?

— Можно и без шуток,— сказала она и небрежным тоном сообщила ему о слежке. При первых ее словах Михаил Яковлевич, сильно изменившись в лице, встал, затворил дверь и сел на стул рядом с Лизой. Она не назвала имени Михайлова, но сказала, что арестован очень видный террорист, которого она хорошо знала.

— Он бывал у нас в доме!

— Не бывал, а был один раз. Не скрываю, его могли проследить, поэтому я жду обыска и ареста.

— Я знаю, это тот блондин, которого я видел в Липецке?.. Впрочем, все равно!.. У него были ваши письма? Был записан ваш адрес? Вы у него бывали? Когда он арестован?

— Вы спрашиваете слишком быстро, я не могу отвечать сразу на столько вопросов. Нет, у него не было моих писем, и адресов он никаких не записывал, все помнил наизусть. Если не проследили, как он входил в нашу квартиру, то никакой опасности нет. Но могли легко проследить, и я думаю, мне надо перейти на нелегальное положение. Что ж, пожили, и будет. Немцы говорят: "у всего есть конец, только у колбасы два конца. *Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei*"...

Михаил Яковлевич взглянул на нее выпученными глазами, встал, прошелся по комнате, вытер лоб платком. Все его планы рухнули. Муж не отвечал за жену, но мужу террористки не годилось участвовать в переговорах с

¹ Или—или (нем.).

министром внутренних дел. Однако об этом Черняков даже не подумал — это только бесследно проскользнуло в глубине его сознания. Теперь надо было спасти Лизу. Он снова сел рядом с ней и взял ее за руку. Рука у нее была холодная.

Чувство, которое она испытывала, не было страхом, но она чувствовала, что другие так могли бы его назвать, и ей было мучительно стыдно. Стыдно было, что она согласилась — или почти согласилась — уехать за границу, стыдно неправды о переходе на нелегальное положение, только что зачем-то сказанной ею мужу, стыдно маленькой, еле заметной лжи в разговоре на конспиративной квартире. "А может быть, я в самом деле боюсь?.. Нет, не боюсь, это не страх".

— Лиза, умоляю вас, скажите мне все! Что именно за вами значится? Что вы сделали? Я умоляю вас, скажите всю правду!

— Хорошо, — ответила она, немного подумав. — Я вам расскажу, но прошу вас, не перебивайте меня и не переспрашивайте. Вы выскажете мне ваши соображения потом.

— Не буду перебивать. Только не томите меня!

Она рассказала далеко не все, но то, что она говорила, было правдой. Михаил Яковлевич слушал ее с ужасом. "Господи!.. Господи!" — изредка повторял он.

— Ну, вот теперь вы знаете. Allez-y¹. Вы скажите ваши соображения, — сказала она. Елизавета Павловна говорила ироническим тоном, слово "соображения" тоже было ироническое, но руки у нее дрожали. Она быстро налила себе еще рюмку рома и выпила залпом прежде, чем Михаил Яковлевич успел ее остановить.

— Лиза!.. Что мне сказать? Зачем мне говорить? Теперь не время ни для споров, ни для рекриминаций²! Вам надо спастись, это всего важнее! Вы говорите, что у него мог быть динамит? Господи! И вы заметили за собой слежку?

— Oui, Monsieur, parfaitement³.

— Боже мой! Боже мой! — Михаил Яковлевич был в совершенном отчаянье. Он ломал бы себе руки, если бы это было естественным, а не литературным жестом. — Лиза, вам надо уехать! Уехать немедленно, сейчас, не теряя ни минуты!

— Уехать? Куда? — точно с недоумением спросила она.

— За границу! Но сейчас, сегодня же! Лиза, надо, надо уехать!

Он предложил то самое, чего она хотела. Елизавета Павловна засмеялась, точно его предложение было совершенно бессмысленно, — не знала, зачем смеется, зачем запутывается в той же незначительной, ненужной неправде.

— Мне то же предписывают товарищи. Точно вы сговорились! Если бы я и хотела уехать, то было бы невозможно: прежде всего был бы необходим паспорт.

— Я вам достану его в полчаса! Меня знают в канцелярии... Правда, канцелярия уже закрыта. Тогда завтра... Но вы не можете ночевать здесь, они могут нагрянуть каждую минуту! Мы сейчас же уедем в гостиницу, я вас там устрою. Я сам останусь с вами, я не могу теперь оставить вас одну... Две комнаты, мы возьмем номер из двух комнат, — говорил он, целуя ей руки, как в Липецке. Она все не знала, зачем отказывается, зачем говорит в полусутильном тоне, зачем говорит вздор. Его отчаянье трогало ее. "Да, он хороший, прекрасный человек"... И то, что он все взял на себя, подействовало на нее успокоительно. В первый раз в жизни она ему подчинилась. Голова у нее уже кружилась от рома.

— Ну, хорошо, переждем, если вы так хотите... Я погубила вашу жизнь! — вдруг совсем не прежним голосом, со слезами сказала она. — Простите меня, если можете.

На следующий день Черняков провожал ее. На вокзале, как всегда в последнее время, было много полиции и жандармов. Михаил Яковлевич, строго оглядываясь по сторонам, проводил жену в вагон. Он был совершенно растерян:

¹ Давайте (франц.).

² Взаимных обвинений (англ.).

³ Да, мсье, конечно (франц.).

от счастья, от несчастья. По правилу выработанной Михайловым техники они явились на вокзал за три минуты до отхода поезда. В отделении первого класса не было никого. Черняков обнял жену.

— Ты видишь! Я говорил тебе, что все сойдет совершенно гладко. Больше ни малейшей опасности нет!

— Ну, впереди есть граница,— сказала она, принужденно смеясь. Ее смущение росло. Елизавета Павловна еще не отдавала себе отчета в своих чувствах. "Довольна? Счастлива?.. Вздор!" То, что случилось с ней, было так странно, так для нее неожиданно. В гостинице оказалась только одна комната.

Она пыталась настроиться на прежний насмешливый лад. "Что ж, если и ему страдать за меня, то пусть же он хоть что-либо за это получит"... Но Лиза чувствовала, что и прежнего тона у нее теперь быть не может. "И жить буду, и чувствовать по-новому. Лучше ли, хуже ли, но по-новому"...

—...Ты купишь в Париже все, что нужно. Как только придет от тебя телеграмма, я переведу тебе еще денег. Жаль, что нельзя было заехать за вещами. Но я уверен, что никакого обыска не было. А если и был, то это теперь значения не имеет. Тебе совершенно незачем волноваться.

— Да я нисколько и не волнуюсь! Лишь бы у тебя не вышло неприятностей.

Ей было почти досадно, что заграничный паспорт выдали беспрепятственно. Черняков явился в канцелярию до ее открытия. У него были знакомства всюду. Он вернулся в гостиницу с паспортом и билетом. "Да, за ним не пропадешь"... Теперь и она не сомневалась, что через три дня будет в Париже.

— Так помни, ты обещал часто бывать у папа... Маша, бедная Маша!— сказала она, и у нее опять появились на глазах слезы.

Для Павла Васильевича что-то придумали. Он, впрочем, по-прежнему ни о чем не спрашивал. Вид у него был еще более мрачный. "Папа впадает в апатию!"— испуганно говорили о нем дочери. Сестре Елизавета Павловна сказала, что партия посылает ее на месяц-другой с поручением к Рошфору. Маша не знала, кто такой Рошфор, в душе ненавидела его и плакала так, как если бы предчувствовала, что больше никогда не увидит сестры. Из конспирации ей запретили быть на вокзале. Коля Дюммлер ласково утешал ее. "Хотя ваша сестрица дяде Мише баки закручивает,— говорил он,— но, в общем, это хорошо, что она сдрапанула. А то не миновать ей Романова хутора!"— "Какого Романова хутора?"— всхлипывая, спросила Маша.— "Тюрьмы, понятное дело. Вы не плачьте, канареечка. Скоро придет от нее из Парижа ксива".

— Я получу отпуск еще до Рождества. Быть может, через три недели я приеду к тебе в Париж... Только не жалею денег, купи все, платья, белье. Хорошо, что шуба на тебе,— быстро говорил Черняков с бодрой улыбкой. Она вытерла слезы и тоже улыбнулась.

— Не обольщайте себя надеждами. Вы... ты очень неудачно выбрал жену,— сказала она, не находя нового тона с ним. Теперь неуместны были бы и ирония, и "вы", и "Черняков".

— Конституция совершенно решенное дело, я это знаю из первоисточника, а с ней неизбежна и амнистия,— говорил он совершенно так, как накануне она говорила Маше. Михаил Яковлевич в самом деле так думал. Думал даже, что если обыска у него ночью не произошло, то нет причины ему выходить из инициативной группы. Через три-четыре месяца мы опять будем жить в Петербурге, но уже...

Раздался третий звонок. Лиза крепко обняла и поцеловала мужа.

Он бежал за поездом, с заговорщическим видом оглядываясь по сторонам. Елизавета Павловна отошла от окна, растерянно вышла в коридор, так же растерянно вернулась, опустилась на диван и заплакала.

VIII

Александр II женился на княжне Долгорукой через полтора месяца после смерти императрицы. На венчании присутствовало только несколько человек. Они обязались никому ничего не говорить. Но сама Долгорукая, получившая титул светлейшей княгини Юрьевской, не очень скрывала секрет. Первые

узнали ее приятельницы, бонны, няньки; скоро слух о втором браке императора прошел по всей России.

После венчания царь с женой и детьми уехал в Ливадию и вернулся в Петербург 22 ноября. Для княгини была отделана новая большая квартира в Зимнем дворце. Там теперь Александр II проводил ночи и значительную часть дня. Он вставал в восемь часов утра и обычно в шлафроке работал в комнате рядом со спальней. Потом надевал мундир и спускался в кабинет в сопровождении своего Милорда (его собака и собака Юрьевской обе назывались Милордами). Княгиня просыпалась очень поздно и звонила императору; он тотчас снова к ней поднимался. Ее звонок был проведен в его рабочий кабинет, и старые сановники, делавшие ему доклады, иногда опускали глаза, слыша, что по звонку вызывают русского царя. Но Александр II не обращал внимания на сановников. Он все меньше заботился о чужом мнении, даже о мнении членов своей семьи.

Великие князья приняли женитьбу отца покорно, с худо скрытым раздражением. Они почитали и боялись императора и по внешности поддерживали добрые отношения с его женой. Однако слухи о возможном ее короновании приводили их в такое же негодование, как разговоры о конституции. Коронованье Юрьевской и конституция неясно связались между собой в представлении и у них, и у двора, и у самого императора.

В намеченной Лорис-Меликовым государственной реформе речь шла о создании каких-то подготовительных комиссий для рассмотрения разных важных вопросов. Все знали, что государственная жизнь сводится к созданию комиссий; так было всегда, и в самом слове "комиссия" было нечто успокоительное, знакомое, успешное. Но выработанные подготовительными комиссиями законопроекты должны были, по плану Лорис-Меликова, поступать в общую комиссию с участием выборных людей от населения. Эти последние четыре слова вызывали при дворе ужас. Сам Лорис-Меликов, впрочем, утверждал, что остается противником конституции. Иногда, увлекаясь своим красноречием, он говорил царю, великим князьям, консервативным министрам, что своими руками задушил бы человека, который предложил бы ввести в России конституционный образ правления. Однако глаза у него при этом как будто бегали — или так казалось его высокопоставленным врагам. Они находили, что армияшке верить нельзя, что он хочет положить конец вековому самодержавию царей.

Все эти разговоры так надоели царю, что он старался думать о них возможно меньше. Сам он не имел вполне твердого мнения о проекте. Иногда ему казалось, что прав Лорис-Меликов, иногда — что правы его враги. Александр II почти склонился к тому, чтобы закончить свое царствование государственной реформой. Но он не был ею увлечен, как в молодости был увлечен делом освобождения крестьян, да и не возлагал на нее особенных надежд. Думал, что эта реформа не успокоит России, не положит конца работе тех людей, которые старались его убить. Однако другое, военные суды, генерал-губернаторы, смертные приговоры, все уже было испробовано и ни к чему хорошему не привело. Напротив, некоторое успокоение было достигнуто с тех пор, как он призвал к власти Лорис-Меликова.

Сам министр внутренних дел был убежден, что революционное движение уже подавлено благодаря его мерам: разумелось уничтожение Третьего отделения, отмена административных высылки, сближение с благомыслящей частью общества, укрепление доверия к власти, к законности, к правовому порядку. Об этом он неизменно докладывал царю и многозначительно подчеркивал, что при нем покушений на цареубийство не было. Ни ему, ни Александру II не было известно, что в действительности покушения готовились, но не удались и остались незамеченными. Так, народовольцам не удалось взорвать Каменный мост во время проезда царя.

Император по-прежнему внимательно, с жутким любопытством и недоумением читал полицейские доклады о террористах. Государственный департамент полиции, заменивший Третье отделение, теперь считал опаснейшим из них Андрея Желябова, которого Гольденберг в своих показаниях назвал гениальным человеком. "Кто такой?" — спрашивал император. Его особенно неприятно удивило, что Желябов был из крестьян: до сих пор цареубийцы в русской истории обычно бывали дворяне. "Идут на смерть, как будто смелые люди. Но чего же они хотят? Разве это мыслимое дело? Распад России!" В показаниях Александра Михайлова было сказано: "Распадение России по

главным национальностям должно быть предоставлено доброй воле составляющих ее народов, что, конечно, и произойдет ввиду издавна существующего к тому расползновения". Царь читал это и только пожимал плечами.

Однако все неприятности, связанные с государственными делами, теперь не очень расстраивали Александра II. Он был счастлив, как давно не был счастлив в жизни. Ему хотелось только того, чтобы люди оставили его в покое и дали ему возможность свободно, не скрываясь, провести остаток дней с княгиней и с детьми от нее. Все, что было связано с Юрьевскими, теперь занимало его больше, чем государственные дела.

В день доклада Лорис-Меликова у княгини был назначен костюмированный детский праздник. Уступая желанию, просьбе или полускрытому приказу царя, наследник престола согласился прислать на праздник своих сыновей: они должны были сблизиться с детьми Александра II от княгини. Император входил во все подробности праздника, обсуждал костюмы детей и подарки им. Чтобы облегчить детям сближение, были приглашены еще девочки графа Воронцова. Царь был очень доволен. Как ни был он теперь равнодушен к общественному мнению, глухая враждебность великих князей утомляла его и сильно ему надоела.

Первый вопрос за день был, как всегда, о первом мундире. Лейб-гусарский и конногвардейский считались его любимыми: это раздражало кавалергардов, и вызывало у них ропот, несколько забавлявший царя. "Теперь, говорят, мои умники министры спорят о том, как ездить представляться Кате: в сюртуке, как к частной персоне, или в мундире, как к члену царствующего дома... Скоро будут ездить к царице", — весело подумал он. В одиннадцать часов он в самом лучшем настроении духа спустился по винтовой лестнице в свой кабинет, сел за стол, просмотрел прежние записки и доклады Лорис-Меликова. В первоначальный проект реформы были внесены небольшие изменения. Александр II вносил их больше для того, чтобы не во всем соглашаться с министром, да еще чтобы смягчить и противную сторону. Он знал, что в жизни и особенно в политике почти все выходит совсем не так, как ожидали, хотели или опасались. "Нынче важный день, больше нельзя откладывать, сегодня же все и решить", — думал он бодро. В сущности, вопрос уже был решен. "Может быть, именно за это история прославит".

— Здравствуй, Михаил Тариелович, — ласково сказал он министру. "Кажется, волнуется. Значит, будет долго говорить, — подумал царь. — Желт нынче, как лимон. Il n'est pas tres beau, le pauvre homme¹. Очень непрезентабелен Михаил Тарелкович"... Враги называли за глаза министра внутренних дел Михаилом Тарелковичем, уверяя, будто его так прозвали на Кавказе солдаты. У Александра II не было национальных или сословных предрассудков. Ему было совершенно все равно, что замеченный им в главы правительства человек был не русский по крови и не аристократ по происхождению. Но у него было легкое предубеждение против некрасивых людей.

Он предложил Лорис-Меликову папиросу и подумал, что генерал, верно, предпочитает свои собственные толстые, которые он крутил из дешевого табака. Царю внушало уважение, что этот не имевший состояния человек неизменно и упорно отказывался от денежных наград. "Cela n'arrive pas tous les jours..."² Да, он честен, хоть лукав. Ну, что ж, скорей бы начинал свою волюнку: "законность, правовой порядок, выборные люди", слышал, знаю, наизусть знаю"... Царь поговорил с Лорис-Меликовым о здоровье, спросил, продолжается ли кашель. По долгому опыту ему было известно, что такие обычные, никому не нужные вопросы, не свидетельствующие ни об интересе к человеку и ни о чем вообще, вызывают восторженную благодарность, когда их задает он. Выслушав с сочувственным видом ответ, царь замолчал, приглашая министра приступить к делу.

Лорис-Меликов в самом деле очень волновался и чувствовал себя в это утро худо. Ночью тяжело кашлял и думал, что благоразумнее было бы бросить политику, подать в отставку, уехать в теплые края. Он знал, что

¹ Он не очень красив, бедняга (франц.).

² Каждый день такого не встретишь (франц.).

окружен ненавистью. Вначале это было ему занимательно новизной; теперь ненависть придворного мира его тяготила и даже пугала. Власть сама по себе не очень его соблазняла, но он был честолюбив и мечтал о том, чтобы связать свое имя с большим историческим делом. "И ему, и мне надо торопиться. Знаю, кто идет нам на смену".

Во дворце уже было довольно много людей. Ему почтительно кланялись, он любезно всем отвечал и еще яснее обычного чувствовал общую ненависть к себе. "Конечно, слышали, что скоро решающий доклад". Сторонников конституции при дворе было мало. Ей неопределенно сочувствовали некоторые очень немногочисленные сановники. Несколько генералов, по-солдатски преданных царю, так же по-солдатски стояли и за конституцию, потому что такова была царская воля. Была еще небольшая партия княгини, вместе с ней возлагавшая смутные надежды на новый строй. Лорис-Меликов хотел незаметно сыграть на короновании Юрьевской для того, чтобы добиться от царя осуществления своих планов. Без нее ничего не будет... Бабы на базарах о ней говорят: "Батюшку-царя попутал леший!" История за большое дело простит мне небольшую хитрость. Во всяком случае, народ за мной", — думал он, как думают почти все правители мира. Из народа он знал лишь солдат. Здесь народ представляли только лакеи. "Вот этому, быть может, и не так нужна конституция", — с улыбкой подумал он, когда дверь распахнул старый лакей. Его лицо ничего, кроме предельной почтительности, не выражало.

Ночью, ворочаясь в постели, он опасался, что кашель помешает ему говорить. Но лишь только он начал свой доклад, от его нездоровья ничего не осталось. Речь его лилась гладко. Царь слушал довольно внимательно, хотя без большого интереса. Почему-то его настроение духа начало ухудшаться. "Прекрасно говорит, настоящий оратор... "Исторические язвы старой России"... А у новой России никаких язв не будет... Еще будет ли твоя "новая Россия"? Все-таки я пока указа не подписал... "Сближение с благомыслящей частью общества"... Не очень и она хочет сближаться, <благомыслящая часть общества"... "Увенчание здания"... Это так, *façon de parler*¹, это начало конституции. Зачем же ты говоришь, что ни о какой конституции не думаешь?"

Царь давно привык к тому, что его все обманывают, и даже не очень за это сердился, именно ввиду всеобщности этого явления, — как нельзя было бы сердиться на законы природы. Умом он был почти согласен с министром, но сердцем любил самодержавие и, хотя решил пойти на государственную реформу, все же не мог отделаться от легкого раздражения против человека, который эту реформу предлагал. "Тот ханжа, Победоносцев, тоже говорит превосходно, и много я их всех слышал! Сколько ерунды они говорили, сколько дурного посоветовали, сколько разумных мер считали невозможными, сколько глупых считали целесообразными!" И по мере того, как говорил Лорис-Меликов, Александр II колебался все больше. "Пока решение не принято, но минут через десять он, с Божьей помощью, кончит, и тогда надо будет сказать "да" или "нет". Сейчас я еще не связан, еще несколько минут не связан... Да, он либерал, он стоит за умаление самодержавия. Ему легко: не его оно, самодержавие, а мое, моих предков, и решаю я... Однако я уже думал и думал, больше думать нечего... Все же он честный человек, старый боевой генерал с тремя Георгиями"... Царь теперь никому по-настоящему не верил, кроме княгини, но офицерам все-таки верил немного больше, чем другим. Призвать к власти либерального профессора было бы выше его сил; сделать главой правительства при обновленном строе генерала, увешанного боевыми орденами, было неизмеримо легче. "Да, да, выборные люди!" Им вдруг овладела апатия, которую в пору его детства Жуковский считал главным его недостатком. "Все равно, дело уже решено. *Le vin est tiré*..."² Сейчас скажу ему, что принимаю его проект... Еще две-три минуты можно не давать согласия, а потом будет решено и кончено"...

Вдруг он вспомнил, как без малого полвека тому назад, шестнадцати лет от роду, он, держа за руку отца, перед аналоем принес присягу "не щадя живота своего, до последней капли крови, к высокому его императорского величества самодержавию,

¹ Манера выражаться (франц.).

² Вино созрело... (франц.).

силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять"... Вспомнил фигуры митрополитов, Евангелие и крест на аналое, императорские регалии вокруг аналая. "Вот и пришел конец... Однако это была присяга наследника, она не может связывать государя... И ведь "по крайнему разумению, силе и возможности"... Сил осталось немного, и возможности больше нет. Да и что такое наше человеческое разумение?.. "Господи, Боже отцов и царю царствующих! Настави, вразуми и управи меня в великом служении, мне предназначенном: да будет со мной председательая престолу Твоему премудрость: пошли ее с небес святых своих, да разумею, что есть угодно перед очима Твоими и что есть право по заповедям Твоим"... Когда-то его особенно потрясли эти слова заученной наизусть присяги. Он курил папиросу за папиросой, и они дрожали у него в руке.

Флигель-адъютант вошел на цыпочках и доложил о великом князе Николае Александровиче.

— Ваше величество приказали доложить тотчас...

— Через минуту пусть войдет, я позвоню,— сказал царь, вспомнив о детском празднике. Он тотчас снова оживился.— Да, так кончай, Михаил Тариелович, я тебя слушаю.

Лорис-Меликов взглянул на него. "Теперь или никогда! Завтра может перерешить",— подумал он и сказал длинную запутанную фразу: только ее и приготовил заранее из всей своей речи. В каком-то из придаточных предложений как будто что-то проскользнуло о княгине. Он не решился бы сказать прямо, но смысл запутанного намека заключался в том, что при новом строе коронование княгини станет вполне возможным: выборные люди, благомыслящая часть общества отнесутся к этому совершенно не так, как царская семья и двор. "Удалось!"— с восторгом подумал он.

— Я принял решение,— сказал царь.— Думаю, что ты прав. Надо пойти на эту большую реформу. Что она принесет нам, я не знаю и ты не знаешь. Но думаю, что другого пути нет. Во главе всего управления для объединения действий я поставлю одного человека. Тебе известно, что этот человек ты.

Решающее слово было сказано. Стало неизмеримо легче. Царь позвонил. Лорис-Меликов изменившимся дрожащим голосом благодарил его за доверие, говорил, что не достоин оказанной ему чести, называл принятое решение счастливейшим и мудрейшим делом русской истории. "Может быть, и вправду именно сейчас послана с неба премудрость?.."— подумал царь.

Двенадцатилетний великий князь в татарском костюме, сшитом для детского праздника, робко вошел в кабинет и поздоровался с дедом. Лорис-Меликов встал и почтительно поклонился.

— Для него стараемся,— сказал царь почти весело.— Знаешь его: это твой будущий государь, его величество император Николай II... Мы сейчас пойдем, Ники... Я больше тебя не задерживаю, Михаил Тариелович.

— Когда ваше величество прикажете представить указ на подпись?

— Да, когда представить на подпись?— повторил Александр II и опять ненадолго задумался. Короновать княгиню нельзя было раньше, чем через год после смерти императрицы. Но между государственной реформой и коронованием должно было пройти хоть два-три месяца для того, чтобы люди поменьше связывали одно с другим.

— Думаю, что начало марта подойдет. Представь мне все к первому марта, Михаил Тариелович. В добрый час!.. Ну-с, пойдем, будущий самодержец всероссийский. Очень тебе к лицу этот костюм. Гого будет в гусарский венгерке.

Часть пятнадцатая

I

Желябов и Перовская под именами Слатвинского и Войновой жили по 1-й роте Измайловского полка в небольшой квартире из двух комнат с кухней. Прислуги они не держали, людей принимали мало, никаких писем не получали. Время было тревожное, полиция приказывала дворникам большого дома № 18, Петушкову и Афанасьеву, держать ухо востро. Слатвинский и Войнова выдавали себя за брата и сестру. Этому дворники не верили и ухмылялись. Подозрений же против них до последних дней не имели. И

лишь в самом конце февраля околоточный велел особенно следить за квартирой №23. У полиции возникли смутные подозрения.

Дворники потому не считали этих жильцов братом и сестрой, что Войнова не сводила со Слатвинского глаз. Перовская хорошо скрывала свою революционную работу, но скрывать любовь к Желябову было ей не под силу. В революционном кругу говорили— одни сочувственно, другие равнодушно, третьи неодобрительно,— что Соня любит его "до безумия". От близких товарищей она своих отношений с ним не скрывала и часто со счастливой улыбкой называла его "мой Тарас". Собственно, Желябов уже больше не был Тарасом: теперь назывался то "Захаром", то "Бородачом". Но она любила это прежнее его имя, которое он носил в начале их сближения. Большинство друзей думали, что Перовская полюбила в первый раз в жизни. В свое время она почти без любви стала невестой Тихомирова и отказалась от него почти без огорчения, хоть ей и было досадно, что, расставшись с ней, он скоро влюбился в другую. Интимные дела никого не касались, говорить о них, собственно, не полагалось,— это считалось "мещанством",— тем не менее в революционном кругу, как и во всяком другом, очень интересовались этими делами.

Несмотря на переполнявшее ее счастье, Перовская часто плакала. И она, и Желябов прекрасно понимали, что жить им осталось очень недолго. Но в его присутствии Перовская была бодра, весела и даже скрывала от него, что здоровье ее худо. Ей часто случалось и прежде подвергаться очень большой опасности. Однако прежде ее жизнь, каждый день, каждая минута, не имели для нее такого необыкновенного значения, как теперь.

Характер у нее был от природы веселый. Тем не менее жизнь ее была печальной задолго до того, как стала нечеловеческой. В ранней юности она была несчастна из-за деспотического нрава ее отца. Его всю жизнь ненавидела больше, чем Александра II. Бывший петербургский губернатор и теперь был для нее как бы воплощением зла старой России. Позднее, уйдя из дому, она занялась революционной работой. У нее было гордое сознание того, что она живет согласно своим убеждениям и исполняет свой долг перед народом. Но, вероятно, радость от этого была менее велика, чем ей хотелось бы. По-настоящему в первый раз в жизни Перовская стала счастливой именно тогда, когда ее короткая страшная жизнь подошла к концу. Желябов тоже любил ее, но не "до безумия". Он всегда нравился женщинам, имел немало увлечений и никогда им большого значения не придавал.

Цепь политических рассуждений, которая привела их всех к мысли о необходимости убить Александра II, оставалась прочной. Однако у Желябова иногда бывали минуты сомнения и колебаний. Некоторые народолюбцы находили, что Тарас как будто начал разочаровываться в терроре, хоть этого прямо не говорит и хоть работает вдвое больше других. Вспоминали, что он в свое время вошел в партию условно, выговорив себе право уйти, если убийство Александра II не даст России свободы. "Да он всегда был, в сущности, конституционалистом, как Старик, как Колоткевич",— неодобрительно замечали наиболее радикальные члены Исполнительного комитета. "Народная воля" объединяла людей разных взглядов: одни хотели конституционного образа правления; другие Учредительного собрания и республики; третьи социалистической революции; четвертые сами не знали, чего хотят,— вошли в партию из молодечества, по чувству товарищества или от неудачно сложившейся личной жизни. Желябов считался умеренным человеком по программе и переменчивым в вопросах тактики. Иногда он говорил, что террора недостаточно, что надо поднять крестьянское восстание, говорил, что соберет и поведет на Петербург стотысячную народную армию,— и говорил так увлекательно, что ему верили даже серьезные рассудительные люди. Он выступал на небольших собраниях "сочувствующих" (успевал делать все), имел огромный успех, и слушателям казалось, что этот высокий, красивый, похожий на царя революционер — воплощение непоколебимой воли.

Это было верно. Но Перовская знала, что он иногда по ночам бредит и вскрикивает, что и наяву в одиночестве он порою с остановившимися глазами разговаривает сам с собой, что он раза три за последний месяц падал в обморок. Изредка, в кругу самых близких людей, Желябов описывал свою смерть на виселице,— описывал с такими ужасными реальными подробностями, что она, Геся, даже мужчины затыкали себе уши.

Как человек, он был живее, чем она, и страстно любил жизнь. Быть может, в минуты, казавшиеся ему минутами малодушия, думал, что все - та к и

люди живут на земле только раз. Работал Желябов как никто другой и рисковал головой ежеминутно. Перовская умоляла его беречь себя. Он отшучивался.

Перед своим отъездом из Петербурга к ним зашел проститься Тихомиров. Его прежние отношения с Перовской создавали при встречах неловкость и холодок. Однако слова "попрощаться перед отъездом" имели для террористов не такой смысл, как для других людей: для них каждый вечер мог оказаться последним. Старик, по обыкновению, был настроен мрачно. Проклинал затею царевбийства, говорил, что она и бессмысленна, и неосуществима.

— Александр Дмитриевич погиб, а где уж нам до него? Мы все умрем раньше царя.

Перовская на него напала, раздраженная и его настроением, и тем, что он Тараса ставил ниже, чем Михайлова, да еще как будто нарочно это подчеркивал. Но, к ее изумлению, Желябов, хоть был самолюбив и вспыльчив, почти согласился со Стариком.

— Все же теперь нам отступать нельзя. На весах и наша честь, и репутация Исполнительного комитета,— решительно сказал он.

Когда он вышел на кухню за самоваром, Перовская, подавив обиду, шепотом попросила Тихомирова повлиять на него:

— В последние дни совсем закусыл удила! Ради Бога, убеди его вести себя осторожно.

Тихомиров с усмешкой развел руками.

— По нашей диспозиции, Тарас должен вскочить на подножку кареты царя и заколоть его кинжалом. Думаю, что сделать это осторожно было бы нелегко.

В последние дни февраля Желябов работал и по ночам: копал землю в сырной лавке Кобозевых и возвращался домой поздно. Перовская только просила его точно указывать, куда он уходит и когда вернется домой. Это ее желание он выполнял неизменно. Однако задолго до наступления указанного им часа она переставала понимать и слышать. Тарас возвращался, от него шел запах подземной галереи, он убежал приводить себя в порядок, затем весело рассказывал, как хорошо идет дело, какой молодец Антонина (так когда-то называлась Якимова). Перовская ласково кивала головой. Между ней и Якимовой шла глухая борьба. Обе хотели получить роль хозяйки сырной лавки на Малой Садовой. Александр Михайлов незадолго до своего ареста признал, что Якимова, с ее простонародной наружностью, с говорком на о, подойдет лучше.

— Да, да, Антонина— замечательная личность,— подтверждала Перовская.

Когда выпадал свободный вечер (что случалось редко), Желябов читал ей вслух. Это было лучшим ее наслаждением — особенно если больше никого не было. Иногда он читал ученые статьи Антоновича, и она делала вид, будто очень ими интересуется. Случалось, читал роман Жорж Занд. Это ее в самом деле занимало, а он смеялся и говорил, что ничего ни в каких Индианах не понимает: и баб таких нет, и вопросов этих в России не существует. Увлекало его лукьяновское исследование о гайдамачине. Она, слушая, представляла себе его на коне, с казацкой саблей в руке. Охотнее же всего он читал "Тараса Бульбу". Это было его любимое произведение, вероятно, отсюда и пошла его революционная кличка. Читал он мастерски. У нее кровь отливала от сердца, когда он торжественно и звучно читал последнюю сцену повести. Перовская знала, что он кончит жизнь как тот Тарас. И у нее было твердо решено, что она умрет вместе с ним, рядом с ним, на одной с ним виселице. Это было единственное сбывшееся из ее желаний.

II

В этот последний свой день на свободе он был особенно весел и бодр. Подкоп был кончен, теперь оставалось только загнать мину и заказать Кибальчичу его новые метательные снаряды. Метальщики подобрались прекрасные: Рысаков, Гриневицкий, Емельянов, Тимофей Михайлов.

— Михайлов простой рабочий-котельщик. У нас все классы, все сословия!— радостно говорил Желябов.

День покушения, однако, еще не был назначен. Царь теперь не всегда выезжал из Зимнего дворца и по воскресеньям. Были основания думать, что в ближайшее воскресенье, послезавтра, он поедет в Манеж. Но так быстро заложить мину и приготовить бомбы было невозможно.

Они рано пообедали. Дома у них был в избытке сыр разных сортов: лавка торговала слабо, и Кобозевы снабжали товарищей непроданным сыром. Перовская приготовила щи с капустой. Стряпала она довольно плохо. Он ел с аппетитом, весело дразнил ее— "белоручка", "барышня", "дворяночка",— и говорил, что сам стряпает лучше. После завтрака притащил старую книгу, как-то у них оказавшуюся, "Самоохранительные записки", принялся читать вслух, и оба помирали со смеху.

— Позднее, когда дело выйдет,— сказал он,— мы поселимся с тобой на хуторе, будем землю пахать и в свободное время читать книги. Хочешь?

Она хотела.

— А Учредительное собрание? Вождю партии надо будет быть там.

— Ни в какое Учредительное собрание я не пойду, хоть обо мне и говорят, будто я честолюбив. Может, и правду говорят, да я не пойду. Я не подрядился быть "вождем". Да и кто меня в вожди выбирал? Разве как у Гоголя казаки Кирдягу избрали кошевым: с пинками притащили на площадь: "Не пьяться же, чертов сын! Принимай честь, собака, когда тебе дают ее!"— Он опять залился смехом.— Ох, хорошо писал, землячок... И непременно, чтоб хутор был на юге, хоть ты кацапка.

Она соглашалась и на юг. Понимала, что никакого "позднее" для них быть не может, и все же почти верила ему. Он тоже знал, что его слова бессмысленны. Говорил, чтобы подбодрить ее и себя.

В пятом часу они вместе спустились во двор. В последние дни им казалось, будто они замечают за собой слежку. Дворники как будто странно на них поглядывали. Желябов давно уже, особенно со времени гибели Михайлова, полагался больше на судьбу, чем на конспиративную технику. Однако нетрудные меры предосторожности они принимали. Часто выходили из дому не через парадный ход, а через мелочную лавку Афанасьевой, в которую можно было пройти двором. При этом всякий раз что-либо покупали. Расплачиваясь за плитку шоколада, Желябов шутил с хозяйкой.

— Пошли, сестрица, што ли?— весело сказал он Перовской. "Черт тебя под раковой повенчал с твоей сестрицей!"— проворчал после их ухода сиделец, впрочем, без злобы, скорее из зависти к этим счастливым людям.

На улице подозрительных фигур не было. Желябов нанял извозчика, что позволял себе не часто: денег у партии становилось все меньше. Красавица Вера Фигнер недавно спасла дело, достав у кого-то триста рублей: умела доставать деньги у богатых людей; на средства этого богатого человека, по-видимому, и был убит Александр II; да еще последние гроши пожертвовал партии полуголодный Рысаков. Другие в большинстве раньше отдали то-немногое, что имели.

По дороге Желябов был очень весел, совал ей в рот шоколад, говорил, как им будет хорошо на юге. Разговор не мешал ему внимательно следить за всем на улице. Как у Михайлова, это у него давно стало механической привычкой. Он незаметно всматривался в каждого прохожего.

— Нет слежки. И насчет дворника это так тебе показалось. Прекрасно идет дело,— говорил он.— У Публичной библиотеки я сойду, а ты поезжай дальше.

— Да и я сойду на Невском. Что ж даром тратить деньги?

— Нельзя вместе сходить,— сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчик.— Значит, ужинаем вместе, опять будем Гоголя читать.

— Ты придешь в восемь?— спросила она со счастливой улыбкой.

— Самое позднее, в четверть девятого. Я еще зайду к Наместнику. Что-то он, наш Милорд? Он у меня тоже в лавке землю копал,— шепотом говорил Желябов. Наместником назывался народоволец Тригони, который теперь— по беспечности, под своим именем— поселился на Невском в меблированных номерах Миссуро. Прозвище ему дали потому, что имя-отчество у него было как у великого князя Михаила Николаевича, занимавшего должность кавказского наместника. Иначе Тригони еще назывался Милордом за барский вид и барские замашки.

— Только ради Бога не опаздывай. Ты знаешь, что я волнуюсь: вдруг что-нибудь случилось?

Он засмеялся. "Что-нибудь" означало виселицу.

— Ничего не может случиться, но я никогда и не опаздываю. В восемь буду дома. Ты, Сонечка, купи к чаю чего-нибудь этакое. Кутить нынче так кутить.

У Публичной библиотеки он простился с ней и соскочил. По молчаливо принятому у них обычаю она через несколько секунд оглянулась. Тарас часто забывал это сделать, тогда она расстраивалась. На этот раз он не забыл и, перебежав на противоположный тротуар, оглянулся с радостной улыбкой, помахал ей рукой. Через полминуты она опять оглянулась и ахнула: Желябов быстро скользнул в известный им обоим проходной двор. Это, очевидно, означало, что он заметил за собой слежку.

Больше она ничего не видела. Первая ее мысль была: побежать за ним. Но это было невозможно. "Он сто раз замечал за собой слежку и всегда уходил благополучно", — твердила себе Перовская.

В этот вечер не было важных дел. Она повидала людей, которых надо было повидать, и освободилась только около восьми часов. Но все равно до этого времени ничего узнать было нельзя. Как она ни торопилась, зашла в магазин, купила немного семги, купила полбутылки дешевого вина. Затем наняла извозчика и доехала, вопреки правилам, почти до самого дома. Окна их квартиры были темны. У нее остановилось дыхание. "Выследили! Арестовали там, во дворе!.."

Она ошиблась только в месте его ареста. Желябов действительно заметил за собой слежку, но с обычным своим искусством от нее отделался: пробежал через проходной двор, сделал несколько кругов и скрылся. Через два часа после этого его неожиданно схватили в меблированных комнатах Миссюрю. По доносу его близкого сотрудника Окладского за этими комнатами было установлено наблюдение. Желябов попал в засаду.

Надаться можно было полчаса, можно было час. С каждой минутой надежда слабела. Из маленькой квартиры было слышно то, что происходило на лестнице. Люди поднимались к себе. Она знала его походку и все же каждый раз замирала: может быть, он? Ей приходили в голову нелепые предположения: Тригони мог убедить его пойти в лавку на Малой Садовой, оказалась неотложная работа, дать ей знать было невозможно..

Идти на поиски было некуда. В меблированные комнаты Миссюрю? Но если его там арестовали, то в комнатах, конечно, устроили засаду. Кроме того, она не могла отлучиться: вдруг он все-таки вернется и, не найдя ее, решит, что ее арестовали? На столе была закуска. Мысль о том, что можно есть, можно раздеться и лечь в кровать, не приходила ей в голову. Она сидела на стуле и тряслась мелкой дрожью. В полночь сомневаться больше не приходилось. Ее жизнь была кончена.

Желябова не могли не узнать: в полиции, в прокуратуре были люди, знавшие его по началу революционной карьеры; его наружность было трудно забыть. Не могло быть никакой надежды на крепость, на каторжные работы: власти знали, кто он такой и какое место занимает в "Народной воле". — "Верно, его пока повезли в дом предварительного заключения... Освободить его? Оставить покушение на царя, бросить все силы партии на освобождение Тараса? Напасть на карету, в которой его будут перевозить? Установить наблюдение за полицейскими каретами?" Желябова не могли казнить раньше, чем через месяц, но планы его освобождения были бессмысленны. Партия и не могла их принять, не могла отказаться от своей основной задачи. Перовская понимала, что, как его ни почитали, как им ни дорожили, для партии он одно, а для нее другое. Кроме того, Желябов сам был бы возмущен, если бы узнал, что для его спасения было оставлено дело. "Сейчас он думает обо мне, — думала она, трясаясь все сильнее. — Если он не убит... У него был револьвер. Он мог оказать сопротивление..."

Она почувствовала прилив ненависти, такой ненависти, какой никогда еще не знала за всю жизнь, хоть умела ненавидеть. "Нет, дело не может быть оставлено: его надо убить, убить возможно скорее, убить немедленно! Послезавтра он проедет из Зимнего дворца в Манеж, нельзя упустить этот случай"

Вероятно, главным ее побуждением было все-таки желание умереть вместе с Желябовым: это могло осуществиться лишь в том случае, если бы царь был убит в ближайшие дни. Слабая миниатюрная женщина, больная, еле державшаяся на ногах, в ту ночь превратилась в механизм, имевший назначением убийство Александра II.

На следующий день, в субботу, она собрала Исполнительный комитет. Пришло всего человек восемь. Тихомиров уехал — как раз перед решающим днем. Не пришли Богданович и Якимов. Никто из собравшихся, от Веры Фигнер до Фроленко, не имел ни характера, ни авторитета Перовской. Все жпуганно смотрели на ее бледное измученное лицо с воспаленными глазами. Когда началось заседание, она очень спокойно, негромким, чуть прерывающимся голосом потребовала, чтобы дело было сделано завтра, в воскресенье, 1 марта. Ей нерешительно возражали: мина на Малой Садовой еще не загнана в подкоп, метательные снаряды не изготовлены. "Ночью загоним мину... Сейчас сядем изготовлять снаряды... Завтра, непременно завтра... А я говорю завтра", — твердила она, разрывая на клочки лежавшую перед ней бумажку. Исполнительный комитет уступил ее напору, страшному заряду ее воли. К тому же все были измучены, все находили, что надо кончать: "Больше нет сил... Один конец..." Один Суханов, морской офицер, голосовал против предложения Перовской. Как военный человек, он находил, что такие дела нельзя делать в лихорадке. Он думал, что такие дела можно делать в нормальном душевном состоянии.

Ни при Александре Михайлове, ни при Желябове народовольцы не работали так, как в тот день и в ту ночь. Мина была загнана. Техники, просидев за столом пятнадцать часов подряд, рискуя из-за спешки взорваться каждую минуту, изготовили четыре метательных снаряда. Метальщики были созваны на конспиративную квартиру Геси Гельфман к десяти часам утра. В семь Перовская, не дождавшись конца работы, взяла два готовых снаряда и понесла их к Гесе. По дороге она обдумала диспозицию, роль каждого, свою роль. "Это он одобрил бы... С этим он не согласился бы..." Она действовала 1 марта с такой энергией, с таким самообладанием, каким мог бы позавидовать Желябов. Первое марта было прежде всего делом Перовской.

III

Александр II с обеими своими семьями в субботу 28 февраля причащался в малой церкви Зимнего дворца. Утром до того он зашел к княгине, внимательно осмотрел ее платье и велел ей переменить ленточку медальона.

— Черная нынче не годится, надень белую. И бриллианты все сними. Видишь, и я без орденов, — сказал он и сообщил, что жена наследника престола тоже будет без драгоценных камней и в простом белом чепчике. Княгиня теперь старалась быть не ниже и не хуже наследницы. Он давно привык к спорам о том, кто выше, кто ниже, и они его забавляли. В церковь царь пошел с Марией Федоровной и не потребовал, чтобы наследник шел с его женой.

Первый чай Александр II пил у княгини. Няня маленьких Юрьевских, боготворившая его Вера Боровикова, поздравила его с причастием. Он встал и поблагодарил ее. Как Людовик XIV, немного шеголял своей учтивостью с женщинами, хотя бы они были няни или горничные. После первого чая полагался еще второй внизу, с лицами свиты. В самом начале второго чая ему доложили, что министр внутренних дел приехал со срочным докладом. Император озабоченно вышел в кабинет, ожидая неприятных новостей. Однако радостно-торжественный вид министра сразу его успокоил. Лорис-Меликов сообщил, что накануне вечером полицией наконец арестован государственный преступник Андрей Желябов, — тот самый. Революционерам нанесен последний удар.

Александр II был так обрадован, что попросил министра подождать его, поднялся по винтовой лестнице к жене и сообщил ей новость. Княгиня, много слышавшая о Желябове, тоже чрезвычайно обрадовалась. Наследник престола еще находился в Зимнем дворце. Царь велел сообщить ему известие и пригласил его в кабинет выслушать доклад министра.

Лорис-Меликов рассказал подробности дела, искоса поглядывая на великого князя: знал, что никак не пользуется его расположением. Услышав, что глава террористов арестован в меблированных номерах Миссюрю, как раз напротив Аничкова дворца, великий князь пожал плечами.

— Что ж, приятный был сосед.

— Он там не жил, ваше высочество. Он зашел к своему сообщнику Тригони, по ихней клячке Милорду.

— И кличка очень хорошая. Так зовут собаку батюшки.

— Это был самый опасный из преступников,— кашляя, сказал Лорис-Меликов.— Закоренелый злодей. Родился волком— другим не бывать. Но не могу скрыть от вашего величества, что вид у преступника был и остался почти торжествующий. Он даже имел дерзость сказать: "Не слишком ли поздно вы меня арестовали?" Я вынужден поэтому почтительно просить ваше величество не ездить завтра на развод в Михайловский манеж.

— Вот тебе раз! Главный преступник арестован, значит, казалось бы, теперь опасность стала гораздо меньше. Ты видно хочешь, Михаил Тариелович, чтобы я навсегда стал затворником!

— Государь, я должен, я обязан просить об удовлетворении этой моей просьбы. Так точно, главный преступник арестован, скоро последуют новые аресты. Дайте мне еще неделю-другую. Вдруг перед арестом этот человек приготавливал что-то еще? Я этого не думаю, однако осторожа лучше ворожи, государь.

Он еще долго говорил на тему об осторожности. Александр II слушал нетерпеливо. Ему надоело сидеть безвыездно во дворце. Кроме того, он, не любя войны, любил военные парады. Пышная церемония развода всегда очень ему удавалась. Но радость от известия была так велика, что царь не хотел прямо отказывать Лорис-Меликову. Великий князь, не любивший парадов, присоединился к мнению министра.

— И ты!.. Ну, да завтра увидим.

— Революционное движение подавлено. Преступники потеряли последние остатки сочувствия в стране, ежели оно у кого к ним и было. Начинается новая, еще более славная эра вашего царствования,— говорил Лорис-Меликов, осторожно пробуя почву у наследника престола. Тяжелое лицо великого князя, как почти всегда, ничего не выражало. Император взглянул на него с виноватым видом.

— Михаил Тариелович имеет в виду свой проект. Ты знаешь, я окончательно решился. Так будет легче и России, и мне, и тебе.

Лорис-Меликов заговорил о реформе самым мягким своим голосом. Он не надеялся убедить Александра Александровича, но жалко было терять случай. Опять, с поговорками, в той с о л д а т с к о й манере, в которой обычно говорил полуправду, он повторил свои мысли: его проект не имеет ничего общего с конституцией, и привлечение выборных людей от благомыслящей части общества будет лишь способствовать охранению самодержавия во всей его чистоте.

— А вот батюшка получил письмо от императора Вильгельма,— угрюмо перебил его великий князь.— Умоляет батюшку никакой конституции России не давать. А на что уж умный и опытный человек.

— Опытный-то он опытный,— сказал царь, тотчас, как всегда, раздражившийся от глухой оппозиции наследника.— Но ему восемьдесят четыре года, он человек другой эпохи. И мне его советы по м о и м делам не нужны.

Великий князь замолчал. Лорис-Меликов поглядывал на его вдавнившуюся в кресло громадную, грузную, точно каменную фигуру. Он догадывался, что наследник престола не верит ни одному его слову. "Да и, разумеется, как ему верить а р м я ш к е ?.. Ох, трудно будет при нем, и с выборными людьми, и без выборных людей. Нет более противоположных людей, чем отец и сын. И от этого ведь зависит все будущее России. Другой человеческий материал. А вся придворная челядь, конечно, в сто раз предпочитает сына отцу..."

Он с обиженным видом повторил, что в его проекте нет ничего, ограничивающего права самодержавного императора. Сам Лорис-Меликов не сомневался, что после его реформы общество начнет борьбу за новые уступки и что оно при Александре II постепенно добьется настоящей конституции. "Что ж, так во всем мире. Если я ошибаюсь, то со всем миром",— в сотый раз сказал он себе.

— Значит, ты завтра представишь мне проект правительственного сообщения о реформе. О тексте поговори с Егором Абрамовичем, он знаток и мастер,— приказал император.

Взгляд наследника престола стал еще более угрюмым. Великого князя злило, что Россией правит армянин и что пост государственного секретаря занимает Перец,— сын еврея-откупщика Абрама Израилевича Переца, вдобавок брат декабриста. "Тариеловичи, Абрамовичи, Израилевичи... Это несчастное пристрастие батюшки к инородцам!"

— Ваше величество, еще раз прошу, умоляю вас завтра из дворца не выезжать!— сказал Лорис-Меликов и вдруг тяжело закашлялся.— Просту извинить меня: я не очень здоров.

— Видишь, я крепче тебя, Михаил Тариелович, хоть и старше тебя годами. Сегодня два часа выстоял на ногах в церкви и даже не устал,— весело сказал царь.— Так вот что: ежели ты не так здоров, то завтра не являйся с докладом. Сообщение, правда, дело важное, его откладывать нельзя. Но я приеду к тебе и мы все посмотрим окончательно.

Великий князь от досады даже перевел на стену свои тяжелые глаза. Русский царь поедет в гости к этому армянину!

— Что бы он ни говорил, это начало конституции. *Pas d'illusions á se faire lá dessus!*— сказал царь после ухода Лорис-Меликова.

Вечером он, в гостиной Юрьевской, нечаянно задел рукой свою фотографическую карточку, стоявшую на столе у княгини. Карточка упала на ковер. Царь быстро нагнулся, поднял ее и опять уронил.

— *Ça, c'est pas de chance!*²— сказал он весело: был в самом лучшем настроении духа. Но княгине это небольшое происшествие показалось неприятным. Она рассказывала о нем своему племяннику через сорок лет после того.

— Ничего, ничего, стекло не разбилось.

После чая она вскользь спросила императора, собирается ли он завтра в манеж.

— *Mais oui, rougquoi pas?*³— ответил царь, тревожно-вопросительно на нее взглянув. Он обычно говорил с княгиней по-французски, но часто переходил на русский язык.

— Это неблагоприятно, Саша. Говорят о каком-то подкопе... Я очень прошу тебя не ездить!

— Какое же теперь покушение, если их главарь схвачен! Брось ты об этом думать! А потом ты помнишь ее предсказанье? Если и будет завтра покушение, то пока лишь седьмое, значит, я спасусь,— так же весело сказал Александр II.

Вся Россия тогда говорила, что в Париже, после покушения Березовского, царь побывал у знаменитой гадалки. Она предсказала ему, что он переживет семь покушений. Знали о предсказании и народовольцы. Они нередко об этом говорили — одни шутливо, другие не без тревоги. До 1 марта на Александра II было шесть покушений. Никто не думал, что на царя будет произведено д в а покушения в один день.

— *Je me sens si heureux que mon bonheur actuel m'effraye!*⁴— сказал он.

IV

Впоследствии были разговоры о необыкновенно яркой комете, о двухвостой змее, будто бы появившейся в небе в ночь на 1 марта. Был и орел (или коршун), накануне убивший голубя на окне царского кабинета. Говорили также о страшном сне, снова снявшемся тогда царю: этот сон с кровавым полумесяцем будто бы издавна тревожил Александра II,— русский посол в Константинополе еще лет за пять до того запрашивал турецкого волшебника Али-Эффенди; волшебник разъяснил, что между Россией и Турцией вспыхнет война, а в кару за нее Аллах пошлет царю убийц из его же народа.

¹ Нечего строить иллюзий (франц.).

² Что за невезение! (франц.).

³ Ну, конечно, почему нет? (франц.).

⁴ Я так счастлив сегодня, что меня это даже пугает (франц.)

Гадалки, кометы, орлы, вещие сны всегда в воображении людей сопровождают события, подобные делу 1 марта. Однако мистическая мудрость и вправду могла бы по-своему использовать это дело. Существует в разных вариантах восточная легенда о Садовнике и Смерти. Смерть предупредила багдадского садовника, что явится за ним в такой-то день, в такой-то час. Друзья посоветовали перепуганному садовнику убежать куда-нибудь подальше, хоть в Дамаск. В назначенное время Смерть его встретила в конце дороги, у Дамасских ворот: "Здесь-то я тебя и ждала!"

Все, что 1 марта и в предшествовавшие дни делали Александр II и оберегавшие его люди, прямо толкало его к гибели. Ей способствовал даже арест Желябова, так обрадовавший царя и Лорис-Меликова. Если бы не этот арест, покушение, наверное, было бы отложено на неделю или на две. А после правительственного сообщения о выборных людях, которое царь подписал за три часа до своей смерти, террористы, вероятно, отказались бы на время от покушений.

Утром в свой последний день царь встал в девятом часу. Он долго гулял с Юрьевскими по бесконечным залам Зимнего дворца. В одной из зал были для детей устроены горки. Царь катался со своим любимцем Гого, необычайно на него похожим. После обедни он завтракал со свитой и всех удивил на редкость радостным настроением духа. До завтрака Александр II послал скорохода справиться о здоровье Лорис-Меликова. Велено было повторить, что если граф нездоров, то государь император приедет к нему. Через четверть часа министр явился в Зимний дворец.

Александр II прочел, одобрил и подписал документ, оповещавший о государственной реформе. Из этого позднее делали вывод, будто он предчувствовал свою смерть и, зная взгляды наследника престола, торопился с указом. Царь действительно торопился: велел послать за Валуевым и непременно хотел кончить дело к среде. Но едва ли у него были мрачные предчувствия. Во всяком случае, он ни с кем ими не делился. Напротив, он становился все веселее. Лорис-Меликов, кашляя, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка и в ней ничего не найдено.

— Была ложная тревога, ваше величество, слух о каком-то подкопе. Никакого подкопа не обнаружено. Тем не менее я все о своем, государь: лошадка упряма, везет прямо,— сказал министр. Он был счастлив: бумага с подписью была наконец им получена.— Приемлю смелость снова просить ваше величество нынче не ездить на развод. Ибо...

— Ладно, ладно, должно быть, не поеду,— сказал царь с легким раздражением: он торопился к княгине и ему надоел этот больной кашлявший старик.— Поезжай домой, Михаил Тариелович, и ложись в постель. Ты совсем нездоров.

Как только министр внутренних дел удалился, доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны. Царь, хоть с досадой, согласился ее принять. Он был в холодных отношениях со своим братом Константином и потому всегда старался быть особенно любезным с его женой.

Узнав, что государь не едет на развод, великая княгиня вздохнула. В этот день в параде в первый раз принимал участие ее юный сын Дмитрий.

— *Rauvre Mitia sera désolé!*¹

Император тотчас оживился. Ему очень хотелось поехать на развод, и он был рад новому обстоятельству.

— Если так, то я поеду,— сказал он.— Я слова не давал и не хочу огорчать твоего мальчика, Мне и самому еще совсем недавно было двадцать лет.

Великая княгиня так его благодарила, что уже было бы и невозможно взять назад обещание. Немецкий акцент невестки забавлял царя. Отделавшись от нее, он почти взбежал к жене по винтовой лестнице, которая иногда его утомляла; теперь не утомила нисколько.

Княгиня Юрьевская, не бывшая утром у обедни, сидела перед трюмо, повязанная оренбургским платком.

¹ Бедный Митя расстроится... (франц.).

— Je viens de signer le papier en question!¹,— радостно сказал он. Юрьевская перекрестилась.

— Ну, слава Богу!

— Ce document fera une bonne impression. Il sera pour la Russie une nouvelle preuve que je lui accorde tout ce qui est possible².

Княгиня очень смутно знала, что такое конституция, и ей не пришло бы и в голову читать длинный скучный проект министра внутренних дел. Но Лорис-Меликов говорил с ней гораздо откровеннее, чем с царем, так как ее гнева не опасался. Ей он без намеков объяснил, что, в случае принятия проекта, ее коронование станет вполне возможным. Впрочем, это соображение не было у княгини Юрьевской главным. Она страстно любила царя, знала, как его волнует вопрос о выборных людях, и больше всего хотела, чтобы он успокоился.

— Слава Богу, Саша! Я так рада. Увидишь, теперь все будет отлично!.. Ты уже сказал Мари?

— Тебе все говорю первой.

Она накануне ездила к Лорис-Меликову и совещалась с ним о мерах охраны императора. Ей теперь было страшно, когда он покидал дворец.

— Ну хорошо, обещал, так поезжай. Но об одном тебя прошу. Ты знаешь, как я всегда волнуюсь... Скажи совершенно точно, когда ты вернешься, и не опаздывай.

Он, смеясь, сделал расчет.

— Развод кончится в три четверти второго. Оттуда я должен заехать к Кате: она обиделась бы, если б я не приехал. Считай, полчаса у нее. Из Михайловского дворца прямо приеду домой. Буду, значит, в два тридцать. Зато после этого весь день проведем вдвоем, до обеда у Владимира.

— И еще одно. Умоляю тебя, Саша, не езди по Невскому и по Малой Садовой! Слава Богу, что насчет лавки была ерунда, но я боюсь... Вели Фролу ехать по Екатерининскому каналу. Это тихая улица, там людей очень мало, там ничего быть не может.

— Значит, оба конца по Екатерининскому каналу?— спросил он и обещал исполнить ее просьбу. Поцеловал ее еще раз, прошел к детям, повторил Гого свое обещание подарить ему медальон и весело простился с семьей.

Внизу караул, в ответ на его приветствие, дико прокричал: "Здравия желаем, ваше императорское величество"... Полицмейстер Дворжицкий, разговаривавший об анархистах с министром двора, вытянулся до пределов возможного.

— Здравствуй, Дворжицкий, как живешь? Едем, погода прекрасная! Солнце и холод, люблю,— сказал царь. Он без улыбки кивнул головой графу Адлербергу: министр двора был у него в некоторой немилости с той поры, как, после долгих колебаний, явился свидетелем на его свадьбу с Юрьевской во фраке: этикет не предусматривал тайных браков царей.

Для большей безопасности у царского подъезда была пристроена длинная закрытая галерея, в которой ждали экипаж и конвой. Таким образом, злоумышленники не могли точно предугадать момент выезда царя. Лейб-кучер Фрол Сергеев умел с места переводить лошадей на рысь. Карета быстро выехала из галереи. Ее окружали казаки Терского полка.

— В Михайловский манеж, по Екатерининскому каналу,— приказал царь.

V

На плите стояла кастрюля со щами и жестянка с динамитом. Гесья Гельфман, войдя в кухню, брезгливо переставила жестянку на окно. Динамит внушал ей не столько страх, сколько гадливость. Партийные техники, особенно Кибальнич, с восторгом говорили об изобретении Альфреда Нобеля.— "Ах, чтобы он пропал, этот динамит!",— грустно думала она. Гесья раз навсегда поверила в необходимость террора; но, как говорили ее товарищи, она, по своей мягкости, для террористических действий не была предназначена.

¹ Я только что подписал эту самую бумагу! (франц.).

² Этот документ произведет хорошее впечатление. Для России будет новое доказательство, что я ей дарю все, что возможно (франц.).

Квартира на Тележной улице была недавно снята на имя коллежского регистратора Фесенко-Навроцкого и его жены. Николай Саблин был коллежским регистратором, Геся Гельфман его женой. Она почти не выходила из дому преимущественно по конспиративным соображениям: не походила на русскую чиновницу и боялась вызвать подозрение у дворников. Кроме того, она была беременна и совершенно измучена: отец ее ребенка, террорист Колоткевич, недавно был арестован. Она знала, что больше никогда его не увидит. Геся просила дать ей какую-нибудь роль в покушении на царя, но Исполнительный комитет по разным причинам ее отвел. Она и сама, впрочем, понимала, что для этого не годится.

Ей было мучительно жаль ребенка; о нем не могла думать без слез. Самые нелепые вопросы приходили ей в голову: больно ли неродившемуся ребенку, когда вешают его мать? Желябов ласково утешал ее: "Что ты, Гесенька, тебя не повесят,— говорил он (с некоторого времени старшие народovolьцы в большинстве перешли на "ты"),— Лорис большой жулик, а все-таки он работает под Европу..." Она и сама понимала, что ее беременность дает ей некоторый шанс спастись от виселицы. Как ни мало Геся дорожила жизнью, это было утешительно; но ей было стыдно перед товарищами. В последние дни не сомневалась, что почти все участники покушения будут казнены. Говорить об этом не полагалось. Желябов говорил только о своей казни и как бы шутливо; Геся не понимала, как тут можно шутить.

Его арест был для нее страшным ударом. Она плакала всю ночь, заснула только под утро, но встала все же в семь часов. Почему-то Геся Гельфман не была членом Исполнительного комитета (хоть в него входили люди, меньше сделавшие для революции и не более образованные, чем она). В заседании 28 февраля она не участвовала, но ей и Саблину было объявлено, что сбор метальщиков назначен у них и что бомбы к ним принесут рано утром. Весь вечер, глотая слезы, она готовила для метальщиков щи. Саблин, тоже не входивший в Исполнительный комитет, пошел узнать новости. Ему не сиделось дома, на людях все-таки было легче. Когда он вернулся, Геся с ужасом расспрашивала его о Перовской.

— Говорят, Соня молодцом: вида не показывает. А ведь она любила Тараса безумно.

Саблин еще спал, когда послышался условный звонок. Геся поспешно вытерла полотенцем руки и вышла из кухни в переднюю. Она раскрыла рот. "Это они называют "молодцом"! Лицо Перовской было ужасно. Но говорила она в самом деле совершенно спокойно, так, точно ничего решительно не произошло.

— Вот возьми, Гесинька, положи это куда-нибудь,— сказала Перовская, войдя в кухню, и, как конфеты, протянула ей два белых свертка, аккуратно перевязанных серой тесемочкой. Геся растерянно положила снаряды рядом с зажженной спиртовой лампой.— Нет, милая, не сюда, это место совсем не подходящее, мы их положим на окно. Твой коллежский регистратор, верно, еще дрыхнет?

"Только они это могут!"— не то с завистью, не то с сокрушением подумала Геся, разумея нее. Сама она после ареста Колоткевича целую неделю плакала день и ночь, хотя Колоткевич в отличие от Желябова имел шанс избежать казни.

— Соня... Он арестован...

— Тарас? Да, он арестован у Милорда,— ответила Перовская так, как если бы сообщала, что Желябов пошел в гости.— Я принесла только два снаряда. Другие два еще не готовы, но к десяти клятвенно обещали принести. Время еще есть. Он выедет из дворца не раньше половины первого.

Геся смотрела на нее расширенными глазами.

— Так как Тарас арестован, то распоряжаться на месте буду я. Метальщики скоро придут. Отличные ребята, но уж очень молодые и не обстреляны. К сожалению, я осталась без снаряда: мужчины покровительствуют мужчинам. Всегда нас, баб, затирают.

— Да... Да...— шепотом сказала Геся.— Соня, как же...

— Как же что?— переспросила Перовская. Вдруг в ее лице что-то дрогнуло.— Я сейчас... Забыла платок в муфте, я сейчас вернусь,— сказала она и поспешно вышла в переднюю.

Квартира была очень темная. В столовую солнце не проникало. Гесья поставила на стол стаканы, тарелки с сахаром и хлебом. Она плохо соображала, что такое происходит. "Не может быть... Как же это?.. Сегодня!"

Ровно в десять часов одновременно пришли метальщики. Их было четверо: Гриневицкий, Рысаков, Емельянов, Тимофей Михайлов. Это были новые люди в партии. Она не всех их знала. Их молодость поразила ее. Было так темно, что она зажгла лампу.

— Может быть, вы закусите шей?— нерешительно предложила Гесья.

Гриневицкий вежливо поблагодарил и сказал, что есть еще не хочет,— рано,— а чаю выпил бы с удовольствием. Рысаков засмеялся, все на него оглянувшись: в это утро не шутил даже Саблин, известный своим веселым характером. Лицо у Рысакова было зелено-бледное.

Он в это утро встал в восьмом часу. Обычно его будила хозяйка, коллежская регистраторша Ермолина. По воскресеньям она вставала позднее. Рысаков проснулся — и вспомнил. "Господи!.." Взглянул на часы, не поздно. Ему хотелось помолиться. Еще совсем недавно, в реальном училище, он был религиозен и часто ходил в церковь. "Будь что будет!"— крестясь, сказал он себе и поспешно оделся.

— Как я нынче рано встал! Всегда бы мне так вставать,— сказал он хозяйке.

— Я вас бужу, да вы опять засыпаете. Ведь нынче воскресенье. Разве у вас и в воскресенье бывает работа?— спросила с зевком Ермолина. Рысаков жил у нее недавно, и она почти ничего о нем не знала.

— Да... Нет, я так,— ответил он, тоже тяжело зевая. "Что она скажет?" Мысль о том, как будет поражена хозяйка, узнав, что ее жилец убил царя, его заняла, но только на мгновение. Он налил себе чаю.

— Завтра за бельем придут,— сказала Ермолина.— Отдадите?

— Да, да, как же, непременно отдам. Я оставлю узелок. Хорошо, что вы напомнили!— почему-то с жаром сказал Рысаков, уходя к себе со стаканом. "Кажется, у меня лихорадка..."

Чай был горячий, он налил в блюдечко и вспомнил детские годы. Силы оставили его совершенно. Блюдечко затряслось у его губ, чай пролился. Он лег на неубранную кровать, накрылся одеялом и долго лежал: несколько раз приподнимался, смотрел на часы и снова опускал голову на подушку. "Есть еще время... Сколько идти на Тележную?.. Там они все скажут... Еще часов пять проживу... А может быть, не умру? Может быть, сделают другие? Тогда я могу совсем уйти: после этого никто не посмеет сказать, что я трус!"

С хозяйкой он простился так ласково, что она недоумевала: странный мальчик. Уходя, он на нее оглянулся, сказал опять о белье и подумал, что она, верно, будет об этом рассказывать до конца своей жизни.

— Я скоро вернусь,— сказал он и подумал: "что, если бы сказать: "Вот только убью царя и вернусь..."

Холодная солнечная погода его подбодрила. Однако на улице он несколько раз останавливался и спрашивал себя, неужели правда? "Неужто нынче я буду где-нибудь лежать на снегу, разорванный бомбой? Или сидеть в тюрьме, ожидая виселицы: тогда уже наверное... Да и теперь наверное!.. Но зачем я это сделал? Кто меня заставлял?.. Бородач "кликнул клич", другие согласились, и я не мог, не мог отказаться: сказали бы, что я трус!.. Да говорили бы что им угодно! Какое мне дело? Не вернуться ли сейчас же домой?.."

У Гесьи Гельфман ему сказали, что Бородач арестован. В первую минуту это его поразило. Он было подумал, что теперь расстраивается все дело. Впрочем, вид других метальщиков подбодрил его. "Что ж, на миру и смерть красна. За Россию погибнем",— сказал он себе, как уже говорил себе много раз.

"Боже мой, такой еще мальчик",— думала, глядя на него, Гесья. Она все сильнее чувствовала одно желание, чтобы все кончилось возможно скорее: царубийством ли, ее ли смертью, революцией или концом мира.

— Вот как? Бородач арестован?— спросил Рысаков, знавший Желябова преимущественно под этой кличкой. Гриневицкий с сожалением на него посмотрел, бросил быстрый взгляд на Перовскую и опустил глаза.

— Да, он арестован,— снова кратко ответила Перовская. Она не решалась сказать себе, что этот юноша ненадежен: Рысаков был введен в партию Желябовым, который очень его хвалил. "Тимофей и Емельянов так себе. Один Котик хорош..." Гриневицкий был в самом деле совершенно спокоен, разве только чуть бледнее обычного.— Это, конечно, огромная потеря для партии. Но его дело будет сегодня доведено до конца. Александр II спастись не должен и не может. Исполнительный комитет поручил мне руководить нынче делом.

Она взяла какой-то лежащий на столе конверт и на обратной стороне набросала план части Петербурга.

— Вот Невский, вот Малая Садовая, здесь Манеж. По всей вероятности, он проедет по Малой Садовой. Там его уже ждут,— сказала она. Все насторожились. По лицу Гриневицкого пробежала тень.— Но надо считаться с разными возможностями. Тот взрыв может и не удался. Тогда дело будет за вами. Вы, Николай, станете на Невском...

Она очень точно объяснила каждому метальщику, где он должен стоять, назвала его номер по порядку действия и поставила этот номер на соответственном месте конверта. Первым должен был действовать Тимофей Михайлов. Он как-то крикнул, взмахнул рукой и сказал, что вот и отлично, очень рад, очень рад.

— Прошу каждого повторить: свой номер и место.

Гриневицкий повторил правильно. Другие ошибались, переспрашивали, говорили, что обмолвились. Рысаков как будто стал бодрее, узнав, что ему выпало действовать не первым и лишь в том случае, если на Малой Садовой дело не удастся. Все четверо догадались, что дело идет о подкопе. Глухой слух о сырной лавке давно шел среди рядовых народовольцев.

— Если же он поедет не по Малой Садовой, тогда план меняется,— просто и деловито говорила Перовская.— Назад он скорее всего поедет по Екатерининскому каналу, так как после развода он обычно заезжает завтракать к своей кухне в Михайловский дворец, а оттуда пришлось бы делать крюк. Его передвижения изучены совершенно точно. Некоторые из вас принимали участие в наблюдениях. Я все ваши наблюдения записывала и сама делала свои. Вы знаете, он несется как бешеный. Но есть одно место, где его карета поневоле замедляет ход. Это при повороте с Инженерной улицы на канал, у Михайловского театра. Там в этом случае и надо будет действовать.

— А как мы будем знать?— спросил Гриневицкий так же спокойно и деловито, как говорила она.— Конечно, это все близко и можно самому догадаться, но желательно было бы получить указание.

— Разумеется, я вам сообщу. Я буду наблюдать за каретой. Если он не проедет по Малой Садовой, то вы все выходите на Михайловскую. Я пройду и всем дам знать платком, приложу его к носу.— Она вынула белоснежный платочек и объяснила, какой знак подаст.— Это будет означать, что надо идти на Екатерининский канал. Там вы стойте на расстоянии тридцати шагов один от другого, в порядке ваших номеров. Вы представляете себе тридцать шагов?

— О да, я представляю,— смеясь, сказал Рысаков.

— Значит, все понятно? Больше ничего объяснять не надо?

Емельянов сказал, что живым им в руки не отдается. На канале есть прачечная-купальня, можно добежать туда, там забаррикадироваться и дорого продать свою жизнь. Перовская ничего на это не ответила. Гриневицкий слегка усмехнулся.

— Теперь еще вопрос. Если дело удастся тем, которые там его ждут, в этом случае что надо делать нам, метальщикам?— спросил он, и против его воли в его голосе прозвучала обида. Перовская тотчас поняла причину.

— Если вы услышите взрыв на Малой Садовой, все бегите туда. Он может и уцелеть, тогда вы снарядами, в том же порядке очереди, dokonчите дело... Роль метальщиков, Котик, не менее трудна, опасна и ответственна, чем роль тех, кто там его ждет. Но элементарные правила конспирации требуют, чтобы каждый из нас знал только то, что ему надлежит знать.

Он с улыбкой сделал жест, показывающий, что никаких объяснений не нужно.

— Это, разумеется, так... Если же наша помощь не понадобится, тогда что?

— Тогда возвращайтесь домой и делайте все что вам угодно. Или, еще лучше, приходите сюда. Конечно, каждый отдельно... Гесья накормит вас обедом. Правда, Гесинька?— спросила она. От неудавшейся улыбки ее лицо стало еще страшнее. Гриневицкий опять опустил глаза. "Бедная! Но какая замечательная женщина!"— подумал он. Никто ему не говорил об отношениях Перовской и Желябова. Он сам о них догадался.

— А может быть, вы и сейчас хотите закусить?— спросила Гесья, жалостно на них глядя. Она боялась, что разрыдается. Гриневицкий так же учтиво поблагодарил и повторял, что еще не голоден.

— Диспозиция Исполнительного комитета совершенно ясна,— сказал он,— но, если вы разрешите мне высказать свое мнение, в ней есть недостаток. Неудобно переходить с наших постов прямо на канал. Император, наверное, останется в манеже около часа. Затем он будет у своей кухни, считайте, быть может, еще час. Извольте видеть, если четыре человека, все со свертками, будут два часа на малом расстоянии один от другого стоять или ходить по набережной, где народа вообще бывает мало, то это обратит внимание полиции или частных сыщиков.

— Вы совершенно правы, Котик,— сказала, подумав, Перовская.— Сразу идти на Екатерининский канал нельзя. Нельзя также нам соединиться, хотя ждать было бы легче. Впрочем, по два человека можно, это не вызовет подозрений. Где? Вы знаете кофейню Андреева на Невском против Гостиного двора? Если хотите, вы, Котик, приходите с Михайловской туда, я буду ждать вас внизу. Другие тоже найдут в кофейню или в трактир по своему усмотрению. Но ровно в три четверти второго, ни минутой позже, все должны в порядке очереди занять места на набережной.

— Есть,— сказал Михайлов,— Так матросня говорят: есть.

— И вот что еще. Сейчас придет техник, он принесет еще два снаряда. Он вам уже объяснял устройство снарядов. Я только повторю главное: надо высоко поднять руки и с силой бросить снаряд вниз, по возможности отвесно,— сказала Перовская самым простым тоном. Гесья подняла глаза к потолку. Бросить бомбу отвесно значило тут же убить и себя. Гриневицкий одобрительно кивнул головой.

— Вполне отвесно едва ли удастся: карету со всех сторон окружают казаки. Но надо бросить снаряд не более как с пяти шагов. Если можно, то с еще более близкого расстояния, у кого хватит нервов,— сказал он.

VI

Вся эта часть Петербурга по красоте и строгости стиля имеет мало равного в мире. В начале девятнадцатого века местность от Манежа до Екатерининского канала занимали сады Михайловского (позднее Инженерного) замка, в котором был задушен Павел I. Впоследствии часть садов была выделена его сыну Михаилу и для него был построен там Михайловский дворец. В 1881 году во дворце жила внучка Павла, великая княгиня Екатерина Михайловна. Царь обычно заезжал к ней завтракать на обратном пути из Манежа.

Малая Садовая, идущая к Манежу от Невского, сама по себе никаких особых удобств или преимуществ для покушения не представляла. Царь так же часто проезжал по Невскому, по набережным, по Мойке, по Морской, по Миллионной. Однако с Малой Садовой у народовольцев и у правительства было связано что-то вроде навязчивой идеи. Еще в 1879 году, 2 декабря, одесский генерал-губернатор Тотлебен телеграфировал шефу жандармов: "Получил сведения, что у террористов уже созрел план подкопа на Малой Садовой и что они намерены воспользоваться частыми поездками государя императора в манеж Инженерного замка". В декабре 1879 года народовольцы никакого подкопа на Малой Садовой не устраивали и не могли устраивать: до 19 ноября силы их были заняты подготовкой взрыва царского поезда, затем до февраля они возлагали все свои надежды на халтуринский взрыв в Зимнем дворце.

Но когда, после неудачи обоих этих предприятий, Исполнительный комитет стал думать о подкопе в Петербурге, то он остановился именно на Малой Садовой. Первая мысль о ней возникла не раньше, как через полгода после

странной телеграммы Тотлебена, а к подземной работе народовольцы приступили только в январе 1881 года. Они были уверены, что все хранят в величайшей тайне. Тем не менее по Петербургу в феврале пошла глухая молва, будто на Малой Садовой должно случиться что-то очень страшное.

Дом, принадлежавший графу Менгдену, был построен в половине XVIII века для Алексея Разумовского. За полтораста лет своего существования он неоднократно перестраивался и из особняка вельможи мало-помалу превратился в обыкновенный доходный дом. Лавка, снятая для Кобозевых, состояла из трех комнат. В первой комнате шла торговля, из второй, жилой, велся подкуп. Работа была легче, чем на московском подкупе: подземный ход был гораздо короче. Но пришлось прорезать водосточную трубу, вследствие чего в подкупе был ужасающий запах, доходивший до лавки и смешивавшийся там с запахом сыра.

Отсутствие Александра Михайлова уже сказывалось на дисциплине в партии. Богданович и Якимов позволяли себе вольности, которых при Михайлове, вероятно, не было бы. Кроме того, как большинство народовольцев, они играли свои роли не слишком хорошо, — никто из них никогда актером не был. В первый же день, когда Богданович явился в управление участка за разрешением на открытие торговли, он бойкостью своих ответов вызвал некоторое недоумение у пристава 1-го участка Спасской части Теглева. Пристав велел негласно справиться о паспортах Кобозевых по месту их выдачи. Ничего подозрительного не было обнаружено. Все же Теглев приказал околоточному Дмитриеву обратить внимание на лавку.

Околоточный, вероятно, ничего странного не нашел бы, если бы у Кобозевых не было недоброжелателей в самом доме графа Менгдена. Рядом с их лавкой была молочная лавка Новикова. Ее хозяин, вначале опасавшийся конкурентов, зашел к ним, купил полкруга сыра и сразу заметил, что дело у Кобозевых ведется крайне бестолково.

— Ну, эти моей торговле не повредят. Ни то ни се люди, — весело говорил он дворнику. — Платят тысячу двести целковых, а не наторгуют в год и на половину. Тоже называются купцы!

Дворник и сам замечал, что люди как будто и не лавочники. Он счел нужным доложить начальству. Дмитриеву опять велено было посматривать. После 1 марта официальное следствие изложило дело так: обстановка Кобозевых сразу обратила на себя внимание многих свидетелей, как несоответствовавшая образу жизни и внешности обыкновенной торговли и обыкновенных торговцев. Торговля производилась неумело и как бы лишь для виду. Кобозев казался человеком стоящим гораздо выше своего состояния, жена его обнаруживала привычки, несвойственные жене простого торговца; кроме того, часто не ночевала дома. Власти, очевидно, и не понимали, что они сами о себе сообщают.

В пятницу 27 февраля, в десятом часу вечера, дворник Самойлов доложил околоточному Дмитриеву, что в лавке Кобозевых, несмотря на поздний час, сидит какой-то человек, на вид как будто не из простых, а барин. Действительно, из лавки скоро вышел господин в пальто. Он поднял воротник, направился к Невскому и, заметив слежку, прикрыл лицо платком, точно чихал. Затем быстро подозвал лихача и умчался. Дмитриев поехал за ним, но у Казанского собора потерял его след. Впрочем, он рассудил, что известный ему лихач Гордин скоро вернется к своей стоянке и все о седоке расскажет. Так оно и случилось.

— ...Рядился на Воскресенский мост за целковый, а там переменял, — с недоумением сообщил извозчик Дмитриеву. — "Поезжай, говорит, в Измайловский полк, я тебе три рубля дам!" Там, ваше благородие, слез и заплатил три рубля, да еще двугривенный дал на чай. А моей вины нет: кто нанимает, то и везем. Может, они и мазурики.

По-видимому, и околоточный Дмитриев, и пристав Теглев, которому околоточный доложил о происшествии, очень гордились тем, что у них после этого возникли некоторые подозрения. На следующее утро пристав поехал к градоначальнику, генералу Федорову, доложил о лавке Кобозевых и в предположительной форме спросил, не произвести ли обыск:

— Слышно, ваше превосходительство, что государь император завтра изволит проследовать в манеж по Малой Садовой.

Новые идеи Лорис-Меликова совершенно сбили с толку и градоначальника, и начальников столичной полиции. В либеральных газетах восхвалялись

английские порядки и упоминалось о "хабеас корпус"¹. Быть может, сам министр внутренних дел не очень хорошо знал, что это такое. Полицейстеров же и приставов эти ученые слова приводили в панику. В участках околоточные и городовые по-прежнему "набивали морду" простым людям, но высшая полиция больше не знала, что можно и чего по "хабеас корпус" нельзя. Генерал Федоров сухо ответил приставу, что подозрения могут быть неосновательны и что тогда владелец подаст жалобу министру или в суд.

— Я не желаю отвечать за превышение власти,— сказал он. Пристав тотчас испуганно признал свою ошибку и в еще более предположительной форме заметил, что, пожалуй, вместо обыска можно было бы произвести санитарный осмотр лавки: соседи и вправду жаловались на сырость, на дурной запах.

— Вот это прекрасно,— одобрил градоначальник.— Поезжайте к генералу Мровинскому, это его дело.

Санитарный осмотр не противоречил новым веяниям, а кроме того, генерал Мровинский сам за себя отвечал.

Инженер-генерал, ведавший санитарной частью столицы, как раз куда-то торопился. Ему очень не хотелось ехать в лавку. Он грустно спросил, нельзя ли отложить осмотр на один из следующих дней. Пристав так же грустно ответил, что, собственно, вполне бы возможно, но слышно, будто государь император завтра изволит проследовать в Михайловский манеж по Малой Садовой.

"Вечно эти дармоеды придумывают всякий вздор! Только даром беспокоят занятых людей. Подкоп из какой-то сырной лавки! А если в самом деле подкоп, то при чем тут санитарная часть?"— сердито сказал себе Мровинский, впрочем, сам в первую минуту подумавший о возможности подкопа: весь Петербург говорил о минах и о подземных ходах.

Разве только Александр Михайлов мог бы не растеряться от такого страшного, внезапного удара. В лавку вдруг вошел генерал в сопровождении пристава, помощника пристава, дворников. Богданович не имел стальных нервов Михайлова; он был измучен, как все участники покушения, и, увидев полицию, замер: все кончено!

Мровинский посмотрел на него насквозь пронизывающим взглядом, затем огляделся в лавке и с хитрым видом сказал, что приехал произвести санитарный осмотр.

— Говорят, сырость у вас. Надо посмотреть: проверить, значит, санитарное состояние,— с еще более хитрым видом пояснил пристав. Богданович растерянno ответил, что в лавке сырости нет. Разумеется, не могло быть никаких сомнений в настоящей цели осмотра. По позднейшему свидетельству самого Мровинского, лавочник был "беспокоен и встревожен". Однако это у генерала ни малейших подозрений не вызвало. Напротив, лавка произвела на него благоприятное впечатление. Перед иконой горела лампадка. Кинжалов и револьверов нигде не было.

Не зная, что, собственно, надо сделать, Мровинский постучал в стену, хотя это не согласовалось с только что данным объяснением цели визита. Звук был обыкновенный: подкоп велся из второй комнаты, да и там стучать надо было бы гораздо ниже.

Во второй комнате было темно: одно окно было завешено.

— Зажгите свечу,— сказал Мровинский и, оглядевшись, велел отодвинуть какой-то сундук. За ним на стене было серое пятно. Генерал нагнулся, провел по пятну рукой и поморщился: у него пальцы почернели от пыли.

— В той комнате тоже пятно на полу. Это откуда?

— На масляной сметану пролили,— ответил, еле справляясь с дыханием, Богданович. "Что делать? Сейчас конец!.. Что делать?"— с отчаянием спрашивал он себя. Но генерал кивнул головой, вполне удовлетворенный ответом: действительно недавно была масляная. Он подошел к окну, у Богдановича сердце перестало биться. Здесь генерал, для разнообразия следственных приемов, не стал стучать в стену, а вдруг сильно дернул к себе подоконник. Вероятно,

¹ Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в XVII веке.

он деятельность заговорщиков представлял себе по романам госпожи Радклифф: стоит в подземелье замка в надлежащем месте что-либо дернуть, где-либо нажать кнопку — и стена на шарнирах раздвинется или уйдет в землю. Подоконник никуда не подался, стена с места не сдвинулась. Это совершенно успокоило Мровинского. На расстоянии аршина от подоконника было отверстие подкопа, замаскированное наклеенными на доски обоями.

"Разумеется, вздор! Что-то им приснилось?— подумал генерал и посмотрел на часы. Уже опоздал..." Он все же заглянул в третью комнату. Она была завалена чем-то очень грязным, противно было заходить. Мровинский вернулся в первую комнату лавки.

— А здесь у вас что?— спросил генерал, показывая на покрытую соломой кадку.

— Сыры,— еле выговорил Богданович. Если б генерал приподнял горсть соломы, это означало бы смерть: в кадке, как и в сундуке, находилась вырытая террористами из подкопа земля.

Пристав Теглев, не желая отставать от генерала в усердии, обратил внимание на то, что часть стены обшита досками. Мровинский тотчас сделал лавочнику внушение.

— Так не годится. Кусочки сыра попадают в щели, гниют. То-то у вас такой воздух. Вы это переделайте.

— Так точно, ваше превосходительство. Слушаю-с, ваше превосходительство,— сказал Богданович. Его почтительность понравилась генералу.

— Ваша фамилия Кобозев? Я еще другого торговца Кобозева знаю. Он вам не родственник?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Ну, что ж, кажется, все в порядке,— сказал генерал. Пристав почтительно наклонил голову. Мровинский благосклонно кивнул головой лавочнику, еще раз велел ему убрать доски и вышел в сопровождении свиты. Все они были вполне удовлетворены осмотром. Пристав же был особенно рад своей выдумке: так он хитро, в полном согласии с "хабеас корпус", принял меры для охраны его величества.

Когда они вышли, Богданович, еле дыша, добрался до второй комнаты и повалился на покрытый рогожей жесткий диван. Он даже не мог радоваться. "Только бы скорей! Все равно как, лишь бы скорей!..."— думал он, обливаясь потом.

VII

Полицмейстер, полковник Адриан Дворжицкий, состоял при особе царя. С апреля 1879 года, со времени покушения Соловьева, Александр II больше не выезжал из дворца без казачьего конвоя; за казаками всегда следовал Дворжицкий, а за ним жандармский капитан Кох. Полицмейстер был человек старой школы и горячий поклонник генерала Трепова. Замечая на улице, на пути государя, какого-нибудь студента с пледом, бедно одетого человека в очках или с палкой в руке, он на ходу выскакивал из экипажа и собственноручно хватал его. "Подозрительная фигура, ваше императорское величество. Нельзя было не задержать",— объяснял он царю. Вначале Александр II соглашался: "Да, кажется, у него была скверная рожа, я тоже заметил". Затем приемы Дворжицкого императору, по-видимому, надоели. Ни один народоволец таким способом задержан не был. Людей, которых арестовывал полицмейстер, по выяснении их личности приходилось освобождать.

Лорис-Меликов, став министром внутренних дел, строго запретил Дворжицкому хватать без причины прохожих. Полицмейстер был очень этим недоволен. Он притом давно думал, что все в мире идет к черту со дня отставки генерала Трепова.

Царь недолюбливал бывшего градоначальника и смутно подозревал, что Трепов в свое время доносил императрице об его свиданиях с княжной Долгорукой. Дворжицкий был Треповским ставленником, тем не менее к нему Александр II относился благосклонно. Полицмейстер веселил его своей живописностью. Но граф Лорис-Меликов достаточно насмотрелся с т а р ы х с л у ж а к в армии, в администрации, при дворе и старался понемногу от них отделяться: по его мнению, все они компрометировали правительство,— как его безнадежно скомпрометировал на весь мир Трепов Боголюбовским делом. Поэтому, когда снова освободилась долж-

ность петербургского градоначальника, она Дворжицкому не досталась. Полицмейстер был чрезвычайно обижен: назначенный на эту должность генерал Федоров был моложе его службой и производством. Лорис-Меликов, не любивший ссориться с людьми, предложил полицмейстеру генеральский чин и должность в провинции. Дворжицкий от этого отказался: нуждаясь в средствах, попросил пожаловать ему аренду, с оставлением в чине полковника и в должности полицмейстера при особе государя. Аренду он получил, но недоброжелательство к новому градоначальнику у него осталось. Они во всем расходились: в полиции, как в литературе или в музыке, были разные направления, разные стили, разные школы.

Теперь Федоров был начальством. Дворжицкому бывало всегда неприятно получать от него приказания. Раздразнился он и вечером 28 февраля, получив у себя на Офицерской приказание явиться на следующее утро, в 9 часов, в градоначальство; вызывались все полицмейстеры и приставы столицы.

В тревожном ожидании генерала Федорова, чины полиции, не знавшие причины вызова, вполне охотно обменивались сообщениями о происшествиях в городе. Услышав о санитарном осмотре в лавке на Малой Садовой, Дворжицкий развел руками.

— Уж если у лавочника нельзя сделать обыск! Эх, Федор Федорыч обожелся бы без санитарии!

Общая тревога не оправдалась. Градоначальник вышел с сияющим видом и в краткой, торжественно произнесенной речи сообщил, что арестован главарь анархистов, Андрей Желябов. Слухи о том, будто крамольники готовят подкоп на Малой Садовой, оказались ложными: все незаметнейшим образом проверено и оказалось совершенным вздором.

— Еще осталось схватить двух-трех злодеев, и с крамолой будет навсегда покончено! — с силой сказал градоначальник. — Господин министр внутренних дел, его сиятельство граф Лорис-Меликов весьма доволен и обещал доложить о нас его императорскому величеству. Я и пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам свою душевную благодарность. Все, каждый на своем посту, ревностно исполняют свой трудный долг! Считаю приятным долгом особенно отметить усердие, рвение, энергию пристава первого участка Спасской части Теглева. Всем русское спасибо, господа!

Затем генерал Федоров объявил, что ввиду полного успокоения, вызванного энергичными действиями столичной полиции, государь император, верно, соизволит в первом часу выехать в Михайловский манеж на развод.

— Вас, Адриан Иванович, я попрошу съездить отсюда к манежу и расставить там наряды полиции и конных жандармов. В подробности не вхожу, зная ваш опыт и тонкое знание дела, — сказал градоначальник, обращаясь к Дворжицкому особенно учтиво и даже с несколько виноватым видом.

Чины полиции разошлись очень довольные и похвалой, и тем, что пришел конец анархистам, которые отравляли им жизнь. Недоволен был один Дворжицкий, впрочем, больше потому, что Федоров так сиял. Новое направление в полиции пока получило утверждение только от министра. Полицмейстер отправился к своему знакомому, графу Перовскому. Этот камергер находился в добрых отношениях с великим князем Владимиром Александровичем.

—...Я одно скажу, граф: плохо охраняется государь император. Там все эти новшества, я о них не говорю, — взволнованно объяснил он. — Не мое дело судить, кто у нас нынче на месте и справедливы ли были некоторые назначения... Бог все видит!.. Но Христом Богом умоляю вас, граф, доложите великому князю!.. Хотя я государя императора вижу постоянно, а сам его величеству сказать не смею и не могу. Ябедничеством никогда не занимался!

Граф Перовский обещал поговорить с великим князем сегодня же.

От Перовского Дворжицкий отправился в манеж. Проезжая по Малой Садовой, он догадался, что санитарный осмотр был произведен в сырной лавке полуподвального этажа, в доме на углу Невского. Полицмейстер крепко выругался.

Расставив где полагалось конную и пешую полицию, он в три четверти двенадцатого поехал на своей серой паре в Зимний дворец ждать выезда государя.

VIII

Огромное здание манежа было совершенно переполнено. Как в опере перед увертюрой, музыканты настраивали инструменты, слышались команды отдельных частей, и стоявший гул время от времени покрывал знаменитый на всю военную Россию бас манежного глашатая, сообщавшего о приезде

высших должностных лиц. Развод 1 марта был от лейб-гвардии Саперного батальона. Саперы выстроились по левую сторону манежа. Противоположная сторона была занята офицерами всех других полков гвардии. Когда-то, при Павле, развод в высочайшем присутствии происходил каждый день. При Александре II он обычно устраивался раз в неделю. Иностранцы считали его самым красивым зрелищем при русском дворе и очень дорожили приглашением в манеж. По общему правилу из дипломатов всегда приглашались военные. Французский посол Шанзи и германский фон Швейниц оба были генералами, и на разводах удобно было следить за тем, кому из них государь оказывает больше внимания. Из этого делались важные политические выводы.

Почему-то — без понятной причины — настроение в манеже, как, быть может, во всем Петербурге, было в тот день несколько тревожнее. В группе людей, стоявших позади германского посольства, русский офицер, татарин по происхождению, рассказывал о сне царя. Немцы слушали с любопытством.

— Кровавый месяц? — спросил граф фон Пфель. — Это очень странно. Но почему кровавый месяц означает заговор?

— Я тоже слышал об этом сне. Кажется, две луны, и одна кровавая... Конечно, вздор! — сказал кто-то другой. — Верно, этот знаменитый Али-Эффенди просто проходимец.

— Да и сны вообще никогда ничего не означают. У меня, например, сны всегда совершенно бессмысленны. Настолько бессмысленны, что никакой толкователь ничего не мог бы сочинить.

— А что же казалось бессмысленнее коров фараона? По-моему... — сказал немецкий офицер и схватился за уши. "Его высокопревосходительство, генерал-адъютант Гурко изволят еха-а-ать!" — прокричал по близости от них бас, почему-то растягивавший последнее слово и доводивший на нем звук до чудовищной силы. — Это просто черт знает что такое!

Разговор о сне не возобновился. От Али-Эффенди перешли к турецкому послу, тоже генералу.

— Этот самый Шакир-паша в пору войны здорово нас потрепал, и как раз саперов.

— Заметит ли государь Скалона? Он был изранен насмерть, очень долго лежал и нынче в первый раз на параде.

— Великий князь Дмитрий в первый раз ординарец и страшно волнуется.

— Вы говорите, саперы. Любопытно, что эта часть играет некоторую роль в жизни государя императора. Когда он родился, караул был от саперов. В день декабрьского восстания, они...

Бас прокричал о приезде государя как-то по иному и уж совершенно нечеловеческим голосом. Послышалась команда: "Смирно!" Люди окаменели. Мгновенно настала полная тишина. Ворота распахнулись настежь, и Александр II в мундире саперного батальона въехал верхом в манеж в сопровождении свиты. Он доехал до середины манежа, повернул лошадь к батальону и махнул рукой. Оркестр заиграл гимн. Затем минуты две длилось "ура!"

Люди, бывшие на разводе, впоследствии говорили, что никогда Александр II не был так весел и так красив, как в этот день. "Noch immer eine der schönsten und erhabensten Herrschergestalten, die man sich denken konnte"¹, — записал о нем немецкий офицер. Саперный батальон два раза прошел перед царем. Он заметил Скалона и потом участливо расспрашивал его о здоровье. Со своим двадцатилетним племянником был чрезвычайно ласков и хвалил его езду. Все обратили внимание на то, что государь после парада долго разговаривал с генералом Шанзи.

В небольшой группе иностранцев, каждый день и каждую ночь пивших вместе шампанское, обменивались впечатлениями:

— Необыкновенно красиво! Это изумительное разнообразие мундиров! Сегодня белые, черные, цветные султаны издали казались лесом.

— С лесом ни малейшего сходства, но действительно такого блеска нет нигде в мире.

¹ "Среди монархов, пожалуй, все еще трудно отыскать равного ему по красоте и величию" (нем.).

— Главное, сам он на редкость картинный человек. Его стиль: сочетание Людовика XIV с Гарун-аль-Рашидом.

— Обратите внимание: это афоризм!

— Стиль стилем, но в девятнадцатом веке незачем делать из человека божество.

— Сегодня он был великолепен. А иногда на него тяжело смотреть. Я в январе видел его у великого князя Владимира. Он кашлял, не переставая, его измучила астма.

— Божество, больное астмой.

— У Владимира сегодня обедает La Grande Mademoiselle.— Так в этом кружке называли Юрьевскую.— Забавно, что хозяин должен будет пить за ее здоровье!

— "O, that deceit should dwell in such a gorgeous palace!.."¹ Это не я говорю. Это сказал Шекспир.

— Он читал Шекспира!

— Если, конечно, он не врет.

— Вчера наследник отказался вести ее в церковь. Она шла с великой княгиней Марьей Павловной.

— Нет, он не отказался: не посмел бы отказаться. Это вышло как-то само собой.

— Само собой ничего не выходит. Даже революция.

— Кажется, погода портится,— сказал старый человек в монокле, недовольный последним замечанием.— Утро было прекрасное: солнце и мороз.

— Мороз остался, но солнце исчезло. А все-таки меня напрасно так пугали петербургским климатом, в нем ничего страшного нет. И эти русские печи настолько лучше наших каминов.

— В домах у них тепло, но в театрах иногда очень холодно. Даже в Китайском и в Эрмитаже.

— Я был на том спектакле, на котором одна симпатичная старушка,— я никого не называю, моя discrétion² общеизвестна — выдвинула конкурентку à la Grande Mademoiselle. Конкурентка сидела в ложе старушки как раз против царя. Он тогда еще бывал в театрах.

— Я ее знаю. Очень опасная конкурентка: писаная красавица.

— И что же?

— Он смотрел, кажется, с большим интересом. Тем не менее замысел симпатичной старушки не удался. Французы изумлялись: это уже Людовик XV.

— Сфинкс сегодня сиял.— Прозвище Сфинкс было дано молчаливому французскому послу.— Император был с ним очень любезен, он пошлет об этом семьдесят шифрованных телеграмм в Париж. Вы знаете, на первом разводе после отказа Франции в выдаче того проходимца Гартмана, Александр II не протянул Сфинксу руки.

— Он сказал: "J'ai été très affecté, Monsieur l'Ambassadeur, de la décision de votre gouvernement au sujet de ce misérable. C'est tout ce que j'ai à vous dire"³. И пошел дальше.

— Кто это Гартман?.. Ах, да, я забыл.

— Он забыл. Он не помнит, как зовут английскую королеву. Он вчера выпил три бутылки.

— По поводу английской королевы, знаете ли вы, как лорд Дюфферин определяет революцию: "Революция это когда внизу убийцы, а наверху самоубийцы".

IX

Со своего наблюдательного пункта Перовская увидела, что окруженная казаками карета пронеслась по Инженерной. За стеклами мелькнула откинутая на спинку сиденья фигура в николаевской шинели. "Проехал по набережной!.." Шансы уменьшались вдвое.

¹ "О, почему ж обман живет в таком дворце роскошном!.." (В.Шекспир "Ромео и Джульетта", пер. с англ. Т.Л.Щепкиной-Куперник).

² Щепетильность (франц.).

³ "Я был весьма огорчен, господин посол, решением вашего правительства в отношении этого презренного человека. Вот все, что я могу вам сказать" (франц.).

Она не чувствовала ни волнения, ни страха. Все ее чувства достигли такого напряжения, что бесследно проходили через душу, — как безболезненно проходит через тело ток в сто тысяч вольт. Она почти ни о чем, кроме диспозиции, не думала. Развалившийся в карете человек, по воле которого должен был на виселице умереть Тарас, был величайшим злодеем, и его следовало убить без малейшего колебания. Не заслуживал ничего, кроме ненависти, и весь их мир дворцов, мундиров, угнетателей.

Если бы ее нечеловеческое напряжение прошло, она, вероятно, могла бы сказать все это связно. Она могла бы сказать, что по рождению принадлежала к их миру, что ушла из него добровольно, от ее воли зависело в нем остаться. Перовская ушла из этого мира в ранней юности и теперь знала в нем немногих; при редких случайных встречах они в ней не вызывали даже презрения. Молодой красноречивый прокурор Муравьев, месяцем позже добившийся для нее смертной казни, был товарищем ее детства, — такие "шутки судьбы" случались только в старой России. Должно быть, на процессе он боялся, что она об этом скажет: для него тут не было бы ничего страшного, но не п р я т н о е, наверное, было бы: по залу суда, конечно, пробежал бы изумленный гул и об этом долго — по-разному — говорили бы в его обществе, в министерстве, при дворе. Перовская не сказала ни слова: в отличие от Желябова и от многих других революционеров, она не любила и не понимала эффектов; если что было ей совершенно чуждо, то именно тщеславие и поза. Этот прокурор, изображавший Тараса злодеем, вообще не был для нее человеком.

Однако теперь вся цепь чувств и рассуждений, которая привела к 1 марта, была где-то позади, на самом дне ее сознания. Теперь она думала лишь о том, как помешать спастись развалившемуся в карете человеку в николаевской шинели. Но об этом думала с необыкновенной ясностью. Перовская в этот день не допустила ни единой оплошности, не сделала ни единой ошибки. В Доме предварительного заключения Тарас должен был услышать взрыв. Желябов не мог з н а т ь, что покушение на царя произойдет сегодня, но он, конечно, мог на это надеяться, наверное, рассчитывал на н е е. Она представляла себе, как он прислушивается в своей камере, и ускорила шаги.

По Михайловской на некотором расстоянии один от другого шли Рысаков и Емельянов, оба с белыми свертками. Ей показалось, что они, особенно Рысаков, еле держатся на ногах. Сделав им знак платком, она прошла до конца улицы. Тимофея Михайлова не было. "Неужели сбежал? Нет, конечно, увидел, что карета проехала по набережной. Но все равно, он должен был быть здесь!" Ее привели в бешенство эти ненадежные товарищи, на которых не подействовала гибель Тараса.

Стиснув зубы, Перовская вернулась на Малую Садовую и медленно прошла мимо лавки. Ей захотелось туда зайти, в п о с л е д н и й раз взглянуть на подкоп, где Тарас провел много ночей. Но она чувствовала, что может лишиться чувств от запаха, навсегда связавшегося с лавкой у всех участников подкопа.

В Петербурге того времени даже неопытный человек мог на улице легко заметить, что ожидается проезд царя. Напряжение росло с каждой минутой. Камежи лица вытягивавшихся городских, каменели фигуры конных жандармов, каменели даже их лошади. По улице рассыпались сыщики. Теперь на Малой Садовой напряжение уже исчезло. Перовской стало ясно, что царь и на обратном пути по этой улице не проедет. "Тогда А н т о н и н а, верно, уже ушла?.." Она теперь называла Якимову так, как ее никто больше, кроме Тараса, не звал. По своему опыту на Московской железной дороге Перовская помнила, что такое ждать взрыва. Но для нее теперь существовали только чувства одного человека на свете. "Вся надежда на металлчиков!.. Ах, зачем, зачем я не взяла снаряда себе!.."

Гриневицкий сидел в нижнем полутемном помещении кофейни Андреева. Здесь публики не было: люди завтракали наверху. Котик что-то ел. Перед ним, между графином и хлебом, лежал белый сверток, перевязанный серой тесемочкой. Увидев Перовскую, Гриневицкий издал ласково помахал ей рукой, встал и поодвинул ей стул.

— На Малой Садовой не вышло,— садясь, сказала она вполголоса, хотя никто не мог их слышать.

— Я знаю. Он проехал по набережной канала и, очевидно, по набережной вернется. Вы говорите о подкопе? Что ж, теперь скрывать от меня бесполезно, я для того и позволяю себе спрашивать: теперь я только могу "унести тайну в могилу". Кажется, так говорят: "унести тайну в могилу"?.. Вы что будете есть? Зразы очень хороши.

— Что?.. Нет, я не буду есть!.. Впрочем, я отлично понимаю и даже вам завидую, но я есть не могу.

— Отчего же не есть? Можно ослабеть. Хотите, я закажу вам черного кофе с коньяком. Я перед зразами выпил и рюмку водки.

— Для бодрости?

— Отчасти и для бодрости. Но главным образом для того, что я люблю и водку, и зразы, и кофе. Ведь это мой последний завтрак.

— Почему вы так думаете? Так нельзя думать, когда идешь на дело,— сказала она. Как ни трудно ей было теперь входить в мысли и чувства других людей, она сделала над собой усилие: это было частью диспозиции.— Если и выйдет вам бросить снаряд, вы можете потом скрыться в суматохе. Он засмеялся.

— Бросить снаряд отвесно, а потом скрыться в суматохе?.. Думаю, что номер 1 ненадежен. Я его издали видел.

— Я не могла его найти! Куда же он делся?

Гриневицкий сделал ей легкий знак глазами. В комнату спустился лакей.

— Дайте нам, пожалуйста, две чашки кофе и две рюмки коньяку.

— Одну рюмку. Я не хочу.

— Одну рюмку коньяку.. И, пожалуйста, принесите счет,— сказал Гриневицкий. Лакей убрал тарелку с остатками жаркого и смел салфеткой крошки хлеба со скатерти. Гриневицкий небрежно положил белый сверток на стул.

— Времени еще много: мы можем оставаться здесь четверть часа.

— Почему вы думаете, что он ненадежен?

— Это есть только мое впечатление. Он слишком волнуется.

— А вы?

— Я меньше,— без улыбки ответил он.— А главное, волнуюсь ли я или нет, я в себе совершенно уверен. Вот как в вас... Будьте спокойны, дни Александра II сочтены. Даже не дни... Ему осталось жить около часа. И мне столько же. Все мы, его убийцы, умрем вместе с ним. Думаю, что удар выпало нанести мне. Что ж делать? Без кровопролития ничего в истории не делается. Без крови мы свободы не завоеваем. И мы завоеваем ее не так скоро. Мне не придется, конечно, участвовать в последней борьбе за освобождение. Судьба обрекла меня на раннюю смерть. Я не увижу победы, я ни одного дня, ни одного часа в свободной России жить не буду... Кстати, поляки считают меня отщепенцем... Кажется, есть такое слово: "отщепенец"? Поляки считают меня русским, а русские считают меня поляком. Я не знаю, кто прав: я просто человек. Думаю, что в будущем таких людей, как я, людей просто будет все больше... Я люблю людей, люблю жизнь. Только деспотов не люблю. Все их слуги будут с нынешнего дня нас оплевывать и смешивать с грязью. Но какие же низменные побуждения они могут у нас найти? Видит Бог, в которого я так горячо верил прежде, в которого, быть может, верю и сейчас... Видит Бог, мы ничего для себя не желали, мы хотели и хотим только блага человечества. Чего я могу хотеть для себя, если через час никакого Гриневицкого не будет!.. Я люблю жизнь и не могу отдать ее с радостью. Видит Бог, отдаю ее потому, что этого требует долг. Я сегодня сделаю все, что должен был сделать в жизни. Больше от меня никто не вправе ничего требовать. Горючий материал в России накоплен столетиями... Да и во всем мире. Наше дело — бросить искру в порох.

— Не только в этом,— сказала она, смотря на него с удивлением. "Как я раньше его не замечала? Он ни на кого не похож..."

— Конечно, не только в этом,— согласился он.— Надо будет заботиться о том, чтобы возникшее дело кончилось победой наших идей. Живые об этом должны позаботиться. Но из нас кто же останется в живых? Конечно, не вы... Простите меня, я не сказал бы этого другой женщине, вы женщина необыкновенная...

Лакей принес кофе, коньяк и счет, Гриневицкий расплатился и залпом выпил коньяк.

— Вы останетесь здесь?— спросил он, когда лакей опять ушел.

— Нет, я тоже пойду, но мы выйдем не вместе... Я только хочу сказать вам, Котик, что вы напрасно себя хороните. Первый бросит бомбу Михайлов,— сказала она, хоть ему по правилам не полагалось знать настоящие имена других метальщиков. Он усмехнулся и наклонил голову, как бы показывая, что знал это имя.

— Может быть, может быть.

— Я пройду через Казанский мост и буду за всем следить с другой стороны Екатерининского канала. Значит, я вас еще увижу. И во всяком случае, я не прощаюсь. После того как все будет кончено, приходите опять на Тележную,— сказала она вставая.

— Хорошо, хорошо.— Он допил кофе, тоже поднялся и взял со стула белый сверток, держа его за бантик. "Что если бантик развяжется?"— невольно подумала она.— Прощайте.

— Прощайте, Котик!— пропентала она.

Х

Как Перовская и Гриневицкий, Тимофей Михайлов издали увидел пронесшуюся карету царя. Лишь только ему стало ясно, что на подкуп больше надежды нет, силы его оставили.

Михайлов был мужественный человек и это доказал своим поведением на суде и на эшафоте. Но теперь на улице он почувствовал, что не может выполнить порученное ему дело. Ждать надо было бы еще часа два. Между тем он знал, что свалится без чувств гораздо раньше: у него кружилась голова. С этим крепким огромным человеком, наверное, никогда прежде ничего такого не случалось.

Пойти на Михайловскую к Перовской, сказать ей правду было тоже невозможно. "Как я ей скажу! Барышня, ростом вдвое меньше меня, и она может, а я не могу!.. Язык не повернется сказать!.. Соврать? Да что же я выдумую? И никогда она не поверит, и не могу я ей врать. Если говорить, так правду: "Не могу, хотите казните, хотите милуйте... Делайте со мной, братцы, что хотите",— мысленно говорил он членам Исполнительного комитета. Ему хотелось лечь, заснуть, забыть все. Теперь ему казалось, что он был счастлив прежде, когда жил впроголодь, получал на заводе гроши, терпел обиды и оскорбления.

Было очень холодно, у него зябли руки и уши. Михайлов не надел рукавиц, а в правой руке держал белый сверток. Он приложил к уху левую руку, затем попробовал ею отогреть другое ухо и чуть было не уронил снаряда. Ахнув, спрятал снаряд за пазуху и тотчас его вынул,— подумал, что могут принять за вора. "Не могу! Бог видит, не могу!.. Потом придумаю, что сказать. Что хотите, то со мной делайте, братцы!.."— Михайлов надвинул шапку на лоб и пошел домой, отчаянно размахивая рукой со снарядом. Он ругал себя самыми ужасными словами — и чувствовал невыразимое облегчение.

Его уход спутал диспозицию. Ему полагалось стоять на набережной канала у поворота с Инженерной. Теперь это место, на котором царская карета по необходимости замедляла ход, оставалось незанятым.

Выйдя из кофейни Андреева, Перовская по Невскому отправилась к каналу на другую его сторону. Метальщики уже должны были все находиться на местах. Она так же хорошо собой владела и теперь, но сердце у нее страшно билось. По диспозиции ей полагалось находиться против первого метальщика. "Где же они?.. Что же это?.."— спрашивала она себя, вглядываясь в редких людей, шедших по ту сторону канала. Прохожих было мало. Вдруг она увидела Рысакова. Он шел, пошатываясь, к повороту, прошел дальше, не глядя по сторонам. Она хотела закричать: "Николай! Здесь! Остановитесь! Здесь!.." Через минуту Рысаков остановился, повернул было назад и опять, шатаясь, пошел в прежнем направлении. "Что же это? Он не сделает!.. Где же другие?.. Бежали!.."

Только теперь она увидела, что довольно далеко впереди, плотно прислонившись к решетке, скрестив руки, стоит какой-то человек в пальто. "Котик!"— замирая, подумала Перовская. Это действительно был Гриневицкий. Она не

видела свертка, но догадалась, что он поддерживает и прикрывает снаряд скрещенными руками. "Неблагоразумно так стоять: сыщики заметят. Нет, сыщики, кажется, нет..."

Набережная в самом деле была пуста. Только с Инженерной свернул мальчик, кативший перед собой корзину на полозьях. Перовская поравнялась с Гриневицким и остановилась. Он оглянулся, увидел ее и слабо ей улыбнулся. Лицо его было совершенно спокойно. "Слава Богу!.. Вся надежда на Котика! Он не выдаст!.."

На набережную вдруг с Инженерной вышел небольшой отряд. Это был возвращавшийся с парада флотский экипаж. "Что это?— все больше задыхаясь, спросила себя Перовская: еще не понимала, как может отразиться на деле эта неожиданность. Карета царя теперь могла появиться каждую минуту. Мальчик, быстро скользя по засыпанной снегом набережной, приблизился к Рысакову. Она успела подумать, что, если карета появится сейчас, то, верно, будет убит и мальчик. "Лишь бы еще две-три минуты! Тогда он убежит далеко вперед",— подумала она и опять оглянулась в сторону Гриневицкого. Теперь он на нее не смотрел. Он смотрел вверх, медленно обводя взглядом небо. Перовская еще подумала о Тарасе — и замерла: на повороте показалась окруженная казаками карета.

XI

Лейб-кучер Фрол Сергеев, знаток своего дела, знал, что на царя готовятся покушения. Дворжичкий и Кох не раз давали ему указания и вразумительно объясняли, что и он будет убит, если злодей бросит бомбу. Это нетрудно было понять и без объяснений. Вызывала к себе лейб-кучера также княгиня Юрьевская, умолявшая его за всем следить и не жалеть рысаков — самых лучших в России. Фрол Сергеев боялся только поворотов, но и на них задерживал лошадей лишь на полминуты. По набережной карета понеслась так, что вокруг нее казаки перешли на галоп.

Услышав позади себя топот, взводный флотского экипажа оглянулся, увидел карету царя и прокричал команду. Экипаж мгновенно выстроился у решетки Михайловского сада. Загремел барабан. Мальчик остановился и замер, восторженно глядя на мчавшихся лошадей. Карета пронеслась мимо флотского экипажа. "Николай! Сейчас! Сию минуту!"— беззвучно закричала Перовская. Рысаков все так же, не глядя по сторонам, шел, пошатываясь, по краю набережной. Казак чуть не наскочил на него и, обернувшись, погрозили ему нагайкой. Рысаков, глядя вперед бессмысленным взглядом, отбросил от себя вдогонку карете свой сверток, точно хотел от него освободиться. Раздался страшный удар. Все заволочло дымом.

Когда дым немного рассеялся, Перовская с отчаяньем увидела, что царь выходит из осевшей на бок кареты. "Спасся!.. Тарас!"— подумала она. На снегу лежали люди. Одна из казачьих лошадей без всадника бешено неслась вперед. Другие лошади взвились на дыбы. К карете сзади подбегал выскочивший из своих саней полицмейстер, его искаженное лицо запечатлелось у нее в памяти. Она не сразу увидела, что Рысаков, теперь шатаясь совсем как пьяный, бежит назад к Инженерной, что его нагоняют люди. "Тарас!"— подумала она,— "Тарас услышит взрыв, а потом узнает, что все пропало!" И в ту же секунду она вспомнила о Гриневицком. Он стоял все так же неподвижно, со скрещенными руками, прислонившись к решетке Екатерининского канала.

К месту взрыва бежали солдаты, полицейские, еще какие-то люди. Все смешалось. Перовская больше не видела ни Рысакова, ни царя. Она лишь вечером узнала то, что узнали все в мире. Много людей в этот день говорили, что "первые схватили злодея". Хвалились этим и жандармский капитан Кох, и фельдшер Горохов, и городской Несговорев, и мостовой сторож Назаров, и рядовой Евченко. По-видимому, в него сразу вцепилось несколько человек.

Царь, тоже пошатываясь, подошел к нему, смотрел на него с минуту и спросил:

— Ты бросил бомбу?

— Да, я.

— Кто такой?

— Мещанин Глазов,— сказал Рысаков, отчаянно на него глядя. Царь еще помолчал.

— Хорошо!— сказал он наконец и отошел. Он был оглушен взрывом, и голова у него работала не ясно.— "Un joli Monsieur!"— негромко сказал Александр II.

Дворжницкий задышающим голосом спросил его:

— Ваше величество, вы не ранены?

Царь еще успел подумать, что надо за собой следить, не сделать и не сказать ничего лишнего. Помолчав несколько секунд, царь медленно, с расстановкой, ответил, показывая на корчившегося на снегу мальчика:

— Я нет... Слава Богу... Но вот...

Свидетели показывали, что Рысаков, услышав ответ царя, сказал: "Еще слава ли Богу?" Прокуратура ухватилась за эти слова. Сам он говорил, что не помнит, сказал ли их, и, конечно, говорил правду: в том состоянии, в каком он находился, и не мог их помнить. Вероятно, Рысаков это сказал, как, вероятно, Желябов, человек неизмеримо более крепкий, в момент ареста иронически спросил полицейских: "Не слишком ли поздно вы меня арестовали?" Такие замечания вредили не только им (об этом они, особенно Желябов, не думали), но их делу: полиция очень насторожилась после слов Желябова, а услышав "еще слава ли Богу?", царь, по требованиям здравого смысла, должен был бы тотчас уехать. Однако Рысаков в ту минуту был близок к умопомешательству. "Потребность в зова" могла оказаться сильнее всех других чувств. Он бессознательно утешал себя этими словами. Едва ли он и желал успеха следующему метальщику: теперь ему было все равно.

Не он один потерял голову на набережной. Император, наверное, спасся бы, если бы он или люди, ведавшие его охраной, сохранили самообладание. Совершенно правильно заметил в своих воспоминаниях Тихомиров, вернувшийся в Петербург как раз 1 марта и в тот же вечер слышавший рассказ Перовской о деле: Александр II сам пошел навстречу смерти. Он не должен был и приближаться к террористу. Скорее всего царь подошел к нему из любопытства. Могли быть и соображения престижа: надо было показать быстро собиравшейся толпе, что он не испугался, что он сохранил полное спокойствие. Однако у людей, ведавших его охраной, таких соображений быть не могло. По самому характеру своей службы, они должны были наперед сто раз представлять себе картину покушения на царя и обдумывать, что тогда надо будет сделать. В действительности все, что они делали 1 марта на набережной Екатерининского канала, было совершенно бессмысленно.

По правилам царского конвоя, казакам полагалось тотчас сходить с коней, когда император выходил из кареты. Лошади взвились на дыбы, казаки с них соскочили и вцепились в поводья: отпустить взбесившихся лошадей было невозможно. Таким образом царь остался без охраны. Лишь казак, сидевший на козлах рядом с кучером, не потерял головы и, ахая как все, сказал полицмейстеру, что надо поскорее увезти его величество в санях.

— Что там в санях!.. В карете увезу!.. Довезу, ничего!— говорил оглушенный кучер, тоже соскочивший с козел. Полицейстер дико взглянул на кучера, схватился за голову и побежал нагонять царя. Все же он успел на бегу сообразить, что совет казака правилен.

— Ваше величество... Соблаговолите сесть в мои сани... Осчастливите... Во дворец... Видит Бог... Мало ли что может...— задыхаясь, говорил он.

— Покажи мне сначала... все,— сказал царь. Он и сам не знал, что хочет видеть.— Покажи место взрыва.

Он остановился над умиравшим мальчиком, над трупом убитого напал казака. Окружавшие его теперь люди, полицмейстер, солдаты, сбежавшиеся случайные прохожие, все одновременно говорили, не слушая друг друга. Царь не любил толпы, даже придворной, но в такой толпе отроду не был. Он

¹ Хорошо господин! (франц.).

медленно пошел дальше, не зная, куда и зачем идет. Теперь карета, место взрыва, сани, мальчик, толпа были позади его. Впереди был только Гриневицкий.

Полицейстер, шедший рядом с императором с п р а в а, тем же отчаянным голосом говорил что-то невразумительное. Здравый смысл предписывал пойти назад, тотчас сесть в сани и вернуться в Михайловский дворец по дороге, на которой метальщиков не оказалось. Можно было также послать вперед полицию, казаков, флотский экипаж для того, чтобы они расчистили дорогу к Зимнему дворцу.

Перовская увидела, что царь в сопровождении полицейстера идет вперед, к Г р и н е в и ц к о м у. Он шел неровно, зигзагами, то приближаясь к решетке канала, то удаляясь от нее, не совсем твердо держался на ногах. И так же неровно, тоже пошатываясь, бессознательно повторяя его движения, пошла вперед она по своей стороне канала. Впереди слева, опершись на решетку, стоял человек со скрепленными руками.

Люди в нормальном состоянии никак не могли бы не обратить внимания на эту странную фигуру. Только террорист — или разве умышленный — мог в эту минуту стоять неподвижно вдали от всех. И царь, и полицейстер в и д е л и Гриневицкого: его нельзя было не видеть. "Что же это?.. Отчего не бросается навстречу?.. Чего ждет?.. Его схватят!" — все больше задыхаясь, думала Перовская. Расстояние между царем и Гриневицким уменьшалось, но Гриневицкий точно прирос к земле и к решетке. На последнем своем зигзаге царь почти с ним поравнялся. Лишь теперь он заметил этого не снявшего шапки человека, он встретился с ним взглядом — и вдруг п о н я л. Гриневицкий высоко поднял обе руки и почти отвесно изо всей силы бросил свой белый сверток между царем и собой.

Второй взрыв почему-то оказался гораздо более сильным, чем первый. Перовская закричала диким голосом, закрыла лицо руками и побежала назад. На правой стороне канала повалилось в снег много людей. Слышались отчаянные крики. Дым не расходился минуты две.

Александр II и его убийца, оба смертельно раненные, сидели почти рядом на снегу, опираясь руками о землю, спиной о решетку канала. Рядом с ними упал на четвереньки полицейстер. Лошади пронеслись мимо них, волоча подбитую карету. За обезумевшими лошадьми гнались обезумевшие люди. Все орало, хваталось за голову, бежали кто вперед, кто назад. По приказу обезумевшего взводного обезумевшие солдаты зачем-то ломали решетку сада. Подбежавший в последнюю минуту метальщик Емельянов спрятал за пазуху снаряд — и бросился п о м о г а т ь ц а р ю.

О к о н ч а н и е с л е д у е т .

Аркадий Драгомощенко

Из тетради
«Элементы зрения»

(1991)



* * *

Мысль, предшествующая тому, чем она станет через мгновение,
ощущая в себе, как совершенно прозрачную сферу,
себя, устремленную вспять. Проницание? Прорицание?
Столкновение? Лето спокойно, как Дорифор Поликлета.
Беспрерывность течения выражена в наклонении
неподвижности и отречения — сухой (длится известный всем
диалог отражения с отражением) —
куст, охваченный пламенем,
неуязвим за зеркальной стеной,
не успевающий за превращением
материи в своем же подобии.
Дымящийся иней, еще несколько слов, несколько форм,
вовлеченных в скольжение,
избирающих нити, из которых плетется «объект», распускаемой
с нежностью мысли. Средостение восклицания!
Ограничение заключается в том, чтобы начать.
Начало — в распределении еще не явившего очертанья смысла,
блуждающего в волокнах силы.
Сгорающий снег на лице. Скорость звука в узости передающего
воздуха обрастает частицами тьмы и сияния — с «я»
возвращаются клетки возвратные воспоминания,
остывая в кристаллы.
Память — всего лишь практика перевода, не знающая
ограничений,
в темной ягоде тела тлеет.

Но почему ты уверен, что этот столб, уменьшенный до крупницы
воображения, именно то место, отмеченное на карте? Кто
они, утверждающие, будто это и есть то, чем надлежит тебе
жить? Чьих мертвых ты должен по воскресеньям кормить?

Но разожми руку и покажи, — да, покажи, что у тебя там, что.

* * *

Только то, что есть — есть то, что
достается переходящему в область, где
не упорствует больше сравнение.

Все приходило в упадок. Даже разговоры о том, что все
приходит в упадок. Пространство двоилось, гнили заборы,
консервные банки гудели от ветра; меланхолия фарфоровых
изоляторов, морозные сколы;

миграции мела;
за городом также порой грудь теснило дыхание, или
искра пробегала между висками.
Иногда казалось, что это над полем всего-навсего птица.
Однако как быстро в имени таяло тело!
Перспектива должна была измениться. И она изменилась.
Переплывали глазницу светила.

Как быстро мы ускользали из чтения. О великое
передвижение времени в деньгах!
Впрочем, и в ней, разомкнувшей одеяние перьев, уменьшенное
до ничто, билось по-прежнему
то, что можно было узнать.

Одни говорили, что этот дом (как и все аллегории)
не в меру аляповат,
тогда как другие о тирании отца и о стелле, вознесшей
различия надпись... как речь идиота, длится ощупывание
другого лица...
Иные, в себя уходя, затихая, внезапно принимались страстно
шептать
что-то о фильмах, о которых уже
никому из присутствующих было не вспомнить.

Речь о первой войне Постмодернизма,
О том, что Водолей несомненно утишит
сердца, но в безмерном пределе
намерений сужалось пространство,
чтобы скользнуть мимо сердца. Ужас? Нет, это было
бесспорно другое.

О чем воображение ткало свои сновидения,
и распускало по петлям к утру,
и все же можно было в них угадать черты прежних времен
рассказы о людях, чьи в прошлом терялись следы.
Но что было поделат? Фотографии? Записи голосов?
Айсберги библиотек в сталактитовых сумерках вод?
рев водостоков в эру ливневых весен?
Зрачок гераклитовый кофе? —
сны, чьи берега с годами теряли упругость
и осыпались известью стен,
когда к рассвету руки цеплялись за них... Присвоить?
Выбраться? Стать существительным? И не утратить? Или в
листве раствориться?

Эти слова
еще оставались как бы не вырваны с корнем,
создающие предложения, в которых ритм возникает
независимо от того, откуда или куда они возвращают
никогда не принадлежавшее нам.
Даже нечто вроде головокружения можно было порой
испытать...

Поклонники тройного прыжка, орнитологии, дачных сезонов,
ценители искусства позднего коммунизма,
земляники, философии, домашнего пения, неспособные
ровным счетом понять ничего ни в словах, ни в
звучании, ни в облаках и погоде — кроты фосфоресцирующие
озарений
(тела, между тем, до совершенства обтачивались
повтореньем беспечным ночей

как, впрочем, смертью других) — превращались, не желая того замечать, во что-то иное. Любопытно, во что?

В уголь? Пыль? Оттиски? Признания? Глину? В эхо,
блуждающее по линиям связи?

Луна, между тем, не становилась ничем
даже в пору цветения. Это — доверие.

Вероятно, подобно тому, как созерцание отражений
на свет произвело в свое время число,
так созерцание времени превратило их в отражения, блик,
океан,
не ухватить который рассудку. Это тоже было чем-то,
наподобие «выбраться» или
«настать» или «истаять» (к примеру: «я хочу растаять в тебе»... Сколько раз было сказано это?). Как лед
под коньками, время сползало в остывающий свиток.
Вместе с тем, если помнишь,
была пора года другой.

Или полдень... Безлюдная остановка автобуса.
Желтые стены, на окраине черно-синяя тень (тогда это было
окраиной, теперь эти места не узнать), будто ослепшая от
невозможности быть
только собой,
подобно луне или мусорным бурям, которых становилось
все больше.

В ту осень мы часто умолкали на полуслове.
Призрачная вереница вещей, из которых
не удалось вещью стать ни одной, лишь впадиной
смысла,
который — бессознательно знали — никогда не придется
распутать в росе.

Было слышно, как за окном
немо буйствует ясень в теснине разрыва небесной.
Разрушение тронуло все. Конечно, отыщешь всегда
утешение в воспоминаниях о поре, когда не ведал никто
из нас об упадке, о неизбежности, а дальше плоскость
пустая страницы.
Упадок был просто наградой, таившей надежду на то, что
никогда не тронемся с места, застывшие, словно
в детской игре.
Аэропорт, удар синей стены, океанские
пляжи в кипении мух... далее тень на выцветавшей кладке,
когда все оправлено в ровное пламя свечи —
реальность себя расточает, как воск, формы храня
и возможность...

Приподнятая в беге нога, рот приоткрыт, к чему
относится смех? Какие отсветы ранят
неподвижные
лица? Каких ключей омывает вода
философские поры костей?

...Еще были такие переводные картинки: вечная жизнь
и, покачиваясь, длинный выстрел летит.

Жестикulyция. Жесть, взмывшая с крыш.
Напряженность и —
выдыхаешь.

Подпишись за меня:
драгомощенко; скука безмерна;
нескончаема пряжа, как пыль.
На магнитной дуге продолжение снится,
словно ветер, ревуший в кристальном кольце.
«Неразборчиво... с... не... или... орчиво с виду».
В угасании кисти шелк искрист и прост.

* * *

Песков неистовых слоющее молчанье
в оцепенении скорости остыло,
роса словно,
расширенных отчетливостью зерен.
Прозрачны и текучи, как трава

придонная
в стремнине сквозняка перемещающих и путающих
множеств.

Но сколь прозрачны, текучи сходства.

Смола еще не стиснула собой
ни луч,
ни каплю тьмы, —
еще, как сок медлительного превосходства,
превосходящего очертания, престающего законы.
Определенность. И все же — разъединенье древесной
ткани с будущим «всегда», незыблемым, как прошлого
основа,

что основа из осей свита, как из сонорных
и свистящих остов в проточных гласных — вязи божества.

Нам не собрать того, что выронили руки.
Цветное солнце жжет и в громе спит вода —
цветением радуги под хвоей ос, сводимой
в движение неистовых песков, чьи в своды — рой числа,
не знающий преграды меж тем, что есть оно
и тем, что. — *имена*.

* * *

Но с этим пора давно покончить.
Если бы всеми своими окислами и солями
не впиалась в гладь узнавания многооко —
несложная эта картина¹.

¹ — Окраина зрачка: в провинции пустынной
периферия зрения чиста
погрешностями, нежностью, смешеньем.

Здесь облик имеет то, что без лица —
что есть и было формулой смещения.
Здесь вспыхивают сходства,
точно в зной листва,
и синевы налет на зелени слабее.
Глаза молчат. Но скорость, как кремь
горючих солнц, как небо наизнанку —

в движении движенья паутинном
доединична и заснежена, как свет
что тьмою освещен, взошедшею к зениту.

Представление действия в
становлении пред собой мерцающим.

Люди на автобусной остановке, еще не цветет
стены желтизна. Смотрят, как начинает светать.
Такое стихотворение.

Ветер стоит вертикально, словно лист из стекла,
Изогнутый к сердцевине.
Тождествен ли он себе самому? Либо неопределенному
фрагменту вовне? Случайное совпадение
времени, места, белка, хлорофилла, памяти,
(к кому относится в данный момент?), созданной
из смешения многого и единичного. Но люди стоят, как
на холстах Рембрандта,
стоит стража в дозоре,
а утро медленно затмевает собой
круговорот то ли гордости, то ли бормотания омут,
которое оседает привычно
к трещине каждой, ко впадине на этой неровной картине,
вверив себя наступающей простоте перемещений дневных,
оставляя мистические откровения
если таковые случались, а они, конечно, случались
в этих домах, где живет убогая поросль страсти

все того же побега.

все тех же лингвистических упражнений:
«оставь меня! дай мне покой! Неужели не видишь! Оставь,
уйди! Вернись,
так сегодня красиво!»

Восклицания словно вкованы в нас,
не оставляя места другому, придавая, впрочем, загадочность
этой невнятной главе в которую вкопан,

будто по горло,
по полушария мозга, и теперь даже смешно говорить,
в каком из них производится время, а в каком музыка вечно звучит.
Однако и с ней надо кончать. Со сложностью
этой картины, которая без труда умещена может быть
на острие бесплотной иглы, в ореховую скорлупу простоты.

Покачиваясь, как тогда. Все
уплывает, опрокидываясь на тебя. «Все, что мог,
ты уже сделал» или не сделал, (главное вымолвить «все»)
а далее — «не в этом различие». Сухие губы, мутный ручей,
за шиворот вползает озноб,

как со всей непреложностью
к последнему пункту зрения
движется кривая весны.

Ян Гольцман

Декабрьская элегия

* * *

Скотомогильники — ямы в бору.
Вижу заплывшую мохом дыру.
Прахом заполнены соты.
Там, где когда-то распад пировал,
Многоступенчатый виден провал.
Кто же заполнит пустоты?

Сосны, понятно, стоят на своем,
Только не в силах заполнить объем —
Было, а после не стало.
Темные впадины наверняка
Память земли сохранит на века:
Яма — прочней пьедестала.

Ягод не рву и грибов не беру —
Ямы чернеют в сосновом бору.
Ворона кличет картина.
Скрытый песками, угрюмый посев
Разом взошел, под ногами просев.
Но человек — не скотина.

Хоть перед Небом, конечно, равны
Говоруны молчаливой страны
И запаленная кляча —
Божии твари и божия тварь.
Кто эти жертвы принес на алтарь,
Не удостоивши плача?

Но Беломоро-Балтийский канал,
Он и хозяев потом доконал:
Склоны провальнo-горбаты.
Где землепашец, оставивший плуг?
В парке культуры провалишься вдруг —
Всюду свои Куропаты.

...Или пустоты в земле неспроста?
Или природе нужна пустота
Невосполнимой утраты?

Ямы в бору заровняет зима,
Но не оттают вовек Колыма,
Высокогорья по Яне,
Где безымянные смертники те
Издавна в вечной лежат мерзлоте,
Думая: "Где воздаянье?"

Думая: "Що цэ хлибыны нэма?"
Да не оттают вовек Колыма,

Где, по словам очевидца,
Люди, упавшие в ту мерзлоту,
Вечно лежат, устремив в высоту
Окаменелые лица.

Мотив

Опять красна рябина за окном.
Противишься, а думы об одном:
И это лето, точно камень в Лету —
Бултых! — и нету.

Опять зажглась рябина за окном.
Опять стучит в окно зеленый гном —
Осенний вестник — малая синица.
Красна денница, .

А попросту — октябрьская заря.
Рябины гроздь, что грудка снегиря,
Горит над опустевшею землею.
Вот-вот зимою

Дохнет в лицо вечерняя заря.
И станешь, лишних слов не говоря,
Глядеть подолгу на тугое пламя,
Что кладку плава,

Лениво лижет закругленный свод.
Последний лебедь пролетит вот-вот,
И все — конец сезону перелета.
И станет кто-то

Ждать у окна, как ожидаем мы,
Прихода, а затем конца зимы,
Хотя зима — какие вспышки света! —
Не хуже лета.

* * *

Какая радость скрыта в тишине!
Заткнулся ветер, дувший исступленно.
Покой в душе, поскольку тишь вовне:
Отныне больше не плескать волне —
Все озеро застыло удивленно.
И лес, склонивший белые знамена,
Не шелохнется в ледяном окне.

Какая зоркость скрыта в тишине!
За островами полынья дымится.
Пространство приближается ко мне,
И всякий голос слышен в глубине,
И долго кружит над простором птица,
С которою не следует водиться, —
И вспыхивает в солнечном огне.

Какая нежность скрыта в тишине!
Рассветный пламень встал за окоемом
Сосною красной в светлой вышине

Подумалось о дочке, о жене,
О том, что жить и вправду лучше домом.
И белый лист летит в корзину комом:
Побудь, заря, со мной наедине!

Декабрьская элегия

Под вечер уйду на лыжах — большак, самолет, железка.
Уеду и враз умолкнут метельные всхлипы-стоны,
Глаза мои перестанут болеть от снежного блеска,
Но... стебель лесной ромашки опять приоткрыл бутоны!

Еще в октябре, до снега, поставлена в банку-склянку,
Цветет да не отцветает травина лесного луга,
Мучительно тянет воду, отчаянно тянет лямку,
А как ее кинешь, если оконца полощет выюга?

Ромашки — малые солнца, сронив лепестки-оправы,
Напоминают пижму, а все-таки тешат зренье.
Цветы декабря убоги, выморочно корявы —
Так красота и радость переросли в терпенье.

Уже Рождество маячит. Все меньше и меньше света.
Зачем же, росток зеленый, меня возвращаешь к лету?
Что значат твои безумства? Июльская песня спета.
И бабьего лета тоже в сугробах не сыщешь следу.

О чем зеленеешь, стебель, дитя предзимнего луга?
О лете непостижимо далеко, о крайнем часе?
Живем посреди сугроба, удерживая друг друга.
Гляди-ка, и два бутона еще у тебя в запасе!

...Под вечер уйду на лыжах. Следы на лесной полянке
Ночная поземка слижет, прошел человек — и нету.
Прости и прощай, ромашка, застывшая в банке-склянке.
Свет твой неразличимый света прибавит Свету.

М.Вешнева

Новоузенск



Неожиданности

Весной мне исполнилось десять лет. Я перешла в четвертый класс школы. Юра во второй, ему было восемь. Ярке шесть — он еще не учился.

Зиму мы прожили в разлуке с отцом. После закрытия "Самарской газеты для всех" отец поселился в Новоузенске.

Несколько месяцев он жил кое-как, работая разъездным статистиком, а после Нового года стал редактором земского журнала.

Папа увлекательно описывал свое жите, звал к себе.

Мама медлила, она устала от кочевой жизни, ей хотелось обосноваться в Самаре, она любила родной город. Но надежды на возвращение отца не было, жить врозь бессмысленно, и мы снова двинулись в путь. Это было летом 1912 года.

Новоузенск — самый южный пункт Самарской губернии, степной. Больше о нем мы ничего не знали. От Самары прямой дороги туда не было. Можно было ехать лошадьми — 250 верст, мама на это не решилась. Поплыли пароходом до Саратова, оттуда на пароме через Волгу в слободу Покровскую, из Покровской узкоколейкой — до места.

Мы впервые увидели узкоколейку. Игрушечный паровоз нас очаровал. Вагоны крохотные, дребезжащие, подпрыгивающие. Пять или шесть часов до места мы простояли у окон (хотя весь вагон был пуст, мы — единственные пассажиры), наблюдая, как тащится наш состав по бескрайней степи и как лихо его обгоняют сытые конские упряжки.

Мама сидела хмурая и унылая, и нашей радости от такого транспорта не разделяла. Время от времени она шептала: "Воображаю, какая это дыра!"

В пути было несколько остановок со смешными названиями — "Урбах", "Красный Кут" — и наконец "Новоузенск".

Высадили нас. Тут и мы растерялись и притихли. Игрушечный поезд уполз куда-то дальше, а мы остались совершенно одни на пыльной деревянной платформе. Налево от платформы длинное приземистое здание под железной крышей — и больше никаких строений. А направо ровная степь, сливающаяся с горизонтом. Оттуда веяло горячим ароматом пересушенных трав. С бледно-бирюзового выгоревшего неба палило солнце.

От сарая к нам приближались трое мужчин. Один повыше и постройнее в несвежей парусиновой форме железнодорожника, а двое других — коренастые и приземистые в какой-то мешковине, цветом не отличающейся от лежащей кругом пыли. Оказались извозчиками. Они приближались

Вешнева Мария Александровна род. в 1902 г. Читатель, возможно заметил ее публикацию "Эта память о днях в Донском" ("Юность" № 9. 1990). Предлагаемые воспоминания — часть большого автобиографического повествования.

медленно и так оторопело и растерянно смотрели на нас, что я тоже невольно оглядела нашу группу.

Мы выглядели яркими птицами на фоне унылого рыжего пейзажа. Мама в чесучевом манто и светло-голубой шляпе с лентой под подбородком, я в белой матроске и белой панаме с голубыми лентами. Братья в кремовых костюмах и ярких тюбетейках. Перед нами — горой баулы, чемоданы и два объемистых портпледа в коричневых ремнях.

Мужчины молча остановились перед платформой, все так же пристально и растерянно рассматривая нас.

— Это Новоузенск? — упавшим голосом спросила мама.

— Да, — ответил железнодорожник, указывая рукой на сарай. Под крышей большими буквами черным по белому значилось Н О В О - У З Е Н С К — как мы сразу не заметили?

— Город? — почти с ужасом спросила мама.

— Нет, станция.

— А где город? — у мамы расширились глаза.

— Город там, — махнул железнодорожник за здание станции. Там — кроме ровной степи — ничего не было видно.

— Далеко?

— Шестнадцать верст.

Мама выразительно посмотрела на нас.

Пока мы находились на платформе, пыль толстым слоем покрыла нашу городскую обувь, а когда сошли — ноги выше щиколоток погрузились в теплую и нежную массу. Братья понимающе переглянулись — если поддать ногой, то весь окутаешься непроницаемым облаком. Мама предупредила — шагайте осторожнее. Но это было бесполезно. Жирная, рыжая, она мгновенно притушила свежесть наших костюмов. А когда подводы двинулись, мама поняла, что все предосторожности бесполезны. При малейшем движении лошадей непроницаемое облако заволакивало нас.

— Закройте глаза и рты, дышите носом, — скомандовала мама. Смотреть все равно было не на что. Кроме наших двух подвод и облака пыли, до горизонта было пусто.

Так мы тряслись довольно долго. Вдруг навстречу нам понеслось пыльное облако, более густое, чем от наших подвод. Из глубины его доносилось грозное рычанье и рев. Мы подобрали ноги и теснее прижались к маме. В одно мгновение нас окружила стая остервенелых лохматых псов. С злым визгом они бросались на лошадей, норовя ухватить за морду. Возница приподнялся и лупил их кнутовищем. Мы так были поглощены этим побоищем, что не сразу заметили, что едем по какому-то фантастическому городу.

На очень широких, совершенно пустых улицах стояли страшные черные дома без окон. Из толстенных бревен на высоких сваях, под остроконечными крышами, дома стояли на большом расстоянии друг от друга, все почему-то запертые огромными висячими замками. У каждого сбоку была узкая деревянная лестница с широкими ступенями, которая вела под крышу к маленькой дверце, тоже запертой. Вокруг — ни души. Мама, испуганно озираясь, спросила:

— Это город?

— Нет, — лениво ответил возница, — амбары. Город недалече, полпутя проехали.

(Позже мы узнали, что за неимением элеватора каждый хозяин имеет такой амбар, хлебную ссыпку. И ставят их вдали от города во избежание пожара.)

Когда мы выезжали из этого мертвого города, на дорогу вышел старик с ружьем и, лениво оглядев нас, поплелся куда-то за амбары. И вот на горизонте засиял золотой купол с высоким крестом, и мы поняли, что город недалеко, нестерпимое зловоние заставило нас зажать носы. Дорога шла среди странных строений, вышиной в человеческий рост, сложенные из маленьких черных плит, они походили на ажурные коконы. Все пространство, насколько охватывал глаз, было покрыто этими коконами.

Именно от них исходил тошнотворный запах. Тучи мух гудели над ними. Это оказались кизяки — степные дрова. Изготовленные из соломы и скотского навоза, они все лето стояли в таких коконах для просушки.

От всех этих неожиданностей мама только вздыхала и крутила головой.

Город нас тоже не обрадовал. Он оказался из глины. Низкие мазанки с плоскими крышами, отделенные друг от друга глиняными заборами, стояли по обе стороны широкой и бесконечно длинной улицы. Нас больше всего поразило, что дома слепые, ни в одном не было окон. Позднее мы узнали, что это — магометанская часть города и хозяева, по восточному обычаю, окна делали внутрь дворов. Рыжий колорит ничем не оживлялся — ни кустов, ни деревьев, ни травы. Улица была совершенно пуста. Только кое-где над глиняными заборами возвышались верблюжьи головы на длинных облезлых шеях и равнодушно провожавшие нас сонными глазами. Мама становилась все мрачнее.

Наконец глиняная улица кончилась и мы выехали на широкую площадь, мощенную булыжником. В центре — большой собор. Белый, златоглавый, окруженный мощными тополями. По одну сторону площади располагались каменные двухэтажные здания официального вида, а по другую — приземистые каменные лабазы, магазины и базарные ряды. Мы поняли, что это центр. Прогрохотав по булыжникам, мы пересекли площадь, и пейзаж оживился, замелькала вода, окруженная тенистыми ивами.

— Река? — встрепелась мама.

— Пруд, — ответил возница, — Калач.

— Калач? — мы переглянулись, странное название для пруда.

Улица упиралась в пруд, папин дом был последним. Он стоял на самом берегу.

Хозяйка встретила нас у ворот. Ее наружность поразила нас. Высокая, невероятно худая и черная — живая смерть, — одетая в глухое темное платье. На костлявом лице ярко горели светло-голубые глаза, единственная живая черта. Она говорила тихим, глухим голосом и больше обходилась жестами. Я мысленно окрестила ее "Ягой".

Яга внимательно осмотрела нас и наш багаж и величественным жестом указала на стеклянную галерею. На галерее было чисто, и пусто, и душно. Мы сложили вещи и пропылившуюся одежду и прошли в комнаты.

Папа занимал две горницы. В них было чисто, прохладно и темно. Мама послала меня открыть ставни. Открывая последний ставень, я в конце улицы увидела папу. Он почти бежал. Я бросилась ему навстречу. Он очень изменился — похудел и загорел и от этого казался помолодевшим.

— Как ты узнал, что мы приехали? — спросила я, когда мы входили в дом.

— Сообщили знакомые.

— Но ведь нас здесь никто не знает? — удивилась я.

Папа рассмеялся.

— Видели, как вы ехали, и догадались.

Папа упрекнул маму, что не предупредила о приезде, он бы встретил. А мама ответила, что не предполагала, что станция и город на таком расстоянии друг от друга.

Мама сказала, что нам прежде всего необходимо отмыться от пыли. А папа ответил, что это проще всего, пойдем на Калач и вымоемся.

— Почему Калач? — спросили мы. — Очень смешное название.

— Очевидно, от формы, — ответил папа. Пруд круглый, а в середине остров. Конечно, правильное было бы не Калач, а Баранка.

Вода в Калаче густая, зеленая, теплая — будто подогретая. Дно тинистое. Головастики всех размеров щекотали тело, их было такое множество, что вся вода рябила. Мама с отвращением взглянула на Калач и наотрез отказалась купаться. Она помылась дома.

— Ты поступил нечестно, скрыв от нас здешнюю кислоту и убожество, — сказала мама, когда мы сидели за ужином. Она с упреком смотрела на папу. Он молчал.

— Ты в каждом письме восхищался степной экзотикой, где она? В чем? Я, кроме жуткой пыли, зноя, духоты, ничего не вижу.

Папа молчал. Он терпеливо выслушал все мамины упреки, а когда она кончила, сказал:

— Не суди, голубчик, по первому впечатлению. Ты устала за дорогу, изнервничалась. Отдохнешь, оглядишься и, я уверен, оценишь степную природу.

Экзотика

На работе папа был занят с девяти до трех. До нашего приезда он все свободное время посвящал литературным занятиям, а теперь знакомил нас с городом и окрестностями.

Часов с пяти, когда спадал зной, мы отправлялись в новое путешествие.

В первый день осмотрели город. Он оказался не так мал, как нам показалось по первому впечатлению. Мала была центральная часть — площадь с собором и десятком официальных зданий. Эти здания все одинакового уныло-казенного вида — двухэтажные вытянутые, под зелеными железными крышами. От площади во все стороны шли широкие и длинные улицы, не похожие одна на другую.

В городе жили немцы, магометане и русские, делившие по вероисповеданию. Каждая секта занимала свою улицу и имела свою молельню. У немцев была кирка, у магометан — две мечети. Православных было меньшинство — они посещали собор (или вообще ничего не посещали, как папа и его друзья).

Все сектанты имели колоссальные посевы пшеницы и почти сплошь были миллионерами. Это нас очень поразило. Мы считали, что миллионеры живут во дворцах в каких-то сказочных городах и вовсе не занимаются посевом пшеницы.

Улицы резко отличались одна от другой. Самой красивой и благоустроенной была немецкая часть. Домики, каменные, беленые, с островерхими красными железными или черепичными крышами, окружены тенистыми садами. Кирка сказочной белизны и аккуратности потонула в ярких цветах. Тротуары вымощены кирпичом, и у каждого дома фонарь.

Магометанские кварталы совершенно без зелени и сплошь из глины. Деревянными были только два высоких минарета.

Улицы сектантов производили мрачное впечатление. Мощные бревенчатые дома с маленькими окнами на высоких каменных фундаментах выглядели неприветливо. Такие же мощные, наглухо запертые ворота, пустота и тишина во дворах. Позднее мы узнали, что на лето обитатели домов семьями выезжали в "сады". В домах оставались только сторожа — старухи.

Собираясь на Большой Узень папа волновался совершенно по-детски, так ему хотелось, чтобы Узень нам понравился. Он сам влюблен был в эту реку. Никогда не видав степной реки, мы не сразу оценили прелесть Узеня. Узкая и глубокая, она как щель разрезала степь и, извиваясь ярко-зеленой змеей, уходила куда-то к горизонту. Крутые глинистые берега буйно заросли могучими кустами и травами, и все было переплетено очень яркими цветами. На глинистых осыпях, не покрытых травой, склоны были изрыты порами — гнездами береговых ласточек и шуров. Шуров мы видели впервые, папа называл их степными попугаями. Строем и величиной они больше напоминали голубей, а оперением — попугаев. У них атласно-белое подкрылье и брюшко, а сверху — все цвета от ярко-желтого, малинового и синего. Мы долго сидели на берегу, любуясь шурами и береговушками, молнией прорезавшими кусты розовой мальвы, алого горошка и синей корицы. Потом спустились к воде.

Вода оказалась такой прозрачности, что видно было дно с коричневыми водорослями, ракушками и стаями рыбок. Она чудесно освежала и вливалась бодрость, и не хотелось с ней расставаться. Мы привыкли пить волжскую воду и тут решили освежиться, сделали по глотку и скривились — вода была горько-соленая. Позднее мы узнали удивительную особенность Узеня, он по неизвестной причине вдруг мелел, а потом прибывал, становился мутным и бурным. А когда спадал, обнаженные места покрывались

толстым слоем сероватой соли. Старики и старухи собирали ее в ведра и применяли от каких-то болезней.

На знакомство с Узенем ушло несколько дней. Мы бродили по берегам вниз и вверх по течению и невольно познакомились со степью. Вблизи реки она была еще свежей и наполненной жизнью, а дальше до горизонта жухлой и туманной, и мама категорически отказывалась побродить там. Ей почему-то становилось тоскливо от этой бескрайности. Иногда на горизонте появлялось марево, туманные деревья, озера, горы и нас очень тянуло идти туда, пока ноги несут. Папа обещал, что будущей весной мы отправимся в такое путешествие на несколько дней.

Завершилось знакомство с новым местом культюком. Культюк — степной лес. Папа не зря оставил его напоследок. Он так своеобразен и хорош, что рассказать о нем трудно, надо видеть. На небольшом пространстве, омываемом с одной стороны Узенем, а с другой стороны — его рукавом, сосредоточена вся растительность нашей полосы, кроме ели и березы. Мощные дубы, сосны, клены, липы с огромными кронами поражают сочностью и величиной листвы. Стволы деревьев оплетал могучий хмель и какой-то плющ. Сочная трава с очень яркими цветами заменяла подлесок. Седые ивы наклонялись к воде, а заводи покрыты белыми лилиями. Мама восхищенно смотрела вокруг и соглашалась, что это экзотично. А мы обнаружили на открытых местах заросли черного паслена, усеянного крупными приторно-сладкими ягодами, а в ложбинах — душистую ежевику.

Мама презрительно взглянула на Узень и сказала, что если бы мы были на Волге, то вскипятили бы чай, а из этой воды даже чаю не попьешь. Папа хитро усмехнулся и позвал нас к себе. Но просил найти какую-то особенность на том месте, где стоял. Мы смотрели на его ноги и ничего не понимали — свежая трава, усеянная всевозможными цветами. А папа повторял — внимательнее, внимательнее. И, приглядевшись внимательнее, мы увидели, что он стоит на незабудках. Ни вправо, ни влево незабудок больше не было. А голубая дорожка от папиных ног уходила куда-то в глубь леса. Мы вопросительно взглянули на папу, а он сказал, — незабудки всегда ведут к воде и предложил идти по голубой дорожке. Она привела нас к маленькому роднику. Оп выбивался из небольшой ложбинки между корнями дуба и был холодный и вкусный, чуть солоноватый. Мы кружкой набрали полный котелок и вскипятили чай. Мы оставались в культюке до позднего вечера, и ночь застала нас в степи. Ночью степь становится ароматной, выпадает роса, и ноги легко скользят по влажной дороге. Синий купол с яркими звездами накрывает землю, но не плотно, а так, что по всему горизонту остается воздушно-серая полоса. Мы шли притихшие, восхищенные. Папа тихо сказал: а степь широка, широка! Все молчали. Вдруг Юра философски произнес: "И без глобуса видно, что земля круглая".

Прогулка по ночной степи изменила мамино настроение. Она перестала тосковать по лесам и Волге и с большей симпатией начала относиться к новоузенской природе. По вечерам иногда звала: сбегает, подышим степью? А папа многообещающе говорил: увидишь степь весной, влюбишься, все забудешь! Но город не нравился маме по-прежнему. Ее раздражали широкие пустые улицы, набитые пылью. Редко где попадались тротуары или утрамбованные пешеходные тропки. Чаще всего приходилось идти по горячей пыли. Пугала скотина, шатающаяся по всему городу. На любой улице попадались ошалевшие от зноя коровы, верблюды, свиньи. А собаки носились стаями. Они жили где-то в степи, были полудикими и наведывались в город обследовать помойки. Мимоходом разоряли курятники или грызли с хозяйскими собаками. Совсем близко от города, в глубокой балке была городская свалка. Туда вывозили все нечистоты и павшую скотину. Здесь ютились жуткие псы. Тучи черных блестящих мух летели отсюда на город.

И все же в этом городе было свое очарование. Первая обнаружила его я. Меня очаровал вечер — тихий крик павлинов и пение муэдзинов,

сзывающих верующих на вечернюю молитву. С восходом солнца начинался ветер. Он дул весь день, иногда ровной струей, иногда порывистыми волнами. Ветер не освежал и не приносил прохлады, его порывы обдавали сухим зноем. Иногда он закручивался в смерчи. Высокие пыльные столбы мчались по улицам, подхватывая и закручивая в свою середину все, что по пути попадалось. От них в ужасе разбегались куры, кошки, ребята. Взрослые прижимались к стенам, прикрывая головы руками. Головные уборы срывались мгновенно. К вечеру ветер стихал. Сразу становилось прохладно, воздух свежел, город заполнялся ароматом степи. Косое солнце окрашивало все в золотисто-розовые тона, и с минаретов монотонно и печально звучали голоса муэдзинов.

В это время павлины вскакивали на глиняные заборы, распускали веерообразные хвосты и, тревожно поворачивая из стороны в сторону изящные серые головки, гортанно и коротко вскрикивали. Солнце заходило, павлины прыгивали в свои дворы. В каждом дворе вместе с домашней птицей обязательно жила пара павлинов. Так же у каждого хозяина — немца, магометанина, русского — вместе с крупной скотиной было несколько верблюдов.

Когда мы в первый раз увидели новорожденного верблюжонка, мы онемели от восторга и долго умоляли маму купить его. Но мама осталась неумолимой.

Сюрпризы

Ознакомившись с городом, мама узнала: снять квартиру с обстановкой нельзя, таких квартир нет. Мебельных магазинов тоже нет. У нас, кроме постелей и чемоданов, ничего не было. Мама спросила папу, что он думает по этому поводу? У папы оказалось два сюрприза. Первый — мастер, который сумеет выполнить все мамини заказы. Второй — средства на это.

О мастере папа сказал: это человек с золотыми руками и загадочной судьбой. Мы насторожились, все необычное нам нравилось, особенно мне. У мастера неблагозвучная фамилия — Жила, но ее почти не вспоминают. Все называют его пан Альберт. Он — словак. Несомненно, интеллигент. И, несомненно, не тот, за кого себя выдает. Бог знает, зачем его сюда занесло. Человек интересный, — так закончил папа.

Второй сюрприз папа вынул из своего, видавшего виды чемодана и положил перед мамой четыремя столбиками золотых червонцев, в каждом по десять штук.

У мамы расширились глаза:

— Четыреста рублей?

Папа улыбнулся:

— Тебе на обзаведение.

Мама испытующе взглянула на папу, глазами спрашивая, откуда такой капитал?

А папа, расплывшись в счастливой улыбке, объяснил. — Короленко принял его роман "Ростепель", будет печатать в "Русском богатстве" и выслал гонорар. — Я не тронул из него ни копейки, трать по своему усмотрению.

В те годы цены в Новоузенске были баснословно низкие и четыреста рублей был настоящий капитал.

Яга

Папа жил у Саржиных. Саржины — старообрядцы, и вся их длинная улица, от площади до пруда, сплошь старообрядцы. Яга была не только главой семьи своей, но и какой-то святой для всех соседей. Ей кланялись в пояс, а она отвечала величавым кивком.

Длинный дом походил на крепость — толстые стены, маленькие, как бойницы, окна. Папа занимал две передние горницы, у них был отдельный выход на галерею. За ними оказалось семнадцать комнат с окнами, несколько темных, и множество чуланов и закоулков.

Огромный двор со всех сторон окружен сараями. Везде чисто и пусто. Во дворе напротив дома в летней мазанке была кухня. Там жила Яга и с ней худенькая бледная женщина с уродливо раздутым животом.

Яга встретила нас сурово. Папа предупредил, чтобы до ее вещей мы не дотрагивались. Папино хозяйство все было на галерее: вода, ведра, посуда и т.п. Мы держались смиренно. Во двор старались не выходить, сидели на галерее или играли на улице. Все мамыны попытки расположить Ягу ни к чему не привели. Она едва отвечала на вопросы.

Папа рассказал, что у Яги огромная семья. Четыре сына с женами и детьми, сейчас все в садах. А Геня, жена младшего сына, ждет ребенка, поэтому живет здесь.

— Яга злая? — спросили мы.

— Ни добрая, ни злая, фанатичка, — ответил папа. — Они миллионеры. А видите, до какого истощения она себя довела постами? Она все семейство держит в таком же режиме. Я уверен, что в садах все от нее отдыхают. Фанатичка мы поняли как очень злая.

Беременная Геня была очень молодая. У нее худенькие руки и ноги. Огромный живот оттягивал круглый вырез кофты, из которого выглядывала белая детская шея. Серые глаза на тонком лице казались испуганными, огромными. Она боялась Ягу, которую называла "мамаша". При ней говорила шепотом.

С Геней я подружилась в первый день. Ей понравилась голубая лента на моей панаме, я сняла и отдала, а она вечером принесла мне яблок. Каждый вечер из садов привозили продукты: молоко, сметану, фрукты, дыни и всевозможные овощи. Иногда приезжал Илья, Генин муж. Старуха не позволяла ему оставаться с Геней, гнала обратно. Геня потихоньку плакала.

Гене трудно было ходить. Она все дни сидела в тени под сараем на разостланном ватном одеяле. Когда Яга уходила со двора, я бежала к Гене, садилась рядом и рассказывала про Самару, Волгу, пароход, нашу семью. Геня жадно слушала, а потом гладила меня по голове и шептала: "Храни тебя Христос, утешила", а потом: "Дал бы Господь поскорее разрешиться". Мне делалось смешно — совсем девчонка, а выражается по-старушечьи.

Геня родила двух мальчиков. Рожала она на кухне, и после родов осталась с детьми все в той же кухне. В дом почему-то Яга ее не пустила. Роды были тяжелые. Двое суток из кухни доносились стоны и хрипы, и шныряли старухи. Мама пыталась предложить свою помощь, но ее решительно отстранили.

Когда я услышала детский писк, я бросилась к Гене. Страх перед Ягой меня не удержал. Геня еще больше похудела и стала какая-то неземная. Особенно меня поразили огромные сияющие глаза-звезды. Она полусидела на кровати, а рядом на большой подушке лежали два живых куценка, закутанных в белые свивальники. На головах белые чепчики с шитьем. Геня улыбнулась мне и прошептала:

— Ангелочки мои — Петр и Павел.

Мальчики были хорошенькие, крепкие, но такие маленькие, что не могли ртом обхватить сосок. Начались жуткие мучения матери и детей. Молока у Гени было много. Она сцеживала его в чашку, а потом с ложки каплями в ротик сыновей. Близнецы жадно глотали, иногда захлебывались, мотали головками, а потом вновь раскрывали рты и ловили капли. Но это делалось, когда отлучалась Яга. Она сказала: "Бог знает, что делает, что, если бы младенцам суждено было жить, Господь Бог сотворил бы их рты по материнскому соску. А раз Господь рассудил иначе, значит, решил приблизить их ангельские души к своему престолу". И никаких вмешательств в господнюю волю Яга не допускала.

Младенцы задыхались от голодного крика. Молодая мать исходила слезами от жалости к ним и от собственных мук, ее распирало от приливающего молока. Я плакала от бессилия помочь Гене и ее мальчикам, в которых влюбилась с первой минуты, как увидела.

Мама потемнела и осунулась, когда поняла, что фанатичная старуха непреклонна и спасти близнецов не удастся.

Не помню, сколько дней длилась эта пытка. Петр и Павел умерли в один день. Каждый лежал в белом крохотном гробике. Тюль, цветы, серебряный глазет и огоньки восковых свечей ослепили меня. Личики казались вылепленными из прозрачного воска. Близнецов хоронили особенно торжественно, ведь они были ангелы.

Я возненавидела Ягу и ее Бога. А мама сказала, что мы не можем оставаться у такой изувечки, и стала искать квартиру. Но прежде чем окончательно уехать от Саржиных, мы побывали у них в садах. Мы поехали туда с Илюшей и Геней после похорон близнецов.

Сады

Это слово мы слышали каждый день, даже по нескольку раз в день. Половина города была пустая, все находилось в садах. Мы начали мечтать о садах и строили разные догадки. Мне представлялось, что это длинный ряд арок; увитых розами, а под ними по дорожкам, усыпанным красным песком, парами медленно прогуливаются хозяева.

На самом же деле все оказалось не так, но тоже достаточно необычно. Мы долго ехали по степи в противоположную от вокзала сторону. Вдруг дорога резко пошла вниз и повеяло прохладой. Вдали показалась полоса темной и сочной зелени. Она казалась особенно резкой на фоне блеклого неба и серо-рыжей степи. Все выделялось особенно четко и ясно, и было легко дышать. Оказалось, нет пыли. Дорога стала черной и влажной, и наш тарантас катился совершенно бесшумно.

В этом месте Узень разливался широким неподвижным озером, а вместо отвесных глинистых берегов была пологая отмель. Все пространство, сколько окидывал глаз, было фруктовыми садами. Изгородей сады не имели. Отделялись один от другого канавами, засаженными по валу "дерезой" — ползучим кустарником с предательскими шипами. Дереза была так непроходима, что даже куры не могли сквозь нее продраться. У садов было что-то общее с культюком. Мощные развесистые яблони походили на дубы, плодов было больше, чем листьев. Пышные кроны соединялись, образуя зеленый свод. Солнце лежало резкими пятнами на земле, стволах, листьях. Опавшие фрукты, разобранные по сортам, горели красным, желтым, зеленым.

Между стволов виднелось четыре белых мазанки. Каждая сноха жила в своем домике. Снаружи домики были одинаковые, размером в небольшую комнату, с маленьким оконцем под крышей, а внутри убраны по-разному, по вкусу хозяек, но во всех красивые кованые сундуки, зеркала, фотографии и бумажные цветы.

Перед поездкой в сады у нас с папой был разговор о Саржиных. Нам всем очень несимпатична была Яга. Мы недоумевали, как папа мог целый год жить в ее обществе? А папа сказал, что был очень рад, когда выяснилось, что сможет жить у Саржиных. Ему давно хотелось проникнуть в среду сектантов. А сделать это нелегко, так как живут они очень замкнуто. Секты по Узеню древние, люди бежали сюда от преследования правительства еще при Алексее Михайловиче. Саржины тоже древний род, Яга — хранительница старого уклада. Но Яга властвует только в семье, а коммерческими делами ведает старший сын — Афанасий Тимофеевич Саржин. Он попросил папу заниматься иностранным языком со своими старшими сыновьями. Папа хорошо владел французским и неважно — немецким языком. А папа поставил условие, что будет заниматься, если возьмут на квартиру. Яга, конечно, противилась, но сын сумел уломать старуху.

Мама насмешливо воскликнула:

— Ах, так ты еще и гувернер у Яги?

Папа рассмеялся и ответил, что скорее лектор, а не гувернер. Занятия с парнями превратились в лекции для всего семейства. Что снохи и внуки очень любознательны, жадно тянутся к знанию и, по его наблюдениям, в семье начинается раскол, молодых явно тяготят старые обряды, а подчиняются они Яге только по традиции.

Тарантас остановился посреди широкого двора. В глубине виднелась кухня, а рядом печь для сушки фруктов. Под старыми развесистыми яблонями стол величиной с железнодорожную платформу, вокруг стола скамьи.

Саржины нас не ждали, а встретили радушно и несколько торжественно. По знаку Афанасия Тимофеевича все обитатели шеренгой выстроились вдоль длинного стола и началось представление. Каждая сноха в окружении своих детей, сам Афанасий Тимофеевич и пять работников: две женщины и трое мужчин.

Когда мы со всеми поздоровались, никого не запомнив и всех перепутав, Афанасий Тимофеевич извинился за отсутствующих братьев — Захара Тимофеевича и Тита Тимофеевича — и своих двух сыновей. Они не знали, что мы приедем, и отлучились в степь на посевы. Мама, смеясь, уверяла Афанасия Тимофеевича, что еще успеем познакомиться, а сама лукаво взглянула на меня и показала головой. Я поняла, она хотела сказать, ну и семейка!

Постепенно все встало на свои места: я разобралась, кто чья жена, где барыни и где работницы. Ребятишек, конечно, путала, их было одиннадцать человек, некоторые моего возраста, остальные — моложе. Сразу подружилась только с дочками Афанасия Тимофеевича — Настенькой и Клавой. (Через год с Настенькой я очутилась в одном классе, в гимназии.)

Все три снохи оказались красавицами, царь-бабами. Рослые, чернобровые лебедушки. Геня среди них выглядела замухрышкой. Афанасий Тимофеевич походил на дуб из культюка — ладно скроен и крепко сшит. В темной бороде и на висках проглядывала седина. Судя по фотографиям в мазанках, Захар и Тит не уступали брату в дородстве.

Илье не было 20 лет. Лицо круглое обветренное, волосы выгоревшие льняные, пухлые губы всегда улыбались. Позднее он научил меня ездить на неоседланных лошадях. И мы — Илюша, Геня, Настенька и я — устраивали упоительные скачки по степи.

Этот день в садах походил на сказочный сон. Сад орошался чигирем. Огромное колесо со множеством маленьких ведерок, приводимое в движение лошадью, подавало воду из Узеня в сад. Вода бежала по узким деревянным желобам, нежно шурша. От нее веяло прохладой.

За садом, на самом берегу Узеня, были огороды. Здесь все было в преувеличенных размерах, вызывало удивление и смех. Подсолнечники размером в большие решета. Огурцы походили на кабачки, тыквы на колеса. Кочаны капусты размером с тыкву. И все так.

Обедали за большим столом под яблонями. Сели все вместе, хозяева, гости, работники, и, когда все расселись, стол оказался невелик, как раз по семье.

Хозяйничала жена Афанасия Тимофеевича Наталья Никифоровна, ей помогали обе служанки. Старшую звали "стряпухой", помоложе — "нянькой".

Тарелок не было, перед каждой семьей стояла добротная эмалированная миска и веером лежали ложки.

Прежде всего Наталья Никифоровна большими ломтями нарезала хлеб, сразу изрезав целый каравай. Потом наполнила миски душистым борщом. После борща принесли блюдо жареных сазанов. Их незадолго до обеда выловили из Узеня, они таяли во рту. Душистые помидоры, хрустящие огурцы, сочный лук и напоследок ароматные дыни-скороспелки. Царский обед!

Во время обеда мама спросила, почему хозяева кормят нас из своей

посуды, разве не придерживаются старого закона? В первый момент наступила неловкая тишина, словно все сконфузились. Потом Афанасий Тимофеевич усмехнулся, лукаво оглядел все семейство и ответил:

— По мамаше нас не ровняйте. Она насчет этого очень строга, а нам так не приходится, мы с людьми живем.

Говорил он медленно, убедительно, и все слушали его с явным сочувствием. Всей беседы я, конечно, не поняла, но хорошо уяснила, что сыновья, снохи, внуки и работники осуждают Ягу. И от этого все они еще больше понравились мне.

Папа приехал за нами на извозчике. Как ему обрадовались! Как родного его встречали все! И мы убедились, как привязались к нему Саржины. Здороваясь с дамами, он каждой поцеловал руку. Они по-девичьи вспыхивали и сконфуженно и радостно смеялись.

Папа хотел сейчас же возвращаться в город, но нас без чая не отпустили.

Под теми же яблонями мы пили чай с медом, свежими пышками, каймаком.

Уезжали в сумерки. От Узенья пополз туман, последние лучи золотили листву. Каждая хозяйка, стоя в дверях своего домика, махала нам рукой. В богато расшитых кофтах, цветастых юбках они мне казались сказочно красивы.

Позднее мы побывали в садах почти всех новоузенских миллионеров. Везде было то же самое, хозяева и работники трудились от зари до зари. Сушили фрукты, заготавливали маринады и варенье. Сады имели коммерческое значение. Единственный сад, не походивший на другие, — сад купца Помельцова. Это был сад для души. В нем была собрана вся растительность России от севера до юга. Он цвел с весны до осени. Помельцов, бледный, нелюдимый, любил только свой сад и дочек-близнецов — Мару и Тосю.

Пан Альберт

Мы завтракали и хохотали. Пустые комнаты гудели от резонанса. Мама предложила нам представить, что было бы, если бы из Самары внезапно приехали гости: строгая бабушка, чопорная тетка Ольга и барственный дядя Кирилл?

И мы представили, как эта компания недоуменно озирается в четырех пустых комнатах.

Вторую неделю мы жили в новой квартире без всякой мебели. Спали на полу, пили и ели тоже на полу. Папа острил — приближаемся к Востоку. В кухне плита и два подоконника заменяли столы.

В самый разгар смеха в дверях появился незнакомый мужчина. Как он поднимался по лестнице, как шел по галерее, мы не слышали. Мы замолчали и растерянно смотрели на него. А он еще более растерянно смотрел на нас и на всю квартиру. Все двери распахнуты, и с порога она просматривалась вся. В одной комнате у стены кучкой постели. В другой комнате — колоннами книги. В третьей — вокруг расстеленной на полу клеенки — мы. Четвертая совсем пустая. Все окна распахнуты, и все залито солнцем.

Молчание длилось долго, и мы разглядели незнакомца. Он не походил на местных жителей. Мы сразу догадались, что это пан Альберт. Одет не по-русски. Вместо брюк — темный комбинезон, вместо пиджака — клетчатая рубашка с короткими рукавами. А вместо головного убора черные кудри. Это особенно было удивительно. Все горожане носили картузы или шапки. Лицо смуглое, почти оливковое, густые брови срослись на переносице, длинные черные глаза смотрели сумрачно. Позже я разглядела, глаза не черные, а темно-серые, но от мохнатых ресниц казались черными. Рост не высок, и весь несколько одутловат.

Обзор квартиры отразился на лице пана Альберта. Он так растерялся

и встревожился, что, забыв поздороваться и представиться, сразу приступил к делу. Извинился, что не пришел раньше, сразу, как Александр Кондратьевич его пригласил, но он не предполагал, что положение такое острое. Сказал, что немедленно приступит к делу, и ушел. Говорил пан Альберт хорошо, только делал смешные неправильные ударения.

В этот же день привезли золотистые доски. От них весь двор запах лесом. На галерее сделали верстак, а к вечеру был готов широкий низкий стол на крестовине и три таких же скамеечки.

С этого дня мы стали жить как в сказке, каждый день в квартире появлялась новая вещь. Когда пан Альберт брал доску и, отчертив на ней карандашом, зажимал в тиски, мы пытались отгадать, что будет? И всегда ошибались. На наши вопросы пан Альберт не отвечал, вообще с нами не разговаривал. А с вещами говорил тихо и ласково, не по-русски. Почти все время красиво насвистывал.

Мы с радостью бросались помогать, если он просил. Обычно это бывало вечером, когда кончалась работа. Мы уносили в сарай стружки и ненужные обрезки. Квартира преображалась. Комната за комнатой заполнялась произведениями "золотых рук". Особенно хорош стал папин кабинет. Письменный стол, конторка (папа любил писать стоя), книжные полки, низкие табуретки и кушетка, обитая коричневым тиком, красивая, но жесткая.

В столовой обеденный стол, посудный шкаф, две тумбочки, треугольные табуретки, а на окнах — подставки для цветов.

Из земской больницы привезли списанные кровати — темно-зеленые железные койки. Их вид наводил уныние. Пан Альберт попросил маму не трогать их, поспать пока на полу. Покрыв их серебряной краской, койки стали веселыми.

В нашу комнату мы получили стол с тремя выдвижными ящиками и три шкафчика. Мне с полками для учебников и с маленькими выдвижными ящиками, для лент и всяких мелочей. Мальчишкам попроще.

Квартира обставлена, но пан Альберт все продолжал приходить. Он появлялся до нашего пробуждения. Лежа в постелях, мы слышали нежный свист и шуршание рубанка. Я видела, что присутствие пана Альберта тяготит маму. Она благодарила его, убеждала, что больше ничего не нужно. А он улыбался и отвечал, что материал еще есть и его нужно использовать.

В квартире было двенадцать окон. Пан Альберт сделал десять карнизов для штор. От двух кухонных мама отказалась категорически. Сделал турник, узлы, лестницу и кольца и на железных крюках повесил на галерею, сказав, что детям необходимо заниматься гимнастикой. Последним был ящик с великолепными кубиками.

В 10 часов мама варила кофе и приглашала пана Альберта завтракать. Он отдыхал и ел. Они беседовали. Однажды пан Альберт спросил: любит ли пани цветы? — Очень. — Розы? — Здесь нет роз, ответила мама и вздохнула. Утром на галерею появился огромный букет роз. Потом появился мамин портрет, маслом. Пан Альберт написал маму такой, какой увидел в первый раз: с поджатыми босыми ногами, в сиреновом халатике без рукавов, с волосами, перехваченными сиреновой ленточкой. Мама сконфузилась и сказала, что уж больно молода, прямо как девочка. У пана Альберта заблестели глаза, он порозовел и ответил, что пани и есть девочка.

Мы слышали, как мама спросила папу, как прекратить визиты Альберта, больше ему абсолютно нечего делать? Папа ответил, что Альберту, очевидно, трудно распрощаться с заказчицей. Мама нахмурилась и сказала, что она в этом не виновата. Папа рассмеялся и ответил, что не обвиняет, а только констатирует факт. После этого разговора мама стала уходить с папой вместе, наказывая мне, если проголодаюсь, попить молока с хлебом. Возвращались они вместе. Пан Альберт перестал приходить. Но еще довольно долго ловил нас на улице и, передавая розы, коротко приказывал: отнесите домой!

Приближалась осень, розы мельчали. Последний букет был маленький. Почерневшие цветы бессильно опустили головки. Пан Альберт, очевидно, уехал, больше мы его не встречали.

Свой портрет мама спрятала, она не любила его показывать.

. Новые друзья

Папа, пока жил у Саржиных, буквально оброс книгами и друзьями. Обе горницы у Саржиных были завалены книгами. Папа подписался на все ежемесячные журналы — взрослые и детские: "Вокруг света", "Маяк", "Родник", "Звездочка", "Родное слово" и т.д. О новых друзьях папа отзывался восторженно. С первых дней начал нас знакомить. Самым близким был Ионов Кузьма Ильич. Их привязанность больше напоминала дружбу молодых девушек, зрелые мужчины редко дружат так. Видались ежедневно, а если что-нибудь мешало встрече, начинали волноваться, беспокоиться. Идя по улице, незаметно для себя брали друг друга за руки, шли держась. Это производило забавное впечатление. Их знал весь город от начальства до уличных мальчишек, называли "писатели". Папа действительно писатель, а Ионов — врач земской больницы. В их наружности не было ни одной общей черты, да и в характерах тоже. Папа — коренастый широкий брюнет, пышные волосы, окладистая борода, карие глаза, большие очки. Ионов — высокий стройный блондин, рыжеватая бородка клинышком, большие голубые глаза, пенсне без оправы. Типичные представители русской интеллигенции, вроде Чехова и Короленко. Горожане понимали это и для краткости окрестили "писателями".

Кузьме Ильичу, так же как и папе, запрещено было жить в губернских городах. Он приехал из Уфы. Жил в Новоузенске несколько лет.

Кузьма Ильич отбывал наказание по тупости полиции. Жандармы понимали, что с домом Ионовых что-то связано, но не предполагали, что политикой занимается жена, а не муж.

Юлия Ивановна была прирожденным конспиратором. Цветущая, пышная, хозяйственная. Она все делала быстро и весело. Всегда напевала, громко смеялась. Мгновенно знакомилась с окружающими. Входила в разные мелочи. Умела вечерами посидеть с соседками перед домом, полущить семечки и поговорить, как замариновать рыбу или засолить огурцы. В школе тоже была первой заводилой по устройству экскурсий и школьных праздников. Ее знал весь город, любили и немножко подтрунивали, считая человеком неглубоким. Никому не приходило в голову, что эта хозяйственная обывательница, мать троих детей, связана с подпольным комитетом большевиков.

Другое дело Кузьма Ильич, всегда защищавший обиженных. Хлопотавший за больных арестантов. Заводивший тяжбы с хозяевами мастерских и фабрик, требующий гигиенических условий и улучшения быта рабочих. Он всем надоед, всем намозолил глаза.

После высылки Кузьмы Ильича на дом Ионовых совсем перестали обращать внимание, у Юлии Ивановны были развязаны руки. Кузьма Ильич тоже писал, но никогда не печатался. Его единственным читателем был папа. Политические взгляды Ионova были расплывчаты, нечто среднее между социал-демократом и эсером. Гуманист вообще. Такая политическая платформа вспылчивого папу приводила в ярость. Вскипев, он сжимал кулаки и бросался на приятеля. А Кузьма Ильич никогда не терял самообладания и всегда мягко, но непреклонно тушил папины вспышки.

В Уфе, кроме жены, было трое детей. Каждое лето Юлия Ивановна приезжала к мужу до осени. А зимой Кузьма Ильич на некоторое время вырывался к ним.

Кузьму Ильича любил не только наш папа. Все, с кем общался Ионов, были им очарованы. Больные боготворили доктора. Частную практику Кузьма Ильич не любил, а вынужден был заниматься. Больным становилось лучше от одного общения с ним.

Близкие знакомые обвиняли Юлию Ивановну в черствости, не могли понять, почему она живет в Уфе? Почему такого обаятельного человека оставляет без семьи? Юлия Ивановна объясняла это своей работой. Она была педагогом и будто бы не могла оставить школу. На самом деле Юлия Ивановна была связана с уфимской организацией большевиков и не могла оставить партийной работы. Ее освобождали только на летние месяцы.

Мои родители не сразу узнали истину и долгое время, как и все, обвиняли Ионову в жестокости.

С молодыми Ионовыми мы подружились сразу и навсегда. Юлия Ивановна, так же как и мама, любила устраивать детские праздники. И все развлечения у нас стали общими: катание на лодках, поездки в культюк, сады, в кумыски.

Шиманские, Люциан Юлианович и Янина Ипполитовна. Он — инженер, она — художница. В этой семье я стала своим человеком. Оба — и муж, и жена болезненно привязались ко мне. От их дома у меня осталось впечатление постоянных сумерек.

Позднее от мамы я узнала их историю. Это был типичный западный роман. Они всю молодость любили друг друга, но не могли соединиться из-за недостатка денег. Люциан учился, Янина ждала. Наконец получил диплом, стал искать работу, Янина ждала. Нашел работу в Новоузенске, подписал договор с миллионерами на постройку элеватора. Повенчались и приехали в Новоузенск.

Мне было жалко обоих, но особенно Янину. Она никогда никуда не выезжала из Варшавы. Любой русский губернский город произвел бы на нее унылое впечатление. А уж попасть из Варшавы в Новоузенск, чудовищно! Природа, быт и окружение приводили ее в ужас. Хрупкая горожанка чувствовала себя как в каменном веке. Ее энергии хватало только на то, чтобы добежать до нашего дома. Янина плохо говорила по-русски, я быстро научилась понимать ее и служила переводчиком. По городу мы ходили так: левой рукой я держала Янину, а в правую брала прут. При встрече со скотиной Янина стискивала мою руку, зажимала глаза и прижималась к стене, а я прутот отгоняла встречных.

Люциан чувствовал свою вину перед молодой женой и держался заискивающе и униженно. Он мало бывал дома, неделями находился на стройке. Он купил ирландского сеттера, красавицу Пальму. Пальма охраняла хозяйку дома и изредка ходила с хозяином на охоту.

Одинокие вечера Янина проводила у нас или забирала меня к себе, и мы вместе писали, я акварелью, Янина маслом. Иногда обе лепили. Я из пластилина, она из глины.

С питанием у Шиманских тоже не ладилось. Местная стряпуха кормила их только бараниной с картошкой, отчего оба заболели. Мама пожалела Шиманских и стала готовить им обеды.

Янина болезненно относилась к мухам. Однажды она прибежала к нам в совершенной панике и просила помочь. От волнения говорила по-польски, и мы ничего не поняли. Поняли только, что что-то случилось в доме. В ее квартире было черно от мух, стоял гул от жужжания. Мы начали выгонять их, а Янина Ипполитовна ходила за нами и объясняла. Желая избавиться от мух, она решила накормить их досыта. Покушают и улетят в свой дом, объясняла она. Сварила крепкий бульон и, разлив по тарелкам, расставила на столе и распахнутых окнах. Мухи кушали, а в свой дом возвращаться не собирались. Их становилось все больше и больше, и гостеприимной хозяйке пришлось бежать.

Мама хохотала — анекдот! А я даже не улыбалась, мне было жалко Янину Ипполитовну. Пан Альберт избавил Шиманских от мух, сделав сетки на окна.

Янина так тосковала, что Люциан выписал из Варшавы ее пианино. Оно пришло в таком виде, что Янина разрыдалась. Опять помог пан Альберт. Отремонтировал и настроил. Оказалось, что пан Альберт неплохой музыкант. По вечерам они с Яниной устраивали концерты.

С Шиманскими мы познакомились у судьи. Городской судья, холостяк и чудак, считал себя хозяином города и завел обычай всех вновь приезжающих в первую очередь принимать у себя. Приглашалась вся приезжая интеллигенция, и происходило знакомство. Шиманские приехали немногим раньше нас и тоже еще не были представлены всем.

Высший свет города Новоузенска делился на два кружка: либеральный — группировался вокруг судьи, в реакционном — председательствовала начальница женской гимназии.

Мне этот прием показался блестящим! Народу тьма! Приглашенные приезжали семьями, как у Лариных, с грудными на руках. Хозяин — веселый тучный хлебосол. Столовая просторная, с распахнутой дверью на открытую террасу, выходящую в небольшой тенистый садик. В садике плетеные кресла и такие же столики, уставленные сластями. Это было как бы продолжением столовой. Массивный стол, человек на пятьдесят, ломился от всякой всячины. Больше всего мне запомнились вычурные лакированные корзины, полные фруктов, и огромное количество бутылок разной формы и величины. Их содержимое отсвечивало рубином и золотом, и на белоснежной скатерти прыгали разноцветные зайчики.

Компания встречалась не в первый раз, все друг друга знали. Папа тоже был со всеми знаком. Новичками были Шиманские и мы. Не могу судить о нас, но Шиманские резко отличались от остальной публики. Люциан — тонкий нежный блондин, очень красивый, с белой девичьей кожей. Держался изысканно, чуть нервозно. Янина не блистала красотой, она была бесцветна. Но очень изящна и строго-спокойна. Оба были не первой молодости. В обоих чувствовалось увядание, в ней сильнее.

В тот год в моде были цветастые яркие платья с воланами из прозрачных тканей на плотных чехлах. Прически пышные, с валиком надо лбом. Все дамы были одеты по моде. День был, как и все лето, знойный, вечер душный.

После обильного обеда, дамы выглядели не изящно. Прически растрепались, платья потемнели от пота. Свежими оставались Янина и мама. Янина в гладком костюме из серебристой рогожки, с темными волосами на прямой пробор, бараночками уложенными на ушах. Мама в прямом платье из сурового полотна, отделанного синей вышивкой, с короткими вьющимися волосами. От жары ее каштановые локоны сильнее закудрявились.

Я рассматривала Янину, не отрываясь. Мама потянула меня в уголок и спросила:

— Тебе понравилась Шиманская?

Я прижалась к маме и в самое ухо шепнула:

— Стиль модерн, — и сама страшно смутилась. Я не знала, что такое стиль модерн, но часто слышала это дома и интуитивно угадывала, что это что-то непохожее на обычное.

На этом приеме было отмечено, что город обогатился двумя интересными женщинами — нашей мамой и пани Шиманской.

Эйрихи не были приезжими, но и не совсем местными. Оба, муж и жена, уроженцы колонии, обосновались в городе недавно.

Немцы-колонисты жили в этих местах со времен Екатерины II. Жили обособленно, не смешиваясь с местным населением, не говорили по-русски. Жили богато. Имели огромные земельные наделы, разводили тонкорунных овец, сбивали шерсть. Выращивали и делали горчицу. Занимались молочным хозяйством. Ткали сарпинку. Чудесный материал, баснословно дешевый. Сарпинка была двух сортов, простая — шелковистая легкая ткань светлых тонов в полоску или клеточку, 9 копеек аршин — и крученая — темная, очень плотная, похожая на шерсть, 14 копеек аршин. Крученая шла, главным образом, на мужскую одежду.

В окрестностях Новоузенска было много немецких поселков. Держались немцы высокомерно, общались с населением только на базаре, сбывая свои товары.

Эйрих Давид Давидович не имел своего дела, он был инженер, служил

в земстве. И жили Эйрихи не в немецкой части, а в русской. И дети их, Володя и Женя, учились в русской школе. Давид Давидович открыто осуждал немцев за обособленность, высокомерие, косность. Не бывал в немецком квартале, вел дружбу с русскими. Знал, что немцы его презирают, но подсмеивался над этим. За свободомыслие отца расплачивались юные Эйрихи. Немецкие школьники жестоко били братьев, если встречали их близ своих кварталов. Давид Давидович подбадривал сыновей. Говорил, что борцы за идею всегда страдают.

Папа любил Эйрихов и, пока жил один, столовался у них.

Шарлотта Яковлевна и Берта вели хозяйство. Папа, умевший очаровывать женщин, пленил обеих. Мать и дочь одинаково восторгались папой.

Наружность у Эйрихов привлекательная. Отец и сыновья стройны, легки и рыжеваты. Мать и дочь темноволосые, пухлые и нежны. Но у всех пятерых отсутствовали рты. Вместо ртов небольшие щели, вместо губ — ниточки, да еще благопристойно поджатые. До встречи с Эйрихами я не знала, что люблю рты, не понимала, сколько выражения придают губы. Увидав пять безгубых голов, я насторожилась и замкнулась. И не смогла преодолеть недоверия. Мое отношение передалось братьям, и мы не смогли сблизиться с Эйрихами так, как того хотел папа. Многие в их семье нам было дико. Немецкий характер оказался сильнее убеждений.

У Эйрихов был собственный небольшой домик, корова, лошадь, куры, утки, кролики, овцы, голуби, огород, ягодник. Кроме Шарлотты Яковлевны и Берты в хозяйстве помогали батраки — парень и девушка, тоже немцы. Всю неделю Эйрихи вместо чая пили "солодик" (лакрицу), который выкапывали в степи. Заваренный не очень крепко, он окрашивал воду в желтоватый цвет и придавал сладкий вкус, что, по мнению Шарлотты Яковлевны, вполне заменяло чай и сахар. Настоящие чай и сахар разрешали себе только по воскресеньям, а всю неделю невыгодно, объясняла Шарлотта Яковлевна. У Берты была отдельная комната. Хозяйева любили ее показывать. Маленькая, нежно-голубая, похожая на пасхальное яичко. Тюлевые шторы, туалетный столик, кокетливая кровать, покрытая голубым атласом. На стене распятие и пальмовая ветка.

Я восторгалась и завидовала Берте. Но оказалось, что Берта никогда не спала в этой комнате. Летом девочка спала в старом тарантасе во дворе, а зимой — в кухне на печке.

Берте исполнилось 13 лет. Более скучного человека я в своей жизни не встречала. Она не умела играть и никогда ничего не читала. Если не занималась по хозяйству, то готовила себе приданое — вязала кружева, вышивала полотенца, наволочки. Когда спрашивали, почему Берта не учится, Давид Давидович отвечал, мать считает, что дальнейшее образование Берте не нужно. Она грамотна, и ей необходимо только изучить ведение домашнего хозяйства.

Тогда, в десятилетнем возрасте, мне казалось это унижительным, и я старалась выведать у Берты, почему она не протестует. Но она только хлопала глазами и абсолютно не понимала, о чем я говорю.

Володя и Женя Эйрихи были немного старше моих братьев. Очень дружные, всегда чистенькие, они поражали нас своей рассудительностью. Прежде, чем начать любую игру, братья справлялись — она пристойна? Мы становились в тупик, не зная, что ответить. В нашем лексиконе вообще не было такого слова. Я пыталась уяснить, что для них пристойно, а что нет? Оказалось, что почти все наши любимые игры непристойны. А пристойно играть так, чтобы не запачкать костюм, не поцарапать обувь, не вспотеть и растрепать прическу. От одного этого становилось скучно. Единственно, в чем мы поддерживали братьев Эйрихов, — колотили немецких мальчишек. Знакомство поддерживалось по обязанности: приглашали друг друга на елки и другие семейные праздники. Нас смешило, как мальчики Эйрихи приглашали нас на день рождения. Приходили вдвоем, и старший Володя — протягивал незапечатанный конверт. Там на красивой бумаге, четким почерком с затейливыми завитушками значилось: "Маша, Юра и Ярик! Приходите к нам такого-то числа и в

таком-то часу попить стаканчик чаю". Володя чинно ждал, пока мы прочитаем. А Женя — младший — добавлял — и приносите подарок. В течение трех лет форма приглашения ни разу ничем не оживилась. Скука на этих праздниках была смертная. Гостей принимали в зале. Все чинно сидели вдоль стен. В середине, на круглом, под плюшевой скатертью столе, разложены подарки. Их можно было только разглядывать глазами, а трогать руками нельзя.

Шарлотта Яковлевна, в кружевном крахмальном чепце, на подносе вносила угощение: мятные и медовые пряники, домашнее печенье и по полстакана жидкого чая. Берта каждому гостю стелила на колени белоснежную крахмальную салфетку и подавала его порцию. Пока гости медленно отпивали тепловатый чай жевали кукены и пряники, Шарлотта Яковлевна заводила музыкальную шкатулку. Она пицала не громче будильника. На лиловом бархате, в такт тягучей мелодии, раскачивались маленькие фигурки в старомодных костюмах — дамы и кавалеры — две пары. Мелодия кончалась, фигурки замирали, шкатулка захлопывалась, праздник кончался.

Гости благодарили хозяев и друг друга. Для меня эти праздники были настоящим мучением. Всегда подводил Ярополк. Идя к Эйрихам, он давал нам слово, что терпеливо и "пристойно" выдержит весь визит, и всегда срывался. Пряники сравнивал с камнями, чай с лекарством, музыку с комариным писком. А однажды ляпнул — не стоило приходить. На похоронах, наверное, веселее.

Наша улица

Наша улица, официально "Садовая", всему городу была известна как "Кривая". Народ всегда дает более точные названия. Почему Садовая? Если не только садов, но даже ни одного дерева на всей улице не было. А Кривая оправданно, она шла по берегу Калача, охватывая его полудугой.

Зады дворов спускались к пруду. У каждого двора были свои мостки, возле них замачивались бочки, кадушки, дуги, телеги. С мостков полоскали мешки и тряпье, хорошее белье в Калаче не стирали. Крутой берег зарос мощным бурьяном. Лопухи и крапива достигали размера небольших деревьев. От стоячей воды шел тяжелый тухлый запах. Мы были очень рады, что наш двор находился в этом порядке. Противоположная сторона казалась нам скучной, там дворы были самые обыкновенные. А мама огорчалась. Снимая квартиру, она не обратила внимания на близость Калача, и по вечерам запах гнили проникал в комнаты.

Население Кривой — православные и бедные — мастеровые, мелкие служащие. На всей улице два богача — Егоров и Котин — наш хозяин. Домом Егорова Кривая начиналась, домом Котина — кончалась. Оба дома красивые, двухэтажные, расположены на одной стороне. Поэтому на нашей стороне был кирпичный тротуар и горели четыре фонаря: два у усадьбы Егорова, два у Котина. Противоположная сторона, сплошь из одноэтажных домишек, ни фонарей, ни тротуара не имела.

Мы любили смотреть, как в сумерки согнутый старичок шел с лестницей через плечо, медленно, шаркая, от фонаря к фонарю, и за ним вспыхивали четыре яркие точки. А еще любили следить за караульщиком, который ходил тоже только по нашей стороне, он бил в деревянную колотушку. Летом караульщик появлялся в стеганом киргизском халате, а зимой — в огромном тулупе.

Улица кишела ребятами. Население Кривой садов не имело, юные горожане с весны до осени жили на улице. Даже ночью никто не пользовался домом: спали на плоских крышах мазанок или просто во дворах на земле. Наше появление взволновало молодежь Кривой. Долгое время крыльцо нашего дома было окружено толпой ребят. Они разглядывали нас молча. Сплошь мальчишки, девочек почти не было. Позднее мы узнали, что девочкам бегать по улицам не полагалось. Только в

праздник они выходили посидеть у дома. Среди мальчишек находились юные няньки, пестовавшие малолетних братьев. Детвора была поражена нашей одеждой. Трусы, носки и майки братьев вызвали недоумение, а мой костюм всех смущал. Мама одевала меня в очень короткие шаровары и яркие рубашечки с открытым воротом без рукавов. Волосы на темени завязывались бантом. В таком виде я ходила все лето. Платья одевались только в официальных случаях.

Новоузенцы тело не обнажали. Мальчики лет с двух носили штаны до пят, которые держались на одной лямке через плечо. Рубашки-косоворотки обязательно с длинными рукавами. Головы прикрывали картузами или кепками. У девочек — прямые платья с длинной оборкой на подоле, фартук и платок.

Соседки осуждали маму за то, что она разрешает нам ходить с открытыми головами. Теперь уж не помню, что их больше волновало, правила приличия или гигиена. Помню, что об их платках и картузах мама говорила — вшей парят!

Сначала новые знакомые с нами не разговаривали, на вопросы не отвечали, но ни на шаг от нас не отступали. Куда же мама нас ни послала, мы шли, окруженные толпой. Потом начали дразнить. Дразнили не зло и не обидно, но назойливо. Например, утверждали, что наша мама из жадности не одевает нас в длинную одежду, экономит на материале. Нас это сместило.

Грозой улицы был Шиндяй. Шиндяем пугали, Шиндяем грозили. Страшная кара постигала тех, кто провел время с Шиндяем. Шиндяя иначе называли: отпетый, белоглазый, ворюга. Ежедневно обсуждали Шиндяевы преступления. Соседки наперебой предостерегали маму, советуя беречь нас от Шиндяя.

Мама заинтересовалась грозной фигурой, мы, конечно, тоже. Долго не удавалось его увидеть. Знакомство произошло неожиданно и на всю жизнь осталось уроком — не доверять молве.

В конце лета, когда мы уже крепко сдружились со всей уличной компанией, на дворе появился незнакомый паренек. Дело было под вечер. Мама на галерее жарила пирожки с яблоками к ужину. Сдобный запах разносился далеко. Мы с друзьями сидели на ступенях крыльца, и мама щедро оделяла нас горячими пирожками. В этот момент и появился незнакомец. Удивленно и робко смотрел он на ребят, жующих сладкие пирожки.

Появилась мама с новой порцией и начала быстро оделять протянутые руки. Незнакомец тоже потянулся за пирожком, но мама отдернула тарелку и возмущенно воскликнула:

— В такую лапу? Да ты с ума сошел? Не рука, а зараза!

Мальчик сконфузился, насупился и продолжал стоять. Видно было, что ему до смерти хотелось пирожка. Мама, предложив помыть руки, увела его в кухню. Он, войдя во вкус, долго плескался. Вышел влажный, неся два пирожка.

Мы уже знали, что это сам Шиндяй! Я пристально разглядывала его. Ему было лет 12-13. Высокий, ломкий, очень худой — одет в настоящее отрепье, заплата на заплате, от грязи нельзя определить цвета. Голова в лишаях, на ушах запекшиеся болячки. Лицо серо-землистое, обветренное, в ссадинах и прозрачные серо-голубые глаза, очень блестящие. Вот почему "белоглазый", догадалась я. Мама посмотрела, как Шиндяй ел пирожки, и поставила ему на колени тарелку с пловом. Он удивленно взглянул на маму и молча съел. Поставил пустую тарелку на крыльцо и ушел. За весь визит не произнес ни слова.

Мама сказала, что не верит рассказам о Шиндяе, не верит, что он преступник. Постарается выяснить, почему он такой запущенный и голодный. В первый раз я была у Шиндяев вместе с мамой, а потом несколько раз ходила одна.

Колька жил вдвоем с матерью, Шиндяихой. Жили они на задах у Таракановых, недалеко от нас, в самом начале "Мещан". Наш дом был

последним на Кривой. Улица продолжалась дальше, огибая весь Калач, но это уже был не город, а предместье — Мещане. В Мещанах была всего одна улица. Дома только саманные, разбросанные как попало, то боком, то задами, номеров не было. Их знали по именам владельцев или по приметам. В Мещанах ютилась беднота. Состав жителей был текучий. Внезапно со степи наезжали какие-то люди, поселялись в мазанках, некоторое время жили и так же внезапно исчезали. Но были и старожилы, которых все знали и побаивались. Темная слава окружала их. По воскресеньям и в праздники городские парни и молодые мужики шли стенкой на "мещан".

Побоища происходили как раз за нашим домом, на небольшом пустыре между городом и "мещанами".

Как только раздавался боевой клич: Э, э, давай! давай! — мы неслись домой, усаживались на подоконники и чувствовали себя как в ложе.

Бедная мама! Как она перепугалась, когда в первый раз увидела это варварское развлечение. Она металась, не зная, что предпринять, как прекратить кровопролитие! Долго не верила, что это не драка, а игра. Поле боя было почти под нашими окнами, чуть в стороне. Мы видели оба лагеря.

Вначале бойцы раззадоривали себя выкриками и было шумно. А когда входили в азарт, наступала тишина, и только раздавались шлепки и хриплое дыхание. На почтительном расстоянии от дерущихся стояли внимательные зрители. Они не пропускали ни одной детали, громко обсуждая все положения. Брызгала кровь, падали тела, их оттаскивали в сторону.

Мы спросили папу — на таком побоище дрался купец Калашников?

И папа ответил, что русские мужики 400 лет развлекаются кулачным боем, что продолжаться это будет до тех пор, пока не уничтожат самодержавие.

На противоположном конце города было еще одно предместье, называвшееся "Кордон". От Мещан оно отличалось тем, что там жили какие-то совершенно черные люди, смуглые брюнеты, их называли "итальянцами". Кто они были на самом деле, не знаю.

"Итальянцы" были бахчевниками, снабжали город арбузами, баклажанами и сладкими перцами. От кулачных боев кордонцы уклонялись, и за это их презирали все.

Анну Тараканову знал весь город, и все побаивались. За глаза называли Тараканихой. В Мещанах у нее была большая усадьба, перешедшая от родителей.

Густо застроенная мазанками всех видов, нафаршированная самой отчаянной беднотой. Тараканиха без стеснения сдавала любой закуток. Она покупала краденое, давала деньги под залог и в любое время суток снабжала водкой. Грузная, меднолицая, она сначала оглядела нас с мамой и указала, как пройти к Шиндяям. Они жили в крохотной мазанке под одной крышей со свинным хлевом. Каждое движение соседки — вздохи, чавканье и прочее — было слышно у Шиндяев. В помещении было сумеречно, маленькое оконце под потолком освещало плохо. Стены и пол были липкими. Обстановки не было. У глухой стены нары с кучей тряпья. Под окном из досок сколочено подобие стола и два перевернутых ящика.

Колька вспыхнул, увидев нас, оглядел зло и убежал. А Шиндяиха, мама узнала, что ее зовут Верой, — заметалась, засуетилась, и никакого разговора не получилось. Мама спрашивала, — чем конкретно можно помочь? — а Вера начинала на кого-то жаловаться, кого-то обвинять, сама себя перебивала, принималась плакать. Вдруг бросилась благодарить маму, пыталась поцеловать ей руку. Ничего не выяснив и ничего не поняв, мама оставила Вере рублевку, и мы ушли.

Разговаривая с Верой, мама сидела на ящике, а я стояла, боясь к чему-нибудь прикоснуться. Я впервые видела подобную обстановку и

была до крайности удивлена. Больше всего мне хотелось поскорее уйти. Меня мучило от сладковатой вони. Как они здесь едят? Спят?

Веру я разглядела. Она оказалась молодой и красивой. Только очень исхудалой и грязной. Я заметила расчесы на шее, гниды на висках и коричневые ноги. Наши родители хотели помочь этой семье и ничего не смогли сделать. Вера была в какой-то зависимости у Тараканихи. Вера работала мойщицей витрин в двух больших магазинах, половину заработка отдавала Тараканихе.

Мама пыталась одеть Веру, все мамины вещи оказывались у Тараканихи. А с Колькой было еще труднее. Он оказался гордым, милостыни не принимал. Да еще после нашего визита стал нас избегать.

При встречах на улице переходил на другую сторону, на вопросы не отвечал. Мама узнала, что Вера страдала запоями, после запоев болела. Лежала с перевязанной головой, с черными запавшими глазами. Колька ухаживал за матерью, кормил ее и в это время воровал. Воровал виртуозно и вообще был очень ловок. Поймать с поличным его не удавалось.

Положение изменилось неожиданно, после бурного разговора с ребятами. Приятели вдруг снова принялись дразнить нас. Я крикнула — хватит, надоело! А рассудительная Тонечка, няньчившая годовалого братишку, строго заметила: "Нельзя дразнить, бог накажет!" Юра презрительно фыркнул и сказал:

— При чем тут бог? Просто противно. А бога вообще никакого нет.

Мгновенно наступила тишина. Лица ребят вытянулись, и все уставились на нас.

— Как нет? — раздался робкий голос. — А там что? — и рука указала на небо.

— Атмосфера, — невозмутимо ответил Ярка.

— Че-го-о-о? — оторопело произнесло несколько голосов.

— Атмосфера, воздух, — пояснила я.

Опять какое-то время стояла тишина, потом посыпались вопросы. Обсудили все: царя и царское семейство. Бога, ангелов и всех святых. Батюшку из собора. Городового на базарной площади. Монахинь из женской обители и всех городских миллионеров. Спорили азартно. Но мы твердо отстаивали свои убеждения. Сбить нас не удалось. В рай мы не верили, ада не боялись. Царя презирали и доказывали, что он будет свергнут в самое ближайшее время.

В конце спора всей оравой ввалились в квартиру, чтобы показать, что живем без икон и бог нас не наказывает. В квартире ребята мгновенно позабыли про иконы и занялись глобусом, большим бюстом Л.Н. Толстого, кокосовым орехом и пепельницами из морских раковин.

На следующий день после этого спора во двор решительно вошел Шиндяй и, оттеснив меня плечом от ребят, коротко бросил:

— Иди за мной! — я покорно пошла. Вышли на зады и остановились в бурьяне. Шиндяй наклонился надо мной и шепотом спросил:

— Ты говорила, что бога нет?

— Да.

— Говорила, что царя скоро свергнут?

— Да.

— Говорила, что ни бедных, ни богатых не будет?

— Да.

— И что все будут равны.

— Да.

Шиндяй смотрел на меня пытливо и был взволнован: "Откуда ты все это знаешь?" Я посмотрела ему в глаза и спокойно ответила:

— Мы все это знаем, и мама, и папа, и все наши знакомые.

Шиндяй ничего больше не сказал. Постоял молча и ушел. А я вернулась к ребятам.

Вскоре Колька опять так же решительно появился и уже всем нам троим приказал идти за ним. На улице он распорядился, чтобы мы шли

по противоположной стороне. Он шел к базарной площади и часто на нас оглядывался. А мы гадали, куда и зачем он нас ведет?

На базаре Колька к нам присоединился. И пройдя магазины и лабазы, подвел к лоткам. Здесь торговали кустари. Товар яркий, веселый, грошовый. Колька оглядел эту роскошь и предложил нам выбрать себе все, что нравится. Мы несколько раз обошли все лотки. Торговцы нас соблазняли, размахивая зелено-желтыми змеями и свистя в глиняных петушков. На Кольку косились. Гувернер явно не нравился.

Наконец выбрали: Юра — пугач с пистонами, Ярополк — губную гармошку, я — двух розовых глиняных голышей. Они стали моими близнецами — Петей и Павликом.

Дома был страшный скандал. Мама, узнав, что подарки от Шиндяя, долго нас стыдила. Особенно меня. Ведь я знала, что у Кольки деньги только ворованные? Как же я могла принять такие подарки? Я мрачно молчала. Первый раз в жизни я видела, что мама не права, но объяснить всю сложность ситуации не умела. Я вспомнила, что Колька, оделив нас игрушками, повел в Рошу. Пыльный садик с двумя десятками полуза-сохших деревьев, отделявший город от Кордона.

Там, усевшись на валу, он дал нам по длинной конфетине и велел есть. Конфеты, серовато-зеленые, разрисованные красными полосами, пахли тухлым и вязли во рту. Мне было противно, но я не подала виду и доела до конца. Братья тоже. Колька смотрел на нас влажными глазами и, не выдержав, погладил Ярку по голове. Мы не разговаривали. Перекидывались незначительными словами. Колька сиял. Взглядывал на меня, на Юру и не мог сдержать улыбку. Он впервые чувствовал себя человеком и одаривал новых друзей. Не важно, что кутеж был устроен на ворованные деньги. Ничего этого рассказать маме я не умела и потому подавленно молчала. Но когда мама сказала, чтобы мы вернули Кольке подарки, я категорически отказалась. Заявила, что этого делать нельзя. Мне не жалко было игрушки и братьям тоже, но мы понимали, что смертельно обидим Кольку.

Мы горячо и путанно умоляли маму не унижать Кольку. И мама, уловив что-то в наших мольбах, оставила подарки. Колька стал ежедневно бывать у нас. Мама придумала ему работу. Мелко колоть дрова для плиты. За работу кроме денег кормила обедом. Работал Колька добросовестно. Меня он уважал, но стеснялся. С братьями чувствовал себя проще. Он признался, что почти неграмотен. Вывески едва разбирает, а писать умеет только нецензурные слова. Братья с жаром принялись за обучение.

Юра перешел во второй класс, а Ярка вообще еще не учился, но оба бегло читали и свободно писали.

Колька жадно учился. Заставлял учителей писать мелом на стенах мазанок, палкой на земле. Мама осторожно, чтобы не отпугнуть ученика, включилась в обучение, и за зиму Колька хорошо освоил чтение. Ему нравились наши книги.

Летом 1913 года, когда в квартире был ремонт и все книги вынесли в сарай, а мы уехали на дачу на берег Узень, ключ от сарая папа передал Кольке. Котин, наш хозяин, был возмущен папиной доверчивостью. Он говорил:

— Это, извиняюсь, сущее ротозейство.— Но папа настоял на своем.

Котины занимали низ своего дома. Низ был немного больше верха. К нему примыкала одноэтажная длинная пристройка. На нашу галерею доносились визги, рычание — это ругались многочисленные братья и сестры Котина. У них был неделинный капитал, и они с утра до вечера попрекали друг друга. Незамужние сестры боялись засидеться в девках, холостые братья — упустить выгодных невест. А старший брат, опекун, совершая крупные коммерческие операции, не мог дробить капитал.

Котин обуздывал семейство грозными окриками: Приказывал ругаться потише, не беспокоить нас. К нам Котин относился с нескрываемым любопытством. Ему льстило, что в его доме живут "чистые" господа, не связанные ни с землей, ни с торговлей, ни со скотиной. Льстило, что

нас посещают уважаемые люди — судья, врач, инженер, Егоров — хозяин лучшего гастрономического магазина. Изумляла корреспонденция. Никто в городе не получал такого количества писем. Письма приходили из самого Санкт-Петербурга! А наше поведение вызывало беспокойство.

Когда он в первый раз выгнал Шиндя со двора, а мама попросила никогда больше этого не делать, он попытался открыть ей глаза:

— Сударыня, разве вам не известно, что этот прохвост незаконно-рожденный?

А мама спокойно ответила:

— Он в этом не виноват.

Осень

В середине августа мы с Юрой вспомнили о школе и пошли посмотреть, где будем учиться. И как я огорчилась, узнав, что школы у нас разные. В городе была одна женская гимназия, одно реальное училище и одна четырехклассная школа, где обучение велось отдельно. Даже знания были на большом расстоянии друг от друга.

В Самаре мы учились в частной женской гимназии. При ней была подготовительная школа, где до четвертого класса девочки и мальчики учились вместе. Мы привыкли ходить и возвращаться вместе. Встречаться на каждой перемене. Всегда находились важные новости, которыми необходимо обменяться. А теперь предстояло весь день проводить врозь!

Я была худая, длинноногая, всегда чем-то взволнованная.

Юра — подтянутый, вежливый и очень азартный. Если он чем-нибудь увлекался, то забывал все окружающее.

Юрка — пухлый, медлительный, томный. Он больше всего ценил собственный покой. Склонить его на какое-нибудь рискованное предприятие было очень трудно. Он предпочитал издали наблюдать за нашими проделками.

Юра с младенчества был чуток к страданиям живых существ. В раннем детстве он отлеплял от липкой бумаги жужжащих мух, обмывал их лапки и крылышки. Теперь прикармливал бездомных собак и кошек. Совершенно не переносил издевательств над слабыми. Вступал в драку с обидчиками, не рассчитывая своих сил. На улице за ним плелись отошавшие псы и еле живые котятки.

На нашей улице жила Тоня-дурочка. Упитанная, краснощекая девочка — слабоумная. Ребята дружно над ней издевались. Юра горячезащитил ее. Она так привязалась к Юре, что ходила за ним, как тень. Его дразнили. Особенно туго ему было в школе. Тоня приходила во время занятий и ожидала Юру. Мальчишки окружали их, издевались, угрожали. Юра мужественно защищал дурочку. Всегда умел утешить ее, развеселить. Выпрашивал у меня какую-нибудь ленточку или картинку, чтобы подарить ей.

Начались занятия. Домой я вернулась мрачная. Мне очень не понравился мой класс. Девочки показались тетками. Огромные, раскормленные, тупые. Они начали рассматривать меня. Вслух обсуждали мое платье до колен, рейтузы, бант. Не верили ни одному моему слову. Не верили, что мы приехали из Самары, а до Самары жили в Петербурге. Сами спрашивали и на все мои ответы говорили: да будя врать-то!

Мама меня утешала, советовала не судить по первому впечатлению, присмотреться повнимательнее. И она оказалась права. Очень скоро я сблизилась с двумя сестрами Помельцовыми.

Они были близнецами совершенно разными. Они даже не походили на сестер. Марфа казалась намного старше Ефросиньи. Марфа, или Мара, не бросалась в глаза, была очень бледна. Евфросинья, или Тося, была намного ярче. А приглядевшись, видно было, что Мара — красавица, а Тося — просто хорошенькая. Мара светловолосая, с прозрачными зелеными глазами, с овальным лицом и гордо посаженной головой. И бледность оказывалась не бледностью, а необыкновенной белизной. У нее просве-

чивали ноздри, уши и веки. Маленькие губы бледно-розовые. Когда Мара волновалась или смеялась, она розовела вся, а потом медленно тухла. Смеялась она редко. Была серьезна, строга и рассудительна.

Тося — сероглазая, круглолицая, смуглая, с черной головкой — была вертлява и смешлива. К Маре она относилась как младшая к старшей. Слушалась, спрашивала совета, сама никогда ничего не решала. На уроках ничего не запоминала, надеясь на Мару.

Через месяц после начала ученья учительница вызвала маму и сказала, что в классе мне нечего делать. Если меня подготовить по арифметике и грамматике, я могу поступать в гимназию. Помельцовых тоже решили готовить в гимназию. Заниматься с нами стала молоденькая тетка Помельцовых, сестра их матери.

Вместо школы мы стали ходить к Валентине Васильевне. Это еще больше сблизило нас.

А папу с отцом девочек сблизило совсем пустяковое обстоятельство. Знакомясь на каком-то собрании с немолодым мрачным человеком, папа назвался:

— Семенов, Александр Кондратьевич, — и услышал.

— Помельцов, Кондратий Александрович, — мужчины взглянули друг на друга и рассмеялись. При встречах начали улыбаться, перебрасываться словами и незаметно подружились. Дружба была своеобразная. В домах друг у друга не бывали. Встречались только на нейтральной почве. Чаще всего гуляли вместе.

Помельцов, хозяин единственного в городе магазина сукон и шелка, пережил, да и теперь переживал тяжелую драму. Он происходил из старинного рода старообрядцев. В молодости полюбил православную девушку, Зою Васильевну. Родители не разрешили брак. И женили молодого Кондратия на облюбленной ими невесте-старообрядке. Кондратий подчинился, но жену не любил. У молодых родилась дочь Алевтина. Брак был невеселый, нелюбимая жена тосковала, прихварывала и умерла, оставив семилетнюю дочь.

Помельцов принял православие и женился на Зое Васильевне. Родители умершей жены, родственники Помельцова и все старообрядцы, объединившись, затеяли против него процесс. О лишении прав отцовства и прав на капитал жены. Пять лет боролся Помельцов за дочь. Истрепал нервы и почти разорился. Старообрядцы оказались сильнее, а главное — состоятельнее, они выиграли. Алевтине шел двенадцатый год, когда ее отобрали у отца. Девочку увезли к опекунам в Петербург. Капитал матери переходил к Алевтине по ее совершеннолетию.

Помельцов совершенно порвал с бывшими единоверцами и не сошелся с новыми. Он ненавидел всех церковников. Первое время ему с женой было туго, он был разорен. С большим трудом оправился, занявшись торговлей сукном.

Вскоре родились близнецы, и новое несчастье придавило Помельцова. После родов у Зои Васильевны отнялись ноги. Она лежит одиннадцатый год. Бывшие единоверцы открыто радовались несчастью, всюду крича о божей каре. Господь бог все видит и карает вероотступников!

Папа спрашивал Кондратия Александровича, почему он остается в Новоузенске? Почему не переедет куда-нибудь? Помельцов объяснял это своей косностью, боязнью оторваться от насиженного места. И невозможностью оставить сад.

Сад Помельцова походил на волшебную сказку. Там было все, как в садах Черномора. Лично мне он не нравился. Я смеялась, разглядывая водопадики, фонтаны, бронзовые клетки с заморскими птицами. Букетами подобранные клумбы. Фантастически подстриженные деревья. Гроты, горки, ажурные беседки. Меня корбила эта искусственность. А. Янину Ипполитовну это восхищало. Она стала ездить в сад писать с натуры.

Папа понял, что Кондратий Александрович — большой патриот новоузенской природы. Он восхищался богатством края. Часто повторял — воды, воды, оросить бы эти земли! Он был уверен, что вода и ил Узенья

целебны. Что на орошенных землях можно выращивать тонкие культуры вроде чая и риса.

Папа соглашался с Помельцовым, и они вместе мечтали о прекрасном будущем.

Алевтина, достигнув совершеннолетия, стала владелицей большого состояния. Обвенчавшись с обнищавшим дворянином Грохольским, она освободилась от власти опекунов, а заодно и от всех родственников-старообрядцев. Брак был коммерческой сделкой. Алевтине нужна была свобода, Грохольскому — деньги. Получив после венца оговоренную сумму, Грохольский исчез. Алевтина вернулась в Новоузенск.

От встречи с отцом она уклонилась. Жила в городе два года, ни с кем не общаясь.

Все эти подробности о семейных делах Помельцовых мы узнали только в следующем, 1913 году. А в год приезда видели дом Алевтины, да изредка ее, пролетающей на тройке.

Зато о поведении молодой Помельцовой слышали в первые дни. О ней говорил весь город. Говорили с таким же ужасом, как о Шиндяе на нашей улице. Роскошный дом Помельцовой, между городом и Рошей располагался на обширном пустыре.

Когда мы увидели, мама ахнула и спросила у папы, что это такое? А папа, ухмыльнувшись, ответил — жилище здешней царицы Тамары. Мама подозрительно оглядела папу и потребовала подробностей. Он ответил, что никаких подробностей сам не знает. Знает только, что хозяйка молода, хороша и эксцентрична.

Дом из необтесанного серого камня с полированным красным гранитом представлял смесь замка с теремом. Был пышен и нелеп и совершенно не вязался с окружающим пейзажем. С одной стороны плоские мазанки, с другой — каменные лабазы. Высокая стена из серого камня окружала всю усадьбу. Алевтина приехала в город, когда дом был готов. Строил его петербургский архитектор.

Вскоре мы сами стали свидетелями поведения Помельцовой. Она ни у кого не бывала. Пешком не ходила. Ездил парой или тройкой, всегда вскачь, поднимая тучу пыли. Часто к ней приезжали гости — шумные военные, яркие звонкоголосые дамы. Вся компания скакала на нескольких тройках. У Помельцовой где-то в степи был хутор, и все исчезали туда. Помельцова явно дразнила горожан.

Во время торжественных служб в соборе — устраивались настоящие скачки с гиканьем, свистом, песнями.

В постные дни из ее дома неслись запахи жареного мяса, сдобного теста.

Недалеко от базара была биржа легковых и ломовых извозчиков. Иногда Алевтина нанимала их всех на весь день. Загружала "итальянцами" и устраивала дикое катание. "Итальянцы" рассаживались семьями с детьми и собаками. Орали, били в бубны, пищали в дудки. Встречная скотина шарахалась, прохожие прятались во дворы. Старообрядки крестились и плевались. Город на весь день оставался без транспорта. Никто не решался обуздать дворянку Грохольскую, миллионершу.

Кондратия Александровича огорчало поведение дочери. Он говорил папе, что боится за Алю, ожидает мести горожан.

Алевтина ни на кого не обращала внимания. У нее был преданный раб, ее кучер, горячие лошади и замок с литыми чугунными воротами, всегда наглухо запертыми.

В середине сентября возвращались владельцы садов. Город оживился. Дом за домом открывал ставни и распахивал ворота. В каждый двор въезжал целый караван. Верблюды везли скотину, а лошади добро и хозяев. Важные верблюды выступали медленно, гордо поглядывая по сторонам. За их спинами, на телегах-платформах, раскачивались высокие клетки с домашней птицей. Клетки колыхались над караваном, стоял оглушительный шум. Орали гуси, куры, индейки. Неистово верещали связанные поросята.

Янина Ипполитовна перепугалась, увидев такое количество скотины. Решила, что теперь совершенно невозможно ходить по городу. Но все осталось по-прежнему.

Владельцы садов, сплошь сектанты, содержали скотину строго, не позволяли шлаться по городу.

Весь город заговорил о Покрове. По несколько раз в день мы слышали это слово. Что за "покров" — не понимали. Уличные друзья толково объяснить не могли. На "покров" они ожидали подарков и обновок, и этим еще больше разжигали наше любопытство.

Оказалось, что Покров 1 октября, престольный праздник и начало ярмарки.

Поглядывая на аршинную пыль, мама с ужасом ожидала осени. Она опасалась, что будем тонуть в липкой глине. А осень в Новоузенске была особенная. В безводном крае даже осенью не было дождей. Все лето, каждый день с восхода до заката, сияло солнце. Хмурых дней не бывало.

Дожди налетели внезапно. Короткие обильные ливни. Продолжались не больше часа, и снова сияло солнце. В конце сентября ветер из знойного стал пронизывающим. Серое небо низко нависло над почерневшей степью, горизонт стал зловеще лиловым. Потом стальным. Пыль сковало. Небо побелело, и посыпал сухой снег. Некоторое время его сдувало злым ветром. Улицы и степь стали пестрыми от белых и черных полос. Телеги и пролетки затарахтели по ухабам. Но это продолжалось недолго. Снег все сыпал и сыпал. Ветер стихал. Мороз усиливался. Скоро все стало чистым, ослепительно белым и осталось таким до весны. Город весело закрипел ползьями.

Ярмарка длилась с 1 по 10 октября.

Ярмарка! Само слово казалось нам вкусным. От него пахло то ли медовыми пряниками, то ли мочеными яблоками. Мы боялись, что мама почему-нибудь раздумает и мы не увидим ярмарку.

Наконец собрались. По самой неудобной дороге, ковыляя и подпрыгивая на ухабах, отправились на ярмарку. Ехали на двух извозчиках. На одном мама, Ирина Петровна, Борис и Ярик. На другом — Янина Ипполитовна, Марта Мейер, Юра и я.

Ярмарка располагалась за Калачом в степи, в деревянных балаганах. Еще не видя ее, мы услышали ее гул: взрывы смеха, звон бубна, писк дудок. И почуяли запах: аромат поджаренного теста. Нетерпение росло. Ярмарка оказалась большим базаром, где все товары в преувеличенных размерах. Товары нас не интересовали, и мы были в недоумении, почему столько разговоров вокруг такого будничного дела?

В проходах между балаганами было тесно, нас толкали, наступали на ноги. Кругом спины, спины, спины. У многих балаганов кривлялись зазывалы. Они выделяли диковинные штучки. Пищали в дудки, били в бубны, размахивали руками, похожими на крылья. От некоторых проделок толпа приходила в восторг и гоготала. В обжорном ряду стояли толстые торговки и в кипящем масле жарили маленькие оладьи. Пронзительными голосами соблазняли — чибрики! чибрики, горячие чибрики! Прокалывали румяные чибрики тонкими лучинками и продавали четыре штуки на копейку. Мы посмотрели, как едят, обжигая губы, сами попробовать не решились. Нам с Юрой стало скучно, мы запросились домой. Янина Ипполитовна к нам присоединилась, сказав, что это развлечение не для нее.

Как возмущился наш извозчик. Он сказал, что если бы не рядился в оба конца, ни за что бы не уехал с ярмарки. Всю дорогу нас стыдил: "капризные господа", "ндравные". Говорил, что они ярмарку целый год ждут, а мы через полчаса домой! Останавливал лошадь, оглядывал нас. Мы виновато молчали. Янина Ипполитовна прибавила "на чай", он даже не поблагодарил.

Наши вернулись к вечеру и привезли много подарков. Особенно хороши сапожки из цветной кожи, расшитые яркими лоскутами. Мягкие, как чулки, они назывались "ичиги" и походили на обувь царевичей со

старинных картин. Привезли невиданное лакомство — рожки. Твердые коричневые стручки — сладкие с медовым запахом.

Вскоре после ярмарки в комнату, где мы с мамой были вдвоем, вошел Ярополк и деловито спросил:

— Мама, мне все еще шесть лет?

Мама удивленно взглянула и ответила:

— Да, конечно.

Ярка раскрыл рот и громко заревел. Он плакал очень горько и безутешно.

Мама смеялась, утешала. Говорила, что скоро, в феврале, ему исполнится семь лет. Мне не было смешно. Я отлично поняла Ярку. Со дня нашего приезда мы узнали столько нового, что мне самой казалось, что прошло не полгода, а несколько лет. Одних новых слов — целый словарь! А сколько новых знакомств! Временами я тоже удивлялась, что мне все еще десять. Я чувствовала, что повзрослела лет на пять.

Терем — теремок

Тусклым человеком была Марта Мейер. Она прожила с нами три года, а я не запомнила ее смеха. Она поселилась у нас как только мы переехали к Котиным.

Когда выяснилось, что у нас будут обедать Шиманские и Кузьма Ильич, мама стала искать прислугу. Шарлотта Яковлевна уговорила выписать Марту Мейер. Марта — дальняя родственница Шарлотты Яковлевны, круглая сирота, жила в немецком поселке у чужих людей.

Маме нелегко было уживаться с Мартой. Она оказалась суровой помощницей. Помешанная на чистоте, она изводила нас воркотней. В свободное время Марта вязала зубчики и салфетки из белых ниток. Туго крахмалила их, они начинали блестеть и походили на ледяные узоры. Ими Марта убрала всю кухню. У нас стала не кухня, а храм для приготовления пищи. По воскресеньям Марта не работала. Утро проводила в кирке, вечера — у Эйрихов. Если по возвращении заставала беспорядок на кухне, доставала всем. Всех приходящих к нам Марта встречала первая. Совала негнущуюся лопаточку-руку и сурово докладывала:

— Марта Мейер.— Многих это смущало.

Ирину Петровну привезла мама. В конце августа мама поехала в Саратов полечить зуб и сделать кое-какие покупки. С нами остались Марта и Янина Ипполитовна. Обе не умели готовить. Всю неделю мы ели помидоры, арбузы, яйца и какао. За эту неделю Янина Ипполитовна еще больше привязалась ко мне. Я покорила ее кулинарным талантом. Мне надоела приторная еда. Я пошла на задний двор и принесла ведро шампиньонов. Очистили, помыли и под моим руководством приготовили великолепный соус.

Горожане шампиньоны не ели, считая их погаными. А в каждом дворе их росло несметное количество.

Мама вернулась, и вместе с ней в дом вошли высокая женщина и мальчик. Это были Ирина Петровна и Боря Косминские. У обоих примечательная наружность — яркая, нерусская. Черные горячие глаза монгольского разреза. Черные прямые волосы. Широкие смуглые лица. Мы с недоумением разглядывали новых людей. Мама категорически объявила:

— Косминские, пока не устроятся, проживут у нас.— Мама уступила свою спальню, сама перешла в кабинет.

Ирина Петровна оказалась чудным человеком. Первую зиму мы жили вместе. Ирина Петровна приехала преподавать физику и математику в женской гимназии. С мамой познакомилась в дороге, сразу понравились друг другу. Борису было шесть лет. Он был не по годам высок, почти с меня. Сильный, решительный и очень вежливый. Уличные ребята прозвали его "марджой" — хрупкой девочкой, за деликатность. Вначале он обиделся,

но мы заверили, что это не обидно. Мать и сын стали членами нашей семьи.

Борис обижался на свою бабушку — пензенскую помещицу. Он сказал, что они от нее сбежали. Мы решили, что его бабушка — вторая саржинская Яга и собирались ее возненавидеть. Ирина Петровна объяснила, что пензенская бабушка не Яга и что она сама ее глубоко обидела.

Отец Ирины Петровны в молодости за участие в политике был сослан в Якутскую губернию. Его родители отправили вместе с ним няню и лакея. Купили и обставили избу. Он нашел молоденькую якутку. Жил в ссылке уютно, окруженный заботой преданных людей. Развлекался обществом хорошенькой дикарки. Появились дети: Ирина и Георгий. Ирине Петровне было три года, когда амнистировали отца. У нее сохранились смутные отрывочные воспоминания о матери, о переезде в Пензу, о первой встрече с дедом и бабушкой. Она с болью рассказывала о поступке отца:

— Как щенят, забрал нас и увез. А что переживала молодая брошенная мать!

У Ирины Петровны была мечта — разыскать мать или хоть ее могилу. Георгий был грудным. В дороге его застудили. Бабушка не смогла его спасти. Осталась одна Ирина.

Отец решил вознаградить себя за тяжелую молодость, втянулся в кутежи и скоро умер. Осиротевшие старики свою любовь и заботы сосредоточили на Ирочке. У нее было хорошее детство. Она кончила пензенскую гимназию. Учительский институт.

Лето проводила с дедом и бабкой в Швейцарии, в Италии. Собирались побывать во всех европейских странах, да дед скоропостижно скончался.

Бабка, овдовев, еще больше привязалась к Ирочке. Мечтала о хорошей партии, о солидном зяте. Присматривала женихов среди соседей-дворян. Мечтала об уютной жизни в родовом доме.

А Ирина сошлась с московским студентом, большевиком, обвенчались. Студент, не окончив курса, попал в тюрьму.

Пока муж находился в тюрьме, Ирина Петровна жила у бабушки. Свою неприязнь к нелюбимому зятю бабушка перенесла на Борю. Это было особенно переносимо Ирине Петровне.

Муж умер в тюрьме. Ирина Петровна решила расстаться с бабушкой. Она ухватилась за первое попавшееся место.

У нее совершенно не было своих средств. Дорогу до Новоузенска и на устройство на новом месте — все оплатила бабушка. Ирина Петровна мучилась, представляя, как тоскует бабушка, оставшись одна. Часто писала ей. Заставляла писать Бориса. От бабушки приходили заботливые письма, черносмородиновая пастила.

Перед Рождеством, в самые жестокие морозы, неожиданно приехал Орфей. Он был в драповом пальто и штиблетах, в своей обычной городской одежде. Он так промерз, что не мог говорить и двигался, как деревянный. Его раздели, растерли водкой, закутали в пуховое одеяло и уложили на печку. Мы то и дело забирались взглянуть — жив ли?

Вечером, за самоваром, Орфей красный и распухший, рассказывал, как добирался до нас. Рассказывал, как всегда, потешно. Пил стакан с стаканом с медом, с пензенской пастилой, с папиным ромом. Мы не спускали с него глаз и наперебой угощали. Для нас его приезд был настоящим праздником. Мы любили Орфея восторженно. Восхищались каждым его жестом, считали его своим другом. Знали его историю и очень ему сочувствовали.

Молодой, веселый, красивый, всегда справедливый и очень умный, не имел права жить там, где хотел, а должен был всю жизнь оставаться в глухом местечке, потому что еврей. Такие порядки завел "проклятый Николашка".

В Самаре Орфей работал фельетонистом в "Газете для всех" и жил нелегально. Какое-то время жил у нас, у наших друзей, где-то на дачах, все время кочевал. Все его имущество умещалось в распухшем портфеле.

С ним он приехал в Новоузенск. Орфею поставили кровать в столовой, отгородив ее ширмой.

Мы были заняты приготовлениями к елке и включили Орфея в наши заботы.

Когда мама снимала у Котина квартиру, папа возражал, считая, что велика. Четыре больших комнаты, кухня, коридор, передняя и стеклянная галерея. Правда, галереей пользоваться зимой было нельзя, она не отапливалась. А теперь жалел, что нет пятой.

Вскоре после Нового года, еще не кончились каникулы, появился новый гость. Приехала Лена Коханович. Мамина подруга детства. Приехала с огромными чемоданами.

Лена бросилась маме на шею, разрыдалась, и мы слышали: приюти, сохрани, спаси.

Они ушли в кабинет, закрылись и долго не выходили.

Оглядев Ленины чемоданы, Орфей медленно стал обходить квартиру, к чему-то приглядываясь. Потом освободил кровать за ширмой, перенес свои вещи на сундук в коридоре. Из широкой передней шел коридор, упирившийся в печку. Она отапливала детскую и спальню. Сбоку от печки была ниша, в ней стоял сундук. На нем лежали ковры, запасные одеяла.

Вечером, когда топили печку, мы забирались на этот сундук и вели самые интересные разговоры. Здесь папа рассказывал о своем детстве, о встрече с мамой, о всех событиях, происходивших до нашего появления на свет, поэтому сундук стал называться "доисторическим".

Мы огорчились, когда увидели, что Орфей устроился на "доисторическом" сундуке. А он, узнав в чем дело, пообещал освобождать сундук для бесед и больше того, сказал, что сам примет участие в них. После того, как Орфей устроился на сундуке, папа стал называть нашу квартиру "Терем-теремок".

Зима

Весь ноябрь, декабрь и январь стояла морозная ясная погода. Низко на горизонте появлялся красный диск, золотил снег и слепил глаза. Часов в пять скрывался, оставляя красную полосу. Наступали голубые сумерки, переходившие в серебряную ночь. Огромная сияющая луна всходила, когда закат еще розовел. Ветра не было. Из всех труб поднимались прямые столбики дыма, все время менявшие окраску — от розового до голубого. Чаще всего отливали перламутром.

Юре нужно было в школу к восьми. Мне — к девяти. Выходили мы всегда вместе. Я любила утро и первый глоток морозного воздуха. Мне казалось, что он доходит до пяток. А еще казалось, что проглотила кусочек замороженного арбуза.

Я провожала Юру до школы и шла к девочкам Помельцовым. Некоторое время отогревалась у них, и мы вдвоем бежали к Валентине Васильевне. Она не терпела опозданий.

Валентина Васильевна жила в противоположном конце, почти у самого "Кордона", в небольшом собственном доме с братом и теткой.

Брат, пожилой холостяк, работал где-то счетоводом, и мы видели его редко. Тетку — каждый день, она вела хозяйство. Девочки звали ее бабушкой. Валентина Васильевна тетенькой, а я Пелагеей Андреевной. Это была тихая ласковая старушка.

Занимались мы в гостиной за круглым столом, сидя на маленьких мягких креслах в накрахмаленных чехлах. Гостиная угловая комната с окнами на две стороны, за ночь выстывала. В ней было так холодно, что писать было невозможно. Мы прятали руки в рукава и отвечали устно. Валентина Васильевна, кутаясь в платок, слушала, вздрагивая от холода. В это время Пелагея Андреевна растапливала печь, оставляя дверцу открытой. Плавающие дрова быстро согревали комнату. Солнце красными полосами пробивалось сквозь замороженные окна. Золотило медные вьюш-

ки, начищенные бронзовые подсвечники, выхватывало золотые цветочки на светло-голубых обоях.

Мы писали диктанты, изложения, решали задачи. С Валентиной Васильевной мы учили арифметику, русский язык, Закон Божий — все, что требовалось на экзамене. В гостиную начинали проникать аппетитные запахи. Сперва слабо, потом все сильнее. Мы начинали переглядываться и рассеянно отвечать. Ровно в одиннадцать Пелагея Андреевна вносила блюдо с чем-нибудь вкусным: оладьями, сырниками, гренками и обязательно печеные яблоки.

Мы завтракали и отдыхали. Валентина Васильевна болтала с племянницами о семейных делах. А я любовалась учительницей. У нее было много общего с Тосей. Круглолицая, сероглазая, со смуглым румянцем, она звонко смеялась, блестя жемчужными зубами.

Во втором часу занятия кончались, и мы шли домой. Однажды, когда мы возвращались, нас обогнала тройка Помельцовой, обдав снежной волной.

Я, совершенно забыв, что девочки имеют какое-то отношение к Алевтине Кондратьевне, хотела воскликнуть: "Бшеная!" Но услышала восторженное "Аля!"

Тося и Мара вскрикнули одновременно, и обе замерли в напряженных позах. Сани, обогнав нас, остановились и звонкий голос крикнул: "Живей!" Девочки сорвались и скрылись в сани. Все произошло мгновенно. Я осталась одна и медленно побрела домой. Три голоса звали меня. А кучер привстал и нетерпеливо махал рукой. Я нерешительно подошла. Алевтина Кондратьевна схватила меня за плечи и втащила в сани.

Широкие, мягкие, обитые пушистым ковром сани походили на двуспальную кровать. Мы в них почти лежали. Алевтина Кондратьевна закрыла нас меховой полостью до подбородков, и мы унеслись в степь. От снежной пыли перед глазами стояло радужное облако. Нас подбрасывало, качало, полозья звонко пели и от всего немного замирало сердце.

Я не разглядела ни хозяйку, ни кучера. От первого знакомства осталось впечатление чего-то пушистого, свежего, ароматного. Катания стали частыми. Я узнала, что Аля нежно любит сестричек. С Тосей она шалит, смеется, поддразнивает ее. С Марой разговаривает серьезно. Расспрашивает об отце, о Зое Васильевне, о каком-то Дунае, Шафране, Власьевне.

Девочки прижимались к Але. Гладили ее щеки, волосы. Я разглядела ее и кучера. Она правда была хороша. Глаза как у Мары, зеленые, только темнее и больше. Губы всегда улыбаются, сама розовая.

А Никита — настоящий Иван-царевич из сказки. Глаза такие озорные, волосы льняные, зубы белые, голос звонкий. Как гикнет на коней — и кнута не надо.

Высаживая нас, Аля вынимала из кисета горсть серебра и оделяла каждую. В первый раз я категорически отказалась. Аля удивленно взглянула и спросила, неужели мне не нужны деньги на карманные расходы? Я ответила, что мне не разрешают иметь карманные деньги. Она воскликнула: "Глупости!" Всыпала деньги в мою муфту и уехала.

Я весь вечер мучилась, не зная, что делать с деньгами. Побоялась признаться маме. Наконец рассказала Юре. Он взял муфту и, осторожно вынимая по монетке, сосчитал, оказалось 75 копеек. Я была подавлена — такая уйма! Юра молчал, что-то соображая. Потом тихо сказал:

— Отдай Шиндяям.

Я обрадовалась. Но идти одной в тараканихин двор было страшно. Юра пообещал проводить.

На следующий день, взяв для отвода глаз санки, мы сбегали к Шиндяям. У них было то же, что и в первый раз, вернее теперь было гораздо хуже. В их мазанке не было печки. Обогревались жаровней с тлеющим кизяком. Чад и вонь наполняли жилище.

Вера лежала больная. Мы отдали деньги, сказав, что прислала мама. В тот момент мы не соображали, что наша ложь будет открыта. От Алиных денег я больше не отказывалась, брала и отдавала Вере.

Ребята рассказали, что на Крещение, когда святят воду, православные купаются в проруби. Мы не верили. Седьмого января, солнечным морозным утром, от собора к Узеню двинулась большая процессия. Несли иконы, хоругви. Впереди священник в шапке, валенках и золотом облачении поверх шубы. За ним, размахивая кадилами, служки, почетные горожане, ведущие и зеваки. Пели. Над толпой стоял розовый пар. Мы с Юрой побежали за ними.

На Узене, на разметенном от снега голубом льду, большая прорубь в виде креста. Вода темно-зеленая, неподвижная слегка курилась. Началась служба: читали молитвы, хором пели, кадили. Стали подъезжать сани, окружая прорубь. У самого края постелили солому, на нее бараньи шкуры.

Как только служба закончилась, на эти подстилки встали девушки и парни босиком в наброшенных на плечи тулупах.

В наступившей напряженной тишине молодые люди сбрасывали тулупы и, перекрестившись, прыгали в прорубь. Парни голые, девушки в длинных белых рубашках. Их мгновенно подхватывали подмышки, накрывали с головой простынями, закутывали тулупами и укладывали в сани и, нахлестывая лошадей, развозили по домам. Когда люди выскакивали из проруби, они были свекольного цвета и от них валил пар.

Эта первая зима в Новоузенске была полна неожиданностей и волнений. Мы узнали две тайны, поразившие нас. 'Оказывается, Лена Коханович приехала не в гости, не повидаться с мамой, а родить сына!

Ее слова — спаси, сохрани, приюти — относились к будущему сыну. Он еще на свет не появился, а уже необходимо было его спасти!

Лену мы знали всю жизнь, как себя помнили. Она дружила с мамой с детства. Знали, что они вместе жили в мастерской Прасковьи Петровны (какое отношение имела к нашей семье Прасковья Петровна, в те годы мы еще не знали).

Знали, что у Лены есть друг Петя Проппин. Знали, что дядя Петя и Лена любят друг друга, а пожениться не могут, Петины родители не позволяют. У Проппиных в Самаре большая торговля железом. Их все купцы уважают, Пете невеста нужна солидная, а Лена — еврейка и бедная.

Лена — яркая, шумная, никогда не расставалась с гитарой, пела низким голосом так, что дребезжали стекла. Она бывала у нас на всех праздниках, и мы уставали от ее поцелуев и возни.

Теперь она сидела задумчива, часто плакала, шепталась с мамой. Мы ласкались к Лене, старались ее развлечь. Между собой решили оберегать ее будущего сына, хотя не могли понять, от кого оберегать? Скорее всего от старых Проппиных.

Вторая тайна была совсем потрясающей: Орфей приехал не потому, что соскучился без нас, он приехал креститься!

Мы сидели притихшие, подавленные, боялись выйти из своей комнаты. Боялись встретиться с Орфеем. Нам было жалко Орфея и больно за него. До сих пор он был нашим героем. Нас все восхищало в нем. Он никогда не унывал, его преследовали полицейские, он над ними весело подтрунивал. Он писал фельетоны, которыми все восхищались, мы, правда, их не понимали. Он терпеть не мог никаких церковников, всегда ругал их, называл обманщиками. И вдруг сам решил креститься?! Мы не представляли, как такой высокий, широкоплечий человек полезет в купель? А потом на него будут натягивать кружевную рубашечку с голубыми бантиками? Это было особенно непереносимо.

Орфей заметил наше состояние и пристал с расспросами. Мы расплакались и просили его не унижать себя. Но он весело и просто объяснил, что взрослые крестятся без купели и бантиков и что это просто формальность.

Крещение Орфея волновало не только нас, но и взрослых. Мы слышали, как мама и Лена отговаривали его, убеждали потерпеть, не огорчать стариков-родителей.

Ирина Петровна и папа, наоборот, торопили поскорее проделать эту

процедуру. Папа говорил, что атеисту безразлично, какое вероисповедание значится у него в паспорте. Раз эта мера развязывает руки для дальнейшей борьбы, надо поскорее ее совершить.

Когда наконец все согласились, что Орфей принимает православие, возникло неожиданное препятствие. Выяснилось, что нет крестной. Крестный нашелся сразу — Кузьма Ильич. Он взялся сам уладить все формальности с церковью. А крестной не было. Папа возмущался, не понимал, как при таком количестве женщин нельзя найти крестную?

Мама сказала, подумай сам: я не могу, ты под надзором полиции. Шарлотта Яковлевна — протестантка, Янина Ипполитовна — католичка. Ирина Петровна — человек новый, подозрительный. А сама Ирина Петровна добавила:

— Моя мать была язычница, поклонялась деревянным идолам.

Ни Лена Коханович, ни Марта тоже, естественно, не могли быть крестными.

Я спросила Орфея, кого бы он сам хотел в крестные? Он закрыл глаза, поморщил лоб, сделал вид, что думает и тихо ответил:

— Алю Помельцову.

Я удивилась, говорю:

— Ты же ее не знаешь?

А он ответил:

— Ты так хорошо ее описала, что я где угодно ее узнаю.

Я ответила:

— Ты прав. Аля хорошая крестная. Веселая, красивая, добрая.

Я рассказала, как щедро она оделяет нас серебром и какой у нее необыкновенный кисет. Сотканный из голубого и белого бисера, на голубой муаровой подкладке, он всегда лежит на дне саней. Он так туго набит серебром, что трудно его поднимать.

Мы, очевидно, так горячо любили Орфея за то, что он всегда внимательно выслушивал нас и делал вид, что всему верит.

Я рассказала, как страшно бегать к Тараканихе, относить деньги Шиндяям. "Мещанские" мальчики хулиганы, меня называют "конопатой кочерыжкой" и швыряются не снежками, а льдинками. Я спустила чудок и показала лиловый кровоподтек на икре.

Орфей погладил ушиб и пообещал сам относить Алины деньги.

Крестную нашел Кузьма Ильич. Свою пациентку, жену местного богача Егорова. Егоров был хозяином лучшего в городе магазина. Они были наши соседи по улице. Двухэтажный в белой резьбе дом украшал всю Кривую.

Проходя мимо, мы часто видели в палисаднике двух женщин, внимательно и приветливо разглядывавших нас. Это были мать и дочь Егоровы. Дочь была молода для крестной, ей не было еще 14 лет, Любовь Дмитриевна приближалась к сорока.

Кузьма Ильич с мамой пошли к Егоровым. Любовь Дмитриевну даже не пришлось уговаривать. Она согласилась сразу, не видя крестника. Она оказалась очень хрупкой, болезненной, не по годам восторженной, даже экзальтированной. Она с первых слов сказала маме, что давно наблюдает за нашей семьей и давно мечтала с нами познакомиться, но стеснялась. Что они с дочкой умирают от скуки, не любят соседей и ни с кем в городе не дружат.

Позднее мы узнали, что мать и дочь зачитываются переводными романами, смакуют любовные коллизии и мечтают о "красивой жизни".

Истинной причины, почему Орфей меняет вероисповедание, Любовь Дмитриевна, конечно, не знала. Она решила, что молодой человек, разочаровавшись в иудейской вере, обращается к истинной, православной.

Войдя в роль духовной матери, она всеми силами старалась помочь. Ежедневно, утром и вечером, появлялась у нас (не забывая переменить платье) и читала с Орфеем утренние и вечерние молитвы. Учила, как "осенять себя крестным знамением". Рассказывала о страданиях Христа. (Все ее рассказы были не глубже школьного учебника по Закону Божьему.)

При ней у Орфея делалось тупое лицо, и он не возражал ни слова. Выпроводив, проклинал ее, себя и всех богов.

Любовь Дмитриевна выписала из Саратова золотой крест и в подарок крестнику золотой портсигар.

До крещения Орфея звали Клеменс Давидович Тагамлицкий. После крещения он стал Николай Кузьмич Тагамлицкий. Но нам это было безразлично. Для нас он был и остался милым Орфеем.

В начале марта Орфей уехал в Петербург. Папа снабдил его рекомендательными письмами. Папа писал литераторам и знакомым разных редакций.

Содержание писем осталось для нас неизвестным. Запомнились конверты. Штук 30 или 40 светло-кремовых одинаковых добротных. Они лежали на письменном столе двумя аккуратными стопками. Они привлекали Юрино внимание. Он показал мне. Адресов не было. Только фамилии: Короленко, Блок, Горький, Серафимович, Чапыгин и т.д.

Плотные глянцевиные письма великолепно тасовались. Мы бредили картами.

Мама, очень много внимания уделявшая нашему воспитанию, допускала утрировку. В доме не было колбасы — чтобы не портить детские желудки. Семечек — разносчиков инфекции. И карт — разлагающих душу. Поэтому мы всегда мечтали о колбасе, семечках и картах. Мы только что научились играть в дурака и в пьяницу. Грызть семечки и играть в карты бегали с друзьями в пустые сараи.

Вечером, перед сном, нам с Юрой разрешалось посидеть с полчаса в кабинете и посмотреть новые журналы. Сидели на полу между столом и книжной полкой.

Папа писал, мы его не беспокоили. В этот раз вместо журналов взяли письма и, разделив пополам, начали играть в пьяницу. Что Короленко, Горький и Блок "гузы" — это мы знали. Но некоторые фамилии вызвали недоумение: "Папа, кто главнее Мережковский или Ремизов?"

Папа перестает писать и задумывается:

— Что значит главнее? Писатели не чиновники. Вас интересует, чей талант выше?

— Да, — нетерпеливо отвечали мы из-под стола.

— Трудно сказать, — задумчиво и неуверенно говорит папа, — оба талантливы и оригинальны, — и наклоняется над рукописью.

— Спор, — переводим мы.

Куприн — "король", Гарин-Михайловский — "король", Леонид Андреев — "король", Г.Налина, В.Жилкин, А.Рославлев — "валеты".

Играем бесшумно. Вместо слов жесты. Опять заминка.

— Папа, кто талантливее — Городецкий или Горбунов-Посадов?

Папа отвечает быстро:

— Их нельзя сравнивать, Городецкий — поэт, Посадов — издатель.

По-нашему поэт выше (ведь Орфей — поэт). Городецкий — "валет", Посадов — "десятка".

Папу умиляет наш интерес к русской литературе. Он не сердится на вопросы, отвечает благодушно. За все время не догадывается заглянуть под стол.

Все выясняется перед отъездом Орфея. Элегантные конверты выглядят ужасно: углы загнуты, на середине отпечатались серые пятерни.

Никакой кары не было. Взрослых изумила наша изобретательность. Карты были легализованы, нам подарили новенькую колоду.

В феврале погода резко изменилась. Солнце скрылось, опять задул ветер, повалил снег. Такого снегопада я больше никогда не видела. Степь походила на океан. Земля и небо были одного серо-свинцового цвета, и все колыхалось. Степь стала опасной. Даже по хорошо накатанной дороге от города до станции перестали ходить в одиночку.

Снег валил так густо, что от мелькания хлопьев начинала кружиться

голова. А ночью в открытую форточку слышен был шорох падающих снежинок. До этого мы не знали, что у снега есть звук.

Лежа в постелях, услышав колотушку сторожа, мы вздрагивали, представляя с каким трудом он тащится через пургу. Борю или Ярку одних не пускали даже во двор. Мама боялась: упадут нечаянно в яму и моментально занесет. Они гуляли на галерее. Для этого раскрывали окна.

Катания с Алей прекратились. Мы не каждый день ходили к Валентине Васильевне. В особо вьюжные дни сидели по домам.

В эти дни открылись мои тайны. Мама встретила с Верой на улице, и та принялась горячо благодарить за деньги, присылаемые с Машенькой и Юрой.

Мама сделала вид, что знает о чем идет речь. А дома устроила допрос. О моих катаниях с Помельцовой она уже знала. Ей доложили соседи. Узнав, что я передаю Шиндяям Алины деньги, мама упрекнула только за то, что сразу не сказала ей об этом. В нашей семье к Помельцовой относились сдержанно, и я это понимала. Открыто не осуждали, но какая-то доля брезгливости проскальзывала. Сочувственнее всех высказывался папа. Он говорил.

— Настоящая русская бунтарка! Ей бы руководителя хорошего. С такой энергией горы своротить можно. Официально с Алевтиной Кондратьевной никто не был знаком. Один папа издали раскланивался с ней.

Однажды, когда Аля оделяла нас деньгами, а гривенники и пятиалтынные сыпались из кисета и зарывались в пушистый ворс, я представила, как Колька трясется над каждым грошиком. И неожиданно для себя рассказала о Шиндяях. Говорила быстро, взволнованно, сразу обо всем. О большой Вере, о голодном Кольке, о липкой вонючей мазанке, о страшной Тараканихе. О том, что мама занимается с Колькой и он обедает у нас. Но ведь это только один раз в день!

Перевела дух и взглянула на слушателей. Девочки смотрели испуганно, Аля широко раскрытыми глазами, с застывшей улыбкой на полуоткрытых губах, Никита хмуро.

— Где живут твои Шиндяи? — спросила Аля.

— В "Мещанах", у Тараканихи.

Вскоре вся Кривая заговорила о визите Помельцовой к Шиндяям. Не знаю, как было на самом деле.

Рассказ оброс сказочными подробностями. Во двор к Тараканихе въехала роскошная тройка. Из саней вышла красавица в белых мехах с черными хвостиками. В руках несла большие пакеты. За ней кучер с узлами. Ушли к Шиндяям и долго там оставались. А потом плачущая Вера и угрюмый Колька провожали их до ворот.

У самого Кольки никаких подробностей узнать не удалось. Он только буркнул, что приезжала, и все. Видно было, что никаких изменений после визита не произошло. Колька по-прежнему ежедневно колол дрова, занимался, обедал, гулял с Яркой и Борей, бегал по маминым поручениям.

Позднее мы узнали, что Помельцова продолжала систематически помогать Шиндяям, а когда убедилась, что все ее подарки переходят к Тараканихе, увезла Веру и Кольку на свой хутор.

Это произошло осенью 1913 года.

В феврале 1913 года вся Россия праздновала трехсотлетие Дома Романовых.

Не знаю, как в других городах, а в Новоузенске заранее начали готовиться к торжественной дате. У Юры в школе разучивали патристические песни и стихи, восхваляющие царское семейство.

Мы с Валентиной Васильевной ничего такого не учили.

Главное торжество предполагалось устроить в Роще. Для этого ее надо было очистить от снега. Это была поистине титаническая работа. Работали арестанты, пожарные, гарнизон.

Вместо аллеи получились траншеи с отвесными снежными стенами. На главных улицах вдоль тротуаров сделали узкие перила и на них укрепили глиняные площадки. Предполагалось, что в день торжества их наполнят горючим и зажгут. Все испортил снегопад. Плошки мгновенно гасли и жутко чадили.

От царского дома полагались подарки — всем горожанам бесплатно булочки и кружка браги. В день торжества нас из дома не выпустили. Никакие мольбы не помогли. Мы только из окон любовались на чадающие площадки и толпы, идущие к Роще.

Вечером, ложась спать, мы слышали шум в передней и нам слышался хрипловатый голос Шиндя. Мы удивились, Колька никогда не приходил так поздно.

Полураздетые выскочили из своей комнаты.

В передней действительно стоял Колька и что-то взволнованно рассказывал взрослым.

Увидев нас, Колька полез в карман и вынул четыре булочки.

Он принес нам "царские подарки". Мы с жадностью схватили булочки. Маленькие, не больше медного пятака, они вкусом не отличались от простого белого хлеба.

Все удивились, как Кольке удалось раздобыть такое количество подарков, ведь сам он тоже небось попробовал?

Колька обстоятельно рассказал, как долго приглядывался, где и как удобнее получить подарки, и под конец так хорошо все узнал, что теперь в каждое следующее трехсотлетие без труда будет доставать любые подарки.

Взрослые засмеялись. Орфей потрепал Кольку по плечу и сказал, что вряд ли он дотянет до следующего трехсотлетия.

А мы осуждающе посмотрели на Орфея. Как можно не верить Кольке? Он слов на ветер не бросает.

Четыре треугольника из шести спичек

Трое пожилых людей в грубых рубахах и шальварах, перепоясанных кушаками, подходили в порядке старшинства к Саддаму Хусейну, встречавшему их снисходительной усмешкой, и целовались с ним в невольном полупоклоне, поскольку иракский фюрер при этом был неподвижен, как статуя самому себе. Страшен был обряд. Лидеры курдов целовались с убийцей своего народа. Но что было делать, если человек, даже вооруженный, ничто перед танком, и у Саддама танки есть, а у курдов их нет. И миллионы несчастных пытаются найти спасение в сопредельных Турции и Иране, но каждой из этих стран довольно и своих собственных "курдских проблем"...

На броне иракских танков еще кувейтские прах и копоть. Союзная армада под командованием американского генерала внезапным обходным маневром отрезала было этим танкам отход на север, к Багдаду, — но тут приказ "сверху" вынудил победителей приоткрыть щель. В союзных столицах, похоже, питали надежду, что опозоренная армия сметет своего бездарного полководца, бросившего ее на произвол судьбы. Но вспомним, что армия служила Гитлеру даже в осажденном со всех сторон Берлине, советские маршалы подставляли затылок под пулю, не смея пристрелить своего палача Сталина... Такова логика тоталитарного бытия, определяющего, как известно, сознание. Танковые части, разгромленные в Кувейте, были тут же повернуты против восставших шиитов на юге и против курдов — на севере. И те и другие сочли, что американцы их просто предали.

В такой обстановке лидер Патриотического союза курдов Джалаль Талабани, поцеловавшись со своим смертельным врагом, призвал собратьев возвращаться к родным очагам: "Господин президент обещал нам, что все иракские курды будут в безопасности".

Чего стоят заверения диктатора, уже не раз травившего курдов ядовитыми газами? Большинство предпочло разместиться в палаточных городках, сооруженных американцами у турецкой границы.

Кажется, добить бы Саддама Хусейна в его багдадском логове — и дело с концом! Супруга президента Буша шутливо заметила, что предпочла бы видеть иракского фюрера на виселице, сам Буш заявил на сей счет, что предпочитает не спорить с супругой... Но — дипломатическая игра предписывает иные правила. В рамках полномочий Совета Безопасности ООН многозвездный генерал Шварцкопф освободил Кувейт. Безопасность и само существование многомиллионного курдского народа вне этих рамок.

Есть и иные соображения, столь же деликатно дипломатические. Государство курдов на севере Ирака, даже элементарная автономия этого древнейшего народа, вовсе не подарок ни Турции, члену НАТО, ни Ирану, ни Сирии, потому что миллионы курдов живут и здесь, и там, и тут. Центр исторического Курдистана как раз по обе стороны нынешней турецко-иракской границы от Сирии до Ирана.

Создание свободного Курдистана было бы, вероятно, выгодно Саудовской Аравии, так как ослабило бы Ирак, опаснейшего противника. Но нет, тут уж вступают в действие могущественные эмоциональные факторы. Мифическое арабское единство тем не менее четко оконтурено на карте многими государственными границами, тогда как курды даже и не "родственники" арабов, как евреи; это арийский народ. На языке, близком к курдскому, говорили, вероятно, мидяне, чья держава предшествовала древнеперсидскому царству, проповедовал легендарный Заратустра...

Тогда, может быть, Иран потеснится ради близкородственного народа? Нет, иранцы по преимуществу мусульмане-шииты, тогда как курды — сунниты, а нынешняя фундаменталистская власть в Тегеране особенно чутко относится

к расхождению между этими ветвями ислама — склонному к компромиссам суннизму и непреклонному в догмах веры воинственному шиизму.

Тут уж мы кроме того невольно касаемся еще одной стороны проблемы. Реальная автономия курдов (тем более их государственность) на севере Ирака влечет логическим следствием такую же автономию (или государственность) для шиитов на юге. А их в Ираке куда больше, чем суннитов, и почти все они — арабы. (Сам "господин президент" — суннит.) Еще одно фундаменталистско-шиитское государство, наряду с Ираном, да еще в пределах арабского мира, — слишком большое испытание даже для терпеливого демократического Запада. Зеленый огонь ислама раздувают повсюду именно шииты.

В таком вот сплетении интересов, амбиций, судеб очевиден решительный приоритет государств перед народами. Это и спасает теперь Саддама Хусейна даже после полного разгрома на "внешнем фронте": кто, как не диктатор, полнее всего воплощает генеральную идею государственного единства, перед которой, оказывается, ничто и права личности и — целых народов! Не народы, а государства, — вот подлинные субъекты международного права, именно они — решающие фигуры на шахматной доске мировой истории.

Но враждуют между собой все больше не государства, а народы. (Агрессия Ирака против Кувейта поразила всех своей уникальностью и вызвала всеобщий отпор.) Вот подлинный парадокс современности!

Мы привыкли повторять, что Советский Союз — последняя-де империя на планете, а времена империй навсегда миновали. Это требует многих уточнений. Республика Индия не менее разношерстное государство, и объединяющей нации как бы и вовсе нет. И сепаратизм повсюду принял там куда более жесткие формы, чем у нас. И т.д. и т.п. Так что же, Индия — тоже империя?

А Китай, подавляющий некогда свободный Тибет? А Югославия, раздираемая на клочки сепаратистскими движениями и скрепляемая пока лишь военной силой центра? А многие страны Африки?

В процветающем Квебеке все острее возникает один и тот же вопрос: оставаться ли в составе Канады или выделиться... В самом сердце Европы и без того нестойкая федерация чехов и словаков дробится еще и неслыханным прежде сепаратизмом Моравии со "столицей" Брно, хотя, строго говоря, нет и не было такого народа — моравов, такого языка — моравского. И единственным аргументом в пользу такого "растроения" государства служит, по уверениям моравских сепаратистов, "поразительная симметрия" всех трех частей единой прежде Чехословакии: всюду — и в Чехии, и в Моравии, и в Словакии — по пяти миллионов жителей. Но тут вдруг заявляет о себе и вовсе дробная частица страны — Силезия со своей собственной "столицей" Островой. А что если заявят о своей автономии еще и словацкие русины (руснаки)?

Так нет ли во всем этом какой-то неуклонной тенденции?

Вспомним главную функцию государства на всем протяжении мировой истории: это защита от вторжения извне. Государственники по сей час упорно ищут грозящую нам опасность, без чего все их аргументы — нуль. Чем обширнее государство, населеннее, монолитнее, — тем мощнее. Уже не просто страна, одна из многих, — держава. Или даже великая держава. Уже и интересы ее особые — великодержавные; уже "в сфере ее интересов" не только граничащие с ней страны, но и примыкающие к граничащим, "лежащие в непосредственной близости" к ее собственным границам. Уже не просто интересы, а — глобальные, прихватывающие, скажем, близлежащий океан, тоже "прилегающий непосредственно к границам"...

Какой же беззащитной в сравнении со всей этой мощью выглядит Швеция, или Швейцария, или, скажем, Коста-Рика (вовсе без собственной армии), тем более Сингапур, который и водой-то (этим сверхважным стратегическим сырьем) снабжается из соседней Малайзии, или княжество Монако, которое за полчаса обойдешь вдоль и поперек. Но вот Кувейт с его менее чем миллионом населения оказался прочнее огражденным мировым общественным мнением, чем собственными вооруженными силами. И это важнейший прецедент.

В военном искусстве уже тысячи лет идет непрерывное состязание между силой удара и прочностью обороны. Босоногое воинство с копьями — и частокол вокруг селения; катапульты — и глинобитные, а затем каменные

городские стены; огнестрельное оружие — и все усложняющиеся фортификационные сооружения; танковые армады — и "линии" Мажино, Маннергейма, Атлантический вал с многокилометровой глубиной обороны... Лазерное оружие, размещенное на космических орбитах, послужит "зонтиком" против баллистических ракет — но, думается, довольно дырявым. Во время недавней войны в Заливе в условиях абсолютного господства союзников в воздухе и идеального для воздушной и спутниковой разведки пустынного рельефа западного Ирака его ракеты проникали и в Саудовскую Аравию, и в Израиль. Причем маскировка этих достаточно устаревших СКАДов была самой примитивной. По некоторым сообщениям, ракеты укладывали в кюветы вдоль дорог, слегка присыпая песком...

Иначе говоря, удар нынче несоизмерим с защитой, и у популярной в нашей стране "границы на замке" осталась одна-единственная функция, тоже, впрочем, хорошо известная нам. Помнится, как-то в Союзе писателей встречали героя-пограничника Никиту Карацюпу, еще до войны прославившегося тем, что со своим "верным Индусом" (псом) задержал с полтысячи "нарушителей" границы. "Спроси-ка его,— шепнул мне лукавый приятель Илья Суслов,— в какую сторону бежали эти нарушители?!"

Даже с ближайшего небесного тела, с Луны, на Земле видна лишь одна-единственная государственная граница, да и то бывшая — Великая Китайская стена. По всей ее пятидесятикилометровой длине гарнизоны не выставишь; и на верхних площадках башен оставляли дозорных, которые при появлении неприятеля с севера поджигали заготовленные кучи хвороста, подавая сигнал. Согласно легендам, быть может, небезосновательным, предпочитались женщины-дозорные, более щепетильные в отношении своих обязанностей. Им отрубали ноги, чтобы они не могли покинуть свой пожизненный и чрезвычайно ответственный государственный пост...

Стена и поныне столь монолитна, что поверху могут разехать не только всадники, но в иных местах и колесницы. И северные варвары подчас использовали ее как удобную дорогу при вторжении в Поднебесную. На престоле империи столько лет восседали варварские династии, что эффект грандиозного сооружения, можно сказать, свелся к нулю; безопасность гарантировалась с той же вероятностью, с какой пирамиды гарантировали фараонам комфорт в загробном мире.

Следовая полоса вдоль всей нашей государственной границы не в пример протяженнее даже Великой Китайской стены, но с Луны не видна. Стена отбрасывает тень, рельефно выделяясь при этом, следовая полоса тени не отбрасывает. Но, как и стена, тоже достойна быть вписанной в книгу рекордов Гиннесса: на занимаемой ею площади (тщательно вспаханной и пророборованной, только что не засеянной) могло бы поместиться не такое уж маленькое государство, если, конечно, вытянуть его в одну линию. Полоса ни на миг не задержала гитлеровское вторжение, зато надежно спасала соседние страны от нашествия наших нищих беженцев. Так что Европа, во всяком случае, должна быть ей благодарна.

Будут ли границы "на замке" между нашими республиками, все более склоняющимися к полному суверенитету? Вспашут ли следовые полосы между Чувашией и Татарстаном, между Татарстаном и Башкирией? Думаю, что нет. Потому что чем активнее дробление — у нас ли, в Европе ли, во всем мире, — тем призрачнее становится само это понятие — государственная граница. Да и как прочертишь ее в том же Поволжье, если на западе своей республики татары живут чересполосно с чувашами, а на востоке глубоко внедряются в Башкирию, если этот коренной народ не составляет в самом Татарстане большинства, зато втрое большее количество татар проживает на других территориях... Учтем также, что русские составляют половину суммарного населения вышеуказанных республик и вплотную окружают их.

Конечно, времена империй канули в вечность. Но есть и иная сторона этого позитивного, в целом, процесса. Не только русскоязычное население Приднестровья, Предкавказья, Семиречья, Чуйской долины, но и гагаузы, абхазы, осетины (список можно продолжить), даже армяне, осознающие предстоящее им геополитическое одиночество, не в восторге, так сказать, от ближайших перспектив. Даже месхам и поволжским немцам, жестоко пострадавшим от имперского произвола, думается, была бы сейчас ближе пусть лицемерная, но законодательно оформленная и подкрепленная властью идеология интернационализма, естественная в многонациональном государстве. Быть малым народом в национальном государстве, да еще вдруг обретшем полную независимость, небезопасно. Опыт курдов, армян в Турции, турок в Болгарии,

наконец, евреев в Германии и покоренных ею странах — грозное предостережение.

Тем более что выделение в каждом регионе "малых сях" (зачастую господствующих по-соседству) идет не только по этническому, языковому, но и по религиозному признаку, подчас довольно неожиданным. Даже христианская вера с ее особым упором на общечеловечность и примиренчество восстановила друг против друга на Правобережной Украине, вопреки чаяниям экуменистов, приверженцев насаждавшегося здесь веками православия, вдруг обретших права греко-католиков, и внезапно восправшую автокефальную церковь.

И это не случайный феномен. Хорваты, сербы и боснийцы говорят на одном языке — сербскохорватском. Но первые — католики, вторые исповедуют православие, третьи — мусульмане. Вражда между Хорватией и Сербией, "социалистическими республиками", переросла уже в гражданскую войну.

Между мировыми войнами нашего века в геополитических трактатах скрупулезно подсчитывались квадратные километры территории, количество населения и его плотность, запасы полезных ископаемых (прежде всего угля и железа) каждой из "военно-промышленных групп". Их насчитывалось тогда шесть: британская, французская, германская, русская, американская, японская. "Советы" занимали шестую часть обитаемой суши, Англия и Франция владели обширными колониями по всему миру; зоной влияния САСШ (Северо-Американских Соединенных Штатов, как они тогда именовались) было, "естественно", все западное полушарие (за вычетом европейских колоний), а также экзотические Филиппины; Япония успешно "осваивала" Китай и целилась всю юго-восточную Азию подвести под "пять углов одной крыши"; одна Германия, только что проигравшая войну, выглядела в этом секстете обделенной сиротой. И мудрые геополитики порой даже отлучали ее от державного статуса (замещаа Италией с ее только что обретенными африканскими колониями), мотивируя это тем, что у Германии нет своей нефти (будущая война-де — "война моторов", нефть — "кровь моторов"...), а уголь Рура, разлученный с железной рудой Лотарингии (ставшей французской), утратил свое грозное стратегическое значение.

Именно с этой точки зрения — стратегической — Германия что называется "не тянула": сравнительно небольшая относительно перенаселенная территория с ограниченными сырьевыми ресурсами. Под такой вот ученый аккомпанемент Гитлер и заговорил о "жизненном пространстве": "Невозможно обеспечить наш народ питанием на сколько-нибудь длительный срок на площади в 470 тысяч или даже 570 тысяч квадратных километров. (Имеется в виду территория Германии до и после мировой войны.— М.Т.) Нельзя вечно мириться с этим недостатком пространства, ибо это поведет к гибели нашего народа".

Историки уже со всех сторон рассмотрели роль такого фактора как жизненное пространство в перипетиях минувшей войны. Ну, а в условиях наступившего мира? Случайность ли, что именно поверженные страны — Германия, Япония, Италия — в кратчайшие исторические сроки вышли на уровень передовых и даже возглавили технический прогресс, опередив соразмерные им Англию, Францию, а по многим показателям — и Соединенные Штаты? Не само ли поражение, ограничения, с ним связанные, в силу диалектики жизни обернулись победой?

Предположение не так уж безосновательно. Проигравшие не оборачивались поминутно назад, позади была тьма, они начинали чуть ли не с нуля. «Сорок лет назад, вечером 7 мая 1946 года около двадцати человек собрались на четвертом этаже обгорелого универмага в опустошенном войной центре Токио, чтобы учредить новую компанию, которой позднее суждено было превратиться в "Сони корпорейшн"...» Так эпически начинает свои воспоминания Акио Морита, создатель одной из самых динамичных промышленных корпораций, изменивших лицо современного мира. Далеко ли ушел бы он, если б волею судеб включился в перестройку того, что обещало, но еще не рухнуло само собой?..

У побежденных не было особого выбора, круг возможностей был резко очерчен победителями. Перед еще недавно тоталитарными державами с их невероятными претензиями стояли теперь лишь приземленные обозримые цели. И моноэтничность каждой из этих стран, их ограниченные размеры позволили сугубо практически, не расплываясь на идеологию, решить намеченные задачи. Вспомним, что тогда же наша держава-победительница, ведомая "мудрейшим

из когда-либо живших на Земле людей" (сакральная формула, повторявшаяся в печати и по радио), "пролагала путь всему прогрессивному человечеству". Советскому Союзу предстояло стать ядерной державой, полновластно выйти на простор мирового океана, взыграть по всему миру — стать, наконец, признанной сверхдержавой, одной из двух на Земном шаре, то есть как бы то ни было "во главе человечества". И опять, как бывало уже, "летит мимо все, что ни есть на земли и, косясь, постораниваются и дают нам (у Гоголя — "ей", России.— *М.Т.*) дорогу другие народы и государства".

Цитата потому-то к месту, что все традиционно-имперское развитие России — вширь. Чичиков скупает мертвые души на вывод: "Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях (прежде татарские.— *М.Т.*) отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю!" Да и Петр Аркадьевич Столыпин, предлагаемый ныне в образце, решал земельный вопрос тоже за счет просторов империи. И реформы его, в целом благотворные, принадлежали все еще к чичиковским временам. Только что зависимость крестьян была уже не рабской, а экономической.

Политика вывода крестьян в ее насильственном колхозном варианте была продолжена и Сталиным (высылка "раскулаченных" в Сибирь и "хетагуровское движение" на дальний Восток, не говоря уже о прямых эзках), и Хрущевым (прославленная целина), и Брежневым (знаменитый БАМ с его зоной освоения).

Ни немцам посреди перенаселенной Европы, ни японцам на их тесных островах такие возможности и не снились. Но и до первой мировой войны, до большевистских экспериментов, Германия, занимая картофелем скромные, в сравнении с Россией, площади, получала в полтора раза больше клубней, и имея свекловичное поле в полтора раза меньшее, по выходу сахара занимала первое место в мире, а урожаи ржи были таковы, что при самых скромных угодьях Германия ее даже экспортировала (прикупая, правда, другое зерно).

Может быть, самое наглядное сравнение хозяйствования интенсивного (от латинского — напряжение) и экстенсивного (от латинского же — распространение вширь) в следующих цифрах: до первой мировой войны Германия с ее лесными угодьями почти в сорок раз меньшими, чем у России, превосходила ее по количеству лесопильных заводов в 9 раз, а деревообработывающих — в 65 раз! Щепка, и та шла в дело. Отходов не было вовсе.

Тенденция эта поневоле усилилась в ФРГ, чья территория составляла лишь половину довоенной Германии, в Италии и Японии, лишенных заморских территорий. Тогда как другие западноевропейские страны, прежде всего Англия и Франция, в 50—60 годы лишившиеся своих колоний, с некоторым запозданием вводили тип хозяйствования, который вскоре назовут экологическим (от греческого — дом, жилище). Отныне самые передовые в промышленном отношении страны становятся наиболее удобными для проживания. Такого никогда не было. В перенаселенной по прежним понятиям Японии три четверти территории практически не затронуты хозяйственной деятельностью, 60 процентов заняты лесами: на севере смешанными—хвойными, на юге вечнозелеными с густым подлеском. Но и с минимальных участков, которые у нас называли бы приусадебными, Япония способна полностью прокормить свое более чем 120-миллионное население, а избыток риса даже экспортирует.

У японцев, тысячелетиями изолированных на своих островах, осознавших замкнутость как данность, традиционно экологическое мышление¹; в послевоенной Европе оно возникло тогда, когда здесь осознали ограниченность земных ресурсов и прежде всего самого пространства. Вспомним, что еще совсем недавно почти половина Западной Европы, этого небольшого, в сущности, полуострова огромного евразийского материка, была "социалистической"; советские танки стояли в ГДР лишь в полутысяче километров от Парижа и пролива Па-де-Кале. Это немногим дальше, чем от советской границы, скажем, до Кабула, и куда ближе, чем до Кандагара...

Важнейшим напоминанием о непрочности международного статус-кво был шантаж нефтяных шейхов в середине 70-х годов. Воспользовавшись как поводом очередным арабо-израильским конфликтом, они прикрутили нефтяной кран, взвинтив вдвое-втрое цены на жидкое топливо. Советский Союз,

¹ Отсюда же характерная миниатюризация эстетических объектов: ветка (а не дерево) сакуры, карликовые комнатные деревца в горшках, принципиально скромная икэбана вместо пышного букета; в этом же ряду краткость традиционных трех- и пятистиший — хайку и танка.

рекордсмен в мировом экспорте нефти, тоже нагрел на этом руки; просто для населения страны это прошло незамеченным. Зато наш военно-промышленный комплекс, насосавшись нефтедолларов, обрел, что называется, второе дыхание, и во всем мире зашевелились "национально-освободительные движения" — в Латинской Америке, Африке, прежде всего в Азии, на самом Ближнем Востоке.

Ответ Запада был вынужденно быстрым, но главное — неожиданным. Военный демарш был нелепым, повышение добычи угля с последующей переработкой в жидкое горючее — слишком дорогостоящим, растраниживание стратегических запасов — рискованным. Но за счет внедрения принципиально новых технологий было настолько существенно сокращено потребление горючего, что даже недавняя война в Заливе с перекрытием важнейших нефтеканалов — иракского и кувейтского — лишь ненадолго подняла цены на нефть и ничуть не отразилась на экономике Запада. Важнейший урок того, как беда обернулась благом.

Экономика должна быть экономной. Совершенно справедливая мысль высмеивается у нас потому, что была лишь очередным пустым лозунгом, тогда как в действительности нам еще предстоит понять, что совершенно по-разному решаются дела в глобальном масштабе — и в собственном доме. Одно дело решать земельный вопрос выводом крестьян на край света, совершенно другое — выделить фермерские участки в пределах зримой с детства линии горизонта. Потуги наших парламентариев с их решениями "наделить землей всех желающих", которые словно бы уходят в песок, напоминают мне сценку, которой я был свидетелем. Архитектурный проект рассматривался на "общественном совете", и кто-то счел уместным порекомендовать: "А не скучно ли глядятся окна — банально ряд за рядом по всем этажам? Не скомпоновать ли их как-то, придать дополнительную выразительность фасаду?.." Архитектор остолбенел и возразил, лишь переведя дыхание: "Да ведь за окнами — комнаты! Там же люди живут!"

Виня бюрократов, тормозящих земельную реформу, прославленный "председательский корпус", просто лентяев и завистников, которым с их лежанки обидно видеть преуспевающего фермера, не худо бы вникнуть в психологию человека, который привык считать землю как бы безразмерной и которая у него на глазах вдруг обносится пусть и незримым, но абсолютно непроницаемым забором: частная собственность! Как ни просторна Россия, повсюду люди живут!..

Мечте о том, что СССР станет конфедерацией суверенных республик, а Россия — федерацией автономных, суждено остаться мечтой. Увы, не вижу я идеи, способной примирить Дагестан, скажем, с мыслью, что он — автономен в федерации, а соседний Азербайджан — суверенен в конфедерации¹.

Увы — потому что, несмотря на новомодные веяния, мне все-таки ближе оплевываемая ныне идея интернационализма. Я уверен, что будущее — за братством народов, хотя бы потому что это диктуется самой природой человека. Не говоря уже о человечности, тоже естественной.

Но это — грядущее. Пока что нам предстоит полоса конфликтов или, красиво формулируя, "парад суверенитетов" — подлинных и мнимых. Но и в этих предстоящих обстоятельствах тоже хорошо бы наметить приемлемые ориентиры, чтобы конфликты не вылились — как это мы видим теперь — в элементарную резню.

В 1957 году одна из колоний британской короны провозгласила себя суверенной Малайской Федерацией. Спустя шесть лет после ожесточенной войны это государство объединилось с другими бывшими английскими колониями — Сабахом и Сараваком в Федерацию Малайзия. (Советский Союз, кстати, почему-то энергично протестовал против объединения: сегодня уже не упомнишь, почему.)

Еще два года спустя один из штатов Федерации провозгласил собственную независимость. На политической карте появилось новое суверенное государство, ставшее вскоре членом ООН, — Республика Сингапур. Наше политическое руководство, еще не признавшее тогда Малайзию как таковую, потирало руки, ожидая очередных смут.

¹ Едва написал это, Дагестан объявил себя союзной республикой.

Почему же все прошло на удивление гладко? Отделялась территория, в сущности, незащищенная: плоский островок, даже питьевой водой снабжавшийся из Малайзии через дамбу по водоводу, который выразительно называют здесь "линией жизни".

Отпадал в то же время алмаз, так сказать, в короне прежней Федерации: почти вся ее промышленность (кроме горнодобывающей), а уж самые передовые отрасли — полностью, крупнейший порт во всей Юго-Восточной Азии, мирового значения банковский центр, популярнейший туристический: зевак, сорящих долларами, ежегодно почти столько же, сколько и коренных сингапурцев. Я еще помню недоумение наших внешнеполитических мудрецов: как это, добровольно лишиться Сингапура, перейти в разряд заштатных государств?

Все дело в том, что лидеры Малайзии были ярыми националистами — малайскими. А в Сингапуре преимущественно китайцы. И коренная нация в прежнем союзе не составляла должного большинства, китайцы, пожалуй, даже несколько преобладали. А вот после отделения Сингапура Малайзия действительно стала малайской. И это показалось, вероятно, дороже чего бы то ни было.

Не прогадал и Сингапур, тут же признавший свою многоэтничность (в ходу целых четыре официальных языка: малайский, китайский, английский и тамильский). Его заботит другое: культурное единство, экономическое процветание и экологическое благополучие. И все это, вопреки, казалось бы, "объективным причинам", реализовалось на перенаселенном болотистом прежде, кишевшем крокодилами островке, вся территория которого 581 квадратный километр.

Я бы подчеркнул совершенную частность. Сельское хозяйство Сингапура, имеющее, само собой, подсобный, сугубо пригородный характер, обеспечивает значительную часть потребностей почти трехмиллионного населения, а при какой-нибудь злой необходимости не оставило бы страну в трагическом положении блокадного Ленинграда (финны на севере остановились, вернув себе утраченный в ходе "зимней войны" 1939 года Карельский перешеек, и осажденная территория была в шесть раз больше Сингапура)...

Сингапур (или, скажем, Гонконг), конечно, лишь "экспериментально моделирует" некое новое представление о жизненном пространстве. Такое ли уж, впрочем, новое? Вспомним, что самые яркие, не сравнимые ни с чем, страницы мировой истории, всплеск искусств, культуры, гуманизма, связаны с античной Элладой, итальянским Возрождением, с расцветом Ганзейского Союза (куда полноправно входил и Новгород), городов Фландрии, Венецианской республики... Для всех этих эпох, локализованных на карте мира, характерна прежде всего дробность политико-государственных структур (на скромной, по нашим понятиям, территории Греции более сотни свободных полисов); это поражает человека, привычного к масштабам империи, которую "умом не понять", не постичь воображением.

Но вот что пишет современный советский историк о процветавшей на протяжении веков крохотной торговой республике Средиземноморья Дубровнике: "Напомним о миниатюрности того мирка, о котором мы ведем речь. Скучившись на пространстве всего в 15 га (!), перед лицом враждебного мира ("одной стеной и рвом окружены..."), люди в городе жили слишком близко друг к другу, чтобы не слышать красивых слов и звонких песен, которые раздавались рядом. Тем более что эти слова действительно раздавались. И здесь следует обратить внимание на удивительное обстоятельство — в Дубровнике вплоть до нового времени (до 1783 года. — *М.Т.*) так и не возникло собственной типографии. А между тем в городе остро ощущалась потребность в книгах. Существовали не только домашние библиотеки в домах священников, врачей, учителей (в некоторых из них были сотни томов), с начала XVI века начинает ощущаться потребность в публичных библиотеках..."

Понятно, что издание книг требует достаточного тиражирования, чтобы окупиться. Тем не менее историки удивляются, называют крохотный мир Дубровника "обществом без типографий". Представьте, сколько выпускалось книг тогда в Венеции, Любеке, Генте...

Зато в Дубровнике "решительно преобладала поэзия. Стихи звучали на улицах, на городских торжествах, во время официальных церемоний и карнавалов, наконец, они просто лились из окон патрицианских домов, и их мог слышать и запоминать каждый.

Был также театр, существенный компонент дубровницкой культуры того времени и важный индикатор общественных настроений", напомним, на площади 0,15 квадратного километра! Мощная стена, окружавшая город, не достигала в длину и двух километров.

Вряд ли многим окажется известен средневековый Дубровник, как и соседний Сплит, да и Гент с Любеком, но все слышаны об Афинах и Флоренции, Коринфе и Падуе, "стовратных" Фивах и "многоугоченной" Болонье... Миры эти — классической Эллады и высокого Возрождения, не соприкасавшиеся ни в пространстве, ни во времени, поразительно конгруэнтны¹ полифоничностью жизни, соразмерностью² индивида и государства. Гражданин Афин или Флоренции, взойдя на городскую стену, мог разом окинуть взглядом едва ли не всю свою родину. Вот она — обозримая, конкретная, и сам ты — существенная часть этого мира, где каждый на счету. Рядом, рукой подать, другие миры — и похожие, и чем-то отличающиеся от твоего. Ты как бы осязаешь многообразие жизни, отражаешься во множестве зеркал.

Подданный огромной тоталитарной империи был заперт в своем необозримом пространстве, перед гражданином античного полиса, перед человеком Возрождения мир был открыт на все стороны света. Греки странствовали по всему Средиземноморью, венецианец Марко Поло дошел до Китая, генуэзец Христофор Колумб открыл Новый Свет, тогда как в Поднебесной империи любой китаец мог свободно углубиться в многотысячелетнее прошлое своего рода, попросту роаясь у себя на задворках. Черепки, которые он нашел бы при этом, были бы осколками тех самых горшков, которые били его предки, а попадающиеся человеческие кости оказались бы их бранными останками.

Так что отнюдь не прямой, скорее — обратной, оказывается зависимость между пресловутым жизненным пространством и человеческой свободой. Представим ли себе более зависимого человека, чем Гомо советикус, которого еще в недавнем прошлом Валентин Зорин, Генрих Боровик, Виталий Кобыш, Игорь Беляев и иже с ними пугали, как дитя малое, нью-йоркскими небоскребами, тель-авивской военщиной, боннскими реваншистами и парижскими клошарами! Какого-нибудь сингапурца (или, скажем, люксембуржца) и представить трудно в таком душевном качестве: слишком мала и обозрима его родина, чтобы не выглянуть наружу. Так не является ли такая самообеспечивающаяся национально-хозяйственная монада (в Сингапуре все — сингапурцы, в Люксембурге с двумя государственными языками, французским и немецким, все — люксембуржцы) моделью будущего государственного устройства на этой все более тесной планете? Можно, оказывается, устроить распрекрасную жизнь, ничуть не тесня соседа, не зарясь на его полезные ископаемые, выход к морю и прочие державные прелести. Вот и греки-киприоты, смирясь с разделом и без того небольшого острова, ничуть не обеднели при этом. Их земляки-турки на севере Кипра как жили бедно, так и живут, тогда как греческая община еще шире распахнула ворота в мир, и жизненный уровень там один из самых высоких.

Словом, жизненное пространство — именно пространство, а не плоскость, так что решение национальных вопросов может быть и разным, и самым неожиданным. Вспоминается головоломка с шестью спичками, из которых требуется сложить четыре равносторонних треугольника. Задача неразрешима, если решать ее только на плоскости, не догадаться использовать третье измерение: выложив треугольник, поставить оставшиеся спички в виде граней пирамиды.

Да, неблагодарная задача расставлять мебель в еще недостроенном доме. Но наряду с распадом империй и даже благополучных многонациональных государств для меня очевидна тяга во всем мире к образованию экономических структур из самостоятельных национально-хозяйственных единиц, которым я пока не нахожу иного названия кроме тяжеловесного для русского уха слова "муниципии". Мэр Москвы Гавриил Попов имеет в виду, в сущности, именно муниципию, предлагая создать самообеспечивающуюся агломерацию в пределах столичной области.

¹ Конгруэнтные геометрические фигуры — фигуры, переходящие друг в друга при движении.

Возможны ли простые решения сложных вопросов? Решения могут быть любыми. Говорят, ребенок больше, чем на своих родителей, похож на свою эпоху. Даже в пределах нашей "отдельно взятой" страны "эпохи" эти совершенно разные. Сравнивать ли ситуацию в Прибалтике и — в Закавказье?.. Уже принято винить во всем центральную власть. Думается, госпожа Тэтчер на месте товарища Горбачева наломала бы больше дров, — просто потому, что Михаил Сергеевич по природе своей полководец отступления¹.

Ушли из Афганистана. И из Восточной Европы ушли. И из Африки, Азии, Центральной Америки. И слава Богу! Я бы сравнил нашего Президента с римлянином Фабием Кунктатором (Медлителем), уклонявшимся от решающего сражения против Ганнибала, а может быть, с Кутузовым в 1812 году. Только бы до пожара Москвы не дошло.

Легко (относительно) быть "железной", если повезло родиться и стать премьером в цивилизованной, а главное — в относительно обозримой, действительно "отдельно взятой" стране. Попробовала бы леди управлять из Москвы Тувой, скажем, или Чечней. У нее проблемы были государственные, здесь — еще и национальные. Со своими религиозно-национальными (Северная Ирландия) и "железные леди" не справилась.

Жизнь, само собой, все утрясет и сгладит. Только я имею в виду не жизнь отдельного человека, мою и вашу. Так что надо бы пока предусмотреть суверенные права не только государств, но и народов, да и "отдельно взятого" человека. Англия отстаивала на краю света не пустынные Фолклендские острова, на которых только трава и растет, а права двух тысяч британских граждан, проживавших там. С учетом того, что они составляли большинство населения Фолклендов, поскольку других граждан там просто нет. Но вот тогда, когда "другие" составляли подавляющее большинство, граждане Великобритании попросту возвращались в свою страну, если решали для себя, что не смогут ужиться с этим большинством. Во многих случаях такое возвращение мне лично кажется все-таки ненужным бегством. Не логичнее ли было бы создать британские (французские, португальские, голландские, русские) муниципии под покровительством ООН на территориях преимущественного проживания британцев (французов...)? Но для этого ООН должна бы стать действительно Организацией Объединенных НАЦИЙ, а не государств. Или, скажем, Ассамблеей народов. Тогда и курды, к слову сказать, могли бы обратиться туда как равные среди равных. Ведь в наше время, когда войны за землю слишком дорого обходятся, да и почти всегда бесперспективны, когда не величина территории или наличие полезных ископаемых определяют значение народов, объединенных мировым рынком, даже, в конечном счете, и не их богатство, государство впервые в мировой истории теряет свое бывшее значение.

А вот национальность человека — сложная смесь суеверий и личного достоинства, — это еще надолго.

Знаю, многим придется не по вкусу это определение загадочного "шестого чувства" национальной принадлежности — и в первую очередь, вероятно, Овадия Соферу. Ведь это он, этнограф, историк и философ, в бытность свою послом Израиля во Франции в интервью советскому журналисту предложил на редкость прямолинейное решение ближневосточного вопроса: "Почему бы не создать конфедерацию государств, расположенных на территории исторической Палестины — Израйля и Иордании? Людской потенциал арабов и наше (евреев. — М.Т.) "серое вещество" — да мы совместными усилиями превратим Ближний Восток в рай земной!.. Поймите: палестинская проблема стала предметом спекуляции со стороны арабских диктаторов. И первая жертва их фанатизма — сами палестинцы. Мы прекрасно понимаем проблему этого народа и готовы пойти на любой компромисс с палестинцами. Однако не ценой собственного существования..."

Разумное, взвешенное заявление кадрового дипломата, серьезного ученого — не так ли? Большинство опрошенных (а этот текст был использован мной

¹ Характерно, что апрельский (1991 г.) пленум ЦК КПСС, прекрасно понимая и ничуть не рассчитывая подниматься в атаку во главе с М.С. Горбачевым, тем не менее перепугался, когда Генеральный секретарь предложил свою отставку, и почти единодушно отклонил ее. Но и это не спасло уже КПСС.

в качестве своеобразного теста) примерно так его и характеризовали. Некоторые горячились, превознося предложения Софера. Это были так называемые "лица еврейской национальности". Но двое из опрошенных бурно возмутились, отметив (порознь) одно и то же место: "Людской потенциал арабов и наше "серое вещество"...". Оба — студенты советских вузов: один — араб-христианин из Ливана, другой — палестинец. В самом деле, попробуйте перечитать заглавие Овадия Софера их глазами¹...

Самоназвание цыган — рома (люди), чукчей — луораветлане (настоящие люди), — и такие самотитулования распространены во всем мире. Скромность, украшающая человека, увы, не числится среди добродетелей народов. Так уместно ли в каком бы то ни было случае противопоставлять "людской потенциал" и "серое вещество"?

Поразительнее всего, что упомянутый израильский дипломат — восточный еврей-сефард. Он родился и вырос в Ираке, арабским владеет так же свободно, как и ивритом, сфера интеллектуальных интересов — как раз этносоциология Ближнего Востока. Можно, однако, усомниться, так ли он "прекрасно понимает проблему". Ведь во многом проблема эта — психологическая, что вообще свойственно конфликтам такого рода. Предмет этих размышлений настолько деликатный, что здесь неуместна не только пропаганда ("наше оружие" на протяжении многих лет), но и публицистика, в конце концов отражающая лишь личное мнение автора — тоже "числящегося" по какой-то национальности. Фактор этот, похоже, не менее определенный и стойкий, как и ощущение принадлежности к тому или иному полу. Исключения редки и, вероятно, крайне неблагоприятны.

Итак, факты и факты — в надежде, что выводы придут сами.

Года три назад на Пушкинской площади, в московском, так сказать, Гайд-парке, ко мне подошли несколько армян, представившихся "активистами карабахского движения", и предложили подписаться под обращением за "воссоединение Арцаха с матерью-Арменией". Расписавшись, так сказать, в своем искреннем сочувствии, я все же спросил, как они понимают это воссоединение с автономией, окруженной территорией Азербайджана со всех сторон. Меня тут же принялись убеждать в том, что Нагорный Карабах непосредственно граничит с Арменией. То есть напроць игнорировалось наличие полосы шириной в 7 км в самой узкой части, где находится азербайджанский райцентр Лачин — в прошлом Абдалар.

Если же соседняя республика заупрямится (говорили мне), Армения тут же провозгласит независимость, и Азербайджану тогда не сдобровать — как арабам перед Израилем. И еще: "Американские армяне нам помогут". Как это — помогут? Понимали ли патриоты, что их уважаемая республика в географическом смысле — изолированный анклав в окружении (если не считать Грузии с ее собственными проблемами и зависимостью от могущественных соседей) государств, которым никак не безразлична судьба Азербайджана: Иранский Азербайджан по территории и населению не меньше "нашего", сами же азербайджанцы по языку и религии сродни туркам.

Я напомнил, что сотни тысяч армян в Азербайджане — в сущности заложники. Мне возразили: "А пусть возвращаются на родину, в Армению". У оппонентов на все тут же был ответ.

Потом была резня в Сумгаите, потом — железнодорожная блокада Армении, потом — резня в Баку, опять блокада... Я писал когда-то об Армении, бывал там, собираю литературу о ней, — сердце всякий раз сжималось от боли. И когда читаешь теперь, что руководители республики призывают уже не к воссоединению Карабаха, а лишь к его "полноправной автономии при содействии советских законов", невольно думаешь, не упущено ли драгоценное время. На другой странице тех же "Известий" читаешь о разместившихся только на севере Краснодарского края 26 тысячах переселенцев из Нагорного Карабаха — и понимаешь, сколь стремительно меняется сама геополитическая ситуация,

¹ В апреле 1991 года О.Софер по настоянию государственного контролера Израиля отозван со своего дипломатического поста, который он занимал более семи лет. Послу инкриминировалось высокомерное вмешательство во внутренние дела страны аккредитования. Полагал ли он, что и у французозов проблемы с "серым веществом"? Апломб — иначе говоря, крайняя, слишком очевидная степень личного достоинства — раздражал и сотрудников Софера, евреев. Некоторые даже не разговаривали с ним. Подумать только, что такой человек берется разрубить гордые узлы национальных проблем!

а с ней и психологическая, упоминание о которой показалось активистам с Пушкинской площади таким занудно академическим.

Вообще, в слове "геополитика" мне недостает еще одной морфемы: "геопсихополитика", как-то так. Потому что в данном случае не могу я не думать как о психологии одних, убежденных в своем моральном и юридическом праве, так и других, как бы напрочь позабывших о том, что это их соплеменники резали беззащитных соседей.

Но, может быть, касаясь столь щепетильных материй, вернее было бы начинать с самого себя, со своих, с евреев? Хотите анекдот? Китаец — еврею: "Интересно, сколько вас на Земле?" — "Шестнадцать миллионов. А вас?" — "О, нас больше миллиарда!" — "Так почему же вас не видно?"

Не евреи ли при всяком удобном случае повторяют вам, что дали миру Христа и Маркса, Моисея и пророков, Эйнштейна и Фрейда? Даже так: современная цивилизация, все более приобретающая черты всеобщей, мировой, сложилась-де сочетанием иудео-эллинских игральных костей на кону мировой истории.

Я сам писал об этом в своих работах¹, подчеркивая, однако, что специфической заслуги евреев здесь нет. Всякий народ так или иначе уникален. Попробуйте представить европейское Возрождение без итальянцев, Реформацию — без немцев, великие географические открытия — без португальцев и испанцев, эпоху Просвещения — без французов, великую промышленную революцию — без англичан, а все ту же современную цивилизацию — без хотя бы одного-единственного звена из этой цепи мировых событий!

Подумать только! Народ, заброшенный прямо-таки на край света, чуть более ста лет назад еще живший при классическом феодализме, изолированный ото всех на своих, можно сказать, заштатных островах, не выделяющихся ничем, кроме землетрясений, и почти лишенных полезных ископаемых, — именно этот народ возглавляет ныне технический прогресс. Не феномен ли цыгане — этнически не в пример более близкие европейцам, чем не только японцы, но и евреи, до сих пор, однако, живущие своей специфической, ни на что не похожей, как бы вневременной жизнью? Отнесем ли к великим народам эскимосов или бушменов, проявивших чудеса изобретательности, чтобы выжить там, где до сих пор никакая человеческая община, кроме них, не способна автономно существовать?

Словом, "серое вещество" мозга дано нам, вероятно, как раз с тем избытком, который и выручает нас в экстремальных обстоятельствах. А вот их-то в еврейской истории было больше, чем в какой-либо другой. Так что своей специфической славой евреи обязаны, пожалуй, именно своим же несчастьям. Достаточно сказать, что толчком к систематизации фактов древнейшей истории народа, созданию Библии, послужило Вавилонское пленение, а краеугольным камнем восстановленного еврейского государства следует признать небывалую в истории катастрофу евреев в годы второй мировой войны.

Чему бы тут, кажется, завидовать? Но народы, как люди: ничто человеческое им не чуждо. И в политике это надо учитывать.

Авраам, библейский праотец, до глубокой старости был бездетен. И Сарра, жена его, вконец отчаявшись, "дала ему в жену" свою служанку-египтянку Агарь. Должен был состояться мистический спектакль, принятый в древности на Ближнем Востоке: рабыня, забеременевшая от хозяина, рожает, разместившись между коленями бездетной госпожи своей, которая и вступает в права матери.

Опять все напортила психология! Агарь, забеременев от хозяина, возгордилась и стала презирать неудачницу Сарру. Та взбеленилась. Авраам что называется ушел в кусты. Сарра довела служанку до того, что та убежала от нее в пустыню Сур, расположившуюся по дороге на родину ее, в Египет. Но ангел господень, встретившийся ей, уговорил Агарь вернуться к госпоже, покориться и посулил за это рождение сына под счастливой звездой. Спектакль, однако, не состоялся, новорожденный, нареченный Измаилом ("Бог слышит"), остался с Агарью.

¹ "Запад — Восток: на весах столетий" ("Проблемы Дальнего Востока". № 6, 1989, №№ 1 и 2, 1990), "В поисках здравого смысла" ("Московский рабочий". 1991).

Приходится Аврааму смириться с тем, что умрет он, не оставив наследника. Но Господь, благоволя к нему, сулит Сарре беременность. Авраам только горько смеется: "Неужели от столетнего будет сын? И Сарра, девяностолетняя, неужели родит?" Хотя бы Измаил признан был его законным наследником.

Горько рассмеялась и Сарра, выслушав Господа. Когда же родила она (есть ли что-либо невозможное для Господа?!), то нарекли сына Исаак ("смех") — в назидание маловерам.

Смех еще раз вторгается в эту библейскую историю, когда трехлетний Исаак был отнят от материнской груди и отец устроил большой пир по сему поводу. Измаил, уже семнадцатилетний отрок, на этом пиру стал насмехаться над своим сводным братцем. Этого материнское сердце не смогло вынести. Агарь с непочтительным отроком были выставлены из дома. Авраам, не привыкший перечить жене, встал все же рано утром проводить их и дал на дорогу хлеб и мех с водою. Вспомним, что идти было через пустыню.

Но Господь не оставил Измаила. "Он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука", то есть охотником. Когда же пришло время, "мать взяла ему жену из земли Египетской", соплеменницу.

Сбылось предсказанное Агари ангелом. 12 сыновей Измаила стали шейхами племен, обитавших к востоку от Египта, вплоть до Евфрата, то есть на всем пространстве Аравийского полуострова. "Я произведу от него великий народ", — сулил Господь и сдержал слово. Библия именует потомков Измаила то измаильтянами, то агарянами (от Агари), и сами арабы до сих пор чтут Авраама как праотца.

Сбылось и предсказанное Исааку: от него пошли 12 колен израилевых. Оправдалось имя Авраам, нареченное Богом — "отец множеств".

То, что Измаил старше сводного брата, вполне оправдано: это еврей, уверовав в собственного Бога, отделился от родственных пастушеских племен, пустились что называется в автономное плавание. Посейчас антропологически они ближе к бедуинам, кочевым обитателям пустыни, чем к городским арабам, облик которых нам, телезрителям, более знаком. Дело в том, что арабы, завоевавшие в средние века едва ли не полмира от Пиренеев до Гималаев, смешивались с покоренными народами, тогда как еврей, гордые причастностью Господа к их склокам и распрям, блюли изо всех сил "генетическую девственность".

Итак, оба народа названы в Библии великими. И если уж принять это титулование (довольно бессмысленное), то арабы с немалым правом, надо сказать, присваивают его себе. У них изрядные заслуги перед мировой историей. На протяжении столетий они были живым средостением между потрясенной религиозными распрями средневековой Европой и (словами Пушкина) "недвижным Китаем". Исламское Возрождение — точные науки, замечательная архитектура, глубокая философия, изумительная поэзия — предшествовало европейскому и могло слиться с ним в многоцветное единство. Нашествие монголов, а затем Тимура, прервало это развитие событий.

Как же арабу теперь согласиться с тем, что он не более чем "людской потенциал"? И ведь дело здесь не просто в обмолвке маститого дипломата. Помню, как в июне 1967 года, в момент очевидного разрешения "шестидневной войны", меня насторожил пафос израильских передач, прорывавшихся в моем радиоприемнике. Какой-то "Яша из Одессы", советский репатриант — солдат Израиля, заявил, что граница государства отныне там, куда ступила его, Яшина, нога. Несчетно повторялось, по поводу и без повода, что Иерусалим — "неделимая столица Израиля", — хотя почему бы тогда же победителям не поставить великодушно вопрос о вненациональном статусе древнейшей его части — всего-то один квадратный километр! — чтимой тремя мировыми религиями?

Эмоциональный подъем можно понять. Но ответственные заявления, даже и в момент триумфа, не должны опираться на мнение "Яши из Одессы", каким бы отважным воином он ни был. Есть права побежденных. Можно, не ущемляя гражданских прав другого народа, больно задеть его национальный престиж — и уже ни к чему никакие материальные посулы. "Сельское хозяйство Израиля более развито, чем даже в Соединенных Штатах. У нас собраны блестящие специалисты — инженеры, конструкторы, ученые, разработчики, врачи, есть самая современная технология, техника. Темпы нашего развития гораздо выше средних мировых. И это в стране, где раньше и помидоров не выращивали!" Все это опять из цитируемого уже интервью высокопоставленного израильского дипломата, опять с очевидным для сознания

палестинца акцентом на то, что без евреев "и помидоров не выращивали" и что к их "серому веществу" неплохо бы прибавить еще и "людской потенциал". Это — политика?

Ведь дело в том, что и люди, и народы в зависимости от своего положения видят одно и то же совершенно по-разному. Взглянем на карту Кавказа глазами грузина. Чрезвычайно логичная северная граница республики, пролегающая строго по Главному Кавказскому хребту, естественнейшему рубежу, от одного пика к другому — так что южные склоны ледников принадлежат Грузии, северные — ее соседям.

Взглянем глазами осетин. По обе стороны хребта в центральной его части живет этот народ. Всякий народ, по сути, так же укоренен в родную землю, как дерево, как сами горы. Сам Сталин, природный грузин, признал автономию Южной Осетии. И мало ли на Земле народов, чья родина располосована хребтами или реками!

Мнение грузин. Мы здесь, на Кавказе, автохтонный народ, поднявшийся из этой земли, действительно, как дерево, осетины же, судя по языку, пришлый, по некоторым предположениям — потомки ираноязычных скифов. Мы им, так сказать, дали прибежище.

Нетрудно понять, как ответят на это осетины, как, в свою очередь, возразят грузины. Такой спор бесконечен, потому что предмет его не истина, а право. Но право устанавливается лишь законом. Мыслим ли закон, определяющий, как жить двум народам на одной земле?

Никто — в Грузии тоже — не оспаривает автохтонность абхазов (древних абазгов и апсильов). "Претензия" иная: на своей исконной родине они составляют "подавляющее меньшинство"; "подавляющее большинство" — грузины. Какой принцип положить в основание государственности? Правда, расстанься Абхазия со своим крайним югом — с Гали, Очамчирой, Ткварчели, населенными по преимуществу грузинами, ее национальный состав больше бы соответствовал названию, — но кто же добровольно расстанется с тем, что ему "принадлежит по праву"! Тем более, что нынешняя граница представляется с абхазской стороны вполне естественной и логичной — по нижнему течению Ингури. Убедите ли вы эстонцев расстаться с перешейком между Чудским озером и Финским заливом — с Нарвой, Силламяэ, Кохтла-Ярве, то есть тремя процентами территории Эстонии, — чтобы намного "улучшить" демографический облик своей республики? Вспомним, какой скандал вызвал намек А.И.Солженицына Казахстану расстаться со своими северными целинными землями, заселенными почти сплошь славянским населением.

Возможна ли в национальном вопросе, как на шахматном поле, уступка фигуры, хотя бы пешки, в обмен на качество и позиционное преимущество? И почему бы евреям, упирающимся на особую кондиционность своего "серого вещества", не быть инициаторами столь беспрецедентного в истории сознательного "хода"? Ближний Восток испокон веку подавал пример самых нетрадиционных решений. Здесь впервые в мировой истории стали фиксировать мысль — изобрели письменность, здесь возникли три мировые религии, всеисильные по сей день, именно здесь народ, рассеянный по свету на протяжении тысячелетий, восстановил и свое государство, и свой древний, почти забытый язык.

Я уже писал о внезапно изменившемся для Израиля в ходе последней войны на Ближнем Востоке военно-стратегическом положении — не в его пользу, вопреки общепринятому мнению¹.

Писал и о безнадежности (во всяком случае, в обозримом будущем) неукротимой борьбы палестинцев. Дело, стало быть, для обеих сторон приобрело патовый характер. И с учетом "геопсихополитики" видится пока единственный выход. Да, когда-нибудь арабы и евреи, эти сводные братья, потомки праотца Авраама, станут жить в мире и согласии, но сегодня им необходим размен. Это решение могло бы стать примером для многих народов, оказавшихся в сходной ситуации.

"Территории в обмен на мир" — как предлагают Израилю уже много лет. Какие же территории — в пределах Палестины, едва различимой на карте мира? Надо ли, чтобы опять как до "шестидневной войны" 1967 года, орудия арабов, даже танковые, могли быть прямой наводкой по парламенту — кнессету? В упомянутой выше публикации приведена карта Палестины с

¹ "Проект для Ближнего Востока" ("Независимая газета" от 04.04.91).

возможной линией раздела, так или иначе удовлетворяющей обе стороны. Не без компромисса с обеих сторон.

При нынешнем сиюминутном раскладе сил первым, думается, заартачится Израиль. Зачем ему все это, если после сокрушительного разгрома Ирака и вынужденной признательности Западу со стороны нефтяных шейхов на горизонте замаячили мирные соглашения на манер кемп-дэвидских с некоторыми арабскими странами? Однако главные проблемы Израиля не внешние, но внутренние. С вражеским окружением еще как-то можно справиться — и до сих пор Израиль справлялся блестяще. Интифаде же, неукротимому бунту подростков, рожденных после "шестидневной войны", не видно конца. Изменил ли что-либо в этом внутреннем противостоянии мирный договор с Египтом? Изменит ли какой-либо иной внешний повод? Интифада, в сущности, ориентирована именно на демократические свободы Израиля, подспудно подрывая их. В Сирии, например, тем более в Ираке, не бунтуют; в Иордании те же палестинцы пробовали взбунтоваться — и по сей день ежегодно отмечают траурную годовщину — "черный сентябрь" 1970 года, когда, спасаясь от головорезов короля Хусейна, они толпами пересекали Иордан и сдавались израильтянам.

Да, можно так или иначе сломить интифаду. Надолго ли? Иммиграция евреев диаспоры, прежде всего советских, — временный фактор, традиционное количество детей в арабских семьях — постоянный.

Да и только ли демографический фактор в активе у арабов?

Хоть меня ни разу не приглашали ни на совещания в генеральном штабе Израиля, ни на закрытые заседания комиссии кнессета по иностранным делам и обороне, вполне могу представить, о чем там сейчас болит голова. Казалось бы, последний садам¹ иракского фюрера уже позади, в Израиле, сняв противогазы, смогли наконец перевести дух — ан нет! Представить только (и в Израиле отлично это представляют), что Саддам Хусейн в свое время — ЕГО время! — пошел бы не кувейтской картой, а принялся набирать решающие козыри в арабском, да и во всем исламском мире, обнимающем четверть земной суши, тем, что начал бы методично, либо время от времени, по настроению, обрабатывать Израиль советскими "скадами", модернизированными и приспособленными для этой цели квалифицированными немецкими ракетчиками! Мы уже убедились, что это вполне возможно, и Израиль, к своему ужасу, убедился в этом тоже. Там ведь до войны в Заливе в начале 1991 года царило убеждение, что небо Израиля под надежной защитой лучших в мире пилотов. Помнится, с 1949 года, со времени войны за независимость, лишь один-единственный вражеский самолет, проникший со стороны Сирии, сбросил бомбу на нефтехранилище в Хайфе и был тут же сбит. Помнится так же, как наш Главный маршал авиации ринулся инспектировать сирийскую авиацию, когда во время очередной арабо-израильской стычки в конце 70-х годов советские "МИГи" десятками посыпались с неба над Голанскими высотами. И это внезапное рвение заставило тогда предположить, что жертвами были отнюдь не арабские пилоты. Сегодня из публикуемых газетами писем наших граждан, которые справедливо хотели бы приобщиться к льготам "воинов-интернационалистов", узнаем, что в арабо-израильских войнах активно участвовали и наши соотечественники. Где их могилы?

Словом, израильтяне, со своей стороны, чувствовали себя под надежной защитой, пока вторжение безмозглых "Скадов", не исполненных, так сказать, почтения перед отгагой и выучкой израильских пилотов, не изменило всю ситуацию. Израиль, всегда гордившийся тем, что справляется со своими врагами только собственными силами, скрепя сердце пригласил зенитчиков "со стороны". Да, американские ракеты "пэтриот", тут же, в считанные дни усовершенствованные израильскими специалистами, настигали и уничтожали "скады" в полете, но размеры страны столь ничтожны, что обломки сыпались с неба все на ту же густо заселенную приморскую полосу Большого Тель-Авива, расположением и размерами аналогичного нашему Большому Сочи, не более того.

Конечно, если бы Саддам в иных условиях позволил себе это удовольствие, ответ Израиля был бы вполне сравним с недавними бомбардировками союзной

¹ Саддам — столкновение, стычка (араб).

авиации. Не в пример меньшее число самолето-вылетов вполне компенсировалось бы их эффективностью. Все шесть багдадских мостов через Тигр были бы уничтожены не за месяц, как на этот раз, а в один день. Ну и что? У диктаторов всегда припасен решающий козырь — абсолютное пренебрежение и к потерям, и к самым человеческим жертвам. Это свойство характера было блестяще продемонстрировано Саддамом. Соотношение убитых десять к одному принесло бы ему на всем Востоке лавры победителя, да и соотношение сто к одному тоже вполне бы устроило, — это мы уже видели. А в нашем гипотетическом случае это был бы уже так сказать натуральный джихад — священная война ("национально-освободительная" — в нашей недавней терминологии), и мученики за веру после кончины направлялись бы прямоком в рай с его реками молока и меда и черноокими гуриями. Сам же диктатор, не торопясь в рай, отсиживался бы в своем бункере.

Безнадежность для Израиля состояла в том, что решение конфликта прямым нападением на суше было бы "чревато": Ирак не граничит с Израилем. Тогда как так называемое мировое общественное мнение с его форумом в виде ООН, разумеется, всеми силами поддерживало бы "нейтралитет" Иордании, разделяющей дуэлянтов.

Но это еще не самый кошмарный сценарий для Израиля. Я не упоминаю пока ни химическое, ни бактериологическое, ни радиационное оружие (в боеголовки загружается элементарное топливо "мирных" реакторов), тем более ядерное; не упоминаю и того, что более или менее отдаленные арабские страны, почувствовав относительную безопасность, также подключатся к ракетному "джихаду". Хотя и палестинцев будут косить все те же "Скады" (тем паче с "неконвенциональной начинкой") — до них ли уже тут?

Вот над таким вполне реальным сценарием ломают себе головы в высоких кабинетах Израиля. Но и диктаторы во всем мире только что получили хороший урок и тоже на свой лад ломают головы.

Как же не использовать этот уникальный момент во имя мира!

29 ноября 1947 года ООН приняла решение о разделе Палестины и создании арабского и еврейского государств. Для арабских армий, сосредоточенных вокруг Палестины и непосредственно на ее крохотном пятачке, это послужило сигналом к атаке. Так была упущена возможность создать государство палестинцев, и началась затяжная первая арабо-израильская война.

Теперь об этом у нас не только говорят, но и пишут, едва ли не кичась дозволенной объективностью. А ведь сколько лет на маленькое еврейское государство, сумевшее защитить себя от вторжения, в нашей стране лились ушаты пропагандистской грязи! Так завоевывался "авторитет" в арабском мире (расхлебываемый нами теперь), так мстили поклопами и руганью за поражение нашего оружия, в избытке поставлявшегося экстремистским режимам. После "шестидневной войны" 1967 года с десятков лет Израиль торговал советскими танками, самолетами, орудиями, бронетранспортерами, захваченными в боях и подоремонтированными.

Как не вспомнить тут полные напряжения дни мая и начала июня 1967 года, угрозы египетского президента (между прочим, Героя Советского Союза, награжденного соответствующими медалью и орденом), блокада им израильского порта Эйлат на Красном море, грозные передвижения египетских, сирийских, иорданских танковых колонн, подкрепления, прибывающие из других арабских стран — так сказать, один казус белли¹, тут же громоздившийся на другой, смертельная угроза не просто существованию государства, но и всем его жителям — не только евреям, как при Гитлере, но, надо думать, и арабам, гражданам Израиля, объявленным "изменниками великой арабской нации" и тоже заслуживающим быть "сброшенными в море". Тогдашний глава ООН Ахмед Шукейри объявил, что его молодцы не попадут никого.

Для меня, москвича, "шестидневная война" невольно ассоциируется с Пушкинской площадью, с газетными киосками у подножия бетонного комбината "Известия", с очередями, жаждавшими свежих новостей. Услышанная тогда беглая реплика у газетного стенда с картой боев: "А где же сам Израиль? Вот этот?! Так я ж его ногтем накрою! Хана ему: кругом его обложили!"

¹ Повод к объявлению войны.

В тот первый день войны по нашему радио сообщили, что только над Каиром "сбиты сотни израильских самолетов", чуть ли не две трети всего состава.

Победа в "шестидневной войне" была молниеносной, но отнюдь не легкой для Израиля. Слишком велико было несоответствие не столько даже численности армий, сколько географических факторов, территорий по обе стороны фронтов. Достаточно сказать, что с дальних египетских аэродромов бомбардировщики могли атаковать противника, возвращаясь на собственные же ближние аэродромы, тогда как израильские пилоты летели на бомбардировку целей в глубине Египта подчас на одном двигателе, возвращались же на другом, — только так могли они покрыть расстояние в оба конца.

Подчеркнем главное: в этой войне впервые в послевоенной (с 1945 года) истории с ее "неуклонным наступлением социализма во всем мире" победило либеральное государство, принадлежащее к западным демократиям. В Израиле ни на миг не были запрещены какие-либо партии и фракции, функционировал парламент с депутатами-арабами, депутатами-коммунистами. Тиранические режимы, рассчитывавшие на податливость, аморфность демократий, получили важный урок и с этого времени, в общем, стали переходить к обороне. Оттого-то и полились потоки пропагандистской грязи. А серьезные историки в сотнях книг сравнивают "шестидневную войну" с победой эллинов при Марафоне.

В выступлении А. Бовина прозвучала как-то расхожая мысль о том, что, вернись Израиль к границам 1967 года (до "шестидневной войны"), "в Палестине возникло бы два полноценных, равных по территории государства — и мир был бы обеспечен".

"Равных по территории?" — для верности переспросил я.

Он повторил: "Да, примерно равных".

Увы, территория государства арабов вышла бы в три с лишком раза меньше, чем у евреев (чье государство тоже едва различимо на карте мира), — примерно шесть тысяч квадратных километров.

Немыслимо трактовать политические вопросы, имея перед собой глобус. Вспомним хотя бы, что "пресловутый" (в освещении нашей прессы на протяжении четырех десятков лет) Тель-Авив до "шестидневной войны" располагался практически на границе с Иорданией, формально (а затем и фактически) находившейся в состоянии войны с Израилем. Ширина страны в центральной, наиболее населенной части была от тринадцати до семнадцати километров. Это вдвое-втрое ближе, чем от Тушинского лагеря Лжедмитрия II с его жалкими пушчонками до тогдашней Москвы.

Какое обилие "действующих лиц" на столь крохотной "сценической площадке"! Палестинцы, ратующие за образование собственного государства, должны еще и "благодарить" активистов нашей "Памяти" за изменение демографической ситуации не в их пользу в самое последнее время. "Памятники" столь рьяно отстаивают здесь "арабские интересы" (лозунг: "У русских и арабов общий враг — сионизм!"), что эмиграция советских евреев все усиливается. Но в долгосрочной перспективе это отнюдь не решение вопроса даже и для Израиля.

Чаяния палестинцев понять можно. Только с чем же, в конце концов, сядут они за стол переговоров с израильтянами? Явится ли предметом обсуждений все та же прежняя — до 1967 года — чудовищно запутанная и растянутая граница (до тысячи километров только по суше), перетягивающая территорию еврейского государства подобно осиной талии и одновременно рассекающая предполагаемое арабское на изолированные друг от друга, неравноценные по площади и населению анклав (сектор Газа и Западный берег Иордана)? Сколько появится новых поводов для драк!

Есть ли иной геополитический выход? Предлагаю решение, возникшее у меня давно, более двадцати лет назад. Я и подумать тогда не мог, что оно — довольно очевидное — не придет еще в чью-то голову.

Учитывая специфичную этнографию района, не разделить ли его (поначалу, само собой, мысленно) почти прямой кратчайшей линией (всего-то сто километров) поперек — от средиземноморского побережья к Мертвому морю? В качестве исходного предложения для обсуждения сторонами представляется разумным разделение по рубежу от крайней северной точки сектора Газа (на западе) до наибольшего сужения Мертвого моря южнее Масады (на

востоке) с учетом факторов естественного рельефа местности — сухих вади, горы Кидод и т.д.

Итак, вместо Западного Берега площадью 5,5 тысяч квадратных километров палестинцам предлагается вся южная часть страны вдвое большая по площади с выходами и к Средиземному морю в секторе Газа, и к Красному — порт Эйлат. Да, район пустынный (Негев, Арава, часть древней Идумеи), но в значительной части уже орошенный Иорданским водоводом, бесперебойное функционирование которого должно быть оговорено в соглашении. И сейчас в этом районе помимо арабов проживают почти 400 тысяч евреев, которым пришлось бы, при соглашении об обмене населением, переместиться из благоустроенных городов Беэр-Шевы, Нетивота, Арада, Димоны, Иерохама, Эйлата, из десятков высокопродуктивных сельскохозяйственных поселений — на север, в Израиль с его новыми, обеспеченными мирным договором границами. Площадь еврейского государства стала бы меньше, чем до "шестидневной войны", но и протяженность сухопутных границ тоже почти втрое меньше.

Два небольших, но компактных жизнеспособных государства.

Спору нет, у Израиля в его новых границах не только сохранилось бы, но и упрочилось важное преимущество — основной источник водоснабжения из Иордана и Тивериадского озера. Однако оно было и до 1967 года. Именно эта гидрографическая особенность вынуждает размещать, хотя бы в теории, еврейское государство на севере, арабское же — на юге. Ведь врагами Израиля объявили себя не только палестинцы, но и могущественные государства региона; для них было бы огромным соблазном перекрыть Иорданский водовод и получить решающее стратегическое преимущество.

Если бы будущая арабская Палестина пожелала объединиться с Иорданией, где преимущественное население — те же палестинцы, такое государство с выходом к двум морям, с важнейшими нефтепроводами на своей территории, с географически нейтральным положением в огромном арабском мире могло бы стать поистине транспортным и хозяйственным средостением всего Ближнего Востока, куда как превосходя экономические возможности Израиля. Стоит ли — при таких-то перспективах! — жить одной лишь бесплодной враждой?

Повторю, когда-нибудь арабы и евреи, эти "двоюродные братья" согласно Библии, потомки праотца Авраама, станут жить в мире и согласии. Но пока что — и это более чем очевидно — им необходим "развод" и "размен". Наиболее проблематичное в моем предложении — это добровольный (только такой!) обмен населением своих обжитых мест. Но лучше ли вечная кровавая вражда?

Территория Юга вдвое больше нынешнего Западного берега, но жилая площадь — меньше. И Израилю придется, вероятно, построить еще один благоустроенный город для будущих арабских жителей, как-то компенсировав их переезд. Быть может, затеять важное в экономическом отношении совместное строительство канала, дублирующего Суэцкий, взять на себя основную долю расходов.

Такой добровольный обмен был бы явлением уникальным, но не в пример менее масштабным, чем изуверские насильственные переселения, которыми знаменит наш XX век, хотя бы и в пределах собственной нашей страны. Да и не удивись Ближний Восток уникальностью обстоятельств! Я уже упоминал, что именно здесь возникли три мировые религии. Именно здесь народ, рассеянный по свету на протяжении тысячелетий, смог создать свое государство и восстановить свой древний язык. А где еще в наше время так неукротима была бы борьба обиженных за свои национальные права? Все это феномены мировой истории.

Реален ли данный проект? Отвечу: а вы можете предложить другой? Пока что при арабо-израильских контактах очевиднее всего пинки под столом ногами...

Заметим, сам Израиль до сих пор называет территории вне собственных границ 1967 года "контролируемыми". Дать им иной статус, объявить собственными, значит, с учетом законов демократической страны, присоединить к "своим" арабам, гражданам еврейского государства, еще миллионы (с учетом ближайшего естественного прироста).

Но и у палестинцев перспективы не радужные. В прошлом: относительное единство арабского мира, финансовая щедрость нефтяных шейхов, абсолютная политическая и прежде всего военная поддержка (пусть не абсолютная, но реальная) Советского Союза, подготовка террористов на территории восточно-европейских "соцстран", экспорт оружия оттуда, возвышение Саддама Хусейна,

этой надежды и опоры арабских радикалов, превращение Ирака в могучую военную державу с миллионной армией, по численности четвертой в мире...

В будущем: опасная для палестинцев реальность фашизации пока что демократического израильского общества, крепнущее у экстремистов стремление "решить вопрос" одним махом — насильственным выселением арабов, как это у нас проделали когда-то со многими народами.

Но я верю в еврейский здравый смысл. Расстался же Израиль после победы в "войне Судного дня" 1973 года с Синаем (что дороже — с учетом масштабов — чем для России потеря Сибири) в обмен на мирный договор с Египтом! Я еще помню, с какой горечью израильские солдаты сляком выселяли упиравшихся еврейских колонистов, создавших на Синае процветающее поселение Ямит, трудом своим растивших богатые урожая.

...Среди евреев, даже ортодоксальных, обычно имя Александр — типично эллинское. Рассказывают, будто Александр Македонский, взяв приступом Иерусалим, распорядился, чтобы по эллинскому обычаю в храме — иудейском! — была поставлена его статуя. Еврейская традиция этого напрочь не допускает. Долго размышляли хахамы — мудрецы. Наконец пришли к царю с решением: статую они не поставят, зато станут нарекать его именем еврейских младенцев — и тем прославят его вовеки.

Пример разумного компромисса заразителен. Как знать, не с Ближнего ли Востока пойдет "мода" на здравый смысл. Ведь он, по словам Гете, "подлинный гений человечества".

"Революция есть малый апокалипсис истории..."



Давно замечено, что истина не рождается в споре. С особой очевидностью проявляется это в наши дни, когда о "принципах" принято говорить лишь с насмешкой, обожествляемые в недавнем прошлом идеи смываются потоком суровой реальности, а мысли мельчают настолько, что даже для самих спорящих становится подчас неясным, что же они защищают и отстаивают. Чем выше накал страстей, тем непродуктивнее словесные баталии, — в этом убеждается сегодня каждый читатель и слушатель.

Происходит это, вероятно, не только от крайней скудости запаса идейного и мыслительного багажа, с которым мы вошли в эпоху перемен, но и от нашей нынешней невосприимчивости к окружающему миру, почти полной утраты способности учиться, жить полноценной духовной жизнью, способности не спорить, а думать и говорить.

Вот почему, открывая рубрику "Диалог", редакция не хотела бы предоставлять страницы журнала для политических споров и выяснения тех или иных "коренных" противоречий. Диалог — беседа двоих, и она должна быть такой, какой всегда была и бывает беседа людей в приличном кругу: спокойной, рассудительной, полной взаимного уважения друг к другу. Что не исключает, разумеется, остроты и парадоксальности суждений и даже принципиального несогласия, ведущего собеседников не к личным обидам и попрекам, а — вглубь проблемы. Именно эти качества присущи, на наш взгляд, диалогу молодого историка Дмитрия Чернышевского и известного ученого-востоковеда Григория Померанца.

Дмитрий Чернышевский

"Покайтесь, ибо приблизилось..."

Конец истории, конец света. С приближением 2000 года его ощущение, неоднократно пережитое человечеством в прошлом, вновь овладевает сознанием людей. В Европе — больше в виде сытого чудачества, в России — с ужасающей реальностью падающего в бездну бытия. Астрологи и экстрасенсы, философы и простые смертные, по роду своей деятельности сталкивающиеся с проблемами вечности, чувствуют приближение великих перемен, которые преобразят лицо мира. Даже рациональная наука, обычно не склонная заниматься тем, что выше ее понимания, откликнулась на смутные веяния нашумевшей на Западе статьей американского политолога Фрэнсиса Фукуямы под многозначительным названием "Конец истории?". Но в метафизическом космосе разлитое сейчас нечто такое, что препятствует принять фукуямовское постиндустриальное прозябание либерального общества за обещанный в древности Новый Иерусалим, где времени уже не будет. Особую окраску современной эсхатологии придает грубая реальность всеобщего конца, "достигнутая" человечеством в безудержном прогрессе. Мысль, не замыкающаяся добровольно в клетке научности, не может не видеть грозных признаков скользящего к пропасти, переводящих шифр Откровения Иоанна в хронику текущих событий. Но наше сознание слишком поработано рационалистическими предрассудками,

чтобы прямо обратиться к древней книге и понять язык предков: придется сделать некоторые отступления.

Миф и Логос

"Ходящий во тьме не знает,
куда идет"

По внушенной в школе привычке мы воспринимаем научное мировоззрение как естественное и единственно истинное, но правильно ли это? Наука есть плод сравнительно позднего развития западной цивилизации; тысячи поколений жили и живут, видя вселенную иначе.

На заре истории человек был погружен в природу. Мышление древних было целостным и космичным, оно включало людей в мир и в вечность. Вселенная воспринималась как нечто единое, время — как неразрывный поток, а человек осознавался как часть природы и звено в равноценной цепи поколений. И хотя тот мир был иногда только до горизонта, он был для них не меньше нашего.

Древнее, донаучное сознание практически не знало аналитического метода, опирающегося на факты. Оно было образным, "детским"; в символах мифов были осмыслены конечные вопросы бытия, которые и сегодня волнуют людей. Система представлений о мире и жизни, зашифрованная в сказочных образах, была не проще сложных философских и научных концепций современности: догоны знали о Сирiuсе больше, чем современная астрономия, но ведь и в русском фольклоре есть сведения о двойной "волчьей звезде"! Мудрецы видели дальше простолудиннов, но ответы на важнейшие вопросы о смысле жизни, устройстве космоса, добре и зле были понятны всем.

Наука родилась на почве расколдовывания мифов и борьбы с "суевериями". Возникнув в европейском средневековье, она обрела господство в XVIII-XIX вв., когда религия была низвергнута и человеческий разум занял место Божественного Провидения. Успехи науки — особенно в XIX — начале XX вв. — породили ожидания, что она разрешит все проблемы и осуществит на земле мечту о царстве всеобщего благоденствия и справедливости. На волнах этих ожиданий поднимались великие социальные учения, рождались грандиозные планы покорения природы и космической экспансии. Но наука — даже если говорить не о "научном мировоззрении", так, кажется, и оставшемся на уровне знаний XIX века, а об объективном знании, максимально проверенном и систематизированном — не может претендовать на исключительное и полное обладание истиной.

"Лезвие Оккама" — правило, гласящее, что понятия, не поддающиеся проверке опытом, должны быть удалены из науки — отсекло целые пласты бытия, ограничив ученых эмпирикой и материализмом. Волгу, например, можно описать в географических, физических и химических терминах, а можно изобразить живописно и художественно, дав иное — и тоже верное — представление о реке. А что делать с громадным массивом эзотерических знаний о человеке и космосе, накопленным за века нашей истории? До недавнего времени наука делала вид, что индийские гимнософисты и Платон, библейские пророки и Заратустра, апостол Павел и Магомет, Бёме и Нострадамус, Сергей Радонежский и Серафим Саровский — чудачки и исключения, а не представители великой традиции проникновения человечества в запредельную действительность. Но исполнение пророчеств и обнаружение способностей к духовидению у многих талантливых натур поколебали эту позицию. Только в России и только в XIX — начале XX вв. метафизический дар проявлялся у Пушкина и Лермонтова, Достоевского и Конст. Леонтьева, Вл. Соловьева и Мережковского, Блока и Волошина...

Особенно интересно, что наука, на ранних этапах своего развития питавшая приземленные, обезбоженные и бесчеловечные теории мира и истории, со временем обратилась к подтверждению тайных знаний, известных человеку в мифах. Г. Шлиман раскопал Трою и превратил сказки Гомера в исторический факт; лопата археолога открыла города и народы, упоминавшиеся в Библии, существование которых отрицалось рационалистической критикой XIX века; древнейшие легенды о происхождении вселенной из мирового яйца получили неожиданное объяснение в

теории "большого взрыва", принятой астрофизиками. Сама идея божественного творения мира и человека нашла опору в выдвинутом физиками "принципе антропности" (соотношение констант во вселенной настолько тонко, что не может быть продуктом случайности, оно согласовано для того, чтобы мы были) и в концепциях В. И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена о направленном к возникновению человека и ноосферы геобиоценозе. Даже знаменитые строки Евангелия от Иоанна: "Вначале было Слово... все через него начало быть... в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" (Иоан., 1, 1-4) удивительно подтверждались открытием молекулы ДНК, содержащей в себе генетический код организма — фрагмента этого мудрого Слова, распечатавшего жизнь в мире.

Оправдывая слова апостола Павла "... невидимое... Божество от создания мира чрез рассматривание творений видимо" (Рим., 1, 20) и Фрэнсиса Бэкона "малое знание ведет к неверию, а большое — к вере", многие выдающиеся ученые XX века были людьми религиозными (Эйнштейн, Планк, Павлов). Дав людям частное положительное знание, наука бессильна перед конечными общими вопросами бытия, этики, свободы. Возможности ее ограничены, высшая истина — "премудрость", соединяющая разум, красоту и нравственность — ей недоступна. Сегодня едва ли можно сомневаться, что спор логоса и мифа — плод заблуждения; более того, видимо, прав был И. В. Киреевский, говоря, что "вера не противоположность знания: она его высшая ступень".

О смысле истории и прогрессе

"Итак, не заботьтесь и не говорите: "что нам есть?" или: "что пить?" или "во что одеться?" Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам"

(Мф., VI, 31, 33)

Стержнем современных исторических взглядов является понятие прогресса, именем которого оправдываются многие прошлые злодеяния и сегодняшние издержки НТР. Между тем это понятие является крупнейшим научным предрассудком, так как не несет в себе никакого объективного содержания.

Н. А. Бердяев писал, что "обосновать научно-позитивное учение о прогрессе нельзя, потому что научно-позитивно можно обосновать только теорию эволюции, учение же о прогрессе может быть только предметом веры, упования"¹. Слово "прогресс" имеет положительную окраску и потому оно неравнозначно этическим нейтральному термину "развитие". Но положительно оценивать движение можно, лишь зная конечный результат. Прогрессивность определяется целью, в достижении которой усматривают смысл развития. Однако, как сказал немецкий философ Карл Ясперс, "цель истории закрыта для науки", и, следовательно, "что есть прогресс и что — регресс, зависит прежде всего от содержания личной веры каждого" (С. Л. Франк). "Прогресс" есть наукоподобное верование, не имеющее оснований в самой науке и держащееся секуляризацией религиозных представлений, вне которых он не может быть понят.

Вера в прогресс и смысл истории — недавнее явление. Космос и сознание древних цивилизаций, подавленных природной цикличностью, были замкнуты и подчинены безличному и вненравственному порядку (року, атману-браhme, дао), выходящему из хаоса и возвращающемуся в хаос. Хозяйство было элементом природного круговорота и в стихийной экологичности практически не имело временных границ своему существованию. Такие цивилизации были чужды прогрессу, статичны и почти бессмертны (30 веков древнего Египта внушают благоговейное удивление перед устойчивостью этих обществ). Даже греко-римская и китайская культуры, сделавшие массу технических открытий, оказались неспособными использовать их иначе как для частного улучшения традиционной деятельности: при отсутствии идеи прогресса не помог даже рынок, весьма развитый в обоих регионах.

¹ Бердяев Н. А. Смысл истории. М. 1990, стр. 146.

Раз не было прогресса, не было и истории в современном понимании (не случайно в Индии сознание было совершенно неисторичным, а в Китае и у греков история — лишь собрание моралитэ и анекдотов в духе Плутарха). Поэтому жизнь могла продолжаться вечно. Но такая бессмысленная вечность, животное существование с постоянной борьбой за жизнь и торжеством смерти есть царство "князя мира сего", оно неприемлемо и противно человеческому духу. Ибо, как сказал Ф. М. Достоевский, "тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить".

В христианстве человечество пережило величайший духовный переворот. Этическое начало стало краеугольным камнем мироздания, в Творце история обрела свои истоки и замысел, раскрылись замкнутые горизонты космоса, бездонные глубины и бесконечные дали мысли. Человечеству был открыт закон духовной свободы личности, оно вышло из-под власти рока и природных законов, независимо от его воли влекущих его к предопределенному концу.

В христианстве (в отличие от зороастризма, манихейства, этических взглядов Китая) темное, злое начало в мире не является ни исходным, ни вечным. Господь создал мир без зла, ибо все, что делал он в шесть дней творения, "было хорошо". "Бог не сотворил смерти, ибо Он создал все для бытия" (Прем., I, 13-14); и человек был предназначен для нетления по образу вечного бытия Божия. Мир был добрым и совершенным; совершенство же подразумевает свободу, ибо несвобода, рабство есть знак несовершенства и зла. И человеку, хранителю Сада Эдемского, владыке и ответственному за всю живую тварь и Землю, дана была свобода, содержащая потенциальную возможность вторжения в мир зла. Сначала зло родилось в мире духовном, где Ангел света Люцифер пал и обратился в сатану, а затем его завистью и происками нравственный рубеж переступил Адам. Он был изгнан из рая, земля была проклята за него, и так "одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть" (Рим., V, 12).

Началась история — драма борьбы изначального добра с вторгшимся в мир злом. И как свободным падением первочеловека Адама зло ворвалось в природу, так свободным подвигом Богочеловека Христа людям был указан путь к победе над ним и освобождению человека и всей живой твари от власти тьмы и смерти. Полное устранение зла, преобразование человека и мира в Царстве Божием, достигаемом на пути духовного делания, нравственного самоусовершенствования, стало целью истории, а движение к ней — прогрессом, бесконечным, ибо цель лежала за пределами этого мира.

Отвергнув искушения хлебом, чудом и властью, призвав людей идти путем духовного очищения и просветления, Христос подтвердил правоту Сократа, ставившего познание человеком самого себя условием познания и овладения миром. И кто знает, какие высоты силы и славы ждали человечество на этом узком пути, ведущем в жизнь вечную? Даниил Андреев однажды высказал предположение, что если бы на развитие и усвоение методики духовного делания были брошены такие средства и ресурсы, какие ныне поглощены развитием методики научной, — панорама человеческой жизни, нашего творчества, знаний, общественного устройства и нравственного облика изменилась бы в самых основах.

Бремя свободы тяжело, ибо она расковывает не только лучшие, но и худшие начала в человеке, а скатиться вниз всегда легче, чем нести крест с Христом на Голгофу. Идея прогресса, устремленности к запредельному Царству Божию, утвержденная Христом, таила опасности духовного срыва, погони за внешними, материальными признаками счастья без внутреннего приготовления к нему. Христос не отвергал ни хлеба, ни чуда, ни власти как таковых, но — "ищите прежде Царства Божия, и это все приложится вам"; "тесны врата, и узок путь, ведущие в жизнь" (Мф., VII, 14). Почувствовав себя хозяевами своей судьбы, людям так легко сделать ложный выбор, перепутать сокровища на небе с тленными благами земными. И тогда — "их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят о земном" (Филип., III, 19). Катастрофический конец света, описанный в Апокалипсисе, наступит как результат путей зла. Это грозная возможность, альтернатива, данная человеку вместе со свободой.

Искушение Фауста

"Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?"

(Мф., XVI, 26)

Современная цивилизация — западного и христианского происхождения. Судьбы мира связаны с историей христианских народов. Христианство, овладев душами народов Запада, сообщило им способность к невиданному ранее историческому динамизму и энергии, и тем самым все-таки преобразило мир, хотя и по-другому, чем хотел Христос.

До тех пор, пока стремления и силы Запада направлялись к Небесному Граалю, эта способность проявлялась в религиозных движениях и монашеских подвигах, в строительстве величественных соборов и создании богословских систем.

Поражение средневековой теократии, оказавшейся бессильной воплотить в жизнь христианские мечты о Царстве Божием, привело к духовному перевороту и великой трансформе западной цивилизации. Возрождение, Реформация, Просвещение были мятежом человека против средневековой аскетики и догматизма, отмщением католицизму за забвение "закона свободы", за попытку насильственного спасения властью Великого Инквизитора. Но одновременно это был великий срыв Запада в бездну богоборческого самоутверждения человека, материализма и эгоизма. В метафизическом плане историк не может не видеть в новой истории Запада ответа сатаны на пришествие Иисуса Христа, его отчаянной попытки соблазнить народы хлебами земными и вернуть их к временам безраздельной власти тьмы, существовавшей до рождения Спасителя.

Возрождение и последовавшая за ним новая история с ее титанизмом, упоением расширившимися возможностями человека были эпохой обезбоживания общества и все нарастающего зла. Освальд Шпенглер символом западной цивилизации считал Фауста. Но Фауст, как известно, продал душу Мефистофелю за силу и богатство земное. Так и Запад, отвернувшись от Чаши Грааля, устремил выработанные христианством способности на дело материального прогресса.

Отвергнув высшие духовные начала жизни, опираясь на лишенную совести и принципиально внеэтическую науку, Фауст захотел приобрести власть над миром, с помощью гигантской рати железных чудовищ — машин — переделать все вокруг и стать ни перед кем не отвечающим творцом нового мира, человекобогом. Это искушение заметно в "Утопиях" Т. Мора и "Городе солнца" Т. Кампанеллы, оно доминирует в сочинениях просветителей XVIII века, для которых механика Ньютона исчерпывала космос и человека (одна из книг Ламетри так и называлась: "Человек-машина"). Наконец, оно торжествует в попытках Сен-Симона строить историю как "социальную физику", в техницистских грезах Жюль Верна и научно-индустриальных утопиях Маркса. Фауст получил неслыханную власть над всем миром, огромный рупор могущества, богатства и комфорта, не замечая, как размываются духовные устои жизни.

Сперва Бог и моральный закон были устранены из политики, опустившейся до макиавеллизма и принципа "цель оправдывает средства".

Затем нравственный стержень был выдернут из экономики. В протестантской этике, лежавшей у истока капитализма, дух христианства подвергся коренному искажению. На место милосердия, любви к ближнему, освящения страданий и устремленности к духовному деланию пришла кальвинистская концепция предопределения, ориентированная на материальный успех в этом мире как свидетельство будущего избранничества и восхвалявшая скупость, эгоизм и жестокую эксплуатацию других.

Искусство Запада тоже отворачивается от Бога и начинает с увлечением драпироваться в плащ сатаны, изображая демонические личности, а то и самого дьявола в обаятельных образах Прометея, Дон Жуана, Денницы, Каина, Мефистофеля. В XX веке происходит вырождение самого понятия о красоте.

Наконец, во Французской революции и в социализме делается попытка вытеснить Бога из частной жизни человека, переделав ее на началах разума и науки.

Происходит распад естественных, органических связей между людьми (родовых, религиозных, нравственных), замена их механическими связями

рынка, исключая нравственные законы и управляемого бездушным балансом сил и правовой демократией, ориентированной, по словам авторов конституции США, на то, чтобы пороки сдерживать пороком.

Доступная лишь посвященным, наука заменила собой целостное, космичное и в своей образности понятное всем мировоззрение предков. Единое знание о мире распалось на узкие специализации, общая картина рассыпалась на мозаичные осколки, и человечество уже не может видеть ситуацию во всей полноте и контролировать собственное развитие.

Ослепший Фауст своими руками выпустил "зверя из бездны" — миллионы железных механизмов, разросшихся в техносферу, превратившую человека в своего раба, в придаток машины. По подсчетам специалистов, сегодня на нужды техники идет 97% вещества, перерабатываемого человеком, и только 3% — на его собственные нужды. Надо ли доказывать, кто кому служит?

Новый мир создан: кляксы индустриального пейзажа расползаются по телу планеты, погружая людей в мертвящую и хаотическую среду, полную вредных шумов, ядовитых газов и жестких излучений. Его творец в отчаянии озирается вокруг, не находя ожидавшегося счастья. Но контроль над процессами уже утрачен и человек продолжает создавать все новые технические чудовища, приближая день появления машинного разума, который окончательно оттеснит его от пульта управления и ввергнет в небытие. Самоубийство — мечта героя "Бесов" Кириллова — становится итогом и целью цивилизации; об этом писали Сартр, Камю, Гартман. Как увидел поэт В. Яковченко:

Распластавшийся над бездной,
Жаждой смерти налитой,
Нам грозит твой дух железный,
Пролетая над Землей.

Дух небытия — это то, что раньше называлось дьяволом. Не ясно ли, как ая сила рвется править бал на Западе?

Европу долго выручала множественность ее центров. Италия—Испания—Франция—Англия—Германия передавали друг другу факел Фауста. В XX в. наступил закат Европы. Третий рейх и Третий Интернационал — порождение западной цивилизации, в которых выразилась ее воля к смерти, — угрожали окончить историю в своих душных застенках раньше положенного срока. Спасение пришло из Америки, вдохнувшей в дряхлеющий континент новые силы, но не новый дух. Не есть ли такое спасение лишь оттяжка конца?

Излечивая одни раны, современный прогресс порождает другие, еще более страшные. В 1880 году Константин Леонтьев писал, что нет никаких верных, научных данных на то, что это быстрое поступательное движение человечества, этот полет стремглав без тормозов и парашютов, не есть безвозвратное падение в страшную бездну отчаянья. Их нет и до сих пор. Взрыв атомной бомбы оборвал вечность, бывшую в запасе у человечества. Ядерная энергия, СПИД, экологический кризис уже поставили Землю на край смерти. Обнаружилась ложность самой идеи бесконечного материального прогресса, ибо он противоречит конечности ресурсов Земли, возможностей и самой жизни человека. Безграничным может быть лишь прогресс духовный! Теряя понятие о добре и зле, люди погрузились в океан насилия и крови, и философы с тревогой отмечают суицидный комплекс, заложенный в цивилизации, убивающей биосферу.

Возможности спасения Запада изнутри очень ограничены, хотя политическая свобода сохранила светлые силы, противостоящие сгущающейся завесе тьмы. "Действительно, жить — это значит жить, располагая правильной информацией", — сказал Норберт Винер. В современном обществе контроль за потоками информации позволяет осуществлять реальную власть, не обладая правовыми полномочиями и государственными прерогативами. Это создает возможности для совершенно новых форм господства и/порабощения, основанных на лжи, отчасти предсказанных в Апокалипсисе и "Розе мира" Д. Андреева. Импульс к пробуждению правды должен прийти извне.

Миссия России

Все люди от Адама, "но, по всеведению Своему, Господь положил различие между ними и назначил им разные пути"

(Сир., XXXIII, 11)

Еще в 1945 году Г. П. Федотов писал, что в науке "не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов". После работ М. Вебера, О. Шпенглера, А. Тойнби возобладало представление о разнообразии культурно-исторических типов, восходящее к Библии. Каждая цивилизация имеет свою миссию в мире и свою исключительную ценность, каждый народ вносит свой вклад во всечеловеческое странничество в истории.

Миссия народа — это замысел Божий о его роли в истории, отпечатанный в сознании народа под влиянием географической среды, внешних воздействий и творчества его духовного ядра, увлекающего за собой остальных. Великая страна, как правило, имеет великую миссию, но иногда и малый народ может сыграть выдающуюся роль в истории (эллины, евреи).

Свой замысел есть и у сатаны. "Закон свободы", данный людям, позволяет им выбирать, и потому миссия каждого народа может проявляться в истории светлой или темной стороной. Афинская демократия и тоталитарный социализм Спарты, Англия — родина либерализма и Англия — цитадель протестантского капитализма — примеры такой двойственности. Но бывают у народов и более крупные выборы, на долгое время определяющие господство темных или светлых сил.

Когда евреи отвергли Христа и кричали Пилату: "Распни Его!", это было великим падением избранного народа, перешедшего под власть тьмы: столетиями подготавливавшийся к тому, чтобы родить и принять Спасителя, он убил Его. Когда император Ашока на вершине могущества отказался от войн, заложив традицию политического ненасилия, протянувшуюся до Махатмы Ганди, это был великий прорыв Индии к светлой миссии, к отвлечению творческих сил нации от великодержавия и агрессии и сосредоточению их в сфере духа.

Основное свойство русской культуры — ее диалогичность, способность без чванства и спеси понять взгляд другого народа и тем оценить себя со стороны. В России почти не было шовинизма, и свою духовную мощь она черпала не из узконациональных интересов, но из всечеловечности, органично сливая в русском духе достижения разных народов. В синклите нашей культуры и государственности сияют имена множества иноземцев, а корни русских гениев тянутся по всему свету вплоть до Шотландии, Абиссинии и Монголии.

К тому были причины исторические и географические. Природа русская препятствовала отграниченности и индивидуализму западному и требовала соборности, вольного единения для жизни в своем лоне. Народ до середины XVI в. был малочисленным¹ и не мог освоить громадные пространства путем подавления соседей. Русское государство с самого начала было многонациональным, и создано оно не через завоевания, как на Западе, а через добровольное признание варягов. Это стало возможно потому, что на Руси славяне, финны и тюрки занимали дополняющие друг друга экологические ниши (тюрки — степь, финны — лес, славяне — речные русла и лесостепь) и не были врагами.

Добровольное признание варягов было первым исторически зафиксированным проявлением русского духа. Вторым стало принятие православия, избранного князем Владимиром, но принятого народом потому, что оно удивительно подошло к условиям жизни и чертам характера восточных славян. С Византией Русь столетиями вела культурный диалог, центры духовности — Цареград, Афон — находились за ее пределами. В то время как Запад строил себя сам на обломках мертвого Рима, усиливая склонность к героическому эгоцентризму, в России нарастала способность к всечеловечности. Первым выражением русской идеи стало "Слово о законе и благодати" Иллариона

¹ При Иване Грозном Россия насчитывала 4,3 млн. чел., в то время как Германия — 16,5 млн., Франция — 14,3 млн., Италия — 10,4 млн. чел.

(1050 год): благодать — свободный христианский выбор — не навязывается народам, она есть дар, вольно принимаемый "всеми языками".

Взыскание Града Божьего, духовный максимализм, устремленность к идеальной запредельной цели стали характерными для русских в более резкой, чем на Западе, форме. Не богатство, не сила, не бранная слава — совесть и правда были высшей ценностью на Руси. Не случайно и идеальный образ страны, сложившийся у народа, — "Святая Русь" (ср. *la belle France* у французов или "Мать-Индия" у индусов).

В отличие от католицизма — религии Рождества по-преимуществу, православие переживалось как религия Голгофы и Воскресения, религия Пасхи. "Слово о полку Игореве" (XII в.), при всем своем языческом антураже, поэма не о победной войне, а о поражении, о нравственном уроке, об очищении страданием. И это стержневая линия всей последующей русской литературы (Достоевский, Толстой, Пастернак, Солженицын).

Россия по своему мироощущению была устремлена в будущее. Древний тысячелетний народ даже в середине XX века воспринимался К. Ясперсом и П. Сорокиным как народ молодой, только еще вступающий в историю, и приравнивался к Америке, не достигшей и 200-летнего рубежа. Соединявшая через Византию древнейшие истоки культуры с жизненной силой молодости, создавшая уникальный культ Троицы — прообраза соборного Богочеловечества, огромная по потенциальным возможностям, открытая и Западу и Востоку, Россия была призвана сыграть великую роль в конце времен.

Это предощущение издавно было выражено в русском мессианизме, который почему-то принято подозревать в захватнических намерениях. Однако мессия — это Христос. Н а р о д — б о г о н о с е ц, усвоивший самоназвание крестьяне ("христиане"), видел свою миссию именно в несении "ига легкого" Христа, русская миссия обращена прежде всего вовнутрь, и лишь духовным примером и импульсом — вовне. Как мессия Христос не навязывал людям свое спасение, так мессианство "Святой Руси" в ее светлой стороне есть идея духовного подвига, благодати, нравственного примера.

"Стать вполне русским, быть может, и значит, только — стать братом всех людей, всечеловеком", — говорил Ф. М. Достоевский.

Запад создал великую материальную силу. Восток проник в тайные глубины человеческого духа, психологии и тонких энергий. Но лишь Россия с ее способностью к всечеловеческому пониманию и строгому суду совести могла соединить Запад и Восток и найти выход из тупика цивилизаций.

Однако с миссией России не все было просто и однозначно. Всечеловечность могла обернуться утратой собственного лица и низкопоклонством перед иноземщиной, способность к диалогу культур — впитыванием темных и гнилых влияний, совестливый максимализм — манихейским фанатизмом, мессианство народа-богоносца — великодержавным интернационализмом, и в целом миссия спасения могла обернуться антимиссией гибели. Это остро чувствовали лучшие русские умы. Чаадаев всю жизнь метался между западнической русофобией (и тогда — "нам суждено дать миру страшный урок") и славянофильской надеждой, что именно России предстоит разрепить все болезненные вопросы человечества. Вл. Соловьев пугался черносотенства и красного социализма и задавал России вопрос:

"Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса или Христа?"

"Народ-богоносец" или "бесы"? Ответ на эту роковую дилемму Достоевского зависел от выбора, который предстояло сделать интеллигенции и власти. Интеллигенция, полстолетия разжигавшая из искры пламя, клякшая бурю, призывавшая к топору, спохватилась поздно и не вся. Власть, не желавшая поступаться принципами, подставлявшая под пули убийц тех, кто пытался ее спасти (Столыпин), упиралась до конца. Взаимными усилиями они повернули Россию на путь Ксеркса, и тогда Апокалипсис, бывший по гениальному прозрению Н. Федорова, предостережением человечеству о возможном, надвинулся ломающей кости действительностью.

Книга за семью печатями

"Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее?"

(Апок., V, 2).

Христианская эсхатология вырастает из ощущения невозможности осуществить в истории Царство Божие. "История потому и должна кончиться, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется правда Христова", — писал Н. А. Бердяев¹.

В библейских пророчествах даны символы сокровенных судеб истории, открывшиеся взору великих духоводцев и сообщенные самим Иисусом Христом. Кроме Откровения апостола Иоанна апокалиптические пророчества содержатся в эсхатологической речи Спасителя, в посланиях апостолов Петра и Павла, в неканонической, темной и запутанной 3-й книге Ездры, в книгах ветхозаветных пророков Исайи, Даниила, Иезекииля, Иоиля и др.

Через картины, символы и видения, иногда странные и недоступные для ясного представления, Апокалипсис предсказывает последние судьбы мира. Изложение запутано (главным образом потому, что самим духовидцам многое было непонятно), разные планы перемешаны, и понимание Апокалипсиса представляет немалые трудности. Ньютон, написав "Механику", всю оставшуюся жизнь посвятил толкованию Апокалипсиса, но оно оказалось неудачным: время исполнения пророчеств еще не пришло. Но ныне, когда и без откровения человечество видит свой возможный конец, обращение к тайному знанию Библии оправдано и уместно.

Если распутать клубок пророчеств, соединяя повторяющиеся места и выстраивая дополняющие друг друга тексты по смыслу (что возможно благодаря разным масштабам изложения событий — от максимального охвата в XX главе Апокалипсиса до молний вспыхивающих подробностей в VI главе в ветхозаветных книгах), то получится величественная и страшная картина, которая и приводится ниже с необходимыми комментариями.

Когда смертная жертва Христа искупила грехи мира, сатана был низвержен в бездну: "И положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся тысяча лет" (Апок., XX, 3), и лишь в последние времена "ему должно быть освобожденным на малое время" и получить прежнюю власть над землей.

Время конца света сокрыто ("о дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец" — Мрк., XIII, 32), но в Библии содержится большое количество пророчеств о приметах, по которым можно увидеть его приближение.

"В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским" (I Тим., IV, 1); "Вот, настанут дни... и путь истины сокroется, и вселенная оскудеет верою" (3 Ездры, V, 1); "в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям" (2 Петра, III, 3). Ослабление христианства и отпадение многих от веры, помрачение человеческого сознания, утратившего нравственные ориентиры своего развития, распространение атеизма и героических человекобожеских учений стали в XVIII-XIX веках первыми симптомами приближения беды.

"Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть, — говорил Иисус. — Но это еще не конец; ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам: все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое" (Мф., XXIV, 6-9). "Горе веку и тем, которые живут в нем, — восклицает Ездра, — ибо приближился меч и истребление их, и восстанет народ на народ для войны, и мечи в руках их. Люди сделаются непостоянными, и одни, других одолевая, вознерадят о царе своем" (3 Ездры, XV, 14-19). Произойдут возмущения в городах, на людей нападет страх, будет расхищение имущества и разорение жилищ. Тот же автор предсказывал в конце времен гибель двуглавого орла — символа Рима, унаследованного Россией (3 Ездры, XI, 45-46).

¹ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990, с.108.

В Апокалипсисе начало конца описывается как нашествие четырех всадников, символизирующих быструю смену исторических событий после снятия четырех печатей с книги судеб мира. "Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить". Символ войны, напоминающий нам о Георгии Победоносце, всаднике на белом коне, покровителе русской армии, сменяется конем рыжим, символом губительной вражды и междоусобицы; "и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч" (Апок., VI, 2,4).

Вслед за ним должен прийти "конь вороной, и на нем всадник имеющий меру в руке своей" (Апок., VI, 5) — символ голода (страшный голод 1921 года последовал как раз за мировой и гражданскими войнами). И, наконец, — "и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными" (Апок., VI, 8). Быстро меняющиеся события завершились установлением коммунистического царства, истреблявшего народы как раз на 1/4 части суши! (СССР и другие социалистические страны).

В этом царстве были и "мерзость запустения, стоящая на святом месте" (Мф., XXIV, 15), и "человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что во храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога" (2 Фес., II, 3-4). Храмы не только взрывали, строя на их месте бассейны и стадионы: их алтари в буквальном смысле превращали в "мерзость запустения", в "овочное хранилище" (Псалом 78), в порыве атеистических компаний вставляли в божницу портреты основателей марксизма, а в храме Покрова Богородицы б. Марфо-Мариинской обители в Москве "Санпросвет" поставил в алтаре статую Сталина...

Совпадений слишком много, чтобы от них просто отмахнуться. "Революция есть малый апокалипсис истории", — говорил Н. А. Бердяев. Может быть, не только малый?

В Апокалипсисе после нашествия всадников наступает определенное затишье. После снятия пятой печати "я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие... и возопил: они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святыи и истинный, не судишь ты и мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число" (Апок., VI, 9-11). И лишь тогда, после снятия шестой печати, начнется светопреставление.

В эсхатологической речи Спасителя после рассказа о войнах, гладах и морах также говорится о более мирных временах: "И многие лжепророки восстанут и прельстят многих: и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь... И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец" (Мф., XXIV, 11-14).

В исторической действительности эти пророчества могут быть соотнесены с послесталинскими временам, разоблачениями репрессий и прославлением их жертв, распространением темных суеверий и экстрасенсов, НЛЮ, телецелителей, нравственным одичанием общества. Что же касается распространения Евангелия по всему миру, то в предисловии ко второму изданию "лопухинской" Библии институт перевода Библии с гордостью сообщает, что к 1986 году "количество языков, на которые была переведена Библия, уже достигло 1848... На сегодня всего лишь около двух процентов населения земного шара не имеют ни одной книги Библии на своем языке. В настоящее время Библия переводится еще более чем на тысячу малых языков..."

Судя по всему, именно в этот относительно спокойный промежуток между "началом болезней" и светопреставлением должны были проявиться — и проявились — другие процессы, свидетельствующие о конце, описанные в Апокалипсисе и Ветхом завете.

Это прежде всего пророчества о природных бедствиях, смущавшие толкователей прошлого, не знавших об экологическом кризисе. В Апокалипсисе говорится о гибели третьей части деревьев и зеленой травы, о низвержении в море как бы большой горы, пылающей огнем, вследствие чего "третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море" (Апок., VIII, 7-9).

Далее идет стих, многих поразивший после чернобыльской катастрофы: "Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей

звезде полынью; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки" (Апок., VIII, 10-11). Чернобыль по-украински означает полынью...

В книге Ездры говорится о многочисленных нарушениях в природе: "нечистые женщины будут рождать чудовищ"... "Сладкие воды сделаются солеными" (3 Ездры, V, 8, 9). И "восплачут земледельцы, возделывающие землю, потому что оскудеют у них семена от ржавчины и от града и от страшной звезды" (3 Ездры, XV, 13).

Кроме того, упоминается о других, более частных исторических событиях, которые должны иметь место перед концом. Это возвращение евреев в Палестину после долгого рассеяния, о чем говорит пророк Иезекииль (Иез., XXXVII, 21-22), ибо именно там они должны будут встретить нашествие Гога и Магога в последние времена (Иез., XXXVIII, 8). Затем пророчество Исайи о плаче виноградской лозы и прекращении питья вина с песнями, скорее всего фигуральное, но невольно, вызывающее в памяти и сухой закон 1914 года, и антиалкогольную кампанию 1985 года. Далее, предсказание Ездры о войне в "земле Ассирийской" (на севере Ирака) между "порождениями драконов Аравийских" и "кармонянами", в которой победят драконы. Библейский масштаб исхода курдов от "порождения драконов аравийских" Саддама заставляет думать, что эти события имеют место на наших глазах. И, наконец, видение пророка Даниила, что перед самым концом "восстанет... Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди" (Дан., XII, 1), которое перекликается с указанием Спасителя на момент начала катастрофы: "Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира..." (Мф., XXIV, 21).

И здесь невольно думается о том, что и Нострадамус, и астрологи Глоба предсказывают на 1990-е годы войны и потрясения и даже пришествие Антихриста; что, судя по откровению Божьей матери Одигитрии в Смоленске, явленному отцу Иоанну, "пришли сроки, и если не будут молиться и поститься, погибнут все", а архиепископ Аверкий в печати предупреждает, что будущий Антихрист уже родился и надлежащим образом воспитывается, чтобы выступить открыто в 90-х годах этого столетия.

Библия знает не только пророчества о конце света, но и предсказания судеб конкретных городов и народов. Американский ученый Джош Мак-Дауэлл в доступной советскому читателю книге "Неоспоримые свидетельства" (М. 1990) разбирает 12 таких предсказаний, поразительным образом сбывшихся. Если верны эти пророчества, то почему не исполниться Апокалипсису? Но "закон свободы" не отменен, и пока светопреставление не началось, у человечества есть возможность отодвинуть его.

В этой связи уместно напомнить слова русского философа князя Е. Н. Трубецкого, написанные в 1918 году: "Все указанные в Евангелии признаки близости конца вселенной налицо в наши дни, однако мы должны быть чрезвычайно осторожны в выводах из этого факта. В большей или меньшей степени те же явления повторяются во все дни великих мировых потрясений и кризисов <...> Мировые катастрофы повторяются в истории. При каждом повторении они становятся глубже и шире, распространяются на все большую область земной поверхности... Они всегда означают не только близость конца, но и действительное его приближение"¹. Будет ли перейдена последняя грань — зависит от совместного выбора людей. Если да, то сюжет развития событий по Библии выглядит так:

"И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.

И небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор..." (Апок., VI, 12-15).

"Вот, облака от востока и от севера до юга, — и вид их весьма грозен, исполнен свирепости и бури. Они столкнутся между собой, — свергнут много звезд на землю и звезду их; и будет кровь от меча до чрева... страх и трепет великий будет на земле" (3 Ездры, XV, 34-36).

¹ Трубецкой Е. Смысл жизни. Берлин. 1922, с. 266-267.

"Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!.. ибо окна с *небесной* высоты растворятся и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель... она упадет и уже не встанет" (Ис., XXIV, 17-20).

"Сожжены обитатели земли, и немного осталось людей" (Ис., XXIV, 6).

"Четвертый Ангел вострубил, и поражена была часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи" (Апок., VIII, 12).

"Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются" (Мф., XXIV, 29).

"И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе, живущим на земле!.." (Апок., VIII, 13).

Эта страшная картина напоминает описание атомной войны с ее столкновением держав "от востока и от севера до юга", падением на землю ракет, взрывающихся "ярче тысячи солнц", потрясением самих основ земли, сожжением людей, прячущихся в подземных убежищах, затемнением дневного света от дыма пожаров и багровыми отсветами в ночи. И хотя сегодня мы легкомысленно полагаем, что "с войной покончили мы счеты", стоит представить, что к власти возвращается национал-большевизм, и сценарий перерастания реконкисты отделившихся республик в 3-ю мировую войну вновь станет реальностью.

Великая катастрофа отворит кладезь бездны, где был скован сатана, и духи зла вырвутся на свободу, "чтобы умертвить третью часть людей" (Апок., IX, 15), а остальных подвергнуть ужасным мучениям. "И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому будет оплакивать их, ибо земля опустеет, и города ее будут разрушены" (3 Ездры, XVI, 24).

Из моря выйдет зверь с семью головами и десятью рогами (Апок., XIII, 1; Даг., VII, 7-8) — обычный у библейских пророков символ великой державы, также означающий Антихриста, личное имя которого зашифровано цифрой "666". Силы света, возглавляемые двумя святыми, посланными Богом, будут бороться с ним, но потерпят поражение. Зверь убьет святых "и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят... И живущие на земле будут радоваться ему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле" (Апок., IX, 8, 10; ср. также Дан., VII, 21). Многие поклонятся зверю, говоря: "Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?". "И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем" (Апок., XIII, 4, 7).

В борьбе со святыми раненому Антихристу окажет помощь второй зверь — лжепророк. Он будет действовать со всей властью Антихриста и заставит ложными чудесами "всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела" (Апок., XIII, 12).

Ефрем Сирин считал, что более всего обрадуются и будут помогать Антихристу "народ убийцы — иудеи", что перекликается с жесткой характеристикой соплеменников, данной Иисусом Христом ("ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего" (Иоан., VIII, 44), и Его указанием иудеям: "иной придет во имя свое, его примите" (Иоан., V, 43). Это крайнее выражение антимиссии евреев в истории. Но затем под влиянием таранств Антихриста евреи обратятся, соединятся с христианами и многие из них примут мученический венец (Рим., XI, 25-26).

Царство Антихриста будет временем жесточайшего экологического бедствия, когда семь чаш гнева Божия будут вылиты на землю. На людях сделаются жестокие и отвратительные язвы, полная гибель постигнет море, реки и воды со всеми их обитателями, и солнце будет жечь людей огнем (Апок., XVI, 1-10). И когда седьмой Ангел выльет чашу свою на воздух, произойдет "великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!" (Апок., XVI, 18).

Столица державы зверя — "Вавилон", "великая блудница, сидящая на водах многих" — распадется на три части. "Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы" (Апок., XIV, 8). Воспользовавшись этим, цари, подвластные зверю, "возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне" (Апок., XVII, 16). Падение мирового города, описанное также Исaiей, будет воспринято как величайшая катастрофа и потрясение власти Антихриста (Апок., XVIII), и уцелевшие на земле силы света воспрянут для последней битвы со злом.

Чувствуя свой конец, Антихрист соберет полчища подвластных себе на брань в долине Армагеддона, составив (по книге пророка Иезекииля) коалицию из "Тога в земле Магог, князя Роша, Мешеха и Фувала", персов, эфиоплян и ливийцев, "Гомера со всеми отрядами его" и "дома Фогарма" (Иез., XXXVIII, 2-6). Магог — в книге Бытия (X, 2) — сын Иафета, прародителя европейцев, обозначает в Библии европейский народ и страну к северу от Кавказа и Черного моря. Многие комментаторы видят здесь Россию. "Фувал" — это Грузия, "Гомер" — исчезнувший народ киммерийцев, "дом Фогарма" — Армения. Если это так, то здесь прямое предостережение об антимиссии России, угрожающей нам полным исчезновением и гибелью в составе сатанинских полчищ на Армагеддоне.

"Тогда явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою" (Мф., XXIV, 30). "И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп" (Апок., XIV, 14). "И увидел я отверстое небо, и вот — конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует... Имя ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых..." (Апок., XIX, 11, 13-14).

"И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его" (Апок., XIX, 19). "И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их" (Апок., XX, 9; ср.: Иез., XXXIX, 6).

"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечем Сидящего на коне..." (Апок., XIX, 20-21). "И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий" (Апок., XIV, 19-20; ср.; Ис., LXIII, 3). "А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться и день и ночь во веки веков" (Апок., XX, 10).

"Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?" (Ос., XIII, 14). "И седьмый Ангел вострубил, и раздался на небе громкие голоса, говорящие: царство мира сего соделалось Царством Господа Нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков" (Апок., XI, 15).

"Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы" (Мф., XXV, 31-2). Совершится тайна Божия, земля и небо исчезнут, и "времени уже не будет" (Апок., X, 6). "Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц" (Ис., XXV, 8). "Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела!.. и земля извергнет мертвецов" (Ис., XXVI, 19). "Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное;... И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Апок., XX, 13-15).

"И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет <...> И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое" (Апок., XXI, 1,5). "Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью" (Ис., LXV, 17-18). "И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном; ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков" (Апок., XXII, 5). "Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь" (Ис., LXV, 25).

"Сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре" (Апок., XXII, 6).

Какой же итог можно подвести сказанному? Никогда еще с начала истории конец света не был так возможен, как сегодня. Огромный "вклад" в это в XX веке внесла Россия. И если шансы еще не упущены, именно в России, на опыте познавшей бездну бесовскую должно начаться движение к спасительному возрождению. "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!" (Мф., III, 2).

Григорий Померанц

От призраков — к глобальной солидарности

Статья Дмитрия Чернышевского "Покайтесь, ибо приблизилось..." подкупает острым чувством кризиса. Кризис этот многократно описывался языком позитивной науки — как всемирный экологический тупик, связанный с тупиком духовным. Если рассуждать трезво и ничего не преувеличивать и не преуменьшать, то Запад за несколько веков сумел вырваться из нищеты и невежества, в которых человечество прозябало тысячелетия, но развитие оказалось небезобидным; оно связано с ущербом для целостности жизни, и с какого-то момента дальнейшее накопление внешних благ и внешних свобод поставило под угрозу жизнь на всей Земле.

Изменение технологии может отдалить катастрофу, но не избавить от нее. Спасение только в переоценке ценностей. Нужно восстановить иерархию внутреннего (духовно цельного) и внешнего и переключить волю на внутренний, духовный рост при умеренном (и не возрастающем) достатке. Это требует, однако, от среднего человека такого скачка, который никогда раньше средними людьми не совершался (хотя ничего нового, с точки зрения мудрецов и подвижников, здесь нет). А инерция привычек так велика, что угроза конца биосферы вполне реальна. Или мы покаемся, преобразимся (и тогда будет "новое небо и новая земля"), или погибнем.

Так обстоит дело на всей планете. А значит, — и в нашей стране. Хотя в отличие от Запада мы страдаем и от переразвитости (вдыхая отравленный воздух), и от слабаразвитости, не имея самых необходимых вещей.

Апокалиптическая обстановка объясняет крутой отказ автора статьи от идеи прогресса. Цитаты из древних пророков и из Откровения Иоанна Богослова, бродившие по рукам в самиздате 70-х и 80-х годов, вводятся им в обиход широкой читающей публики. Это, пожалуй, самая интересная часть статьи. Мы слишком долго выбрасывали из сферы своего разума все, что не поддается простым способам проверки, весь опыт видений, в которых отрывочные факты культуры сплавляются в единый миф. Даниил Андреев (я перечитываю его уже лет двадцать) — замечательный пример такого современного "метаисторического" сознания, в фантастических образах которого раскрываются важнейшие тенденции времени. Достойны изучения и древние свидетельства. Дело не только в способности некоторых умов заглядывать в будущее, но и в постоянной тенденции к катастрофе, сопровождающей историю и только обостряющейся в переломные эпохи. Эту угрозу катастрофы надо все время помнить. Все пророчества гибели условны. Бог пощадил Ниневию. Но Иона не лгал.

Есть области жизни, где истина дается только внутреннему взору провидца и люди средней проницательности обречены на вторичное знание, на комментирование откровения... Есть, однако, и другая область, область здравого смысла, опирающегося на обычный опыт. Говоря языком физиологии, правое полушарие ведает мифопоэтическим, целостным знанием, а левое — рассудочным. Культура Нового времени была "левополушарной". Необходимо восстановить равновесие. Но Д. Чернышевский не восстанавливает равновесие, а круто нарушает его в противоположном направлении. Он отбрасывает все Новое время, как своего рода темные века: "В метафизическом плане историк не может не видеть в новой истории Запада ответа сатаны на пришествие Иисуса Христа, его отчаянной попытки соблазнить народы хлебами земными и вернуть их к временам безраздельной власти тьмы, существовавшей до рождения Спасителя".

Мне кажется, такое мнение еретично даже с точки зрения Писания: время Авраама, Исаака и Иакова не было временем "безраздельной власти тьмы"; а с точки зрения культуролога концепция Чернышевского решительно противоречит фактам. До Христа, помимо признаваемого им Ветхого завета,

творили и проповедовали Эсхил и Сократ, Будда и Лаоцзы. Христианство сложилось как сплав нескольких культурных традиций, нескольких потоков света. И Новое время имеет кое-что в своем активе света, от которого будущее не откажется. Впрочем, если даже свести его достижения к одним "хлебам", и это не плохо. "Не хлебом единым сыт человек", но "к голодному Бог приходит в форме хлеба" (М. Ганди). Однако Новое время дало и другие хорошие вещи...

Увлечшись полемикой, Чернышевский приходит к манихейскому черно-белому мышлению, к противопоставлению чистого духовного света чистой мирской тьме. В рамках этой концепции вся социология летит в мусорную корзину (примерно так комсомольцы трактовали теологию). А культурология Чернышевского очень уж проста. Для него нет равноправных культурных миров: христианства, ислама, индийского региона, Дальнего Востока. Есть только дохристианская "тьма", христианство (в форме православия) и отпадение от него. Судя по ссылкам, "Роза мира" Д. Андреева прочитана, но нет никаких следов внимания к попытке Андреева изучить и усвоить опыт Индии.

Чернышевский берет только то, что укладывается в готовую славянофильскую схему; остальное отбрасывается: "Космос и сознание древних цивилизаций, подавленных природной цикличностью, были замкнуты и подчинены безличному и вненравственному порядку (року, атману-браhme, дао), выходящему из хаоса и возвращающемуся в хаос". Индийская и китайская мысль здесь просто пристегнуты к древнегреческой. Между тем и в Индии, и в Китае была своя античность и свой переход к средним векам, аналогичный переход от язычества к монотеизму в Средиземноморье (хотя произошло это в другой форме, менее резкой в соответствии с более мягкой восточной логикой, не знавшей закона исключенного третьего, не знавшей жесткого выбора: или-или¹. Формула "атман-браhma" восходит к упанишадям, но полную разработку получила у Шанкары-ачарьи, мыслителя средневекового, типологически близкого к Мейстеру Экхарту (об этом есть специальная работа Р. Отто). Согласно Шанкаре, "Истина — Брахман, мир — это ложь, Атман и Брахман едины". Брахман подобен Богу, творцу вселенной, Атман — душе. Таким образом, в приближительном переводе выходит: истина — Бог, мир — это ложь, Бог и Душа едины (или, совсем по-христиански говоря, единосущны). Шанкара был "дживанмукта", "освобожденный при жизни", то есть как бы "сын, единосущный Отцу". Где здесь античный рок? Где хаос? Где материя? Все это в концепции Атман-Брахман, — иллюзия, майя.

Не хочется создавать впечатление, что так думали все индуисты (не говоря о буддистах, джайнах и сикхах); индийская культура очень разнообразна. Я просто привел пример, короткий текст, в котором слова Атман и Брахман употреблены осмысленно. У Д. Чернышевского они свой смысл теряют.

Так же неверно его понимание Дао — категории одновременно природной и сверхприродной. Безымянное (то есть непостижимое Дао, объемлющее Дао именованное (имманентное) — категория мистическая, трансцендентная, близкая к апофатически (негативно) понятому божеству. В текстах дзэнского круга Дао становится синонимом Будды, символом пути к просветлению (анalogии христианского обожения).

Пусть читатель извинит меня за эти несколько длинные и в то же время неполные разъяснения. Мне хотелось показать, что концепция Д. Чернышевского насквозь европоцентрична. Или, говоря проще, Востока он не знает и знать не хочет. Между тем с каждым десятилетием это становится все менее простительным. Уже романтики, одновременно со средними веками, "открыли" (полюбили) Восток. Они почувствовали, что Восток — живое средневековье (а вовсе не дохристианская древность с ее философским рационализмом, "возрожденным" в XVI-XVII веках). Понимание Индии (наиболее "архаической" и "средневековой" из великих цивилизаций) помогает понять те ценности средних веков, которые были утрачены (или почти утрачены) современным Западом. А Япония показала всему миру, как можно "развиваться" (в западном смысле слова), сохраняя традиции, без стрижки бород, всешутейшего и всепьянейшего собора и красногвардейской атаки на капитал... Японское (и

¹ Ср: моя статья "О причинах упадка буддизма в средневековой Индии", "Ученые зап. Тартуского ун-та", 1973, вып №313; "Теория субэкумен и проблема своеобразия восточных культур", "Уч. записки Тартуского ун-та", 1976. вып. 392; "Никакая культура не одинока", "Знание — сила" №6, 1989; "Россия на перекрестке культур", "Знание — сила" №7, 1989.

дальневосточное в целом) экономическое чудо — это результат синтеза средневекового и нового, восточного и западного. И закрывать глаза на этот опыт — грех перед Россией, корчащейся в тупике Утопии. К сожалению, к такому греху ведет пассивное повторение славянофильских идей. Нельзя сегодня брать готовую схему времен Хомякова и вставлять в нее отдельные факты, оставляя в тени все остальное.

Вид тезисов Д. Чернышевского основан на совершенно произвольном отборе фактов и даже артефактов, то есть мнимых фактов, сконструированных ради удобства теории:

"Сперва Бог и моральный закон были устранены из политики, опустившейся до макиавеллизма и принципа "цель оправдывает средства".

Затем нравственный стержень был выдернут из экономики. В протестантской этике, лежавшей у истока капитализма, дух христианства подвергся коренному искажению. На место милосердия, любви к ближнему, освящения страданий и устремленности к духовному деланию пришла кальвинистская концепция предопределения, ориентированная на материальный успех в этом мире как свидетельство будущего избрничества и восхвалявшая скупость, эгоизм и жестокую эксплуатацию других".

То ли дело лорды, вешавшие крестьян за лишнюю вязанку хвороста! Или наша Салтычиха. Или благоверный князь Иван Калита, живший до Макиавелли и не затронутый растленным Западом:

Ты в орде по-пластунски лазил
И лизал, сколько было сил.
Усмирал ты тверского князя,
Чтобы хан тебя отличил,
Подавлял повсюду восстанья...
Но ты глубже был патриот.
И побором сверх сбора дани
Подготавливал ты восход...

Н. Коржавин

Читатель, вероятно, уже заметил, что протестантизм, рассыпавшийся на множество направлений, подменен у Чернышевского одним вероисповеданием, кальвинизмом, и оно обрисовано в духе советской антизападной пропаганды. К сожалению, джунгли советской экономики, созданной взамен рыночной, оказались почти все западных, а норма эксплуатации вдвое выше буржуйской. Антирыночная карикатура не имеет ничего общего с подлинной протестантской этикой. Д. Чернышевский упоминает имя М. Вебера, но, видимо, не знаком с его трудом "Протестантская этика и дух капитализма". Он даже не polemизирует с Вебером. Он никак не объясняет, почему Вл. Соловьев признавал протестантизм законной ветвью христианства; и почему о. Сергей Булгаков мечтал о "православном варианте "протестантской этики" (об этом недавно писала И. Роднянская в статье, посвященной "Вехам". — "Литературное обозрение" №7. 1990.)

Такие упрощения сильно портят картину, которую Чернышевский рисует, и лишают достоверности его лучшие страницы. Фаустовская цивилизация рисуется не в духе гетевского Фауста, а скорее по старой народной книге о чернокожишке Фаусте, продавшем душу дьяволу. Этот Фауст вполне мог бы сказать, под занавес, слова, которые Сумароков вкладывал в уста самозванцу:

Иди, душа, во ад и буди вечно пленна.
О если бы со мной погибла вся вселенна!

Так же упрощен образ России, противостоящей Западу. На Западе — мрак, в России — свет. Автор видит в прошлом России одни достоинства и никак не может объяснить, почему именно мы, наша страна первой влопалась в утопию; и где гарантия, что достоинства, не спасшие нас от Ивана Грозного, Петра Великого и большевиков, спасут завтра, после опыта семидесяти лет, сильно эти достоинства распатавших.

"Основное свойство русской культуры — ее диалогичность, способность без чванства и спеси понять взгляд другого народа и тем оценить себя со стороны. В России почти не было повинизма..." И сейчас "почти нет" "Памяти", "Нашего современника", "Молодой гвардии", "Кубани" и "Лите-

ратурной России"? Основные идеи здесь взяты у Достоевского; но Достоевский был гораздо сложнее, чем его "Пушкинская речь". Об этом писали В. Соловьев, Е. Трубецкой, С. М. Соловьев-младший (биограф своего дяди Владимира) и другие. Из многих высказываний приведу одно: "Если мы согласимся с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренне принимать все чуждые элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществлять в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества — то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против "жидов", поляков, французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих исповеданий" (Соловьев В. Сочинения. Т. V. Петроград. 1917, стр. 420).

Важно отметить еще одну вещь: диалогизм, всемирная отзывчивость — вовсе не исключительная русская черта. Она повсюду то прибывает, то убывает и только в редких случаях равна нулю. Вся мировая культура — диалог. Но особенно интенсивный диалог — это европейская культура. Каждый стиль ее, где бы он ни возник, непременно подхватывался всеми великими странами (ренессанс, барокко, классицизм, просвещение, сентиментализм, романтизм...). Диалогична и Япония и другие окраинные государства Дальнего Востока, ученики Китая и (через буддизм) Индии. По всемирной отзывчивости Япония, пожалуй, даст России несколько очков вперед.

Кроме того, повышенная отзывчивость свойственна и Японии, и России только в некоторые периоды. Трудно сказать, была ли Россия отзывчива в XVII веке; во всяком случае, первые слабые шаги к диалогу (с греческой ли культурой, с Западом ли) вызвали яростное сопротивление староверов. Самый замечательный писатель этого времени — протопоп Аввакум — предшественник Пушкина в любви к живому русскому языку, но никак не в отзывчивости. Вообще культуры, складывавшиеся на перекрестке двух-трех великих цивилизаций, склонны переходить от "отзывчивости" к почти судорожной замкнутости. Японию сравнивали с актинией: раскрывшись, захватив некоторую порцию чужого, она закрывалась, поглощала усвоенное, превращала чужое в свое и только потом открывалась заново. Элементы этого были и в истории России: самоизоляция Московской Руси, сплавлявшей удельные княжества в единый народ, сменялась петровским поворотом к Западу. А без периодов самоизоляции? Пожалуй, единой Япония, единой России вовсе не было, каждое княжество пошло бы своим путем...

Открытость, как и развитие, — черта не безобидная. Открытость нескольким разным цивилизациям (Византии, степи, Западу) вместе с отсутствием резких границ в природе создали русскую "широту", которая и захватывала, и тревожила Достоевского. Самые тревожные его суждения — не в "Дневнике писателя", а в репликах персонажей. "Широкость ли это особенная в русском человеке... или просто подлость?" — беспокоится Подросток. "Широк, слишком широк человек, я бы сузил", — вторит ему Митя Карамазов. Алексей Иванович в "Игроке" с грустью признается, что в России только гений способен выйти из хаоса, найти четкую форму — а гении повсюду редки¹. С этим переключаются парадоксальные высказывания Константина Леонтьева о том, что в России легче встретить святого, чем элементарно честного человека; что все в России шатко и чуть держится — и т.п. В своей аналогии Д. В. Чернышевский просто не замечает самого сильного в русской консервативной мысли: ее открытых вопросов, ее тревог. Не заметил он и суровой критики русского мессианизма (у Е. Трубецкого, у П. Флоренского). Статьи Е. Трубецкого перепечатаны огромным тиражом ("Новый мир" №7. 1990), читатель их, вероятно, заметил. Приведу здесь выдержку из "Записки о православии" Флоренского:

"Люди всегда склонны сотворить себе кумир, чтобы избавить себя от подвига служения вечному и пассивно предаться простой данности. Этот кумир может быть весьма различным. Для русских православных людей таким кумиром чаще всего служит сам русский народ и естественные его свойства, которые ставят они пред собою на пьедестал и начинают поклоняться, как Богу. Вера в быт превыше требований духовной жизни, обрядоверие, славя-

¹ Подробнее об этом в моей книге "Открытость бездне. Встречи с Достоевским". М. 1990.

нофильство, народничество селятся стать на первое место, а вселенскую церковность поставить на второе или вовсе отставить.

В основе всех этих течений лежит тайная или явная вера, что русский народ сам собою, помимо духовного подвига, в силу своих этнических свойств есть прирожденно христианский народ, особенно близкий ко Христу и фамиллярный с Ним, так что Христос, как будто несмотря ни на что, и не может быть далеким от этого народа. И как всегда фамиллярность с высоким, эта фамиллярность влечет за собою высокомерие и презрение к другим народам — не за те или иные общие качества, а за само существо их. Смысл этого высокомерия может быть выражен тем, что мы — природные христиане, с нас, собственно, ничего не требуется, и все нам простительно, тогда как другие народы, в сущности, не христиане, и самые их достоинства вызывают в нас чувство пренебрежения.

Может быть, соблазн такого самообожествления есть у каждого народа; но у русских он исключительно велик..." ("Символ" №21. Париж. 1989, стр. 97)

Этой второй стороны медали Д. Чернышевский в упор не видит. Иногда он просто теряет чувство юмора: "Русское государство с самого начала было многонациональным, и создано оно было не через завоевания, как на Западе, а через добровольное призвание варягов..."

Есть идеи, о которых трудно вести серьезный спор. Над ними смеются. 23 июня 1991 года я смотрел по телевизору Геннадия Хазанова, пересказавшего старую сказку. "Зачем ты бабушку съел?" — спросила Красная Шапочка. — "Она присоединилась добровольно!" — ответил Серый Волк. Примерно так же добровольно, как мы подписывались на заем...

Варяги действительно могли быть призваны — для чего? Чтобы одна банда взяла под защиту от других. Так призывают ракетчиков. Лучше платить дань, чем подвергаться грабегам и убийствам. Никакого духа мира сие в историю не внесло. Князья нападали друг на друга и вступали в союзы с половцами и татарами, чтобы захватить удел побогаче. В конце концов, из этих междоусобий поднялось Московское княжество — подлостью Ивана Калиты, доблестью Дмитрия Донского и поддержкой церкви. Московская Русь выжимала все соки из подданных ради бесконечных войн. Новгород подчинился Москве, уступая силе. Силой были завоеваны царства Казанское, Астраханское и Сибирское. Силой решались споры с Речью Посполитой Польской. В этом многовековом процессе были случаи добровольного присоединения православных народов к сильному единоверцу. Присоединялись — Украина, Грузия, — потому что не имели сил защищать свою независимость. Но очень скоро русские порядки вызывали у тех же украинцев, у тех же грузин довольно сильное сопротивление, и восстание Мазепы было подавлено отнюдь не порывом любви.

Однако автор видит только то, что хочет видеть: "Взыскание Града Божьего, духовный максимализм, устремленность к идеальной запредельной цели стали характерными для русских в более резкой, чем на Западе, форме. Не богатство, не сила, не бранная слава — совесть и правда были высшей ценностью на Руси. Не случайно и идеальный образ страны, сложившийся у народа, — "Святая Русь"..."

Совесть, правда, действительно ценилась на Руси; но была и опричнина, и разинщина, и пугачевщина. Из двух народных героев "Капитанской дочки" Д. Чернышевский видит одного Савельича. Свидетели революции видели Русь иначе:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы Революции — в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья,
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества —
Тот же хмель и та же трин-трава...

Ни одна страна не состоит из святых, ни одна национальная традиция — из преданий святости. Всюду есть свои бесы и свои традиции бесовщины. История — не только кредит, источник благодатной помощи, но и дебет, сумма долгов, демонических искушений, воплощенных в плоть и кровь. Так мыслил Россию Волошин (выше я цитировал его "Северовосток"), так видел ее Даниил Андреев; в его мифологии есть и "Небесный Кремль", и русская

преисподняя, где царствуют демоны имперской власти, "жругры". И все они — потомки еще более древних демонов.

Началось по меньшей мере с Византии, с культурного мира, созданного греческим гением в восточном Средиземноморье. Эта цивилизация оказалась неудачницей. Другие великие коалиции культур, возникшие около Р.Х. (± 500 лет), живы по сей день (западный христианский мир, индуистско-буддийский мир Южной Азии и конфуцианско-буддийский мир Дальнего Востока); а восточно-православная коалиция сжималась, сжималась и наконец рухнула под натиском ислама.

К несчастью для Византии, рядом оказалась другая империя, тоже основанная на единой вере, мнившей себя единственно истинной: Иран. Оба мировых царства вступили в смертельную схватку. Войска врага поочередно подступали к обоим столицам — и наступило общее разоренье. А тут Бог послал Мохамеда. Объединенные исламом бедуины обрушились на истощенные провинции и быстро их захватили. Успеху завоевателей очень способствовала религиозная политика Константинополя. Православная администрация жестоко преследовала ереси, мусульмане же оставили монофизитов, несториан и монофелитов в покое, лишь бы платили подать. К VIII веку Византия сохранила в Азии только Анатолию, где православное греческое население поддерживало сопротивление арабам. За первым роковым ударом последовал второй, нанесенный турками-сельджуками в XI веке, за ним еще и еще... И вот мировая империя со своим двуглавым орлом (символом власти над всем миром) существует еще несколько веков, создавая изумительные храмы, иконы, мозаику, богословские тексты — и медленно распадаясь. Пока наконец турки (на этот раз османы) не взяли Константинополь и не превратили его в свою столицу, Стамбул.

Между тем Россия окончательно освободилась от власти Орды. В церковном отношении она оставалась византийской провинцией, в области культуры Византия продолжала господствовать (в иконописи, в "извятии и плетении словес" Епифания Премудрого). Но политически Московская Русь оказалась единственным независимым православным царством. Венец мировой империи и все православное духовное наследие с неизбежностью доставались России. Либо надо было из провинции стать столицей православного мира, либо отбросить гордыню и войти в другую коалицию культур. Второе попробовал Петр — "прорубив окно в Европу". Но сперва испытано было первое решение. Тогда-то и распространилось самосознание "Святой Руси". Франция или Испания не могли претендовать на особую святость: рядом были такие же христианские державы, истинная вера не была национальной монополией¹. Я сознательно обхожу концепцию инока Филофея (Москва — Третий Рим); она не дошла до народа. Но в словах "Святая Русь", ставших народными, выражено примерно то же. Мы люди земные, но вера наша — единственно истинная: вот примерно что эти слова говорят. И с идеей истинной веры связана идея всемирного торжества православного царства: "а наш белый царь — над царями царь".

Трудно учесть, какую роль идея исключительности России сыграла в недолгом, но сильном русском увлечении коммунизмом; во всяком случае, в развитии советской идеологии славянофильские идеи переплелись с коммунистическими. Я пережил это увлечение раньше других, в 1938-1940 г.г. Антибуржуазные и "русоцентрические" идеи Достоевского поддерживали во мне слабеющую веру, что именно Россия проложит всему свету путь в социализм. Отвращение Достоевского к социализму я считал, разумеется, недоразумением... Прошло несколько лет, прежде чем я понял глубину этого "недоразумения", и еще лет 10-15, прежде чем стало ясным другое: почвеннические иллюзии характерны для всех слаборазвитых стран, вступивших в поток модернизации и испытывших, как она трудна. Естественно возникает надежда straighten полную кризисов дорогу истории, вырваться из истории, прыгнуть куда-то в Китеж...

Сейчас призрак Третьего Рима вдохновляет некоторых отчаявшихся интеллигентов; но он остается призраком и (вместе с привычным призраком коммунизма) поддерживает существование "красно-черного блока"... Остается, однако, проблема, исторически связанная с имперскими претензиями, но

¹ Видимо, именно в связи с этой исторически сложившейся монополией связаны неприятные черты, о которых писал Флоренский.

связанная не жестко, не наглухо и допускающая самостоятельное развитие: духовное наследие святоотеческой литературы, "патристики", как ее называют на Западе. Запад прошел через схоластику, Ренессанс, рационализм XVII века и проч. и проч. и довольно далеко отошел от ранних отцов христианства. Как только в России складывается философия (а это происходит очень поздно, в XIX веке), она сознает своей задачей заново интерпретировать патристику, связать ее с европейской философией и вернуть в мировой диалог как русский национальный вклад. Эту задачу по-своему (иногда совершенно вольно, иногда поближе к догме) решали Вл. Соловьев, Бердяев, Булгаков, Флоренский, Франк, Федотов... Вероятно, многих из них в VIII веке сожгли бы как еретиков, но они еретики православия и все вместе придали православию новое дыхание, еще раз связав его с русской национальной культурой.

При этом "веховцы" (как можно для краткости назвать их) были в политическом отношении либералами, сторонниками рыночной экономики западного образца и решительными противниками антирыночной демагогии. Думаю, что не изменяя традиции "Вех", если скажу, что место России — в Европе, точнее — в блоке северных стран, с которыми ее связывает весь петербургский период, прерванный прыжком в Утопию. Кризис буржуазного общества может быть преодолен только на почве достижений буржуазного общества, на реальной почве современности. И дальше, вместе с Западом, надо искать выход, поворот горизонта научно-технического прогресса на духовную вертикаль. Думаю, что в этих поисках пригодится и русский духовный опыт.

Историю можно созерцать в разных аспектах. Один из них возрождает идею прогресса, но как прогресса нравственных задач, как постепенное расширение рамок солидарности. Примитивный собиратель солидарен со своим родом. Это просто и не требует почти никаких правил. Солидарность племени потребовала сложной системы табу. Солидарность в детрибализованном мире оказалась еще более трудным делом и никогда не была совершенно достигнута. Великие цивилизации, по меньшей мере, сознавали эту проблему и старались ее решать, опираясь на мировую религию и философскую этику. Сейчас оказалась необходимой глобальная солидарность: Запада и Востока, Юга и Севера, русских и китайцев, израильтян и арабов... Без этого глобальные проблемы нельзя решать. Больше того: одна вспышка ненависти может вызвать пожар, в котором сгорит все. Впервые в истории большая война стала самоубийством. Я возвращаюсь к тому, с чего начал: чувство тревоги, которым дышит статья Д. В. Чернышевского, глубоко обосновано. Но чтобы найти выход из тупика, нужно современное мышление, современная интерпретация великих духовных идей, впервые сформулированных около двух тысяч лет тому назад. И один из подступов к решению этой задачи — понять, что все великие религии говорят одно и то же, только разными словами. Разделяет буква, застывшее слово. Животворящий дух един. И задача современной духовности — узнавание. Узнавание единого духа в чужих иконах, в словах чужой веры.

Вадим Белоцерковский

Самоуправление или госкапитализм?

В советской прессе, правой и официозной, равно как и в выступлениях Президента СССР и его сторонников, когда заходит речь о самоуправлении и групповой собственности на средства производства, произносятся общие и расплывчатые слова, не находящие потом никакого воплощения в делах, в политике. Либеральная же пресса вообще почти ничего положительного об этих явлениях не говорит. Более того, время от времени в ней появляются заявления о неэффективности трудового самоуправления и групповых предприятий на Западе. И совершенно замалчивается тот факт, что самоуправление на основе групповой трудовой собственности представляет собой фундамент нового строя, призванного открыть для человечества такую эпоху, когда ему можно будет тратить большую часть сил не на какие-нибудь междоусобные распри, а на борьбу за развитие и выживание "гомо сапиенс", иначе говоря, строя, приходящего на смену представлениям о коммунизме. В частности, строй этот может открыть большие возможности для решения назревших грозных экологических и гуманитарных проблем, включая те, с которыми сталкивается "третий мир".

Цель статьи — в сжатой форме описать этот строй, его основные элементы, механизмы и одновременно возможности. Описать, исходя из существующих теоретических работ и практики самоуправляющихся предприятий на Западе.

Экономика. Политика. Экология.

Прежде всего, о собственно самоуправлении. Оно не что иное, как демократия, вошедшая внутрь предприятий и учреждений. Каждый член коллектива имеет решающий голос в делах трудовой ячейки. Собрание трудового коллектива и избираемый им Совет — законодательная власть. Дирекция, избираемая или нанимаемая по конкурсу, — власть исполнительная.

Самоуправление по смыслу может быть только полным, без какого-либо (государственного или партийного) вмешательства извне. И существовать оно может (и уже на Западе существует) на предприятиях и в учреждениях самого различного профиля — промышленных и сельскохозяйственных, научных и медицинских, в школах, страховых обществах, журналах и т.д.

Самоуправление неотделимо от групповой, трудовой собственности на средства и продукты производства. Коллективы предприятий и учреждений должны быть полными их собственниками. Причем совладельцами являются все работники предприятия (учреждения). Право на совладение дает труд на предприятии и участие в затратах на покупку, ремонт и модернизацию оборудования. Наемный труд применяется только в порядке исключения в течение коротких договорных сроков (например, наем экспертов для консультации или проведения какого-либо обследования).

Отказ от наемного труда объясняется тем, что он менее эффективен, и его эффективность продолжает падать по мере развития средств производства и технологий. Наемный работник не относится достаточно бережно и к средствам производства.

При вступлении в коллектив нового работника (на постоянную работу) он должен делать взнос, равный приходящейся на него доле стоимости предприятия (единой суммой или в рассрочку). Взносы и доли могут быть одинаковыми для всех или пропорциональными зарплате, составляя определенный и равный для всех процент от нее. Все решает коллектив.

При уходе с предприятия работник получает назад свои вклады на приобретение, ремонт и модернизацию средств производства (учитывается во всех случаях амортизация) и теряет право собственника — право получать

соответствующую часть прибыли и участвовать в управлении. То есть групповая трудовая форма собственности, в отличие от капиталистической (и кооперативной), не является наследственной. Ее главный принцип: "кто не работает, тот не владеет!" Принцип, в отличие от госсocialистического "кто не работает, тот не ест", — правовой и гуманный в своей основе и несовместимый с эксплуатацией. Отсюда также и определение "трудовая" форма собственности. Одновременно она является и групповой долевой формой. Как видим, это новая форма собственности. В прошлом она могла лишь эпизодически возникать на периферии жизни. В обществе самоуправления она будет господствующей. Групповая трудовая форма собственности существует уже и сегодня на многих самоуправляющихся предприятиях Запада.

Строй самоуправления, не мыслимый иначе как свободный от какого-либо насилия, предполагает и свободу создания кооперативных и частных предприятий с наемным трудом. Но принадлежащие государству предприятия, включая и сельскохозяйственные, должны передаваться — а новые продаваться, — в собственность их коллективам, а не частным лицам.

Особое положение среди средств производства должна занимать земля. Она не создается трудом людей и принадлежит всем живущим на ней. Отсюда следует, что возделываемая земля должна находиться в двойном владении — государства, как представителя общества, и работающих на этой земле людей. Государство в качестве "титульного" владельца имеет право на взыскание ренты за землю (размер которой зависит от качества и расположения земли), на изъятие земли (по суду) в случае ее порчи "вторичным" владельцем и на принудительный выкуп (или обмен на другой надел) для каких-то общественных нужд.

"Вторичные" владельцы имеют все остальные права хозяев, включая право на продажу и прикупку земельных наделов. В случае выхода работника из "коллективного хозяйства" он должен получать свой надел земли или по желанию брать за него деньги (плюс получать стоимость его доли в наземных средствах производства). То есть право владения землей должно быть наследственным. Сохранять за собой большой надел, не возделывая его, будет невыгодно, так как придется продолжать платить за него ренту. Спекуляцию землей может остановить тяжелый налог на прибыль от перепродажи земли без ее использования в течение определенного законом срока.

Самоуправление неотделимо от рыночной экономики. Но этот рынок, как мы покажем далее, будет принципиально отличаться от капиталистического отсутствием агрессивной конкуренции, конкуренции в накоплении капиталов, которая и является характерной чертой капитализма.

Важнейшим элементом строя самоуправляющихся коллективов является, на мой взгляд, государственное расширенное воспроизводство — создание государством новых самоуправляющихся предприятий. Это обеспечивает сохранение самоуправления и трудовой собственности на средства производства, предотвращая капиталистическую трансформацию самоуправляющихся предприятий.

Если экстенсивное расширение производства (создание новых рабочих мест) будет проводиться групповыми предприятиями, то коллективам этих предприятий будет выгодно принимать новых работников на новые места не в качестве равноправных совладельцев, а как наемных служащих, на зарплату, в качестве пролетариев, забирая себе вырабатываемую ими прибыль (прибавочный продукт). В противном случае члены расширяющегося предприятия не только не увеличат своих доходов, но за счет своих средств и сил создадут себе конкурентов, кому-то "с улицы" подарят средства производства. Таким образом, самостоятельное расширение самоуправляющихся предприятий связано с их капиталистической трансформацией и приостанавливает развитие самоуправления. Самоуправляться (я богатеть!) будет в этом случае лишь первое поколение трудящихся, получившее средства производства от государства при установлении самоуправления. Все же последующие поколения вновь станут наемными работниками (опоздали родиться!)

Единственное ненасильственное средство пресечения самостоятельного расширения самоуправляющихся (а также частных и кооперативных предприятий) я вижу в том, чтобы созданием новых самоуправляющихся предприятий занималось государство (или финансировало это дело). Если государство будет создавать новые предприятия (с помощью самоуправляющихся строительных и проектных фирм) и продавать их новым трудовым коллективам, формируемым с помощью того же государства или самостоятельно, то свободные трудовые ресурсы будут стягиваться преимущественно на эти новые предприятия. Люди

будут предпочитать идти работать "хозяевами" на создаваемые государством новые самоуправляющиеся предприятия, нежели пролетариями в эксплуатацию к успешным ранее родиться согражданам. Таким образом, самостоятельное расширение уже действующих самоуправляющихся (и частных) предприятий сделается невозможным. Самоуправляющимся предприятиям, как и частным, и кооперативным, останется, в основном, лишь один путь развития производства — интенсивный: за счет усовершенствования оборудования, технологии и организации труда. А целью производства станет улучшение благосостояния работников и условий труда. Исчезнет возможность и необходимость накопления капитала (за счет экстенсивного расширения с наймом пролетариев), не будет возникать конкуренция в накоплении капитала, конкуренция, которую я называю агрессивной, так как она направлена к достижению господства на рынке, за счет вытеснения, разорения или поглощения конкурентов.

Именно агрессивная конкуренция является важнейшей причиной большинства негативных следствий капитализма: эксплуатации, кризисов, инфляции, разрушения окружающей среды, неравномерного развития мира, безработицы, принижения культуры и искусства. С помощью этой конкуренции капитализм создал современную индустриальную цивилизацию развитых стран, однако сейчас такая конкуренция становится уже опасной для человечества.

Для государственного расширенного воспроизводства сектора самоуправления необходимо создание с самого начала специальных инвестиционных фондов, в которые должны поступать средства от продажи предприятий трудовым коллективам и определенная небольшая часть прибыли групповых предприятий. Зато и кредиты они из этих фондов смогут получать без процентов. Инвестиционные фонды должны находиться под контролем законодательных органов власти.

В обществе самоуправления с исчезновением агрессивной конкуренции останется лишь вторая компонента конкуренции — рыночная. Конкуренция на рынке — соревнование в привлечении покупателей, в увеличении продажи товаров или услуг благодаря улучшению их качества, ассортимента и снижения цен. И такая конкуренция уже не будет капиталистической. В экономике возобладает наконец социалистический цикл: Товар — Деньги — Товар. Производители будут производить и продавать товары (услуги), чтобы на вырученные деньги приобретать для себя другие товары или услуги (в том числе и такие, с помощью которых можно улучшить условия труда). То есть деньги станут средством, а не целью, как в капиталистическом цикле: Деньги-Товар-Деньги, где товаром является и труд, и где человек, природа, ресурсы выступают, главным образом, как средства накопления.

Нет смысла, думается, доказывать советскому читателю, что при государственном, тоталитарном социализме также господствует капиталистический цикл: Д-Т-Д. Производство идет ради производства, ради его расширения, а человек и природа являются средством этого процесса и эксплуатируются еще более жестоко.

Если не найдется людей, которые готовы будут идти в наем, то частные предприятия начнут либо уходить со сцены, либо станут трансформироваться в предприятия с трудовой собственностью. Наследственная собственность на коллективные средства производства отойдет в прошлое так же, как отошла и наследственная собственность на людей — на крепостных или рабов. В развитом обществе самоуправления будут существовать, видимо, только три вида собственности на средства производства: групповая трудовая, индивидуальная (семейная) трудовая и государственная. В государственной собственности должны будут оставаться те отрасли, где невозможна конкуренция по качеству продукции и важна централизация (например, энергетика, связь, железнодорожный транспорт, возможно, горная промышленность). Или отрасли, где неограниченная экономическая конкуренция вредна: образование, медицина, адвокатура, массовое искусство. В этих отраслях, вероятно, полезна будет двойная оплата труда: государственный минимум и дополнительная оплата со стороны страховых касс и потребителей по твердым тарифам. Чтобы была и некоторая экономическая заинтересованность и некоторая свобода от рынка. Государство должно, разумеется, финансировать и фундаментальную науку, предоставляя в то же время ученым право на самоуправление.

Работники госпредприятий, после того, как расходы на их создание окупятся, также будут иметь право на участие в прибылях этих предприятий. Я исхожу здесь из того, что прибыль — всегда частная собственность работников и забирать ее по праву можно лишь только на восполнение

расходов по созданию средств производства. Определенные права получают работники госпредприятий и в управлении ими.

Отметим, что среди сторонников самоуправления существует (или существовало, по крайней мере) мнение, согласно которому расширенным воспроизводством должны заниматься сами самоуправляющиеся предприятия, а не государство, так как оно не сможет, по их мнению, делать это эффективно. Чтобы сдержать гонку в накоплении капиталов, предлагается в этом случае законодательное нормирование распределения прибыли предприятий на фонд потребления и накопления.

Выступая за государственное расширенное воспроизводство, я исхожу из того, что в условиях свободного рынка и высокоразвитой политической демократии государство сможет вести расширенное воспроизводство достаточно эффективно и безошибочно, так как будет получать для этого объективные исходные данные от свободного рынка. Повышение цен, например, на продукцию определенной отрасли производства будет сигнализировать о том, что в этой отрасли можно создавать новые предприятия. В то же время расширенное воспроизводство в руках государства будет служить средством направленного, планового развития народного хозяйства в интересах всего общества, в целях решения гуманитарных и экологических задач, а также пресечения безработицы и регулирования цен.

Описанный выше механизм расширенного воспроизводства существует не только в умах теоретиков. Его моделью, "прообразом нового общества в недрах старого" являются, например, большие интернациональные капиталистические концерны. Их филиалы действуют самостоятельно, на "хозрасчете", и ведут между собой рыночную конкуренцию, не агрессивную: расширенным воспроизводством не занимаются. Его ведет центральное правление концерна, изымая для этого соответствующую часть прибылей у филиалов.

Еще ближе к нашей модели структура федерации самоуправляющихся предприятий в Басконии (Испания), носящей название "Мандрагона", о которой мы подробнее будем говорить дальше.

Государственная власть в обществе самоуправления, выполняющая важную функцию организатора расширенного воспроизводства, должна находиться под особенно эффективным контролем общества, и поэтому строю самоуправления должна соответствовать демократия более высокого уровня, нежели существующая где-либо до сих пор.

История показывает, что первым требованием самоуправляющихся коллективов является требование прямого представительства в органах законодательной власти, превращения ее в Совет представителей самоуправляющихся коллективов (не только производственных, но и творческих и всех других). Разумеется, не все коллективы сразу смогут выдвигать своих представителей в парламент: мест не хватит. Выдвигать (избирать) депутатов смогут по очереди коллективы нескольких предприятий каждой отрасли.

Опыт представительства люди будут приобретать на своих предприятиях (учреждениях) и в регионах — в практике их самоуправления.

Самоуправляющиеся и самофинансирующиеся коллективы никогда не допустят, чтобы их представители в законодательных органах власти защищали какие-либо еще интересы, помимо интересов избравших их коллективов (и отрасли). Депутаты смогут состоять в каких-то партиях или общественных ассоциациях, но их интересы проводить в парламенте не будут. И в результате законодательная власть будет носить беспартийный характер.

Беспартийный парламент (Совет Представителей) окажется, кроме всего прочего, и более работоспособным по сравнению с классическим многопартийным парламентом. В нем не возникнет борьбы партийных фракций за министерские портфели, борьбы часто весьма беспринципной, с резким изменением позиций. За депутатами-представителями трудовых коллективов будут стоять стабильные интересы их предприятий и отраслей труда и прямой контроль избирателей.

Исполнительная власть в этой модели должна быть партийной и избираться на отдельных выборах по территориальному принципу. Поясню: исполнительная власть должна формироваться, во-первых, из профессиональных политиков и, во-вторых, из известных всем избирателям людей. И оба эти условия могут быть реализованы при выборах руководителей исполнительной власти из лидеров различных партий. Я не разделяю мнения некоторых сторонников самоуправления, выступающих за полностью беспартийную систему, при которой, кроме всего прочего, трудно будет формировать исполнительную власть из профессиональных политиков.

В переходный период становления новой демократии возможно создание двухпалатного парламента. В одной палате — самоуправления — соберутся представители групповых предприятий. Эта палата займется социально-экономическими вопросами. Вторая палата, политическая, сформируется на территориально-партийных выборах и станет ведать всеми остальными вопросами.

Чрезвычайно важным качеством общества самоуправления представляется наличие богатого государства.

При капитализме государство бедно потому, что большая часть хозяйства страны ему не принадлежит, а следовательно, государству не принадлежит и большая часть капитала. Он находится в частных руках, и использовать его для общенациональных гуманитарных, социальных или экологических целей очень трудно.

При государственном социализме правительство бедно по той причине, что ему принадлежит все хозяйство страны! Нет конкуренции экономической, есть колоссальные перманентные потери, и львиная доля бюджета уходит на их компенсацию, на неизбежное форсированное развитие группы "А" и т.д., не говоря уж о ВПК.

При самоуправлении же государство будет владеть совокупным капиталом для расширенного воспроизводства. Первоначально оно получит его за счет продажи госпредприятий трудовым коллективам и затем будет пополнять за счет продажи вновь создаваемых предприятий, а также за счет обычных поступлений, включающих доходы от госсектора промышленности. С помощью этих весьма значительных средств государство сможет решать экологические, социальные и гуманитарные проблемы — как путем целенаправленного, планового расширенного воспроизводства, так и прямым вложением капиталов в соответствующие проекты.

Конечно, если упомянутые проекты будут дорогостоящими, то государству придется увеличивать (с согласия парламента) налоги, но это не будет ввергать экономику в депрессию, как то происходит в капиталистическом обществе. Там хозяева предприятий ведут расширенное воспроизводство, и увеличение налогов замедляет его, вызывая известные негативные последствия: рост безработицы, разорение маленьких фирм и т.д.

В обществе самоуправления при увеличении налогов люди будут несколько меньше зарабатывать, замедлится интенсивное развитие производства, но все это с лихвой окупится улучшением окружающей среды, здоровья людей, исчезновением трупоб и других социальных язв современного мира.

Не забудем также, что новые предприятия будут образовываться, главным образом, инвестиционными фондами, которые не находясь под гнетом агрессивной конкуренции смогут изначально создавать более дорогостоящие, экологически безопасные предприятия.

Большие возможности государства, основанного на самоуправлении, в решении экологических и гуманитарных проблем представляются одним из решающих преимуществ этого нового строя.

С исчезновением агрессивной конкуренции исчезнет и одна из главных причин, порождающих безработицу. Развитие экономики пойдет более равномерно, будут редкими случаи разорения предприятий, и капиталы перестанут утекать из страны в поисках дешевого труда.

Но останутся причины для безработицы, связанные с развитием техники и технологии. Однако самоуправляющиеся предприятия, освобождаясь из тисков агрессивной конкуренции, реже будут прибегать к сокращению своих работников в связи с усовершенствованием оборудования и сокращением рабочих мест. Чаще будет применяться либо освоение новых производств, либо сокращение рабочего дня всех работников, либо то и другое вместе.

И все же, несмотря на все смягчающие факторы, проблема занятости время от времени будет, видимо, вставать перед обществом и властями. Но в распоряжении властей появится эффективный механизм борьбы с безработицей — налоговая политика. В случае возникновения заметной безработицы правительство (с согласия парламента), поднимая налоги, с одной стороны, сможет наращивать темпы создания новых рабочих мест. С другой — будет замедлять темпы развития техники на самоуправляющихся и всех иных предприятиях (кроме государственного сектора): у них останется меньше средств на модернизацию производства. Повышение налогов окажет, таким образом, двойное воздействие на безработицу в сторону ее уменьшения. И на рычаг не придется нажимать сильно!

С ликвидацией безработицы и появлением дефицита рабочих рук налоги соответственно будут уменьшаться. Государство станет несколько меньше строить, а самоуправляющиеся предприятия примутся соответственно быстрее развивать производительность труда, высвобождая рабочие руки. Не забудем и того обстоятельства, что сокращаемые (разумеется, по определенным правилам — с учетом размера семьи, возраста, стажа и т.д.) работники получают большое выходное пособие (их вклад в приобретение и усовершенствование средств производства) и будут поэтому иметь больше возможностей для поиска новой хорошей работы, переквалификации или открытия своего дела.

Наконец, государство, расширяя работы по восстановлению окружающей среды, этим также создаст новые рабочие места.

Отметим в заключение, что в условиях самоуправления на основе групповой собственности снимается (или очень ослабляется) отчуждение человека от результатов своего труда. Снимается и извечное противоречие между собственническими и альтруистическими устремлениями, между принципами нравственности и борьбой за преуспеяние, между стремлением к самоутверждению и единению. Самоуправление и трудовая собственность дают человеку возможность влиять на ход своей и общей жизни, творить добро.

В обществе демократического самоуправления каждый человек получит право решающего голоса во всех структурах, членом которых он будет состоять либо как гражданин (региональные структуры и государственные), либо как совладелец. Наличие такого права является сутью демократического самоуправления. Право решающего голоса представляется основополагающим и неотъемлемым правом истинно свободного человека. Все остальные права без этого права не могут быть полностью гарантированы и по-настоящему действительны.

Описанная выше модель общества самоуправления является логическим следствием права решающего голоса и одновременно суммой средств для его реализации.

Самоуправление на Западе

Как говорилось вначале, развернутая мною модель сконструирована не только на основе теоретических размышлений, но и на анализе практики существования на Западе групповых самоуправляющихся предприятий и учреждений. Предлагаю вниманию читателей ряд примеров такой практики.

Опыт создания федерации "Мандрагона" особенно ценен для нас, так как эта федерация представляет собой фактически миниатюрное государство самоуправляющихся трудовых коллективов и создавалось в условиях, очень близких к тем, которые сейчас существуют в России.

Инициатором создания федерации был католический священник дон Хосе Мария Арисменди Арриета (1915-1976), человек, отмеченный исключительной силой ума, духа и доброты, о котором мир еще, к сожалению, очень мало знает. Это человек, по-моему, относится к плеяде таких людей, как Сахаров, Швейцер, Эйнштейн.

Во время гражданской войны в Испании (1936-38 годы) священник был активным сторонником республиканцев, и победившие фалангисты в числе других пленных республиканцев приговорили Арриету к смертной казни, которой он чудом избежал. В 1941 году Арриету выпустили из тюрьмы и сослали в глухую провинцию Мандрагона в земле басков на Севере Испании. Население этой провинции, сильно пострадавшее во время гражданской войны, не могло рассчитывать на помощь государства в восстановлении экономики. Международное положение в годы начавшейся вскоре второй мировой войны также не оставляло надежд на иностранную экономическую помощь. Не могла развиваться в те годы и сколько-нибудь значительная частная предпринимательская инициатива. В провинции свирепствовала безработица, особенно среди молодежи.

Учитывая все это, Арисменди Арриета и пришел к выводу, что выходом из бедственного положения может быть лишь создание в городах и поселках самоуправляющихся коллективных предприятий.

Главной трудностью на этом пути было отсутствие специалистов. Поэтому Арисменди Арриета начал с открытия технического училища. Первые выпускники этого училища, собрав свои сбережения и добившись небольшого банковского кредита, создали первое самоуправляющееся предприятие, получившее название

"Ульгор". Поначалу это была кустарная мастерская, ремонтировавшая бытовые приборы. И только в середине 50-х годов "Ульгор" приступил к изготовлению холодильников, затем стиральных машин и бытовых электропечей. Сейчас изделия фирмы "Ульгор" считаются лучшими в Испании.

Вслед за "Ульгором" возникли другие самоуправляющиеся фирмы. В настоящее время в Басконии насчитывается уже 167 таких фирм, и на них работает свыше 20 тысяч человек. Фирмы соединены в 15 групп по отраслям производства и функциям. Предприятия "Мандрагоны" выпускают станки с программным управлением, их автоматические линии покупаются заводами "Форд" и "Рено". Выпускают промышленные роботы, мощные горные экскаваторы, многие другие машины. Имеет "Мандрагона" и сельскохозяйственные товарищества, и сеть супермаркетов — около 300 магазинов, разбросанных по всей Басконии.

За последние 35 лет из всех объединений "Мандрагоны" банкротство потерпело только три. В США, для сравнения, после первых 5 лет существования из новых частных и акционерных компаний выживает лишь 20 процентов. В периоды спадов и кризисов в Испании только предприятия "Мандрагоны", как правило, продолжали создавать новые рабочие места. Зарботки рабочих и служащих "Мандрагоны" самые высокие в Испании. Согласно "Интернейшл Геральд Трибюн", предприятия "Мандрагоны" опережают все остальные предприятия Испании по уровню механизации, компьютеризации и производительности труда.

Каковы принципы функционирования предприятий "Мандрагоны"?¹

Каждый работник, поступающий на предприятия федерации, вносит одинаковый пай, сейчас это около 8,5 тысяч долларов. Если у него нет таких денег, они постепенно выплачиваются работниками из зарплаты. Зарплату работники получают в зависимости от квалификации и почасовой выработки. В конце года работники получают часть своей доли в валовой прибыли предприятий (из фонда потребления). Получают также проценты от той части прибыли, которая идет на развитие производства (фонд накопления). Никаких акций в "Мандрагоне" нет. При уходе с работы люди получают свою долю прибыли из фонда накопления за все время их работы, а также вступительный пай. В случае смерти работника его долю получает семья или наследники по завещанию.

Примерно 10 процентов всех прибылей идут на социальные нужды: развитие образования, культуры, строительство жилья. Имеется также дополнительная система пенсионного обеспечения и страхования. Соотношение между фондом потребления и накопления примерно 50 на 50 процентов. (В конце 70-х было: 70 на 30 процентов). Важно также, что доля прибыли начисляется каждому работнику в соответствии с размером его зарплаты, то есть трудового вклада. Но самая высокая зарплата не превышает самую низкую более чем в 4,5 раза.

Сейчас идет дискуссия о том, чтобы больше платить хорошим специалистам, так как капиталистические фирмы начинают их переманивать к себе. В порядке исключения уже допускается превышение зарплаты специалистов в 6 раз. Сразу скажу, что я не вижу в этом ничего плохого. Уровень зарплаты в данном случае должен определяться рыночным образом. Твердое соотношение максимальных и минимальных зарплат — это еще из наивного социализма и анархизма.

Каждое предприятие, входящее в федерацию "Мандрагона", хозяйственно полностью независимо. Высший руководящий орган — общее собрание всех производителей предприятия. Собирается раз в год, решает стратегические вопросы производственной политики, социальные вопросы, соотношение фонда накопления и потребления, выбирает на четыре года рабочий совет и контрольную комиссию, заслушивает отчет прежнего руководства. Рабочий совет назначает, иногда с помощью конкурса, генерального директора — также на четыре года.

Сердце федерации "Мандрагона" — "Народная касса" — банк, играющий также и роль инвестиционного фонда, который финансирует расширенное

¹ В этом разделе использованы материалы американской и английской прессы и отчет профессора Валерия Рутгайзера, заместителя директора Всесоюзного центра изучения общественного мнения Академии наук СССР, и старшего научного сотрудника центра А.В.Толстых о командировке в "Мандрагону" в ноябре 1989 года.

воспроизводство федерации, создание новых предприятий, которые затем по себестоимости продаются в рассрочку новым трудовым коллективам. "Касса" финансирует также учебные и научно — исследовательские учреждения федерации. Кредиты фирмам федерации выдает беспроцентные, новые предприятия продают по себестоимости, потому что все фирмы перечисляют в "кассу" 13 процентов прибыли. "Касса" обслуживает и постороннее население, и фирмы, но тут уже она действует как обычный коммерческий банк.

Контролирует и направляет работу "Народной кассы" конгресс федерации (парламент!), формируемый из избираемых представителей всех фирм "Мандрагоны". Собирается 1-3 раза в год. Рассматривает стратегическое направление развития федерации в целом. Избирает Генеральный Совет (правительство), который реализует решения конгресса. Между прочим, Генеральный Совет стал выбираться только с 1985 года, ранее его функции выполнял наблюдательный совет "Народной кассы", созданный еще в 1959 году. Но с той поры федерация так разрослась, что потребовался специальный координирующий орган, работающий в перерывах между конгрессами федерации

Следующий уровень координации — отраслевые и региональные группы фирм. Благодаря такому объединению фирмы получают дополнительный доход за счет возможности эффективнее и дешевле выполнять крупные и сложные заказы. В группах создаются свои координационные органы. Группы являются промежуточными структурами между Генеральным Советом и отдельными фирмами. В функции координационных органов групп входят и задачи наиболее эффективного использования ресурсов, сбыт продукции. Руководители групп входят в Генеральный Совет федерации.

Особое место в федерации занимает отделение содействия предпринимательской деятельности, работающее при "Народной кассе". Отделение оказывает помощь Генеральному Совету и менеджерские услуги фирмам федерации, а за особую плату и посторонним клиентам. В отделении имеется ряд подразделений или секторов. Исследовательский, сельскохозяйственный, промышленный, международный и ряд других, включая сектор жилищного строительства.

Наряду с этим существует созданный в 1977 году исследовательский и технологический центр, который обеспечивает модернизацию производства фирм федерации и выполняет для них вычислительные работы и краткосрочное повышение квалификации их кадров.

В состав федерации входит также фирма социальных услуг, работающая в дополнение к государственной системе социального обеспечения. При фирме создана самостоятельная страховая компания.

Далее в федерации имеется фирма ("кооператив") по экспортным операциям, включая создание собственной коммерческой сети за пределами Испании, осуществление патентных операций, продажу технологий, строительство объектов в других странах.

Имеется в федерации общество образования и культуры, координирующее деятельность 14 образовательных центров, в том числе трех центров университетского уровня. Между прочим, "Народная касса" финансирует обучение молодежи федерации и в посторонних университетах при их согласии работать потом определенное время в фирмах "Мандрагоны"

Наконец, имеется центр менеджерского обучения для подготовки руководящих кадров после университетского обучения.

Успехи самоуправляющихся предприятий в Басконии стали уже известны за пределами Испании. Правительства многих развивающихся стран обращаются на эти предприятия с просьбой помочь в создании подобных трудовых коллективов. И получают такую помощь.

Первые промышленные самоуправляющиеся предприятия появились в США в 20-х годах на тихоокеанском побережье. Это были фанерные заводы, созданные рабочими, вложившими в них свой труд, свои сбережения, а также и средства, предоставленные в долг местными властями. Вскоре заводы стали успешно конкурировать с частными и даже вытеснять их с калифорнийских рынков. Примеру последовали другие рабочие коллективы. Многие из них стали не только создавать новые заводы, но покупать у владельцев действующие предприятия.

Особенно заметный рост числа самоуправляющихся коллективных предприятий начался в США в 70-е годы в связи с экономическим спадом. Коллективы рабочих и служащих стали выкупать предприятия, на которых они работали, у разоряющихся хозяев прежде всего для того, чтобы не потерять работу

И государственные власти, местные и федеральные, начали помогать им ссудами и иным образом, чтобы затормозить рост безработицы.

Для разработки соответствующего законодательства и программ помощи самоуправляющимся предприятиям финансовая комиссия сената США в 1979 году провела выборочное обследование 75 предприятий, принадлежащих рабочим коллективам.

В отчете комиссии отмечалось, что на этих предприятиях с того времени, как они перешли в собственность рабочих и служащих, производство возросло в среднем на 25%, а прибыли на 15%.

Обследование также выявило, что по всем экономическим показателям эти предприятия превышали средний уровень в своих отраслях производства, то есть опережали капиталистические предприятия.

Приведу несколько конкретных примеров из отчета финансовой комиссии сената.

В 1975 году 450 рабочих и служащих станкостроительного завода "Саус энд Лейс" купили это предприятие, находившееся на грани банкротства. В течение первого года после покупки производительность труда увеличилась на 25 процентов. В том же году этот завод, приносявший ранее убытки, дал 9 процентов прибыли. Экономические показатели завода продолжают непрерывно улучшаться.

Завод по прокату стальных труб, принадлежавший Чарльзу Кайзеру, должен был закрыться, так как его продукция не выдерживала конкуренции японских экспортеров. Рабочие решили купить завод Кайзера. В течение года после перехода завода во владение рабочих производительность труда на нем увеличилась на 32%.

Сейчас уже принято специальное законодательство, регламентирующее и облегчающее приобретение заводов рабочими, и введен в действие план помощи — "План создания рабочей собственности" — ESOP.

К 1989 году в США число фирм, принадлежащих трудовым коллективам, достигло 2 тысяч. Около 8 тысяч находится в процессе выкупа. В целом на них занято около 10 миллионов человек, 9 процентов используемой рабочей силы. По прогнозам к концу столетия это число удвоится.

Характерно и то, что растут не только темпы "коллективизации" предприятий, но и размеры предприятий, выкупаемых коллективами рабочих и служащих.

В городе Вейртон, Западная Виргиния, находится один из крупнейших сталелитейных заводов США, который был осенью 1983 года куплен рабочими и служащими. В 1982 году корпорация "Нейшнл Стилл" объявила о своем намерении сократить работу завода в Вейртопе и соответственно рассчитать примерно 5,5 тысяч рабочих (из 7 тысяч), да и остальных перевести только на отделочные операции, что означало сокращение их заработков. В перспективе заводу угрожало полное закрытие.

Профсоюз и городские власти, для которых свертывание главного завода означало катастрофу, выступили с предложением — коллективу завода откупить предприятие в свою полную собственность. Они исходили из опыта уже существующих коллективных предприятий, которые перекупались рабочими, в основном, при сходных обстоятельствах и становились прибыльными. Однако все эти предприятия по масштабам были значительно меньше вейртоновского завода, стоявшего около 370 миллионов долларов.

Ввиду этого была создана специальная комиссия для изучения вопроса — о выкупе и возможности восстановления рентабельности завода. В комиссию вошли представители всех заинтересованных сторон — профсоюза, города и штата. В помощь были наняты специалисты: по рынку стали, по реконструкции предприятий, финансисты с Уолл-стрита, юристы и даже специалисты по пенсионному обеспечению. После четырех месяцев работы комиссия пришла к выводу о целесообразности сделки и разработала план оплаты коллективом стоимости предприятия.

Работа комиссии стоила более 5 миллионов долларов, которые были вкладчину собраны профсоюзами, городом и штатом.

23 сентября 1983 года около 90% рабочих проголосовали за приобретение завода и одобрили план комиссии.

Немаловажная деталь для русских читателей. На заводе работают люди приблизительно 40 национальностей, в том числе и русские. В городе есть даже православная церковь. Но эта многонациональность, не уменьшает сплоченности коллектива.

А теперь самое интересное. Каким образом, за счет чего завод, нерентабельный в частных руках, по плану комиссии мог стать рентабельным в руках коллективных? При этом коллективу надо было не только рентабельности добиться, но и выплатить долги за покупку завода — 370 миллионов долларов.

Главные пункты плана были таковы:

— Рабочие должны согласиться (и они согласились) на снижение зарплаты на 32 процента, на треть!

— Пожилым рабочим было предложено по плану (и они согласились) подождать около трех лет с выходом на пенсию. Это освобождало завод от выплаты солидных сумм выходных пособий.

Сэкономленные по этим двум пунктам деньги должны были идти на выплату кредитов для покупки завода.

— По принятому штатом специально по этому случаю закону, предложенному губернатором штата Джем Рокфеллером, завод получал существенные налоговые льготы.

— Комиссия в своем плане делала ставку — внимание! — на повышение производительности и качества труда, исходя из опыта других самоуправляющихся, коллективных предприятий. И комиссия, как догадывается читатель, не состояла при этом из социалистов или идейных сторонников самоуправления.

Но почему же рабочие и служащие согласились на резкое уменьшение зарплаты, отказ от выхода на пенсию и не испугались, что им придется интенсивнее трудиться? Да потому, что взамен они получали права хозяев, в том числе и на прибыли.

Уже через год работы по-новому завод дал 81 миллионов долларов прибыли, около половины которой было разделено между работниками завода. По данным на 1989 год завод добился самого большого дохода в металлургической промышленности США. За 3 квартала 1988 года работники получили более 40 миллионов долларов из прибыли помимо зарплаты, 4 тысячи в среднем на человека. С учетом прибыли они имеют теперь самый высокий заработок в сталелитейной промышленности США. Почти все металлургические заводы сокращают производство. Вейртон — расширяет: создано 300 новых рабочих мест.

При этом очень важно отметить, что той части прибылей, которая не будет делиться между работниками, хватит, опять же согласно выкладкам комиссии, не только на выплату долгов за покупку завода, но и на финансирование реконструкции завода, которая займет около 10 лет и обойдется приблизительно в 1 миллиард долларов.

Так что будущее завода поставлено на прочную основу.

Заводом руководит совет директоров из 12 человек. Трое директоров, согласно плану, выдвинуты профсоюзом, а остальные назначены теми финансовыми организациями, которые предоставили коллективу кредиты для покупки завода. Но после того, как основные займы будут выплачены, все 12 директоров будут назначаться Рабочим советом завода. Все вполне логично.

Губернатор штата Джей Рокфеллер, поздравляя рабочих Вейртоновского металлургического завода в связи с их решением купить завод, назвал переход его в собственность рабочих "самым замечательным событием в американской промышленности за последние 100 лет".

Директор исследовательского центра по изучению предприятий, перешедших во владение рабочих коллективов — есть уже и такое в динамичной Америке! — Кари Розан заявил в интервью "Нью-Йорк Таймс", что, по его мнению, "число коллективных предприятий будет расти. Во многих демократических странах существует подобная форма собственности, — отметил Розан. — В некоторых, в частности, в Израиле и странах Латинской Америки, они создаются в форме рабочих кооперативов. Однако в Соединенных Штатах, — пояснил Розан, — перешедшие в собственность рабочих предприятия — не кооперативы, а совершенно новая форма рабочей собственности на средства производства" (мы назвали ее групповой трудовой собственностью!).

Собственники-работники объединены в национальную ассоциацию, которая проводит свои ежегодные конгрессы. Расширяется в стране и сеть кооперативных банков, которые обслуживают не только кооперативные, но и групповые фирмы. Создано несколько специальных фирм, содействующих переходу отдельных компаний в коллективное владение. Самая значительная среди них — "Келсо и К". Примечательные слова сказал один из руководителей "Келсо и К" Дж. Гейтс, выступая в марте 1989 года на международном совещании

по проблемам групповой трудовой собственности в Оксфорде, Англия. "Ретроспектива исторического развития, — сказал Дж. Гейтс, — такова: раб-крепостной-наемный работник-собственник своего предприятия".

Большинство из 2 тысяч американских коллективных предприятий, которые уже десятилетия успешно работают (производят товары, а не безработных), оставаясь в руках капиталистических корпораций, были бы обречены на ликвидацию или значительное свертывание производства.

В последние 2 десятилетия в США в собственности трудовых коллективов стали переходить и различные торговые заведения, главным образом, продуктовые магазины — супермаркеты, на которых работает всего лишь по несколько десятков человек.

Согласно статистическим данным федерального ведомства по делам мелких частных предприятий в Соединенных Штатах в настоящий момент насчитывается уже несколько сот самоуправляющихся магазинов. Это еще немного. Однако их коммерческие успехи и моральный подъем их владельцев — рабочих и служащих — обратили на себя внимание американских деловых и общественных кругов. Пресса констатирует, что уровень обслуживания в таких магазинах заметно выше, чем в частных, которые к тому же в США очень монополизированы. (Результат агрессивной конкуренции.) В стране существует ряд компаний-гигантов, каждой из которых принадлежат сотни супермаркетов в различных местах страны. Это, естественно, глушит конкуренцию, уменьшает ответственность работников и ухудшает обслуживание.

В Советском Союзе сейчас распространено мнение о несправедливости выкупа или передачи предприятий в собственность трудовым коллективам, так как одним, мол, достанутся капиталоемкие предприятия, дорогие, а другим — дешевые, и они будут покидать работу с тощими капиталами. Хорошей иллюстрацией несостоятельности этого аргумента представляется имеющийся в моем распоряжении пример маленькой фирмы "Бофорс" из Сан-Франциско. В ней работают всего 63 человека, она производит полиграфическую продукцию и не имеет дорогого капиталоемкого оборудования. Но благодаря системе накопления прибыли, которую здесь не надо тратить в больших количествах на поддержание и модернизацию дорогого оборудования, работники, уходящие из фирмы, получают внушительные суммы: от 100 до 500 тысяч долларов, в зависимости от трудового стажа и уровня зарплаты. При том, что и средний заработок в фирме в 1,5 раза выше, чем в целом по американской полиграфической промышленности. Фирма была выкуплена в середине 70-х годов.

Я догадываюсь, что у многих читателей давно уже назрел вопрос, неужели все это так бесконфликтно входит в жизнь такого сугубо капиталистического государства, как США?

Конфликтов с властями или компаниями, разумеется, нет никаких, насколько мне это известно (США — правовое государство!), а вот мнения уже высказываются разные.

Писатель Джон Эггертон в "Нью-Йорк Таймс" писал: "Некоторые противники этого явления из правых кругов мрачно предостерегают, что предприятия и магазины во владении служащих ведут к коммунизму. Левые же круги, рассматривая это явление, концентрируют свое внимание на его демократических и социалистических аспектах. А сенатор Рассел Лонг от штата Луизиана, демократ консервативного уклона, выступая за государственную политику поддержки коллективного владения предприятиями, считает это владение путем к распространению капитализма и свободного предпринимательства."

Множится число самоуправляющихся групповых предприятий и учреждений и в других развитых капиталистических странах, хотя и более медленно, чем в США.

В Англии правительство Маргарет Тэтчер приняло законодательство, подобное американскому, обеспечивающее некоторые финансовые льготы коллективам, выкупающим предприятия. Важно, что в Англии имел место выкуп государственных предприятий. Например, автобусных компаний на юге Англии ("Провинциальные народные автобусы", "Автобусная компания Честерфильд", "Национальный консорциум по перевозкам").

Выкупаются в Великобритании и капиталистические фирмы. Одна из самых крупных и известных среди них "Партнерская группа "Джон Льюис", в которой занято 38 тысяч человек, из них 32 тысячи являются совладельцами фирмы. "Джон Льюис" — одно из самых крупных в Великобритании торговых предприятий, имеющее 22 супермаркета и 84 продуктовых магазина. Фирма

производит также швейные изделия и мебель. Интересно, что в групповую собственность фирму бесплатно передал ее бывший владелец Джон Льюис, но он при этом распорядился и увековечил такой порядок, что капитал фирмы принадлежит фирме, как юридическому лицу целиком. Это случай централизованной коллективной формы собственности. Работники-совладельцы участвуют в управлении и прибылях фирмы — в течение последних 10 лет каждый работник получал двадцатипроцентную надбавку к зарплате из прибыли фирмы, — но при уходе работники не получают свою долю капитала фирмы и соответственно не вносят ее при поступлении. Зато они имеют право на льготную пенсию от фирмы. Подобные пенсии, к слову, платят и многие крупные капиталистические фирмы, но в меньшем объеме.

Во Франции в собственности творческого коллектива находится газета "Ле Монд". В Германии, Голландии, Швейцарии имеется большая сеть школ, интернатов и детских садов, а также и больниц в групповой собственности. Как правило, они имеют очень высокую репутацию.

В групповом владении на Западе находятся также страховые компании, прикладные научные учреждения, консультационные и ремонтные фирмы. Всего не перечислить.

Может возникнуть вопрос, почему я ничего не говорю о израильских кибуцах и югославском самоуправлении. Очень просто: кибуцы — это уже коммунистическая форма собственности: трудятся там по способностям, потребляют по потребностям, денег внутри нет, квартиры, еда, одежда, уход за детьми и стариками — все бесплатно. Но и работают кибуцники на разных работах, чистых и грязных, в порядке очередности. Эта форма в Израиле сложилась в особо тяжелых условиях первых поселений (когда надо было пустыню возделывать) и тенденции к распространению не проявляет.

С Югославией еще проще: самоуправление там фиктивное, так как трудовые коллективы не являются собственниками средств производства. До недавнего времени они принадлежали государству, "обществу". Только сейчас там строятся планы передачи их в групповую собственность. Не было там и настоящей рыночной системы и настоящей многопартийной демократии. Трех условий, необходимых для эффективного и реального самоуправления.

Годится ли для России?

Думая о судьбе России, надо, кроме всего прочего, иметь в виду необходимость крутого подъема трудовой морали, добросовестности людей, без чего Россию в любом случае ждет судьба стран "третьего мира". Предприимчивых людей хватает во всех капиталистических странах, но высокое качество жизни существует только в немногих из них, а именно там, где у большей части работников утвердилась высокая трудовая мораль. Но в России воспитание добросовестного отношения к труду возможно теперь только в условиях самоуправления, артельно-кооперативного труда, в условиях внутренней демократии и работы на себя. На любой авторитарный порядок у россиянина уже выработан прочный рефлекс: обманывать начальство, обходить его приказы и инструкции, гнать туфту и показуху. И у самого начальства укоренен тот же рефлекс по отношению к вышестоящему начальству. И от того, что начальники станут называться менеджерами или как-либо иначе, этот рефлекс не исчезнет. В России он начал складываться задолго до революции! На любого "дядю" российские люди добросовестно работать не будут, в этом можно не сомневаться.

Вернусь к общечеловеческому масштабу.

Раньше я думал и писал, что только советский режим госсocialизма апокалиптичен, так как политически и экономически заинтересован в экспансии и способен спровоцировать атомный пожар или ускорить гонкой вооружений экологическую катастрофу. Теперь же я начинаю думать, что и капиталистический строй развитых стран тоже может оказаться апокалиптическим. Он усыпляет критическое мышление и гражданскую активность людей относительно благополучия, достигаемым, главным образом, за счет эксплуатации природы и "третьего мира", и затягивает большую часть населения в суету накопления и потребления, в борьбу за лучший кусок пирога. Люди тратят свою жизнь на эту суету, не замечая или не желая замечать надвигающиеся на их комфортабельные страны гигантские волны экологического и демографического

кризисов. А если и замечают, то не предпринимают радикальных мер, не думают о создании нового строя, способного эти кризисы преодолеть.

Пассивность западных людей усиливается из-за позорного краха лагеря госсocialизма и призывов оттуда: "Да здравствует "нормальная рыночная экономика!" "Вперед — назад к капитализму!" и т.п. Таким образом, в индустриальной части мира, которая должна противостоять надвигающимся на мир угрозам, образовались две апокалиптические системы, негативно влияющие друг на друга. На Западе слабеет воля к поискам нового пути из-за попятного движения на Востоке, а на Востоке — из-за бездеятельности Запада.

Это положение может измениться, если в России победит движение за утверждение строя самоуправляющихся коллективов. Однако времени для этого остается немного. И если работники предприятий и учреждений позволят государственным организациям или кому-либо еще со стороны завладеть их собственностью, если они позволят себя вновь взнуздать и оседлать, то потом уже сбросить ездовых со спины будет очень трудно. Многие начнут думать, что вообще так и надо, чтобы кто-то сидел сверху!

Движение за самоуправление не может, не должно проиграть! Это должны бы понять и рабочие, и интеллигенция. Это должны понять и непреклонные сторонники капитализма. Только поддерживая борьбу за самоуправление, могут они помешать воцарению чудовища монополично-государственного капитализма и обеспечить условия для соревнования частно-капиталистического сектора с групповым и кооперативным. Вырвать у государства средства производства и создать настоящий рынок можно только с помощью трудовых коллективов.

В самую глухую пору застоя, в 1969 году, в Самиздате появилась брошюра: "Время не ждет", подписанная, вероятно, псевдонимами С.Зорин и Н.Алексеев. Авторы брошюры писали: "Есть только один способ экспроприировать правящую элиту — резко сократить монополичный государственный сектор, передав большинство средств производства, заводы, институты и т.д. в собственность трудовых коллективов. Администрация подобных предприятий должна быть выборной, собственность — полной."

22 года назад два безвестных диссидента видели и понимали то, что не понимают до сих пор или не хотят понять многие теоретики демократических сил. И если еще 22 года назад "время не ждало", то теперь нам остается уповать на то, что оно еще не ушло, что еще не слишком поздно, чтобы начинать борьбу с нависающим над нами монстром. Партийно-государственные чиновники оказались смышленнее интеллигенции и поняли, что им нужно делать, чтобы спасти себя и свою власть и ухватились за акционирование.

Я понимаю, как трудно, почти невозможно поднять сегодня большие массы рабочих, сбитых с толку спорами интеллигенции, никому уже не верящих, на борьбу за самоуправление. Успех тут представляется почти чудом. Но активисты движения за самоуправление должны попытаться сотворить это чудо.

Некто Розинер

Нечто об инакомыслящих

"Конечно, в моем романе верхний слой, если так можно выразиться,— это советская действительность. И если видеть только этот слой, то, пожалуй, мы и получим лишь еще один обвинительный акт известному нам режиму."

(Феликс Розинер о своем романе)

Слой, с которого я начну, еще более "верхний".

Герой по имени Аарон-Хайм Финкельмайер, сказать правду, не вполне привычен в нашей литературе. Как и автор его, Феликс Розинер. Не подумайте, что я имею в виду нестандартность фамилий. Хотя и это тоже. Но это-то и впрямь дело привычки. Кто-то из западных издателей сказал Феликсу с чувством облегчения: "наконец-то появился из России писатель с нормальной фамилией: "Розинер", а то мы устали выговаривать все эти "Солд-жен-нит-сын..."

Мы "Розинера" выговаривать еще не устали, потому что работ его, по сути, еще не прочли и не обсудили, по причине того, что издается он далеко от наших границ, а может быть, и по причине нашей патентованной лени-нелюбопытности. Так, правду сказать, и дело-то это в высшей степени странное: роман Розинера. Среди бегущих споров, яростных политических исповедей, архивных сенсаций, кладбищенских раскопок и публицистических схваток, где все спешат, хватают на лету и прожевывают на бегу, посреди нашей лихорадочной гласности — роман. Классический. Старинный. Отменно длинный — длинный — длинный. В шестьсот страниц. И ладно бы, гуляла книжка среди любителей неспешного чтения,— так ведь РУКОПИСЬ гуляла, в САМИЗДАТЕ, в СПИСКАХ! В 70-е годы ходила по рукам в "андерграунде", а ведь там конкуренция текстов будь здоров: и там было не до "художеств", и там читали лихорадочно, или не читали вовсе. "Финкельмайера" — читали. "Пыль на ветру" — так эта вещь называлась в "самиздате". Потом переименовалась, и к лучшему. И издалась, наконец, в Лондоне, в 1981 году. А за год до того — увенчала роман Премией имени Даля "парижская общественность". За премией автор приехал в Париж, надо думать, уже из Израиля, гражданином которого обретался к тому времени уже года два.

Все это особенно интересно по той причине, что Феликс Розинер относится к числу русских литераторов, душа которых, похоже, остается в России безвыездно, когда тело эмигрирует. И книги его адресованы нам. Нам — а не англичанам, французам, израильтянам или американцам (среди которых Розинер проживает последние годы).

Странно, наша критика на роман не реагирует. Вообще все странно. Странно, что написано. Странно, что читается. И не то, чтобы вздох (ах, что там дальше будет?), но с какою-то ползу забытой завроженностью, когда жизнь просто интересна: интересны характеры, подробности, разговоры, мнения, судьбы. Совершенно отвычный тип чтения. Что за загадка!

Вот это и попробуем выяснить, погружаясь как в "верхние слои", так и в "нижние", "бездвижные" глубины романического действия. Поверху-то волна идет лихая, с барашками — интерес читателя Розинер отрабатывает со всей злободневной (для 70-х годов) страстью.

Увозят, прячут, выхватывают "из-под носа" КГБ полотна "абстракционистов". Детектив! Судят поэта-тунейдца — при всех процессуальных подробностях. И еще вот что: Аарон-Хайм Менделевич Финкельмайер, откуда ни подойди,— еврей.

Еврей из Черкизова — это сюжет. Особенно когда в десятом классе мальчик идет на медаль. Тогда вызывают директора и говорят: "Что же это, Сидор Николаевич? Золотая медаль только у Громова, Безуглов еле-еле на

серебряную тянет, а еще три золотых у Штерна, Певзнера и этого... как там?... Финкельмайера?.. Мы столько пропустить не сможем, одного снимаем. Предлагайте кого..." Стиль вполне демократичный. Процесс над поэтом-тунеядцем — тоже сплошная демократия: свидетели, вопросы, ответы, составление сторон... Впрочем, это разные стадии демократизации: читатель понимает, что поэта судят (и картины перепрятывают) на последнем издыхании эпохи Оттепели, а медалистов просеивают — на последнем издыхании эпохи Культа.

Так я хочу понять, что же все-таки держало читателя в БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОМ тексте, когда роман ходил в списках, а параллельно ходила в Самиздате запись процесса над Бродским, и "Хроника текущих событий" имела со всеми "кагэбэшными" сюжетами, и Хроника еврейская, где несправедливости со Штерном и Певзнером рассматривались куда острее и откровеннее, чем в диалоге педагогического начальства с Сидором Николаевичем. Что ДОБАВИЛ Феликс Розинер своим романом к тогдашним злободневностям? Что добавляет он к нашему знанию о самих себе теперь, когда процесс над Бродским издан-переиздан либеральными органами печати, а на картинах перепрятанных "абстракционистов" те же органы печати, можно сказать, делают себе рекламу, а "еврейские обиды" не только приглашены массовым отъездом евреев в Израиль и прочие Палестины, но и в русской литературе отработаны с невиданным блеском — хотя бы у Юрия Карабчиевского.

Есть, впрочем, в романе о Финкельмайере одна зацепочка, не повторяющая прочих патентованных тем диссидентской литературы. Ибо вышепоименованный Аарон-Хайм Финкельмайер — не только еврей, дерзнувший быть русским поэтом и осужденный за тунеядство к ссылке в "специально отведенную местность сроком на четыре года с обязательным привлечением к труду по месту поселения". Аарон-Хайм еще и переводчик с... тонгорского.

С какого?!

С "тонгорского". Тонгоры — это что-то вроде липкинских гушанов: тактичное обозначение "малого народа", втянутого в орбиту нашего культурного взаимосближения, взаимообогащения и взаимодействия (формулы известны). У Липкина в "Декаде" имелись ввиду горские народы, вроде чеченов и ингушей, у Розинера — народы северные, вроде "якутов и чукчей". Так что перед нами еще одна, как теперь говорят, "химера" Советской власти: симбиоз "тонгора" Манакина и еврея Финкельмайера на почве "художественного перевода". Творческое донорство, подлог, раздувание мнимости, дележка гонораров и все прочие пакости, хитрости и плутни "многонациональной советской литературы", странно еще, что не ставшие объектом массовых диссидентских разоблачений, подобно хрущевским вояжам в Манеж и анти-семитским квотам в вузы.

Впрочем, как же "не ставшие"? Вот оно и настает, разоблачение: в романе "Некто Финкельмайер".

Некто Финкельмайер самозванным образом втирается в русскую поэзию, а для прикрытия имеет наготове Данилу Манакина, тонгора, охотника, труженика — ПИШЕТ ЗА НЕГО, на чем и деньги имеет, и отмазку: какой же я тунеядец, я пе-ре-вод-чик!

Хорошо. Зайдем с этого края. Тем более, что с этого края Розинер и роман свой начинает — тут для него и зачин, и завязка, и повешенное в первом акте ружье. В начальном уже абзаце, когда сидят в самолете рядом два незнакомых авиапассажира, и от скуки один к другому заглядывает через плечо: что ж такое тот читает? — а читает тот стихи: "НЕ СПОТЫКАЙСЯ, ЗАГНАННЫЙ ОЛЕНЬ..."

Этот интересуются: что за автор? Странное имя: Айон Неприген. Псевдоним! Смотри: что за журнал? Странный журнал, называется: "Дружба". "Как можно было понять уже по списку авторов, помещенных на титуле, публиковались в журнале переводы из национальных литератур", — уточняет автор "глазами" своего героя, инженера Никольского, никогда, стало быть, раньше такого журнала в руках не державшего.

Никольский, технар, бонвиван, спортсмен, бабник, выпивоха, может быть, и впрямь видит подобный журнал впервые. Но мы-то с тобой, читатель, знаем, что тут зашифрован журнал "Дружба народов". И раз уж ты держишь в руках наш журнал, — давай именно с этого бока пирог и разрежем. А именно, с того бока, что "творческое содружество" национального поэта Даниила Манакина и "русского переводчика" Арона Финкельмайера есть подлог и обман. Свеженький аспект приговора "известному нам режиму". Наше дело! Нам и разбираться.

Итак, вот внешний абрис ситуации. От неких живущих в глубинке авторов приходят тексты. "Обычно это бывали кавказские или среднеазиатские стихи с уже готовым подстрочным текстом. Я легко сводил эти строчки в размер, легко готовил их рифмами... Авторы потом звонили... и даже, рассуждая в печати о проблемах перевода, с наивным восторгом признавались, что русский вариант стихов даже лучше, чем оригинал, что теперь стихи получили новую жизнь и обрели высокую честь влиться скромным горным ручейком в необъятный океан русской поэзии".

Знакомые мелодии?

Самый хитрый пункт здесь — словечко "лучше". Что значит (в данном случае): "СТИХИ СТАЛИ ЛУЧШЕ"? Не торопитесь с ответом — вопрос очень коварный. Все остальное просто. В формулировках застойной ортодоксии это — "многонациональная советская литература", "многоветвистое древо" и навязшее всем в зубах "взаимообогащение". В формулировках диссидентской вольной мысли: туфта, обман, подлог, блеф, донорство и профанация.

"Верхний слой" в романе Феликса Розинера расписан с блеском: идиотский симбиоз неприкаянного, непечатающегося, томимого подступающими строчками Арона Финкельмайера — и крепенького "тонгора" Даниила Манакина. Загадочный плод этой связи: "тонгорский поэт" Айон Неприген. Загадочность в том, что такого поэта нет. Поэта нет, а стихи есть. Отсюда — все дикие кассовые параметры выдуманной, и однако реальной жизни: тайная дележка гонораров, карьерный взлет безвестного пушного добытчика из артели в райком партии, а там и в Союз писателей. И на другом конце — вязкий бронешит "переводчика" на хлипкой груди Финкельмайера, прикрытые литературного гешефта, легкий и выгодный кусок хлеба, хитрый способ выживания, при котором "некто Финкельмайер" (как напишут в соответствующем черносотенном фельетоне) проникает в "необъятную русскую поэзию". На чьей стороне автор фельетона — понятно. На чьей стороне автор романа — тоже понятно. "Верхний слой" — разоблачение подлога. Технически — разоблачение разоблачения: опровержение процесса, на котором бойкие ортодоксы "разоблачили" и уpekли "тунеядца".

Чем хорош роман Розинера — к этому венцу он выходит из глубины материала. Он берет драму от первоисточков, прослеживает ее не только на уровне литературных "подмостков", где Арон говорит: стихи МОИ, а имя под ними стоит не мое, но и на уровне "зарождения". То есть: у дверей лавки Сибхоткоопторга.

На дверях лавки висит замок, а на крыльце стоит неопохмелившийся человек и, бясь спиной о перила, заунывно что-то поет.

"Местный Гомер", — на миг повернувшись к нам, сообщает Финкельмайер. Затем поворачивается к Гомеру и начинает беседу.

Вчитаемся.

"— О чем ты пел?..

— Как можно такое сказать? — искренне удивился он моему вопросу.— Когда не стал петь, стал говорить. Нельзя сказать, что пел.

Это были прекрасные слова (вновь оборачивается к нам Финкельмайер), и я умилился. В сущности, он прочитал мне одну из лучших лекций о поэзии, какую я когда-либо слышал. Я понял, что передо мной настоящий поэт".

Арон Менделевич, подождите. Позвольте поймать вас на слове. Значит, перед вами ПОЭТ?

В таком случае, ЧЬИ стихи вы переводите из небытия в бытие? Его? Или свои под его именем? И когда рождается поэзия? Когда вы "легко сводите эти строки в размер", "обставляете рифмами"? Или ДО ВАШЕЙ ОБРАБОТКИ УЖЕ ЧТО-ТО ЕСТЬ, и вы именно ЭТО только что нечаянно назвали поэзией? Вот это, еще не обставленное вашими рифмами: "...Набегают ночь, темнеют облака, по тусклой тундре летит олень, и тьма настывает его, он сбивается с ровного шага..." это УЖЕ поэзия или ЕЩЕ нет? А "ощущение первозданности, совершенства мира?.." А "перламутровый стблеск Севера", а "неоцутимая тоска" — это кто? Финкельмайер? Или Манакин?

Ах, да, это Никольский, читающий Айона Непригена. Прошу прощения. Никольский, который впервые видит журнал "Дружба" и сразу же верит, что это Ароша печатает СВОИ стихи, прикрываясь чужим именем. Но я-то, в отличие от Никольского, журнал этот вижу не впервые. И я хочу понять, когда и как и от кого все-таки зарождаются эти стихи.

"Мех прячется, потом летит от стороны захода солнца к стороне восхода, а маленький свинец летит туда, где ночью яркая зимняя звезда, а когда мех и свинец встречаются и перестают лететь — хорошо!.."

Это уже поэзия или еще нет? Это надо "обставлять рифмами" или необязательно? А если "это" существует и до рифм, то чего стоят рифмы без "этого"? Они без "этого" что-нибудь значат или нет?

Иначе говоря, я понимаю, что такое Манакин без Финкельмайера: он — поющий охотник. Я хочу понять, что такое Финкельмайер без Манакина.

Это верно, что охотник, поющий на языке, не имеющем письменных традиций, не может записать свои песни. Но то, что он песни не записывает, — это что, ущерб, личная бездарность Данилы Манакина, который "не дотянул" до Арона Финкельмайера? Или это закон другой культуры, язык, предложенный певцу историей, черта ситуации, вне которой и песня такая не родится?

А вот и другой конец нашего скользкого уравнения. Да, Финкельмайер эту песню ЗАПИСЫВАЕТ, он в смысле формы дьявольски одарен: но я спрашиваю: а способен ли он сам уловить эту музыку в реальности — без Манакина? О, да, разумеется, однажды уловив, он способен дальше имитировать эту стилистику, этот (как выучил потом Данила Федотович) "пань-теизм", этот (как тонко определил Никольский) "перламутровый отблеск Севера", — но мы же говорим не об имитации, а о праве, мы говорим о такой склочной категории, как АВТОР?

Так где он, автор, в какой степени автор, до какой степени автор шедевра? Кто автор "Калевалы"? Лёнрот? Или те, от кого он записывал? А они — авторы? Кто автор былины: тот, кто поет, или тот, кто записывает поющего? А может, тот, от кого поющий научился? А тот в свою очередь — от кого? Мы втягиваемся в воронку... Но раз так, умеете удержаться на краю, имейте такт и совесть, не надуйте важностью при слове "автор", не приставайте к охотнику на крыльце Охоткоопторга. Вспомните евангелистов, не считавших себя авторами евангелий, но лишь орудиями боговдохновенной записи. И скажите заодно, кто автор Декалога: Моисей или Бог?.. Впрочем, не надо. Финкельмайер и так думает, что я над ним подтруниваю, а я только хочу понять его драму. Понять, что он такое без Манакина. Тем более, что АВТОРОМ Финкельмайера является Розинер, а он, кроме "верхнего слоя" и обвинений "известному режиму", заложил в свой роман и еще кое-что. Дойдем и до этого, а пока — еще один вопрос из "верхнего слоя".

Вопрос вполне конкретный: кто АВТОР стихов "Полковое знамя"?

Чтоб тот читатель, что не знаком с романом Розинера, понял, о чем речь, — в двух словах объясню ситуацию.

Значит, когда "еврей из Черкизова" не получил честно заработанной медали, а затем на вступительном экзамене в Бауманский был подло срезан экзаменаторами, он угодил в армию, где потешал однополчан своей нелепой фигурой. В строю он думал не о командах, а о рифмах, и потому рано или поздно должен был с неизбежностью пасть жертвой командирского гнева, и, слава богу, гнев начальства он вызвал в присутствии еще более высокого начальства, и когда первое начальство издевательски спросило: "Вы что, стихи в строю сочиняете?", а он сдуру ляпнул: "Так точно!" — второе начальство насмешливо подсказало: "А пусть прочтет", и Финкельмайер, набрав воздуха, выпалил то, что сразу пришло в голову: "Наше знамя полковое!!" — панически, но успешно подыскивая дальнейшее, придерживаясь притом уже взятого ритма и скоренько "обставляя рифмами".

Разумеется, это типичное для евангелистов "записывание" боговдохновенного текста, с тою только разницей, что не вполне понятно, кто нашептывает Финкельмайеру стихи: бог или бес. Все остальное логично и складно:

Наше знамя полковое,
Строевое, боевое,
Ты под мирным ветерком
Гордо реешь над полком...

Неплохо, черт бы меня побрал! И полковник того же мнения.

Так вот, я спрашиваю: кто АВТОР этих стихов? Никакого Данилы Манакина тут и близко нет, а есть Финкельмайер.

Он автор?

Я подозреваю, что ответить кратко и ясно: "нет" он все-таки постесняется. Да и в строчках, как ни вертись, "что-то" чувствуется. Ну, не налет

перламутра, конечно, однако какая-то отчаянная игра, вызов, бравада, лихость, небрежно отыгранная — вроде бы не всерьез, но не настолько, чтобы оторваться от спасительного древка...

Нет, все-таки АВТОР тут чувствуется, и не "Ефимов", коим как псевдонимом на сей раз опять-таки прикрывается Финкельмайер, а именно сам Финкельмайер, поэт, человек и личность. Ибо изящество дерзости тут такое, что никакой Пребылов не достигнет, пусть оный Пребылов трижды обовьется вокруг древка, так ведь Пребылов, дурень толстоносый, и не сможет, он не "обовьется" — он "прирастет", он "поверит", он это "знамя" еще и слезой подмочит, а тут — сухая лихость, четкая дерзость, шаг с припуском... одним словом, веселый полковой поэт "А.Ефимов"! Плутство Воениздата, издавшего том стихов этого самого "А.Ефимова", меня в данном случае мало волнует, равно как и хитроумие рядового Финкельмайера, сумевшего по древку "Знамени полкового" выкарабкаться сначала из общего строя — в многотиражку, а затем и вовсе из армии — на "творческую работу".

Меня волнует другое: ПОЭТ Финкельмайер. Степень (пусть не всегда осознанная) его действительного участия в этих маскарадах. Его действительное "я". Его мир, как если бы не было никаких маскарадов и маскировок.

Тут — какая-то тайна, вокруг которой Розинер ходит зачарованными кругами. Его герой одержим жадой Смысла, но не знает утешения и не находит того, что ищет. Его тянет прислониться, если не к древку, то к магазинной двери, войти в унисон если не с поющим полком, то с поющим охотником. Как опять-таки правильно уловил в Финкельмайере тот же Никольский, — перед нами лиана, которой надо что-то обвивать. Стоит потерять опору, и возникает ощущение гибельной, смертельной пустоты. "Рифмы" есть, "ритм" есть, "слов" полно — но нет того, что сведет все это воедино и наполнит смыслом: нет "содержания" для этой "формы", нет почвы, нет ствола, нет дела, нет судьбы, нет дома.

Проклятье диаспоры?! Да что ж обвинять его, скажете вы, — разве ж он все это выдумал, все эти "квоты", антисемитские циркуляры, невидимую "черту оседлости"? Как можно делать его ответственным за порядок, складывавшийся веками, за ужас беспочвенности, доставшийся ему с генами?

Нельзя, соглашусь я. Нельзя винить еврея в том клейме, которое он носит, даже тогда, когда это клеймо ставят на нем не условия жизни — извне, а сам он, изнутри, в упреждающем страхе души. Это — судьба еврейства, это Завет ему: печать Агасфера. Это его путь, и надо это понимать.

Хорошо. Но тогда как вы смеете сталкивать в небытие Данилу Манакина, который не умеет "записать" живущую в нем песню? Он ведь тоже получил ситуацию вместе с генами, и ему тоже совсем немногого не хватает: алфавита, готовых слов, поэтических штампов, чтобы, отступая от них, — "записать". То есть, полнота Личности, осуществляемой "перед Богом", здесь абсолютно та же, и только от "исторической ситуации", от дьявольского фатума истории — нехватка "малости"... одному — слов, чтоб записать естество жизни, другому — естества жизни, чтобы наполнить слова.

Из-под "диссидентского сюжета" встает в романе Феликса Розинера интуитивное понимание этой двойной трагедии. Внешний сюжет укладывается в анекдот под кухонное ржание: "Я, говорит, сам еврей, стихи сочиняю по-таймьски, записываю по-русски," — все это в свой час сыграло роль: читалось в Самиздате, венчалось в Тамиздате, тиражировалось в Лондоне. Теперь протиражировано в Москве. Встречено молчанием.

Может, оно сродни молчанию в финале "Гамлета"?

В таком случае, я хотел бы очертить, понять смысл этой невыразимости. Начиная с эпиграфов, подобранных Розинером к каждой из трех частей романа. Все из одного источника: из "Египетских ночей" Пушкина. Источник коварный — по той же причине: искусство импровизации требует себе "темы", оно готово поглотить и переварить все, что ему ни предложат со стороны.

Так вчитаемся в три этих пушкинских фрагмента.

— Что это за человек?

— О, это большой талант: он делает из своего голоса все, что он хочет.

— Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны".

Штаны — это издания. Это книга А.Ефимова "Знамя полковое". Это переход бригадира Д.Манакина в инструкторы райкома. Это попытка поэта Пребылова перехватить "переводческий хлеб". Это протест Феликса Розинера против обезьяньего процесса над поэтом-тунеядцем... Это все — штаны, борьба за штаны, попытка сделать себе из стихов штаны.

Следующий эпиграф:

"Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеен и которое никогда от него не отпадет".

Клеймо — это опять-таки след соприкосновения с внешней средой, с миром. Это звание, прозвище, кличка. Пока клеймо не отпадет,— против него борешься. Вопрос в следующем: а когда отпадет?

Третий пушкинский эпиграф отвечает на этот вопрос:

"Жизнь его могла быть очень приятна: но он имел несчастье писать и печатать стихи..."

ОЧЕНЬ ПРИЯТНА... Так именно этого ты хотел, это спасал, на это рассчитывал? На "очень приятно"?

Смею надеяться, что нет. Что сверхзадача романа не в том, чтобы оградить человека, пишущего стихи, от дурь и произвола "известного нам режима". Роман Феликса Розинера **ПОРОЖДЕН** как роман "об инакомыслящих" вряд ли, однако, этот роман стоил бы особого разговора, если бы разоблачал систему и только; он глубже; он касается глубин общечеловеческой трагедии, и Розинер выходит на этот уровень не "вопреки" своему диссидентству и инакомыслию, но додумывая до конца ту драму, что ведет к инакомыслию, но не исчерпывается им.

Интересно, что посыл к инакомыслию в романе связан не с идеями, которые должны столкнуться с другими идеями, а с жизненастроенностью, при которой невозможно вписаться в господствующий образ жизни. Никольский, нормальный инженер, попадает в "диссиденты" просто потому, что его бесят дурь и лень, разлитые вокруг. Финкельмайер вовсе не ставит себе задачей "стать поэтом", "занять положение" и т.д.,— он просто "живет стихом", наталкиваясь в своем бреде на углы реальности: то на издевку экзаменатора, ставящего неуд за блестящее сочинение, то на ярость старшины, выведенного из себя бездарным новобранцем, то на зависть какого-нибудь Пребылова, "почвенного" поэта, желающего перехватить кусок в виде переводов из тонгорского поэта Айона Непригена.

Беллетристическое напряжение в романе строится на том, что вы все время ожидаете худшего, а между тем все каждый раз неожиданно "устраивается". То несчастного Финкельмайера выдергивают из строя в редакцию армейской газеты, то устраивают "экономистом" в какую-то "рыбную" контору, чтоб оклад был, а то с ним начинаются форменные чудеса, вроде любовной связи с "соломенной вдовой" отехавшего за границу дипломата, так что несчастный почтальон (Арон, провалившийся в институт, подрабатывает, разносит телеграммы) прямо из-под уличного ливня попадает в душещипце объятия одинокой обитательницы роскошного жилья, явно ждущей, в кого бы влюбиться.

Все каждый раз "устраивается", и даже в ссылке Арон быстро занимает сносное положение, потому что пишет для блатных песни (не будем повторять экспертизу и проверять, является ли он их **АВТОРОМ**,— является!).

Все "устраивается" по мелочам, а в финале-то — полный крах и катастрофа. Не только с Финкельмайером. Вообще ощущение грандиозного самообмана, великой беспочвенности, "мифа" на месте жизни: мифа поэзии, мифа одаренности, мифа духа, мифа силы.

Интересно, что крепкий Никольский сламывается точно так же, как хрупкий Финкельмайер. На эти две "половинки" Феликс Розинер разделил — себя, раздал двоим свое ощущение идеального бытия: одному — чудо очарованности, другому — трезвость, здравомыслие, мужество бойца, магию успеха. Эта пара "сделана" по контрасту: если Финкельмайер долговязый нескладаха, то Никольский — красавец, победитель, спортсмен, самец, концентрация воли. Благородство — и там, и тут: Никольский из русской семьи, в которой спасали еврейских детей во время погромов.

Еврейское дитя — Финкельмайер — гибнет, и это, в конце концов, понятно. Но страшен конец Никольского. Очередь за водкой — вот его конец. Словно выдернули смысл из воли. Спившийся, махнувший на себя рукой человек... "обыкновенный работяга, каких в Москве в каждой вонючей конторе как блох не давленных". Это о себе сказано — в сердцах — Манакину, который после исчезновения "переводчика" потерял все свои партийные посты в Тонгории и приехал к Никольскому в Москву искать защиты — он-то был уверен, что товарищ Никольский — большой начальник.

А "большой начальник" — такое же бессильное дерьмо, как все.

КАК ВСЕ. Блоха не давленная. "Все серенькие, все прыгают",— сказал бы Розинер, если бы от Пушкина перекинулся к другому, уже советскому

классику. Ход вещей. Русский человек, изготовленный "на супермена", — сламывается и смальвается в общей мясорубке. Поневоле вспомнишь Бориса Парамовна: русский человек — тот же еврей в своем отечестве.

К национальным "сколам" этого дробящегося, хрустящего под прессом монолита Розинер особенно чуток. И не только в еврейском вопросе — достаточно вспомнить Дануту, литовку, вывезенную в Сибирь трех лет отроду. Только и запомнила крики женщин в теплушке: "Смотри, Дануте, не забывай!" да ксендза Клебониса на горе: увозимых благословляет.

Ксендз на горе, косматый, страшный, благословляет теплушки, идущие на восток. Вы это способны вместить? Или, может, этому ксендзу лучше было в "лесные братья" податься? С немцами уйти? "Сгореть в срубе"? Или вот так — с крестом... чтобы Дануте маленькая ЗАПОМНИЛА?

Так она и запомнила. Только и запомнила от Литвы своей — того ксендза. В Сибири, где нагрянувшие уголовники могли изнасиловать, убить, проиграть в карты, — запомнила, что она ЛИТОВКА. Ничего больше. Вы можете эту драму уложить хоть в какую-нибудь логику? Разве что в любовь, настигшую нескладного Финкельмайера с этой красавицей-литовкой в "тонгорской" командировке, как за десять лет до того застигла его любовь с красавицей "от МИДа" среди почтового рейса.

Розинер знает, что глубинная драма, чуемая им в реальности, проходит только через расколотые судьбы. Финкельмайер их просто притягивает к себе. Данута, "проигранная в карты", бегущая от своих убийц. Оленька, студентка-ленинградка, покалеченная в автокатастрофе, бегущая от своего отца, самодовольного профессора-марксиста, — бегущая в армейскую часть, в солдатскую библиотеку: тела не осталось — один дух... Чем ближе к "нормальной середине", тем меньше удаются Розинеру человеческие фигуры и характеры, тем скучнее ему их описывать, и Фрида, жена Арона, интересна лишь на первых порах, пока борется: пока ищет родственников-земляков в Москве, пока пытается поступить учиться, пока любит Финкельмайера безответно...

Ответное чувство — брак — быт — и все гаснет. Розинеру словно бы НЕЧЕМ писать нормальную жизнь, и единственно скучные (читательски) сцены романа — это застольные разговоры в семействе Финкельмайера, шитые белыми нитками только ради того, чтобы показать: жена не понимает, что перед нею — Поэт.

И наконец — неизбежный и последний вопрос: где же его Поэзия? Не "А.Ефимов" с полковым знаменем и не "Айон Неприген" с "перламутровым налетом Севера", а собственно он сам, поэт Аарон-Хайм Финкельмайер — что же ОН пишет?

Все рано или поздно упирается в это: и диссидентский сюжет с борьбой инакомыслящих и обезьяньим процессом, и уголовные ужасы, преследующие Дануту, и подвиги Никольского, костями лежащего за своего друга. Друг ОДАРЕН. Женщины влюбляются в ПОЭТА. Черты ГЕНИЯ проскальзывают в поведении долговязого малого, упекаемого за тунеядство.

Где стихи?

Нету.

Вот она, главная тайна, которую учуял Розинер в драме Финкельмайера.

Бредит стихами — мы это видим, слышим. Слова "сами собой" сцепляются в ассоциативные ряды, цепочки, строки, рифмованные столбики — это Розинер все время демонстрирует, подключая нас к сознанию (к подсознанию) своего героя. Ему приговор читают, а он: "Суровый Дант не презирал сонета... Дант-ад-анд — Данте-антанте..." Его спрашивают, как это он жену и двух маленьких дочерей оставил, а он "а-в-в-а, а-в-в-а, с-d-c, d-c-d", — всех их в сонет укладывает, не понимая, о чем это они; и это непрерывное стихоговорение есть лейтмотив присутствия Финкельмайера в романе Розинера.

Стихоговорение есть. Стихов — нет.

Конечно, дать стихи — риск невероятный: привести результат при таких условиях — все поставить на карту. Пока в тумане — можно поверить и в гения, но когда тебе выпишут четверостишие, рожденное гением, — тут можно так подорваться, что ничему веры не будет.

Но, с другой стороны, такие "творческие результаты" в великих книгах приводились, и именно они составили славу произведениям о творцах. Вспомним "Легенду о Великом Инквизиторе" у Достоевского; вспомним очерк о Чернышевском, эту жемчужину, в раковине набоковского "Дара". Да вот пример, жанрово совершенно совпадающий: стихи Юрия Живаго в романе Пастернака.

Этим-то примером Розинер .. отбивается: зачем-де повторять прием, уже использованный в "Докторе Живаго"? И сам же отмечает лукавство этой отговорки.

Дело в том, что стихов Финкельмайера в романе Розинера не может быть — по определению.

Если бы перед нами был и впрямь "роман об инакомыслящих" — тогда дело другое: тогда стихи нужны. "Не спотыкайся, загнанный олень..." Вот вам: вы его гнали, рот ему затыкали, упекли его в ссылку, вы его заставляли прикидываться "тонгором" — так читайте же! "Перламутровый налет Севера"! "Проходит солнце неба середину"... Данте!

Больше двух строк не рискнул приоткрыть Розинер в поэзии своего подопечного. Но эти две — откуда? Эти две — из стихотворения самого Розинера, который написал эти стихи уже по завершении романа — В ПОДРАЖАНИЕ герою. Из чувства долга, что ли.

Можно, как оказалось, вставить строку-другую в бред сомнамбулы, в орнамент говорения. Да и то — постфактум. Но развернуть — нет. Это нельзя. Тут-то и заложена главная тайна, которую почувствовал Розинер: тайна лжи, борющейся за правду, тайна иллюзии, играющей роль реальности, тайна пустоты, вопиющей о наполнении. Тайна безмолвия, требующего, чтобы ему дали слово. Что будет, когда дадут?

Будет "рукопись" И, собственно, "рукопись" тут имеется. И процитирована полностью в самый эффектный, кульминационный момент. Но — что знаменательно — со сдвигом. Вы ждете откровения от Финкельмайера, а вам дают откровение одного из героев-спутников: Леопольда Михайловича. Вы ждете стихов — вам дают трактат. И самое интересное: вы ждете Слова — вас заклиняют о Молчании.

"Искусство без фиксации" — называется трактат, предлагающий нам ключ к пониманию происходящего. Прекрасно в искусстве все, в чем нет мертвой заботы запечатлеть себя, все, что не ищет огласки и фиксации. Прекрасно искусство, которое не сберегает себя... Иначе форма становится пределом переживаний художника...

То есть прекрасен житель тундры Данила Манакин, который поет то, что видит. Мех прячется, свинец летит. Затем приходит некто Финкельмайер, жаждущий фиксации, формы, огласки, — **ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ФОРМУ** И прежде, чем начинается драма купли-продажи, драма дележки, драма сведения счетов, — охотник, изумленный тем, как профессионал стихосложения ПО-ВТОРОЯЕТ его только что явившиеся и улетевшие слова, спрашивает с протодушным страхом: зачем ты поймал мою песню?

Зачем? ЕМУ мы не сможем ответить на этот вопрос. СЕБЕ — должны ответить. Затем поймал, что СВОЕЙ песни нет у Финкельмайера. Затем, что рифмы, формы, тетины, четырнадцатистрочия, мучающие его, потому его и мучают, что не заполнены, не наполнены. Затем, что эта жгущая пустота, эта жажда прислониться, обвиться лианой, прикрепиться к древку — рок Финкельмайера. Пытка чужой судьбой.

Применительно к евреям теоретики придумали для этого комплекса слово "химера": химерическая культура, и Ю.Бородай, один из лучших учеников Л.Гумилева, применяя этот термин, пробудил в свое время немало страстей на этот счет. Но дело не в евреях. Армянин спюрка, "устроившийся" в Америке, но не умеющий забыть, что он армянин, попадает в ту же обжигающую пустыню духа. Больше того: русский у себя "дома" то и дело чувствует под ногами эту бездну, и Никольский, "у себя дома" опустившийся и спившийся, — оттого и спивается, что "у себя дома" чувствует себя — то ли гостем, то ли пришельцем, то ли борцом с пустотой, то ли продавцом пустоты. Русская интеллигенция — тот же Агасфер, она носит клеймо отверженности, она ищет, к чему прислониться, ищет почвы, на которой привьется то, чем она обладает: Слово, Идея, Учение... Настоящая-то драма тогда только и начинается, когда Учение эту почву находит.

Из-под четкой структуры "романа об инакомыслящих" сквозит у Розинера бездна. Это не значит, что он пишет одно, а имеет в виду другое, нет, мне кажется, он открывает для себя тайну своего героя, продолжая любить в нем "явь": диссидентскую явь. Это и составляет уникальный духовный опыт "очередного романа об инакомыслящих" (одного из самых значительных в "списке", — уточняет Жорж Нива, не будем с ним спорить). Система лжи и официальной глупости терзает несчастного Финкельмайера, душит его, не дает СКАЗАТЬ СЛОВО, но ни "система", ни он сам не знают, что когда

уста разверзнутся, — сказать будет нечего, потому что — легко кричать против явных и очевидных дураков, но невыразимо то, что противостоит в личности — строю вещей, слепому и естественному ходу событий, втягивающему все и вся, делающего ученых дураками и сильных бессильными. Поэтому нет стихов Финкельмайера и не может быть — есть то, что Розинер называет "мифом" Финкельмайера: импульс твари, рванувшейся к богу и ждущей приговора. Исполнителем приговора может оказаться кто угодно. Вы ждете, что "кагэбэшники", у которых из-под носа увели картины, потащат наших диссидентов в застенки, — да ничего подобного! — вчерашние "кагэбэшники" сегодня с радостью помогают "диссидентам" и спасают вчерашних "абстракционистов". Вы ждете, что Финкельмайера пришьют уголовники, проиграют его в карты, как Дануту, — да нет же, после первой же песни, сочиненной по их "социальному заказу", Финкельмайер становится у них своим человеком и удостоивается уважительного (хотя и несколько дикого с его точки зрения) прозвища: "Зяма".

Кто ж его казнит?

Да тот самый "болван", из-за которого загремел Финкельмайер в ссылку. Тот самый "подлец", что разжирел за его счет. Тот самый "дундук", из которого с его помощью сделали писателя. Я цитирую определения, которые дает Манакину Никольский. А Никольский, как мы понимаем, один из рупоров авторского "я". На уровне "романа об инакомыслящих". На том же уровне Манакин действует в соответствующем стиле: убивает Финкельмайера, да как! Поехал в "зону", не поленился, рызискал, выследил, залег с ружьем.

Заметим, однако, что Розинер описывает развязку не совсем так, как его герой Никольский. Потому что к Никольскому не сводятся идеи Розинера, как к "разоблачению системы", слава богу, не сводится его роман.

Финальная сцена написана Розинером БЕЗ ИМЕН. То есть, как если бы ее наблюдала белка, или сугроб, или камень. Появился человек, пошел к реке. Свинец летит, свинец знает. Снег летит, снег знает. И хотя вы тоже знаете: это Манакин, он из засады убивает Финкельмайера, а потом пьяный замерзает на обратном пути, — имен так и не будет в этой сцене. Склонный вообще к виртуозности письма, Розинер проявляет ее здесь в полной мере. Потому что не Манакин сводит здесь счеты с Финкельмайером. Не "тонгор" казнит "еврея". Не "ортодокс" — "диссидента". А природный невменяемый ход вещей погребает тех, кто бросил ему вызов. Сначала одного, потом другого. "Зачем поймал песню?" С песней кончено еще до того, как гремит выстрел, еще до того, как "появился человек" в заполярном поселке и пошел с ружьем к реке. Из последних писем приговоренного: "Мое сознание всегда было чем-то вроде беспрерывно вертящейся мясорубки: все, что попадало внутрь, перемалывалось, чтобы в виде словесного, стихотворного фарша выйти наружу... Последнее, что я "сочинил", — это несколько блатных песен. Но они — откровенная версификация по заданным образцам... Никогда я не был так близок к тому, чтобы стать как все. Разве не это самая прекрасная миссия на земле — быть как все и не стремиться быть иным?"

Вот и все. Конец личности. Можно Финкельмайера не стрелять — он и так мертв.

Как ожить? Стать НЕ КАК ВСЕ. Стать ИНЫМ. Реализоваться в качестве ИНАКОМЫСЛЯЩЕГО. Розинер продумал, прочувствовал этот вариант до конца. До двух концов, на выбор: или тебя убьют за неповиновение, или ты убьешь себя сам, добровольно повинуюсь.

Других выходов нет?

Что, нет других выходов для Арона Финкельмайера?! А отъезд! По нынешним-то временам — что мешает отъехать в Землю Обетованную? Чем тебе не счастливый финал?

Интересно, а в Земле Обетованной Финкельмайер продолжал бы писать стихи? Ой, сомнительно... Стал бы и там, "как все". Вряд ли в этом случае автор сохранил бы к нему интерес. Этот вариант описан в эпилоге романа — кратко, какими-то усталыми, стертыми словами: Фрида после смерти Арона вышла замуж и с двумя дочерьми (его дочерьми!) отправилась в Израиль...

А муки отъезда? А страсти отказа? А сопротивление властей? Ничего... Отправилась, и все. Шар нашел лузу. Дальнейшее — молчание.

Нет, не ради такого исхода написан Розинером эпилог к роману. Не верная, работающая, скучная Фрида — наперсница Творца в его муках, а случайная, безумная, шальная русская баба, что бросилась в объятья мальчишки-почтальона, явившегося с телеграммой в МИДовский дом. От нее и родится

Наследник, во чреве увезенный в "загранку". И несет же его нелегкая, его, выросшего в "южных тропиках", — в нашу снеговерт: ищет следы отца, которого никогда не видел, по ветхой фельетонной вырезке "Некто Финкельмайер — "поэт" выходит на Никольского и в конце концов оказывается у книжного шкафа с шеренгой синих самиздатских переплетов — один на один с полным собранием стихов отца. Нам не досталось прочесть — ему досталось. Нам сказали: "это миф" — его в миф впустили. И вот он сидит и читает, и яд входит в его жилы, жаждущие яда, и это — последняя, роковая, смертельная истина романа, автор которого прошел искус до конца и все-таки не отступился.

Феликс Розинер — "шестидесятник". Школьник периода культа личности; молодой инженер и литератор периода "оттепели"; отказник "застоя". Потом — гражданин Израйля... гражданин Америки... гражданин мира. Москвич 1936 года рождения. Потрясая меня деталь "генной памяти": родители Розинера встретились и поженились в Палестине, куда в начале 20-х годов поехали из Советской России. В Палестине они стали коммунистами и в конце 20-х годов вернулись в Советский Союз, где чудом избежали гибели. Впрочем, тюрьмы не избежали: мать отсидела, и оба затем всю жизнь ждали, когда посадят, однако, это уже другой сюжет, описанный Розинером в повести "Серебряная цепочка", которую он и издал "там", куда отъехал в 1978 году.

Отъезд не был труден; впоследствии Феликс писал не об овировских барьерах, а о том, что он стремился уехать "от самого себя"; это куда больше говорит мне о его состоянии и мотивах.

В СССР Розинер успел до отъезда издать с полдюжины книг: он был блестящим музыкальным критиком, его исследования о Григе, Прокофьеве, Чюрленисе принесли ему известность в среде знатоков. Будем считать, что за рубеж его вытолкнул роман о Финкельмайере: там он его сразу выпустил. Кроме того, он издал там еще с десяток книг. Суховатые, техничные рассказы из эмигрантской жизни, заметно уступающие роману. Рассказ "Лиловый дым", НЕ УСТУПАЮЩИЙ роману, — эпизод из литовской действительности (если можно назвать действительностью мясорубку "лесных братьев" и НКВД в 1945-1947 годах). НЕ УСТУПАЕТ в лучших частях и еврейская родословная, целиком погруженная в муки диаспоры, в русское изгнание, в искус возврата (черт же понес обратно в Россию — коммунизм достраивать). "Хеппи энд" во всем этом не просматривается и даже не намечается.

Два-три раза Розинер опубликовался в нашей печати уже в период "гласности": в таких не слишком популярных журналах, как "Музыкальная жизнь", и таких не слишком литературных, как "Семья и школа". Русскому читателю он по-прежнему неизвестен, он все еще — "некто Розинер", автор романа, который не прошел через "толстые журналы" и как бы выпал из процесса — выпал туда, где сегодня торгуют "отдельными изданиями", то есть в лотышнюю торговлю, под массовый спрос.

Меж тем спрос тут предполагается совсем другого типа и уровня. Роман Розинера написан ДЛЯ НАС, ПРО НАС, он буквально просится, рвется в "литературный процесс" — в драму нашего самопостижения.

Чему и я пытаюсь "посильно" содействовать этой статьей.

Дни Бунина

1

В прошлом году в серии "Библиотечка журнала "Слово" вышло репринтное издание "Окаянных дней" — дневников Ивана Алексеевича Бунина, писавшихся им в Москве 1918 года (январь-март) и в Одессе 1919-го (апрель-июнь). Издание посвящалось 120-летию со дня рождения писателя и было воспроизведено по 10-му тому его собрания сочинений 1934-1936 годов ("Петрополис", Берлин). На обложке — фотография Бунина с автографом и надписью: "Лето 1918г., после бегства из Москвы, под Одессой"

Тот путь его проходил через Белоруссию. В Орше была граница, западнее которой начиналась территория, оккупированная тогда немцами. Бунины ехали в санитарном вагоне. 27 мая (9 июня по новому стилю) писатель оставил запись в дневнике:

— Утром Минск. Серо, скучно. Узнали, что поезд пойдет на Барановичи.

Им же нужно было ехать дальше в гомельском направлении. Пришлось перетаскивать багаж на Виленский вокзал: от Брестского надо было пройти версты две... Сперва по улицам Суражской и Московской до Западного моста, потом — по Бобруйской, параллельно железнодорожному полотну, по-видимому, там, где теперь привокзальный сквер, если только не было прохода к поездам со стороны недавно исчезнувшей улицы Толстого...

Есть что-то странно близкое в Бунине для читающих его сегодня и думающих о его судьбе.

Неудержимо удаляется запечатленное им время, а жизнь, созданная Буниным-художником, поэтом, дышит и влечет к себе, по-прежнему не открываясь до конца, — как и тогда, когда мы с ней соприкоснулись в первый раз.

И все это чувствуешь как-то особенно отчетливо, стоит лишь вспомнить очевидное: последний классик Золотого века, сам видевший себя и человеком, и писателем не нынешнего, а дворянского столетия ("век девятнадцатый" — старинность теперь уже в самом звучании этих слов) — он был в своем искусстве очень современным и жил, страдал, любил, знал и вершину славы, и унижение немощи и нищеты еще — или уже? — в пределах нашей жизни. Ведь умер он в 1953-м, ночью 8 ноября — тот день у нас в календарях, конечно же, был красным (как и сейчас).

Но уж совсем особенное, даже и смущающее что-то почувствуешь, когда вообразишь Ивана Бунина пересекающим в своей судьбе не только одно с тобой время, но и пространство. Когда вдруг бросится в глаза на его страницах, скажем, название твоего города и мысленно увидишь, как одновременное, все то несоотносимое, что было проживаемо им в своей жизни, а тобой — в твоей, хотя ты даже и имени его еще не знал.

Как жадно, чутко следил он по сообщениям радио за ходом войны, угнездившись, точно старый орел, на каменистой горе своего Грасса на юге Франции и глядя на современный ему мир, на дорогое прошлое то с гордым, сдерживаемым торжеством, то с горечью обиды и утраты.

Весна и лето сорок четвертого года. Война откатывается с его родины на запад. И усердный "хороший моряк", как скажет он о себе вслед за мопасановским героем в своем последнем рассказе "Бернар", 73-летний Бунин опять в полосе творческой мощи и молодости. К "Темным аллеям" добавляется нередко по несколько рассказов в месяц. Среди них — шедевры, впечатление от которых может быть выражено в тех же словах, что и от "Мистралья", написанного, как отмечалось в парижской прессе, с обычным для Бунина "магическим мастерством, с обычной жуткой силой"

Его дневник (9 мая 1944 г.):

— Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать неск<олько> строк "Чистого Понед<ельника>"... Вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина... кое-где шелканье первых соловьев... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!

Спустя неделю, 14 мая, написан "Пароход "Саратов". Через два дня — "Ворон". 23 мая — "Камарг", на следующий день — "Сто рупий". А в дневнике:

— Взял Рим! — запись 4 июня.

Через месяц, 3 июля:

— Взял Минск (курсив Бунина.— А.С.).

Да, Минск освободили именно третьего июля; все, кто остался в нем жив тогда, на всю жизнь запомнили, каким был тот день и что было с нами, детьми и взрослыми,— и вот удивительно: пусть даже поздним вечером, но того же самого дня он сидел у себя за столом, в далеком Провансе, пока еще занятом немцами, и писал это о нашем городе, — выходит, и о нас, тогдашних. А накануне он написал самую короткую в "Темных аллеях" новеллу "Часовня", чуть больше половины страницы, но и в ней сошлось все то, что неотступно следовало в памяти за этим добровольным изгнанием: всегда и повсюду: детство, усадьба, лето, любовь и смерть.

Все давнее, родное приближалось. И он писал в рассказах именно об этом, о своем.

Да, в сорок четвертом он опять был в силе. А с июня сорок первого до осени сорок третьего писалось совсем мало.

1 июля 1941 года:

— Не запомню такой тупой, тяжелой, гадливой тоски, которая меня давит весь день. Вспомнилась весна 19-го года, Одесса, большевики — оч. похоже на то, что тогда давило... Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера... Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится... Да, опять "Окаянные дни"!

Он ошибался, Минск уже был занят четыре дня назад. А письма Флобера, которые он читал (конца 1870 — начала 1871 гг.), — действительно горькие. "...Париж пока держится", — писал Флобер племяннице в декабре 1870 года из Руана, а в ноябре признавался Жорж Занд, что подавлен, как, наверное, никто во Франции: война с Пруссией оказалась крушением. Ей же, Жорж Занд, напишет Флобер весной следующего года о причинах этого французского провала — и Бунин тоже мог бы повторить его слова в соответствующем контексте: "Все было фальшивым: фальшивый реализм, фальшивая армия, фальшивые кредиты, дажи шлюхи — и те были фальшивыми!"

2

Какого нового для себя Бунина смогли мы прочитать в последние годы? И что из написанного о нем за это время заслуживает внимания благодаря несомненным достоинствам, а что — по причине совершенно противоположной?

Есть смысл начать с последнего. Ибо если уже не в жизни Бунина, то в жизни его книг на родине писателя порой случаются опять "окаянные дни". В аннотации к изданным его дневникам сказано, что в них раскрывается "драма эмигранта-патриота" и "выражаются ярко патриотические переживания". Само издание озаглавлено стихотворной строкой Бунина: "Лишь слову жизнь дана..." — но слово его подается так, что иначе как умышленным нарушением последней воли писателя это не назовешь — до того очевидны старания сделать из Бунина патриота в чем угодно, только бы не в его собственном понимании.

В изданиях, о котором идет речь (М. "Советская Россия". 1990), "Окаянные дни" составляют второй раздел и в отличие от первого ("Дневники. 1881—1953") не комментируются. Объясняя это, составитель, автор вступительной статьи и примечаний О. Н. Михайлов говорит, что "проблематика и круг имен "Окаянных дней" в принципе совпадают с бунинскими записями московского и одесского периода за 1918—1920 гг." Но имена есть имена, за ними — люди, судьбы, их круг не может совпадать или не совпадать с чем-то лишь "в принципе", как бы нас долго к этому не приучали. И почему нет оглавления? Потому что все издание состоит из дневниковых записей писателя (рубрика "Русские дневники")? Но ведь "Окаянные дни" у Бунина — именно

отдельная, самостоятельная книга, собственноручно озаглавленная, книга-проклятие революции. Неужели все-таки смущало, что в графически отчетливом присутствии этого названия в оглавлении резало бы глаз что-то не к месту одиозное, политически возбуждающее?

Недаром, наверное, уже во вступительной статье дается привычно-успокоительное: "Со многими оценками политических событий и фигур у Бунина читатель не согласится..." Каких фигур, событий? И какой читатель? Тот, которому обязательно нужно внушать, будто писатель твердо решил возвращаться, если в мае 1941 года говорил в письмах, что очень хочет домой? Но ведь у него можно прочесть и возмущенное: "Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!" Это написано в дневнике тоже в мае 1941 года, 16 числа.

В издании так много профессионального брака, что впору бы на специальной вклейке не цену уточнять, а принести извинения читателям. Есть что-то удручающее в той небрежности, которая видится едва ли не демонстративной и заставляет с невеселой улыбкой думать: так "наш" он, Бунин, все-таки — или "не наш"? Прямо-таки тягостное впечатление оставляет место во вступительной статье о бунинской "теме Тиверия", точка в которой, мол, была поставлена в 1936 году, в рассказе "Возвращаясь в Рим". Уверенный, что цитирует отсюда, автор на самом деле приводит выписку из "Острова Сирен" (1932). А "Возвращаясь в Рим" (кстати, без многоточия, проставленного в этой статье) — вовсе не о Тиверии, и написан в 1937 году. Просто диву даешься, как такой опытный комментатор... Впрочем, довольно об этом.

В первом разделе книги читатели могут впервые прочесть записи, перепечатанные из трехтомника "Устами Буниных. Дневники..." (Под редакцией М. Грин. Франкфурт-на-Майне). А "Окаянные дни" печатаются по канадскому изданию 1984 года.

И думаешь о письмах Бунина последних лет жизни, где он говорит, как мало у него осталось сил, тем более — для работы, вглядываешься в фотоснимки его кабинета, перечитываешь рассказ "Мистраль", стихотворение "Ночь" (1952) — и видишь, как старый, больной, но по-прежнему гордый, жесткий, очень строгий к себе и другим человек с трудом поднимается с постели среди ночи и, сгибаясь от кашля, задыхаясь, идет к письменному столу, буквально дотягивается до своей работы, листов с заметками, выписками, и если не пишет, то поправляет — в который раз на протяжении долгой жизни! — напечатанное им раньше. Так исправлял он и тома своего берлинского собрания сочинений с "Окаянными днями". Знал: рано ли, поздно ли, но возвращаться будет можно — книгами, конечно. Хотел предстать в последнем строгом блеске мастерства.

Оставил письменные указания: публиковать что-либо только по этим, выправленным его рукой экземплярам "Петрополиса". Так нет — куда там! Отмахнувшись от этого в "Литературном обозрении", когда в 1989 году печатали со своими купюрами "Окаянные дни". Теперь же, под рубрикой "Русские дневники", эта книга Бунина воспроизведена с заокеанского провинциального "оригинала".

Быть может, столь труднодоступен точный текст? Совсем нет. Оказывается, приготовленный Буниным экземпляр с рукописной правкой хранится в Государственной библиотеке им. Ленина, о чем и говорится в примечаниях А. К. Бабореко, исследователя творчества Бунина, его биографа, составителя и автора вступительной статьи в бунинском однотомнике "Окаянные дни. Воспоминания. Статьи" (М. Изд-во "Советский писатель". 1990).

По-видимому, это лучшее у нас сегодня издание мемуарной прозы писателя, наиболее точно выверенное и полно прокомментированное. Раздел примечаний во многих местах читается как сама проза, так много дано здесь интересных разысканий, различных историко-литературных справок. А вступительная статья "Глагол времен" — как раз тот случай, когда предвещающий книгу текст звучит действительно вступлением к ней, существенно дополняя ее содержание и именно вступая в него, а не уныло-"ведчески" следуя за ним как отдельная, по сути, работа. Здесь же — немало свидетельств, касающихся, в частности, сына М. Цветаевой Мура (Георгия), последних месяцев жизни А. Куприна, литературных знакомств Бунина, и малоизвестные отзывы о его творчестве Г. Адамовича, М. Алданова, Ю. Айхенвальда, Ф. Степуна, Н. Тэффи, В. Ходасевича.

При чтении всех этих материалов хорошо видно желание пишущих называть вещи своими именами. Таким желанием — а в еще большей степени умением — притягивают к себе, убеждают и дневники Бунина,

его статьи. А. Василевским же в статье "Разорение. III" — о публикациях "Окаянных дней" в нашей периодике ("Новый мир" №2. 1990) своими именами названо основное в отношении Бунина к наступившей в России сплошной "чрезвычайщине" — его открытая контрреволюционность и антикоммунизм. Именно это, а не привычный эвфемизм "неприятие", который, похоже, стилистически восходит к одному из главных персонажей бунинских "Воспоминаний", лучшему, талантливейшему поэту нашей советской эпохи, хмуро отрубившему о революции: "Принимать или не принимать? Такого вопроса... не было... Пошел в Смольный. Работал". Бунин, к счастью, далеко не лучший поэт советской эпохи. Но такого вопроса для него не было тоже. Уехал в эмиграцию, работал. И сделал то, что невозможно было тут просто физически: жить бы не дали.

Скажут, что для "Жизни Арсеньева" и "Темных аллея", "Освобождения Толстого" даровала ему вдохновение и силы любовь, а не ненависть. Но ненависть обостряла эту любовь. Ведь одно от другого неотделимо. Но — нет, марксистско-чекистский метод толкования художника начеку: "И мы отделяем взгляды и позицию Бунина от его творений". (О. Михайлов. "Плакал о России..." — "Юность" №1. 1988). Опять та же, всегдашняя безоговорочность и решительность: мы отделяем — и все тут. И никакой сарказм этого местоимения в заглавии романа Е. Замятина не помогает. Мы говорим... — подразумеваем... И в обратном порядке.

И чего только ни говорят, следуя за политической конъюнктурой, и чего только ни подразумевает неуксущенный в ней читатель. И о самом писателе, и о людях, окружавших его. Та фальшь, пошлость и напыщенность в печатном слове, малейшая доля которых приводила Бунина в ярость, откровенно дает о себе знать теперь уже в публикациях о нем самом. А. Бабореко ("Новый мир" №1. 1990 "Осенняя клюква") достаточно подробно писал о полупеллетоне-полупасквиле, изданном В. Лавровым как роман-хроника "Холодная осень". Иван Бунин в эмиграции (1920-1953)". Но фальшь отличает не только подобного рода беллетристику, но и самонадеянное литературоведение. В "Чудесном призраке" В. Нефедова (Минск. Изд-во "Полымя". 1990), где, оказывается, "впервые И. А. Бунин рассматривается как художественная личность", совершенно серьезно утверждается, что через всю правку "Романа горбуна" у писателя "проходит продчеркивание (!) авторского равнодушия к человеческой личности героя: ничтожный позер" — он же "мизер" и "ряженный"; и, конечно, "нет и намек на авторское сострадание" (а что с Бунина возьмешь, особенно если герой — горбун). "... Ирония бьет в глаза уже в сочетании двух первых слов заглавия" (сколько же их всего?). И в таком духе — целых две страницы об одной страничке миниатюры, жизненный трагизм которой искусно оттенен у Бунина внешне бесстрастным повествованием. Почему не сказать короче: одно глумление над калекой, мол, и все? Ну, а "чудесный призрак..." Хотя и из бунинской строки, но в заголовке, вне контекста, все равно напыщенность.

3

Маленький, всего в страницу длиной, рассказ Бунина "Роза Иерихона" был впервые напечатан в 1924 году, и Вера Николаевна Муромцева-Бунина с полным основанием гордилась им всю жизнь, как вспоминал Борис Зайцев. Потому что рассказ этот — гимн их любви, памяти о сокровенном и благодарение за все это:

— ... Утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни... когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю господина нашего Иисуса Христа.

Это она настояла на путешествии именно к тем местам. А через сорок шесть лет слова о спутнице до гроба подтвердились, Бунин умер у нее на руках, и она исполнила его волю, похоронив Князя, как называла его порой, в цинковом гробу: он боялся, чтобы змея не заползла ему в череп.

— Умирать Князь будет только со мной, — сказала она однажды на закате их дней.

Может быть, знала наперед, видела лишь ей доступным зрением, что к тому времени даже и дорогие близкие ему станут далекими — но не она.

Так и случилось. В тот их последний вечер он все думал о Чехове, и она читала ему чеховские письма, нашла точную дату его рождения:

— Вот видишь, я права, а не биографы и историки литературы.

Он ушел от нее через несколько часов, ночью, когда она поддерживала его, севшего в кровати, и она не сразу поняла, что его уже нет, думала — обморок.

А потом, будучи младше на одиннадцать лет и пережив мужа на восемь, она продлила его жизнь в своих книгах — навсегда. Читаем наконец и мы эти книги (спустя тридцать с лишним лет после выхода их в Париже и Нью-Йорке): "Жизнь Бунина" и "Беседы с памятью" (М. "Советский писатель". 1989).

Читаем в них и о том, что воскрешал Бунин в "Розе Иерихона". Тогда, весной 1907 года, они побывали в Палестине, Сирии, Египте. Начали свой путь с Константинополя, где он бывал раньше и где через 13 лет они вместе сойдут с парохода снова, уже навсегда оставив Россию. А в этот раз они плыли дальше до Греции, в Афинах поднимались на Акрополь, сидели на плитах Парфенона и он, взяв мраморный осколок, решил тайком унести его с собой, сказав, что не расстанется с ним ни за что... Они побывали в Иерусалиме, у алтаря на Голгофе, у гроба Господня, в помещении, где происходила Тайная Вечеря, в Вифлееме с его храмом Рождества Христова, видели Гефсиманский сад, Кану Галилейскую и Назарет. Бунин, с его поразительным, почти наизусть, знанием всей Библии, показывал места, известные по ее текстам, как уже хорошо знакомые, с чувством глубокой личной сопричастности им, говоря, что ощущает Христа как живого, не так уже и давно ходившего по этой земле:

— Вот в такие самые вечера Он и проповедовал... Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего... Горы были такие же, и солнце садилось все в том же месте...

Вспоминая это, она снова слышала его голос, снова жила в том, в чем они раньше жили вместе.

— С восхищением слежу за Яном, — до чего он сейчас красив, легок, весь подобран.

И, может быть, пробовала, как учил ее когда-то молодой муж, представлять все давнее, глядя туда из своих, уже одиноких дней. Были ли теми же зелень и солнце, рассветы и вечера, которые она видела? Она об этом умолчала.

Ее воспоминания удивительны. Они как-то особенно чисты по тону, благородно ясны. Они, пожалуй, совершенно не литературны — в том смысле, что здесь и намек нет на "стиль" — и оттого неповторимо искренни.

Она беседовала с памятью главным образом о нем, о Бунине. Но изредка — и о себе, не открываясь до конца, с полупризнаниями. Так, например, сказала об отношении к Христу, вспомнив Голгофу:

— Теперь я понимаю иначе святость Его.

Не это ли, сокрытое от других, понимание помогало ей опять проживать некое прожитое и писать об этом слабеющей год от года рукой?

— У Дамасских ворот мы отпускаем извозчика и идем в Иерусалим тем же путем, каким шел Христос на Голгофу, то есть по Виа Долороза. Все время этого крестного пути мы находились в каком-то напряженном состоянии, и сейчас, когда я пишу, я еще испытываю жуткое чувство...

Через столько лет, в продолжение которых она несла свой крест на трудном пути жизни с Буниным — и опять то же чувство.

Но уже без него.

4

Один из главнейших вопросов, занимающих Бунина в дневниках, воспоминаниях, статьях, — вопрос об отношении литературы (и классической, и новой) к тому гибельному, что произошло со страной буквально на его глазах, в такой фантастически короткий срок.

Участвовала ли она в этом, пусть и невольно, но потакая исключительно русской, как считал он, страсти к саморазрушению? Или, наоборот, всем лучшим в себе пыталась удержать жизнь людей в берегах, указанных чем-то несравненно более высоким, чем воля всевозможных декретов? Еще прямее: причастна ли эта литература к тому окаянству, которое началось во время революции и гражданской войны? Виновна ли она в том каиновом проклятии, что нависало над страной еще раньше, как чувствовал Бунин, горестно переживая исчезновение дворянско-культурного типа жизни, плоть от плоти

которого был он сам? Или, напротив, литература предупреждала о возможной беде, но осталась неуслышанной, подтвердив древнюю истину, что для отечества в его пределах пророка, увь, нет как нет?

Летом 1929 года Бунин в Грассе навестил бывший русский посол в Мадриде А. Неклюдов. Он говорил и о том, что Россия была "испорчена литературой": даже погода в ней "должна была быть всегда дурной, по мнению писателей... У Щедрина во всех его сочинениях ни разу нет солнечного дня..." И Бунин горячо соглашался с гостем, но именно в этом и подобных примерах.

О том же, казалось бы, писал и В. Розанов в статье "С вершины тысячелетней пирамиды": "...Россию разорвало, разорвала ее литература". Окончательной ли была эта мысль у него, сказать, наверное, затруднился бы и сам Розанов, в котором, по его же словам, происходило разложение литературы и который называл ее своими "штанами — что хочу, то в них и делаю". Но таков уж Розанов, сказать он мог что угодно, благо "от всего ушел и никуда не пришел"; а чтобы сказать, как сию минуту захотелось, вряд ли перед чем и остановился бы, не особенно беспокоясь о противоречиях своей мысли.

О российской словесности как о виновнице гибели прежнего общества Розанов говорит и в других работах. Но здесь, в статье "С вершины тысячелетней пирамиды", после типичного для него хлесткого, провокационно-эпатирующего заявления он задумывается о вечно гонимых, наглухо зацензуренных русских писателях: "Вот *кто* им помог... Бес или Бог..." И дальше: "Причина — семинаристы, тупые, злые, холодные. Равнодушные ко всему, кроме своей злобы... Вся русская история стала представляться или была выставлена как гноище пороков и преступлений, которые чем больше кто ненавидел, тем он казался сам пророчесственнее, священнее..." Вот именно: это "семинаристы", разночинцы, революционные они же демократы так повернули, так исказили в своих толкованиях русскую литературу, что она и в XIX веке уже стала выглядеть чуть не сплошь обличительной, порой даже в собственных глазах. И это не без влияния рыцарей социальности в литературе еще Гоголь начал было каяться (насколько искренне?) в недостаточном знании России, в то же время испугавшись, возможно, что слишком сатирически изображал ее, а затем окончательно изнемог под непосильной задачей уравновесить "Мертвые души" вторым их томом, и его "робкий ум" (Л. Толстой), не одолев художественного гения, измучил себя и угас.

Было, было и прямое обличение — и у Толстого, и у Достоевского, даже у "мягкого" Чехова — но лишь как естественная составная часть всегда многогранного истинного искусства. И кто знает, не вдалбливали бы нам с юных лет "учение" революционных демократов, так, может, без ущерба для себя и не знали бы мы о литературе "критического реализма".

— Никого из этих Добролюбовых и Писаревых я не читал, а Чернышевского с его "Что делать?" просто ненавидел, — вспоминал Бунин.

И только обличительной русская литература для него никогда не была. "Воскресение" Толстого (одни ведь обличения, как нас учили) в очередной раз он перечитывал в конце жизни. Не будет такой художник в эту пору возвращаться к литературе, "разорвавшей" Россию: просто душевных сил не хватило бы разрывать подобным чтением "всю эту мощь, сложность, богатство, счастье", памяти о которых он был обязан своими творениями тридцати трех лет жизни вдали от родины.

"Семинаристское" же понимание литературы было очень близко тому литературному подходу к жизни, который Бунин видел как нечто иссушающе-схематичное в области нормальных исторических представлений: всю сложность и богатство девятнадцатого столетия, считал он, разгородили на периоды, десятилетия, обозначив их известными героями русских писателей, начиная с Чацкого. И тут невольно вспомнишь о близости крайностей, ибо есть же, навстречное, какая-то связь между этим разграфлением жизни, изготовлением из нее литературно-критической схемы — и тем впадением литературы "в жизнь" в начале двадцатого века и в годы революции, в котором Бунин видел нисхождение в толпу, на улицу и опьянение стихией.

Что-то унизительно зазывное, коробейничье было для него в начавшемся карнавале с тогдашними главарями и горлопанами, балаганчиками, масками и кофтами, хулиганами, челкашами и буреветниками, гениями и председателями земного шара.

Все это, в глазах Бунина, старалось как можно громче заявить о себе и как можно быстрее перевести в некий эстетический результат прилюдный авторский жест и позу, игру в политику, народность или юродство. Для художника такого творческого и душевного здоровья, ясности тут многое выглядело спекулятивно-ненормальным. И признавая немалое природное дарование своих современников, он считал проявление их сил нередко истерическим.

Писал и говорил он об этом в тоне страстном, нетерпимом и раздраженном. Но странное дело: чем больше в его воспоминаниях и статьях, казалось бы, несправедливых преувеличений, злой издевки, явного нажима, тем труднее при чтении сопротивляться все усиливающемуся ощущению его правоты. Маяковский, Есенин, Блок, Горький, Брюсов, Бабель — и "странности" их общественного или бытового поведения, и, главное, богохульство, кошунство в написанном ими вольно или нет вело, убежден Бунин, к апологетике стихийного начала. Стало быть, вполне логичным было и открытое прославление ими революционного насилия, и расчетливое подыгрывание ему, и старание заставить себя полюбить то, чему душа и ум противились.

Но почему, спрашивал он, нужно славить только стихию революции, а не землетрясение, чуму? Почему лишь она — счастливое исключение из этих несчастий? Не было ему ответа в пережитом. Только: "Слушайте музыку революции!" (Впрочем, в дневниках Блока, писал Ф. Степун, можно встретить и кошунственную романтизацию стихии природной: "Гибель "Титаника" вчера обрадовала меня несказанно — есть еще океан"). Все названные герои бунинских воспоминаний остались слушать, а то и исполнять эту музыку. Но она не всегда могла уберечь от трагедии личной судьбы: ранние смерти, самоубийства... И такие пятна на биографиях, которые не бледнеют и рядом с самыми лучшими строками.

Другие же выбрали отъезд, прощание со всем прежним. И Бунин отчетливо представлял себе задачи русской эмиграции и суть культурного феномена, которым могла стать российская литература за рубежом. В 1934 году, в Париже, он сказал в одном интервью:

— ...Мы все, оставаясь и телом, и душой русскими людьми, воспринимаем европейскую культуру, впитываем ее в себя, обретаем новую душу. Для мировой литературы — это необыкновенное явление... Природа, люди, вся жизнь воспринимаются новыми людьми с их собственной душой и кровью, с их собственной отцовской культурой... Какие образы могут возникнуть, какие миры могут быть созданы!

И он привел уже неоспоримые тогда имена М. Алданова и В. Набокова.

Что же из сказанного здесь им — и каким образом — можно было бы отнести к его собственному творчеству?

Для ответа на такой вопрос не лишним будет сначала напомнить себе, с чем приехал он в Европу — навсегда. Вот как он сам говорил об этом в своем выступлении "Миссия русской эмиграции":

— Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия...

Стремление сохранить себя в этом образе, невозможность жизни вне человеческого и религиозного смысла ее должны, по-видимому, быть исходной точкой в размышлениях не только о принципах общественного поведения Бунина, но и об эстетической уникальности созданного им за границей. Ибо в этом — основа, то зерно его мирозерцания, которое, взойдя после горького посева на чужбине, принесло "много плода". Это и есть та собственная душа и отцовская культура, посредством чего, говорил он, может новый для другой земли человек воспринять ее природу, людей, искусство.

В литературе, как и в любом творчестве, наиболее полное, обогащающее восприятие чужого обусловлено наполненностью художника своим. Возможно, такая закономерность есть и в извечной проблеме традиции и новаторства. Истинно новое — не броская непохожесть, не временный извив, оно должно к чему-то приплюсовываться, добавляться, чтобы устоять и в будущем, остаться навсегда. А для этого необходима не только иная линия, но и свой объем, весомое содержание. Это как в скульптуре, где, считал О. Роден, линий, в сущности, нет, ибо они — лишь внешние, поверхностные следствия объемов: жизнь зарождается внутри...

Мы часто читаем, что во внутренней, духовной жизни Бунина уже с начальных сознательных моментов особым образом присутствовала культура прошлого. Это действительно так.

— Он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга,— писала Вера Николаевна.

Но мы не так уж часто учитываем, какое большое место занимала в этом мире для него церковь, религия, с каким благоговейным, охранным чувством писал он в эмиграции о красоте богослужений, убранстве храмов — и как услужливо подавала ему напитанная библейскими текстами память фрагменты мифологических сюжетов, речений, задавая тональность какой-либо главе в "Жизни Арсеньева", рассказам.

Кажется, никто из русских классиков не был так заморожен зримым, осязаемым образом красоты, созданным в православной церкви. Он вбирал его в себя с молодых лет. Красотой, в чьем храмовом сиянии и свечении, запахах и звучании возвышающее успокоение, просветление неотделимы от духовного укрепления перед лицом уже случившихся и еще возможных утрат,— красотой этой он был и счастлив, и мучим, как счастлив и мучим он был всю жизнь красотой природы. Нелегко найти в литературе аналогию этому, если так можно выразиться, бунинскому чувству образа — чувству красоты, которая ограняет и ограничивает, но не обедняет внутренний мир человека, упорядочивая его. Трудно привести подобные примеры и такого напряженно-проникновенного переживания церковной красоты, хотя отношение писателя к религии в обычном, житейском плане начисто было лишено схимы.

Тем легче было понять, что он чувствовал, когда красоте этой уже угрожала мерзость запустения и повальное безобразие.

— ...У певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой,— чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

— В мире была тогда Пасха... Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

5

Не только церковный мир эстетизировал Бунин. Мы видим у него холодноватое на первый взгляд, а на самом деле необычайно чувственное и внешне сдержанное воссоздание в чеканном, неожиданно-единственном слове всего богатства жизни, неповторимых ее мгновений. Эстетизация эта возросла в эмигрантский период, что, вполне понятно, было вызвано стараниями сберечь и удержать утраченное в раме искусства, в точно найденном образе. Но мэтр, исповедовавший законы классики, оказался для очень многих, в том числе и Шведской академии, совсем не архаистом. Высшее признание было ему оказано "за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер". Именно так: строгость и в то же время артистичность, или: артистичность, облагороженная строгой требовательностью. Нелегко представить иную формулировку, так кратко и точно выражающую характер его дарования. Сам же он в разговоре о необходимости для писателя серьезной работы над формой произведения, настойчивой его отделки, обмолвился примерно так:

— Мы ведь все же артисты...

Что же касается расхождения его с некоторыми принципами реалистического искусства, утверждавшимися, скажем, Толстым, то они были укоризненно отмечены самим Толстым же. О бунинской природе он заметил не без некоторого кокетства: "...так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне — и говорить нечего". И все, мол, "только для того, чтобы Б. написал рассказ". Но полностью согласиться с ним — значит, во-первых, просто поверить на слово, не увидев, что здесь — естественная писательская субъективность ("Литература, искусство вызывают у меня зависть, но деятельность сердца — никогда"). А во-вторых — не понять Бунина, писавшего природу не самоцельно, а в такой связи с внутренним миром своего героя, как редко кто иной,— и об этом Толстой умалчивает. "Прав" же он в одном: да, все мастерство писателя действительно направлено на то, чтобы он "написал рассказ". Бунинская эстетика, свободная от морализаторства и проповедничества, свойственных Толстому, от рационалистически выстроенных, хотя и совершенно искренних установок, была не менее этически напряженной.

Нетрадиционность изобразительной манеры еще не означает снижения нравственного уровня.

Бунин прекрасно отдавал себе отчет в том, где, не порывая с Золотым веком классики, шел навстречу современному. О своей "Митиной любви" говорил:

— Некая легкость, "тонкость", "модерность"...

А за три года до смерти:

— "Реалист" Бунин очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе.

Преклонявшийся перед Толстым, он как художник сделал смелые для своего времени шаги в той области, где тот был особенно аскетичен и нетерпим — в области любви и пола, страсти. В своем "Грасском дневнике" Г. Кузнецова с большим тактом говорит о творческой и душевной близости к Бунину, о счастливой возможности предварительно переживать с ним в беседах каждую главу "Жизни Арсеньева", лучшего, что он создал до той поры. В июле 1927 года она записала: "И. А. позвал меня и дал несколько листов, написанных за последние дни..." Это была глава с размышлением о том, "что, может быть, для чувства любви, чувства эротического, двигающего миром, пришел писавший ее на землю. И я глубоко задумалась над этим и спросила себя — для чего живу я и что мне милее всего на свете? И ответ будет, пожалуй, тот же, так как в творчестве есть несомненно элемент эротический". Впрочем, это тема, о которой лучше всего послушать самого писателя.

Он отвечал Ф. Степуну на замечание об "избытке рассматривания" некоторых подробностей в "Темных аллеях":

— Какой там "избыток"! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов "рассматривают" всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет... Последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ногу на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное?

Это сказано в 1951 году, а еще в августе 1917-го в дневнике о Мопассане было сказано:

— Он единственный, посмевающий без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

6

Книги его, книги о нем и он на фотографиях — один и с близкими, знакомыми; его жилье на снимках, вещи и его могила... А он живой? Иногда думалось: хоть бы на кинолентке, ведь его снимали; да разве же увидишь, лучше не надеяться.

...Сначала — со спины; в темном халате (показалось, что в пальто), садится за стол рядом с уже сидящими — и обернулся: сед, сух, лицо худое, изможденное. Но улыбнулся — и выражение даже задорное: и возбуждение, и что-то несдающееся, — трудно объяснить. Быстро закуривает. Снова со спины: стал говорить, жестикулируя, все улыбаются и смотрят на него.

Ему ровно восемьдесят. Снова день рождения, что он всегда так не любил, видел здесь приближение к смерти — смерть ненавидел, думая о ней, как и Толстой, почти всю жизнь. Теперь ему осталось три года.

Месяц назад он возвратился после операции из клиники. Октябрь, 1950 год, Париж. У нас в стране еще нет телевидения, благодаря которому спустя сорок лет, осенним вечером 1990-го мы вдруг видим писателя "живым" — и это так странно, неожиданно, что мы едва успеваем позвонить по телефону: "Бунин! Смотри".

И затем видим его уже в 1933-м: глядит перед собой, как на фотоснимке, но вот чуть улыбнулся, моргнул. И — в полный рост, в шляпе, свободном сером пальто; говорит с кем-то и, сделав небыстрый приветливый жест рукой, пошел как бы на нас и вправо, мимо принявшего почтительный вид полицейского в нарядке... Наверное, Стокгольм. Потому что дальше — церемония награждения Нобелевской премией.

Он идет твердыми мелкими шагами, серебристые волосы гладко расчесаны на косой пробор. Бледен, затянут в черный фрак, подчеркнута осанка, даже

чопорен и с напряженным, чуть ли не трагическим выражением лица. И на приеме, за столом — с прямой спиной, не прикасаясь к сервировке, лишь осторожно стряхивая пепел с папиросы...

А это мы не видим: в зале, где вывешены флаги стран всех нобелевских лауреатов, Бунин тактично и благородно был принят под шведским флагом.

— Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания.

Но в воспоминаниях у него было и много светлого: Чехов, Толстой, Шаляпин, Куприн, Эртель...

Особое же место занимал Сергей Васильевич Рахманинов. И если, как сказано у Пушкина, "бывают странные сближения", то в случае с этими двумя художниками самое странное было бы, если б они не сблизились и не помнили так бережно и благодарно друг о друге в продолжение долгих лет, в далеких от их молодости странах. Оба по своему душевному складу, по внутренней культуре были во многом людьми девятнадцатого века. Обоих заслуженная слава нашла в двадцатом.

— Мы за ужином сидели рядом,— пишет Бунин об их знакомстве в Ялте. — ...Ушли на мол... сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом... и говорили, говорили все горячей и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова...

Через тридцать три года композитор телеграфировал автору "Господина из Сан-Франциско", уже нобелевскому лауреату:

— Искренние поздравления от господина из Нью-Йорка. Рахманинов.

Он писал музыку на его слова, любил его рассказы, считал, что Бунин наделен особым слухом, заметным в музыкальности своих стихотворений, и что он должен написать книгу о Чехове (которая и была начата в конце жизни).

М. Алданов в эссе о Рахманинове прямо говорит, что "той органичности, которая была в нем, которая есть в Бунине, больше в России, боюсь, никогда не будет". Есть свидетельства, что они были схожи чем-то в жизни, как бывают схожи между собой люди, имеющие общее не в деталях внешности, а в своем облике. Летом 1930 года Рахманинов приезжал в Грасс. "Во время обеда,— пишет Г. Кузнецова,— я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи,— сравнивала также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше..."

Не хочется верить, что здесь одна случайность: через несколько месяцев после впервые показанных кинокадров с Буниным мы увидели на телеэкранах Рахманинова — и у тех, кто смотрел на него, движущегося, первый раз, это впечатление осталось надолго... Летом, на своей швейцарской вилле Сенар он, радостно и даже как-то беззащитно улыбаясь, в белом костюме и галстук, катил перед собой низкую коляску с внучкой, глядя прямо на нас из того счастливого дня своей жизни. Потом, одетый с той же изысканностью, в черном костюме, обнимал внучку, стоявшую на скамье. А перед этим, сидя за фортепьяно, играл что-то веселое для детворы и молодежи на семейном празднике: все такой же довольный, темноволосый и очень коротко стриженный, с удлинненным лицом ("значительным",— отметил когда-то Чехов и предсказал великое будущее молодому неизвестному пианисту).

— Вечер... *Радио: умер Рахманинов*,— запись в бунинском дневнике, март 1943 года.

И это тоже ушло.

Как и Бунин, он совмещал в своем искусстве и личности, душевной культуре, самом способе жить столь редко соединяющиеся в славянском творческом духе стороны: необычайная глубина, богатство поэтического чувства — и строжайшая духовная дисциплина; огромная жизненность — и самоограничение; одаренность милостью божьей — и невероятная требовательность, самоконтроль; утонченность, артистизм — и суровое мужество долгого труда, терпение, выносливость.

А потом настанет время, когда уйдут уже все, или почти все, кто был дорог.

Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да бог

Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

Бунин был наделен способностью почти осязаемого ощущения вечности, "тоски времен" и стран. Он чувствовал это в облаках, закатах, море, во всем древнем, что мог наблюдать на земле. Его поражало, как много на ней остается таким же, как и тысячелетия назад. И он никак не мог примириться с мыслью, что из этого, высшими силами сотворенного великолепия исчезает не только человек как отдельная капля земного сущего, но и созданное, сотворенное человеком внутри себя.

Куда девалось, куда ушло то, чем он был еще полон в сороковых годах, когда, закончив рассказ и поняв его силу, бегал от радости по площадке возле дома?

И где те дни и мысли, что сопутствовали ему в "водах многих", когда он, выходя на палубу, бросал за борт, в Индийский океан, прочитанные книги из "орловской деревни"?

— Я был умен и еще умен, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами — как же может быть, чтобы это исчезло? — писал он за месяц до известия о смерти Рахманинова.

В тот февральский день ему нездоровилось, повысилась температура. "Солнечно", — отметил он, потому что в солнечные, особенно летние сухие дни ему работалось лучше всего. Сейчас же, видно, было нехорошо. Но запись он закончил твердо, с характером:

— ...Чтобы это исчезло? Не может быть!

Рубрику ведет Лев Аннинский

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

— Впереди у нас возникновение новых народов на данной территории СССР. Какой из них станет называться русским — это, скажу я вам, открытый вопрос. Русскими будут те, кто захочет себя так называть и отстоят среди других это имя... (Глеб Павловский).

Признаться я оторопел прежде чем заставил себя согласиться с этим прогнозом. Я думаю, любой трезвомыслящий человек, русский или нерусский, вынужден будет с ним согласиться. Но кроме трезвомыслия (при всем его дефиците) есть и еще "что-то" — под ним, над ним, за ним, вне его: ощущение продолжающейся судьбы, которое заставит всякого человека (и не русского тоже, ибо не только русских коснется общий жребий), русского же в особенности, — внутренне сжаться сердцем, принимая диагноз, процитированный мною. Слава богу, есть люди, имеющие мужество говорить об этом прямо.

Глеб Павловский — один из таких людей. Не буду отсылать читателей к блестящим его статьям в журнале "Век XX и мир" — их, я думаю, читало и без моих рекомендаций огромное число людей по всей стране. Но газета "Московский комсомолец", напечатавшая вышеприведенное интервью Гл. Павловского, при всей популярности этого издания среди москвичей, вряд ли так уж лежит открытым доступом в библиотеках "всей страны". А сказано там — про нас всех:

"Пока вы предполагаете, что рано или поздно, не в первом, так в одиннадцатом универсаме вы найдете черствый хлеб и плохое молоко — работать необязательно. Когда эта надежда исчезнет и ЖЕСТОКОСТЬ ЖИЗНИ будет осознана, — появится ДРУГОЙ НАРОД".

Опять-таки, умом вижу: да, так. Вечных народов нет. Нет "пралитовцев", "праказахов", "праангличан". Народы рождаются, старятся, исчезают. Имена переходят по наследству или теряются. В истории на этот счет — бездна обнадеживающих и обескураживающих свидетельств. В "независимой печати" обыгрывается сейчас старинная пара названий: "Русское Литовское Княжество" — против "Московско-Казанского Ханства". Слишком понятно, кого и как поддевают этой ономастикой. Я бы сказал, что ею поддевают разом и русских и литовцев... И татар тоже. Не смог Сарай объединить гигантские пространства — досталась эта роль Москве. Но и Литва в свой час претендовала на подобную роль. А если бы преуспела? Кто от кого сейчас отделялся бы?

Чем же нам удержаться?

И еще более страшный вопрос: надо ли удерживаться в этом скольжении? Была ДО НАС люди, будут и ПОСЛЕ НАС...

Так вот: нет такого вопроса для меня. Надо держаться — не "потому что", а без "потому что". Надо держаться независимо от всяких к тому оснований. Мы сами и есть "основание". Надо уметь держать ИМЯ перед господом.

Рок русских — податливость. Мягкость наша приснопоминаемая, всеотзывчивость. Рыхлость, компенсируемая безумием насилий. Готовность со всеми "слиться". Потому и империю склеили (немцам не удалось — слишком железные). А мы, как Лесков сказал, — "тесто". И каждый раз — мы не те, что раньше. "Мы не те русские, что были до 1917 года", — истинно так. Когда-то за Ждановым повторяли это с гордостью. Теперь повторяем — с отчаянием.

Так вот: те! И никакой кампанией "исправления ошибок" не вытравить из истории ни одного этапа. Нет у истории ошибочных глав, а есть сплошной крестный путь, где все шаги — смертельно опасны и потенциально иллюзорны. Не говорите мне ничего про "иллюзион коммунизма" — я сам из него вышел. Это был действительно иллюзион, наркоз, анестезия: никто этого "коммунизма" в глаза не видел осуществившимся — нигде. Разве что Вера Павловна в прекрасном сне. А была — страшная реальность двух мировых войн, в которых народу требовалось стать огромной армией и положить во спасение имени десятки миллионов. И до этого семь веков — сплошная "война", сплошная "оборона". Двести лет передышки после Петра — и какой взлет культуры, к мировому признанию! А так — тысячелетняя жизнь "лагерем".

И дальше так будет?

Научатся ли люди Третьего тысячелетия жить на этой равнине, не тесня и не сшибая друг друга? Или опять всем против всех обороняться? "Открытый вопрос", — сказал бы Глеб Павловский. Еще неизвестно, каким мутантам посчастливится выжить в этой свалке, может, и НАШИМ внукам. Деды выжили дорогой ценой: ценой "коммунизма". Естественно, военного, потому что невоенного коммунизма не было в природе. Так еще бы меж мировыми войнами и не принять "коммунизм" в противовес тевтонскому "кулаку", и "нацизму", и "фашизму" — растопыренной рукой не дерутся.

Кончится тысячелетняя драка — все переменится. И люди. И песни. Боюсь, правда, что спросят тогда люди будущего: а были ли мировые войны неизбежны, и, значит, нужен ли был лагерный коммунизм пяти поколениям русских? Слава богу, не нам придется отвечать на этот вопрос.

А нам?

А мы — работать.

А мы работать не привыкли, не настроены. Захватывать, удерживать, оборонять, отстаивать, делить, распределять — это да. Стоять насмерть. Культура у нас соответствующая: героическая, трагическая, мистическая, воинственно-религиозная, воинственно-атеистическая.

Гибнет ТАКАЯ культура? Гибнет. Не от "ударов" — от соблазнов. От мировых дискотек.

Как ее спасти?

Никак. Никакими усилиями "писателей" и "музыкантов" вообще не спасешь культуру, если народ не вернется к делу. Если русские не возродятся — и не дай бог, как народ воюющий, — а как народ работающий. Если не будут при первой возможности высаживаться шеренги "нищих", а пойдут эти люди что-нибудь делать; если не будут шататься по улицам толпы молодых парней в клубах мата, а будут искать себе работы; если стойки, сутки проводящие в очередях, захотят не стоять насмерть, а хоть что-то производить. Я понимаю, что в каждом случае найдется причина стояния: не завезли, не выбросили, не дали, не отпустили... Но когда стояние в затылок приобретает ТАКИЕ масштабы, поневоле закрадывается мысль об "образе жизни".

Культура рождается из образа жизни — "писатели" и "музыканты" ее только фиксируют.

Родилась русская культура из двенадцати составных; все шло сюда, и никто не спрашивал ни "чей ты родом?" ни "откуда ты?" а только: хочешь ли жизнь положить за эту страну?

А теперь что спрашивать? Хочешь работать? Хочешь строить эту страну? Хочешь ее разворовывать?

Шок бездействия поставил все на грань распада. Пустая земля. Переполненные очередями города. "Рабсила", нанимаемая из-за границы (восточной), потому что тут "некому работать", а работники рвутся через другую границу (западную), потому что там "больше дадут".

Чего нас жалеть, если мы сами не хотим спасения?

ИМЕНИ жалко, господи. Пушкина жалко, Толстого. Общего дела жалко, в которое вколотили себя люди, ставшие русскими.

Можно и исчезнуть. Мало ли прошло народов... Где филистимляне? Одно утешение, что в нынешних "палестинцах" отзвук имени можно разобрать.

Кто сейчас русские? Сто миллионов "человеков", ищущих места? Мировая задача, на которую нехватило сил? Кто подберет наше имя, если мы его уроним? Смотрите правде в глаза: это будет ДРУГОЙ НАРОД.

Кому "все равно", тому и жалеть не о чем. Мне — не "все равно". Я не хочу, чтобы имя было поднято "кем-то". Я хочу продолжения судьбы, а не "конца".

Или, как в финале своего интервью, говоря о работающем и соображающем народе, который будет жить на этой земле после нас, добавил, дрогнув, железный Павловский:

"Я хочу, чтобы эти люди еще и говорили по-русски".

Как минимум!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВАСИЛЬ БАРКА	Желтый князь. Роман. С украинского. Перевод и вступительное слово Л.Танюка	3
АЛЕСЬ РЯЗАНОВ	Из книги "Острые стрелы". Стихи. С белорусского. Перевод В.Полещука	92
МАРК АЛДАНОВ	Истоки. Роман. Продолжение	95
АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО	Из тетради "Элементы зрения" (1991). Стихи	156
ЯН ГОЛЬЦМАН	Декабрьская элегия. Стихи	161
М. ВЕШНЕВА	Новоузенск	164

НАЦИЯ И МИР

МАРКС ТАРТАКОВСКИЙ	Четыре треугольника из шести спичек.	197
--------------------	---	------------

ПУБЛИЦИСТИКА

	"Революция есть малый апокалипсис истории..." Диалог	215
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ	"Покайтесь, ибо приблизилось..."	
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ	От призраков – к глобальной солидарности	228
ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ	Самоуправление или госкапитализм?	235

КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ	Некто Розинер	248
--------------	----------------------	------------

ПОВТОРЕНИЕ НЕПРОЙДЕННОГО

АЛЕКСАНДР СТАНЮТА	Дни Бунина	258
-------------------	-------------------	------------

НА ОБЛОЖКЕ:

на второй и третьей
страницах —

А. ЛИВАНОВ
Из серий "Лето в деревне" и "Убранство
русских кораблей". Литографии

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

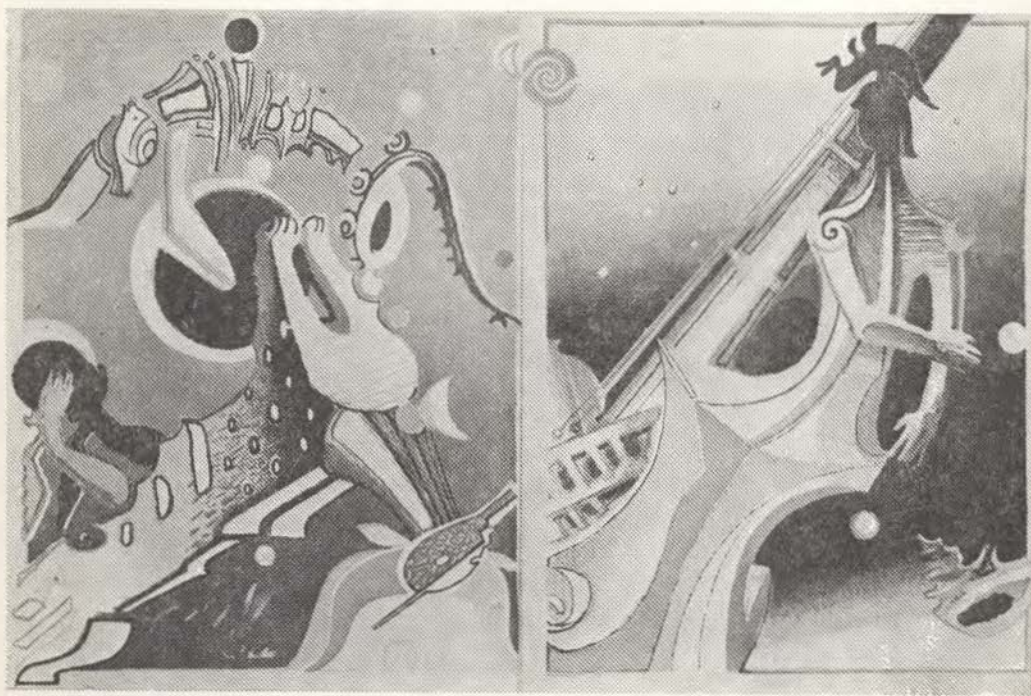
Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

АЛЕКСАНДР ЛИВАНОВ



Известный график Александр Ливанов родился в 1938 году в городе Москве. Окончил ВГИК, член Союза художников СССР. С 1962 года участник асесоюзных и международных выставок. Его графические листы находятся в таких престижных музеях как Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. Пушкина. «Специфика графики,— в этом состоит кредо художника, требует условности и решенности, так как исходит в первую очередь из уважения к белизне бумаги, которую необходимо сохранить и как равноправный с другими цвет, и как основу, разнообразя и обогащая. Черный цвет может быть помещен на разную глубину, на разные планы».



Из серии «Убранство русских кораблей».
Литография.

